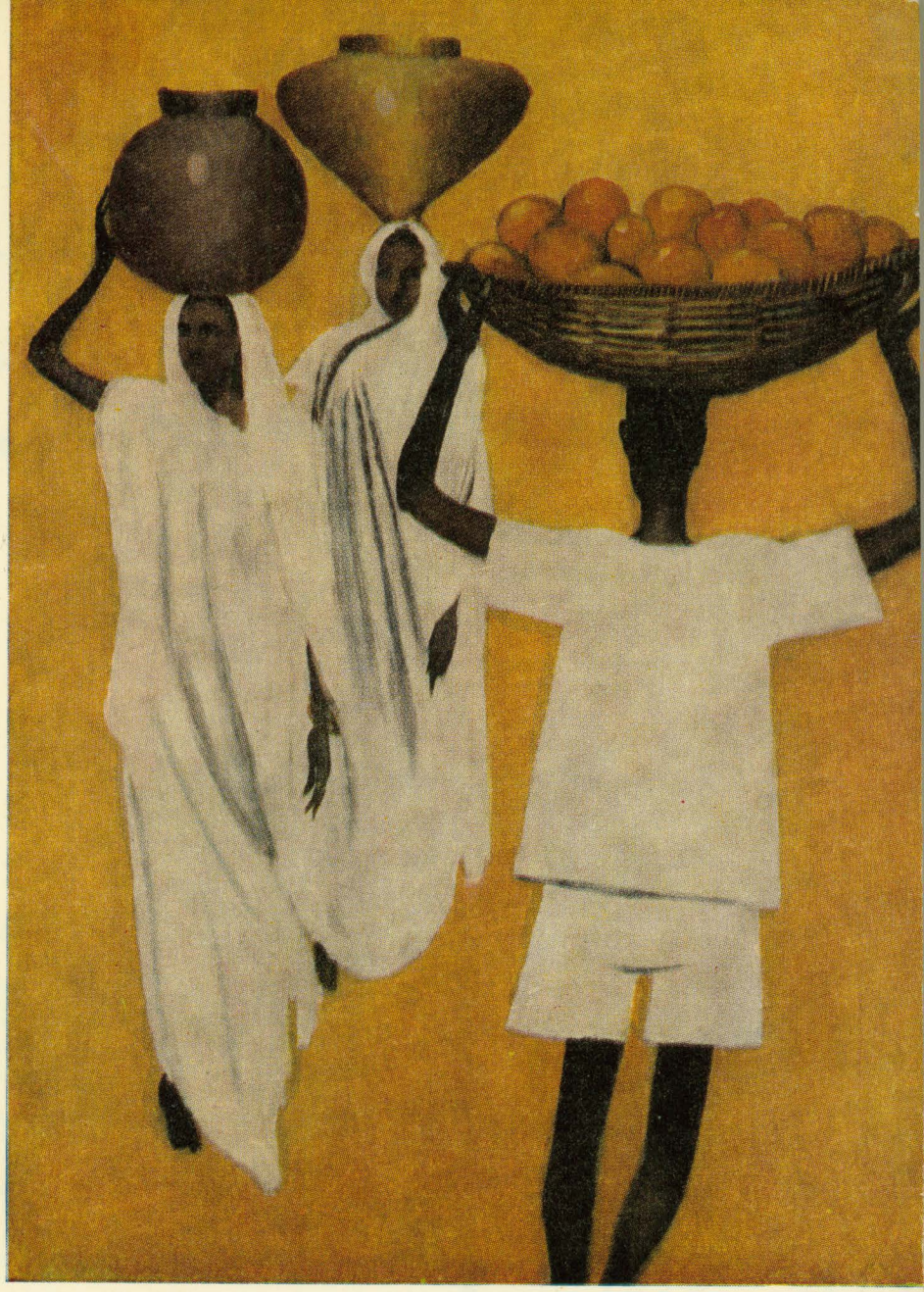


ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

6

1963

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕОН КРУЧКОВСКИЙ — Герой фатерланда (Пьеса в 5 картинах с прологом. Вступительная статья Александра Штейна) . . 4

МАКС ЦИММЕРИНГ — «Отрицатель» (Стихи) 48

КАРЕЛ ТОМАШЕК — О мире утреннем... (Стихи) 49

АЛАН СИЛЛИТОУ — Ключ от двери (Роман. Продолжение) 50

БАЙ Т. МУР — Стихи 108

ХАСИБ АШ-ШЕЙХ ДЖААФАР — Гибель поэта (Стихи) 110

ОКТАЙ АКБАЛ — Улица Чужаков (Повесть) 112

КАРЛ СЭНДБЕРГ — За многие годы... . . . 164

Литературное наследие

ЦИПРИАН НОРВИД — Стихи (К 80-летию со дня смерти) 173

КРИТИКА

Б. РЮРИКОВ — Реальный гуманизм . . . 176

М. ГОРДЫШЕВСКАЯ — Круг замыкается (Заметки о современном колониальном романе) 190

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

ВОЛЬФГАНГ НЕЙХАУЗ — В центре внимания — современность (Письмо из Берлина) 200

6

ИЮНЬ

1963

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»

Москва

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

М. ПУЙМАНОВА — Все мы — труженики эпохи (Составление И. Бернштейн) . . . 203

ПОЛЕМИКА

КОНСТАНТИН СИМОНОВ — Вопреки здравому смыслу (Заметки на полях одной рецензии) 211

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 214

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

ИРЖИ ЧУТКА — Во имя жизни 220

ПУБЛИЦИСТИКА

ВИКТОР ПЕРЛО — Духовная нищета и безнравственность 224

ЖОРЖИ АМАДУ — Разговор с Буанга Феле, известным также под именем Марио де Андраде, вождем борющейся Анголы . 236

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

МАХМУД САБРИ — Художник и реальный мир 239

ОЧЕРКИ

ЭРНЕ УРБАН — По трассе венгеро-монгольской дружбы 241

НА КИНОЭКРАНАХ

ВИКТОР БОЖОВИЧ — В чем причина кризиса? (По страницам французской прессы) 245

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Место художника в жизни (Зарубежные деятели изобразительного искусства у нас в редакции) 250

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

А. Турков — Внук Дёрдя Дожи. ◇ Виталий Зимин — Рыбаки и крестьяне Малабара. ◇ И. Голик — Всемирная орбита советской литературы 259

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

В. Неделин — Традиция дружбы. ◇ И. Чернявская — Новые страницы биографии героя. ◇ Б. Гиленсон — Мемуары Поля де Крюи. 264

ПАМЯТИ БОЛЬШОГО ПОЭТА 268

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 269

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 270

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 287

На обложке рисунок художника Ю ПИМЕНОВА «Белые одежды Индии».

АДИХИО *(Куба)*. **На посту**

ЛЕОН КРУЧКОВСКИЙ

Герой фатерланда

ПЬЕСА В ПЯТИ КАРТИНАХ
С ПРОЛОГОМ

■

Перевод с польского
Л. МАЛАШЕВОЙ

Первая пьеса Леона Кручковского

Я видел Леона Кручковского в один из его последних — увы! — приездов в Москву, в конце 1960 года, на премьере пьесы «Первый день свободы» в Театре имени Станиславского. Пьеса открыла новые, незнакомые грани в творчестве художника, новые глубины его философских раздумий, зрелость почерка, смелость рисунка. Пленила достоверность атмосферы в покинутой хозяевами квартире в маленьком германском городке, куда в первый день освобождения приходят польские офицеры, только что вышедшие из фашистского лагеря.

В сорок пятом году случилось и мне с соединениями флота побывать в таких городках на побережье Балтийского моря, как раз там, где сражались вместе с Советской Армией польские части. И потому на премьере «Первого дня свободы» особенно остро ощущалось умение Леона Кручковского слышать и видеть жизнь, деталь, чувствовать настроение, воздух, которым дышат персонажи.

Помнится, тогда, на премьере, была несколько неожиданной для меня — и милой! — та застенчивая угловатость, с какою этот признанный, с мировым именем литератор принимал поздравления публики и артистов, неловко прижимая к себе цветы, казалось, озабоченный лишь одним — как можно скорей исчезнуть. Это мое маленькое наблюдение подтвердила и переводчица произведений Кручковского на русский язык Л. И. Малашева, хорошо знавшая писателя на протяжении многих лет: и в Варшаве Леон Кручковский стеснялся появляться на собственных премьерах и приходил лишь на рядовые, очередные спектакли.

А между тем на своем веку Леону Кручковскому пришлось быть «виновником» не одной премьеры, не одного спектакля. Без имени его можно ли представить себе польскую драматургию? Без пьес его — мировую антифашистскую драматургию?

Леон Кручковский начинал как романист. Он стал известен еще в начале тридцатых годов романом «Кордиан и хам», за которым последовали «Павлиньи перья» и «Тенета». Эти книги, особенно «Кордиан и хам», вызвали широкие отклики прессы, создали автору большую популярность в старой довоенной Польше.

Вся литературная деятельность Леона Кручковского после войны связана главным образом со сценой. Я подчеркиваю это обстоятельство не для того, чтобы защитить, так сказать, честь драматургического мундира,— нет, речь идет о том, что Леона Кручковского влекла сложная драматическая форма и по своей сути, и по своим возможностям. Без конфликта нет пьесы, это общеизвестно, острота и драматизм столкновений в пьесе обязательны более, чем в любом ином жанре, а творчество Кручковского, все его творчество — всегда и прежде всего столкновение типов, сшибка характеров, битва идей.

Таково его «Возмездие» — драма, которая отражает решающую борьбу между силами демократии и реакции в Польше первых послевоенных лет. Таковы известные у нас «Немцы», пьеса одновременно и психологическая и остропублицистическая — я лично не вижу в этом никакого противоречия.

Резонанс, вызванный публикацией этой пьесы и ее представлениями на сцене, объясняется, очевидно, и психологической убедительностью, с какой очерчены обитатели дома немецкого ученого Зоненбруха, передана атмосфера Германии 1943 года, и той острой, неприкрытой публицистичностью, с какой Кручковский обнажает мотивы действий каждого из обитателей дома и «внутренний механизм» гитлеризма в целом.

Прочитав пьесу «Немцы», преодолев схематическую прямолинейность в изображении некоторых персонажей драмы, я увидел эту слитность психологического начала с публицистической направленностью. Увидел в пьесе автора, обличающего непротивление злу, автора — противника пассивного нейтралитета. Не противиться злу — значит содействовать ему. «Немцы» — произведение, направленное не против немцев, а против фашизма, против расизма, и не зря Кручковского и эту его пьесу правильно поняли и правильно оценили немцы-антифашисты. Польскому драматургу было присвоено звание почетного члена Академии наук ГДР.

Недавно мы узнали о новой пьесе Леона Кручковского. Не черновики, не эскизы незаконченного произведения были обнаружены, как это нередко бывает, в ящиках письменного стола писателя после его смерти. И не пьеса, которую писатель закончил и отложил или спрятал в стол по ему одному известным мотивам. И так тоже бывает. Нет, судьба этой пьесы столь же необычна, как и примечательна для бурного нашего века.

Она была написана в 1934 году и поставлена в 1935 году в Варшаве, в театре «Комедия», под названием «Дело Даубмана». Публика увидела всего четыре представления — нагрянула полиция, конфисковала все имевшиеся в театре экземпляры, запретила спектакль. Спустя четыре года, уже в Кракове, популярный в Польше Театр имени Словацкого попытался осуществить постановку пьесы, но началась война. Немцы оккупировали Польшу. О постановке пьесы, разумеется, не могло быть и речи. Сам Леон Кручковский попал в лагерь для военнопленных. Пьеса, казалось, погибла, ни одного экземпляра ее не осталось. Немногим было известно, что в первые же дни войны Леон Кручковский передал единственный уцелевший ее экземпляр на тайное хранение отцу, краковскому букинисту. Кручковский вернулся из плена в Краков в 1945 году — отца уже не было в живых.

Писатель искал пропавший экземпляр своей первой пьесы много лет, но безуспешно. И наконец в 1955 году она была обнаружена. В 1962 году Кручковский вернулся к своему старому произведению. Написал пролог, работал над текстом, однако завершить работу не успел.

Увидеть свою пьесу в печати и снова на сцене писателю помешала смерть.

Пьеса, названная автором «Przygoda z Vaterlandem» (буквально «Приключение с фатерландом»), была опубликована в двенадцатой книжке польского журнала «Диалог» за 1962 год. Это — не архивная публикация и не только дань памяти Леона Кручковского. Это — памфлет, отлично задуманный, отлично выполненный. Ему присуща та же гневная публицистичность, та же ненависть к расизму и гитлеризму, какими проникнуты и последующие произведения Леона Кручковского. В пьесе, написанной четверть века назад, уже отчетливо видна позиция художника, его предвидение, верность своим убеждениям и — своей теме.

Пересказывать содержание памфлета в кратком предуведомлении — занятие бессмысленное, проще и плодотворней прочитать саму пьесу. Это чтение вызовет интерес, оно даст более полное представление о литературном пути Кручковского. Напомнит и о нынешних «героях фатерланда», подозрительно схожих с теми, ушедшими в небытие.

Премьеры этой пьесы Леона Кручковского уже состоялись в Варшаве, Кракове, Лодзи, готовятся в других театрах Польши. Я понимаю, чем руководствовались театры, остановив свой выбор на этой пьесе теперь, в 1963 году: ведь и ныне, спустя четверть века, она, к великому прискорбию, звучит весьма и весьма актуально.

Александр Штейн

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Карл Хуммель
Даубман
Фрау Даубман
Доктор Бёме
Эльза Хеедберг
Жена Хуммеля
Бумюллер — капитан запаса
Меркле — офицер СА
Хинке — бургомистр
Зейденштосс — учитель гимнастики
Ридингер — полицейский советник
Секретарь консульства
Господин в макинтоше
Крюгер
Фрау Крюгер
Госпожа Икс
Господин Игрек
Труда — служанка Даубманов
Слуга
Полицейский Шерингер

Действие происходит осенью 1932 года в Германии, пролог — в немецком консульстве в Неаполе.

ПРОЛОГ

Приемная немецкого консульства в Неаполе. Слева дверь в переднюю, справа — в кабинет консула. За письменным столом сидит секретарь консульства, человек лет за пятьдесят; напротив него на стуле для посетителей — Карл Хуммель, лет тридцати трех, истощенный и опустившийся. Летнее солнечное утро, около десяти часов.

Хуммель *(медленно, обдумывая каждое слово)*. Меня, господин секретарь, зовут Даубман, Рудольф Даубман... Я возвращаюсь из Африки...

Секретарь. Черт побери! Вы говорите об этом так, словно возвращаетесь с загородной прогулки!

Хуммель. Что ж, после всего, что мне пришлось пережить за пятнадцать лет, с тех пор как меня, солдата сто одиннадцатого пехотного полка, в одном из сражений на Сомме взяли в плен французы...

Секретарь *(сочувственно)*. Ах вот как! В каком же году?

Хуммель. В девятьсот семнадцатом, в декабре. Я тогда был восемнадцатилетним мальчишкой... меня тяжело ранили, и я остался лежать на поле боя, а наша рота отступила.... Пришел в себя через два дня во французском лазарете. Спустя три месяца я более или менее поправился и, не дожидаясь, пока окончательно окрепну, решил бежать. Это был сумасшедший план, но меня мучила мысль, что там, по другую сторону фронта, мои соотечественники... *(Умолкает.)*

Секретарь *(почти взволнован)*. Да, да! Я вас прекрасно понимаю. Сам я, правда, не имел счастья побывать на фронте, но... разрешите предложить вам только что сваренный отличный кофе... *(Вынимает из ящика стола термос и чашку, наливает кофе, пододвигает Хуммелю.)* Ну что же было дальше?

Хуммель. Однажды ночью, обманув бдительность санитаров, я выбрался из здания лазарета. Деревянный забор, окружавший двор, не был серьезным препятствием для человека, который жил одной лишь мыслью — вернуться в ряды сражающихся соотечественников. Увы, в темноте я наткнулся на часового. Он окликнул меня, и я потерял рассудок... У меня под шинелью был спрятан нож, украденный накануне побега из кухни. Не раздумывая, я вытащил его и... и...

Секретарь *(с пафосом)*. Вы дрались, как пристало солдату.

Хуммель *(после паузы)*. Я ранил часового,— кажется, даже тяжело... К сожалению, он успел выстрелом позвать на помощь, и через три дня я предстал перед военным судом в наручниках. Приговор был суровый — двадцать лет каторжных работ в колониях... Месяц спустя я очутился в Алжире, где находилось уже десятка два таких же, как я, немецких военнопленных. Все мы были отданы на произвол охранявших нас французов.

Секретарь. Представляю себе!

Хуммель. Сам я кое-как держался, но мои товарищи по несчастью... С каждым годом их становилось все меньше... Одни погибли от нездорового климата, другие — от непосильного труда, а иных догнала пуля при попытке к бегству... И я пытался бежать, но безуспешно. Работал я на строительстве дорог, в глубине страны. Целых двенадцать лет! *(После паузы.)* Лишь в девятьсот тридцатом году мне удалось обрести свободу... если можно назвать свободой долгие месяцы скитаний по страшной африканской земле. Но опыт, приобретенный в неволе, помог мне продержаться. Лучше всего жилось в Триполи, там я чуть не женился... на одной красивой арабке, торговке фруктами.

Секретарь *(смеется)*. О! Господь вас уберег!

Хуммель. Господь и тоска по родине, господин секретарь. Да, я уже по горло был сыт экзотическими странствиями. Я скопил немного денег, и это открыло мне путь на родину. Я распрощался со своей арабкой и на итальянском пароходе добрался сюда, в Неаполь. *(После паузы, понизив голос.)* Судьба, однако, сыграла со мной шутку у самого порога Европы...

Секретарь. О-о!..

Хуммель. Меня обворовали. Начисто. Три дня назад.

Секретарь *(с внезапной сдержанностью)*. Вот как!

Хуммель. Я очутился в чужом городе без гроша и без документов. Понимаете, у меня словно почву выбили из-под ног в тот самый момент, когда я собирался начать настоящую жизнь.

Секретарь *(что-то обдумывая)*. Да, да... понимаю...

Хуммель. Я вынужден был искать помощи. Куда же мне было обратиться, если не сюда, в консульство, ведь это частица нашей немецкой родины?..

Секретарь *(сдержанно)*. Верно, совершенно верно...

Хуммель. Господин консул принял меня очень любезно...

Секретарь. А, так вы уже были у нас?

Хуммель. Три дня назад.

Секретарь. Прошу прощения, я несколько дней болел... Так вы говорите, что господин консул...

Хуммель. Велел мне прийти сегодня. Вполне понятно, он хотел проверить сообщенные мною факты... Обещал сделать это по телеграфу.

Конечно, вы не можете доверять моим словам, а я, со своей стороны, не могу без денег и паспорта вернуться на родину...

Секретарь. Совершенно справедливо. Но, простите, куда же вы вернетесь? У вас есть родные, родственники? Откуда вы родом, господин Даубман?

Хуммель. Из Бадена, господин секретарь. Мои родители живут в городе Эндинген, около Фрейбурга... то есть жили там, я ведь даже не знаю, живы ли они. Пятнадцать лет — срок немалый!

Секретарь. Ну, будем надеяться... А ваш отец, разрешите узнать...

Хуммель. Мой отец, Иоганн Даубман, в семнадцатом году был советником суда в Эндингене. Все подробности я уже рассказал господину консулу...

Звонит телефон.

Секретарь *(берет трубку)*. Слушаю. Да, я. Добрый день, господин консул... Да, да, здесь, сидит у меня... *(Долго слушает, глядя на Хуммеля. Лицо его постепенно проясняется, он сияет.)* Да... да... есть... Хорошо, господин консул... Сейчас передам все господину Даубману. *(После паузы.)* Хорошо, господин консул... конечно... *(Кладет трубку, встает, протягивает Хуммелю руку.)* Так вот, господин Даубман, консул сообщил хорошие новости... Ваши родители живы!

Хуммель *(невольно поднявшись)*. Боже мой, неужели!

Секретарь. Господин консул скоро придет сюда, а пока просил передать вам, что вчера вечером он получил телеграмму из Фрейбурга, подтверждающую все сообщенные вами сведения. Разумеется, теперь мы сделаем все, чтобы поскорее отправить вас на родину. Садитесь же, прошу вас...

Хуммель. Поверьте, я так взволнован... *(Садится.)*

Секретарь *(садясь)*. Воображаю, что будет твориться, когда вы появитесь в Эндингене! Прежде всего, как обрадуются ваши родители, которые столько лет вас оплакивали, боже мой!

Хуммель. Вы думаете, им уже... уже сообщили?

Секретарь. Несомненно!

Хуммель. Я, пожалуй, предпочел бы явиться домой неожиданно...

Секретарь. Ну, что вы! Мы оповестим власти, чтобы вас встретили на границе, не говоря уже о торжествах в родном городе! Вы должны вернуться как герой! Право, я жалею, что не смогу быть свидетелем этих прекрасных минут...

Хуммель. Я лично не люблю шума.

Секретарь. Что же делать, придется вам поступиться своей скромностью во имя всеобщих высоких целей. Дорогой господин Даубман, сейчас Германии, как никогда, нужны возвышенные чувства, а еще более — живые примеры солдатского героизма! Ибо та Германия, которую вы знали пятнадцать лет назад, перед катастрофой восемнадцатого года, и сегодняшняя Германия — это два разных мира!

Хуммель. Признаться, я лишь недавно, в Триполи, стал почитывать газеты. Так вы говорите, что наша родина сильно изменилась?

Секретарь. Ах, господин Даубман! Прямо скажем, все перевернулось вверх дном, мир встал на голову. И конечно виной всему Версаль, Версаль и коммунисты! Два несчастья великого германского народа! Преступление в Версале и преступления коммунистов довели наше прекрасное отечество до его нынешнего состояния. И если в Германии не проснутся здоровые силы...

Хуммель. Больно слушать то, что вы говорите.

Секретарь. Ах, дорогой господин Даубман! Боль, горечь и стыд — вот чувства, владеющие сегодня каждым честным немцем. Боюсь, что и вам они омрачат радость возвращения. Этот хаос, эта нераз-

бериха, в которой тонет нынче Германия, приведенная марксистами на край пропасти! Эти миллионы голосов за коммунистов на выборах, это моральное разложение широких масс! Этот упадок нравов, солидных немецких добродетелей! Ужасающий рост преступности — смотрите! *(Резким движением вытаскивает из ящика толстую папку с бумагами.)* Вот мерило лихорадки, охватившей Германию! Здесь сотни писем о розыске, полученных от полицейских учреждений рейха за один только последний год. Страшно читать эти документы, свидетельствующие о разложении общества, которое всегда гордилось...

Хуммель *(снисходительно)*. Ну, письма о розыске всегда отличались...

Секретарь. Кошмарное чтиво! *(Развязывает папку, берет одно из дел.)* Вот, например, Роберт Кац, из Дортмунда, совершивший пять убийств, человек-зверь! Какая омерзительная рожа! Или вот этот... *(Берет другое дело.)* Вальт Кюльман, торговец живым товаром, человек, продавший родную сестру!

Хуммель. Так уж заведено, господин секретарь, подобные типы всегда продают чьих-нибудь сестер...

Секретарь. Или вот еще... *(Берет следующее дело.)* Карл Хуммель из Берлина...

Хуммель спокойно поднимается, подходит к секретарю и вместе с ним рассматривает дело.

Секретарь. Вообще-то говоря, этот Хуммель... не такой уж опасный... Мелкое жульничество, какая-то кража со взломом... Два месяца назад удрал из Германии, бросив жену и ребенка... Судя по фотографии, лицо у него, я бы даже сказал, симпатичное.

Хуммель. Да, парень ничего... У него наверняка было больше неприятностей с женщинами, чем с полицией...

Секретарь *(вглядываясь в фотографию, с внезапным беспокойством)*. Что за черт?! Мне показалось, что это лицо я уже... Да, да! Конечно! Где-то я его уже видел... и недавно, совсем недавно! *(Машинально переводит взгляд на Хуммеля, отодвигается смущенно, почти с ужасом.)* Но господин... господин Даубман! Нет, нет... это невозможно... это просто не-воз-мож-но!

Хуммель *(отчаянно пытаясь улыбнуться)*. Вам кажется, что я... немного похож на этого...

Секретарь *(лихорадочно всматривается то в фотографию, то в лицо Хуммеля)*. Минуточку, минуточку... у вас шрам... вот здесь... У вас шрам над левым глазом.

Хуммель *(спокойно)*. Это след от осколка французской гранаты в семнадцатом году.

Секретарь. Фран-цуз-ской гра-на-ты? Погодите, погодите! *(Водит пальцем по бумаге.)* Приметы... особые приметы? *(Отрывает палец от бумаги, облегченно.)* Никаких! Особых примет — никаких! Простите, господин Даубман, простите... Но вы в самом деле немного похожи на этого прощелыгу... И если бы... если бы не этот шрам... от осколка французской гранаты.

Хуммель *(снисходительно)*. То вы готовы были допустить, что... что я...

Секретарь *(поспешно)*. Упаси бог, что вы! Я ни на секунду не осмелился бы... что вы! Ни на секунду! *(Звонит телефон.)* Извините. *(Берет трубку.)* Да, слушаю... А-а, господин консул... *(После паузы.)* Да, хорошо... хорошо... *(Пауза.)* Понятно, конечно. Хорошо, господин консул... *(Кладет трубку, Хуммелю.)* Господин консул просит его извинить, он сможет приехать только через час. Перед самым

уходом из дома ему позвонили по срочному делу, которое требует его присутствия. Он велел пока позаботиться о вашем завтраке... Так вот, пойдемте на полчасика напротив, там у нас свой ресторанчик. *(Поднимается, запирает стол на ключ.)* Кроме того, вас нужно немедленно одеть, дорогой господин Даубман, в таком виде нельзя возвращаться на родину, ради которой вы столько вытерпели. Итак, пошли! *(Идут к двери.)*

Хуммель *(остановившись у двери)*. Прошу прощения, господин секретарь, раз уж разговор зашел о покупках... я хотел бы приобрести... очки.

Секретарь. Очки?

Хуммель. Да, знаете, такие, темные, от солнца. В Африке я перенес болезнь глаз и до сих пор ощущаю ее последствия, особенно в такие солнечные дни, как сегодня. Очки очень помогли бы мне.

Секретарь. Ну, конечно, очки вам тоже купим. Оптический магазин где-то здесь, недалеко. *(Берет Хуммеля под руку.)* Родина, господин Даубман, должна вам куда больше, чем такой пустяк!

Уходят.

ПЕРВАЯ КАРТИНА

Столовая в квартире Даубманов. Две боковые двери: правая — в переднюю, левая — в комнату Хуммеля. В задней стене широкая застекленная дверь на балкон, открытая настежь; за ней виднеются крыши и стены домов. По обеим сторонам балконной двери окна с кружевными занавесями. Мебель в комнате старомодная и скорее скромная: буфет, стол и стулья посредине, кушетка и маленький столик в левом углу, стоячие часы, пальмы, на окнах портьеры, с левой стороны на переднем плане большое кресло. На столе три прибора. Девять часов утра. На полу возле двери в переднюю в беспорядке стоят корзины с цветами. Фрау Даубман хлопочет в комнате, расставляет цветы; иногда подходит к двери комнаты Хуммеля и с блаженной улыбкой прислушивается. Даубман сидит на кушетке у окна, просматривает утреннюю почту, которая вместе с грудой газет лежит перед ним на столике.

Даубман *(читает вслух одну из телеграмм)*. «Гордости немецкого народа шлем слова восхищения и обожания. Фриц Кноблаух с семьей». *(Откладывает телеграмму.)* Фриц Кноблаух? Ты не знаешь, Берта, не тот ли это Кноблаух с Линдштрассе?

Фрау Даубман *(ищет место для цветов, равнодушно.)* Не знаю, дорогой. Возможно, и тот.

Даубман *(вскрывает другую телеграмму.)* «Клянемся, как только подрастем, отомстить Франции за обиду, нанесенную немецкому солдату. Сердечным приветом. Курт и Вальтер Ригельхейм, гимназисты из Рейхенау». *(Откладывает телеграмму.)* Боевые парни!

Фрау Даубман *(прислушиваясь к звукам, доносящимся из комнаты Хуммеля, говорит тихо, с восторгом.)* О господи! Какое бодрое фырканье! *(Даубману, счастливым шепотом)*. Мо-ет-ся!

Даубман *(вскрывает следующую телеграмму, протяжно свистит.)* Скажите, пожалуйста! Слушай, Берта! *(Торжественно читает.)* «Дорогому Рудольфу Даубману, бывшему солдату корпуса, которым я командовал на Западном фронте, шлю сердечные поздравления по случаю славного возвращения на родину. Жму руку. Фон Каненберг, генерал-лейтенант в отставке». *(Всматривается в телеграмму.)* Фон Каненберг, генерал-лейтенант! Скажите, пожалуйста! Эту телеграмму отложим в сторонку, не так ли, Берта?

Фрау Даубман *(что-то ищет в буфете)*. Как хочешь, дорогой, как найдешь нужным.

Даубман *(роется в корреспонденции, перекладывает газеты)*. Как ты думаешь, Берта, пожалуй, письма мне не следует вскрывать?

Фрау Даубман *(садится рядом с ним на скамеечку)*. Признаюсь, Иоганн, меня эти бумажки мало интересуют.

Даубман *(шокированный)*. Это плохо, Берта! Что же, в таком случае, тебя интересует?

Фрау Даубман. За четыре дня ни минуты покоя! Замучают нашего мальчика...

Даубман *(строго)*. Ты малодушная женщина! Я стыжусь твоих слов!

Фрау Даубман *(не отрывая глаз от двери в комнату Хуммеля)*. Может быть, Иоганн, может быть! Но, по правде сказать, все это случилось так внезапно! Очень уж трудно привыкнуть к мысли, что мальчик жив. Что он, к примеру, моется сейчас там, за этой дверью. И что голос его снова... звучит в этих стенах... *(Очень тихо.)* Признаюсь, Иоганн, я хочу, чтобы он хоть в эти первые дни принадлежал исключительно мне!

Даубман. Отвратительный эгоизм! Лично мне это чувство совершенно незнакомо! Я полностью примирился с тем, что наш Рудольф с момента своего триумфального возвращения стал, так сказать, общественной личностью, собственностью всей нации! Не забывай, дорогая Берта, что это уже не тот маленький Руди, который пятнадцать лет назад был робким мальчиком в гимназической форме.

Фрау Даубман *(задумавшись)*. О да... Просто удивительно, до чего он изменился! Порой мне кажется, что это совсем другой человек, будто бы я его никогда и не знала! Иногда мне даже жутко становится, как подумаю об этом...

Даубман. Ничего удивительного, Берта. Пятнадцать лет он жил в нашей памяти таким, каким был, когда уезжал на фронт. А ведь он эти годы рос, развивался, страдал, столько пережил! Я больше удивляюсь тому, как он вынес все это, а не тому, как изменился.

Фрау Даубман. Возможно, Иоганн, возможно. Как-никак он уже зрелый мужчина.

Даубман. Больше того, Берта! Он герой, о котором говорит вся Германия! *(С живостью.)* Да! Ты уже смотрела сегодняшние газеты?

Фрау Даубман *(раздраженно)*. Ты же знаешь, Иоганн, что я газет в руки не беру... *(очень тихо)* с того дня, когда пятнадцать лет назад в сообщении с Западного фронта... среди фамилий убитых и пропавших без вести... *(Вынимает носовой платок, прикладывает к глазам.)*

Даубман *(вспылив)*. Ну, Берта! Ты совсем спятила! Какая-то болезненная слабость духа! Ты просто позоришь Рудольфа, а он всегда отличался твердым характером.

Фрау Даубман *(перебивая его)*. Всегда? А ты помнишь, Иоганн, то последнее письмо, которое Рудольф прислал из окопов в ноябре семнадцатого года?

Даубман *(вскакивает, взволнованный и смущенный, говорит, понизив голос, гневно)*. Побойся бога, Берта! Не смей даже заикнуться кому-нибудь о том письме! Надеюсь, что Рудольф сам забыл о злосчастном документе, который — если бы не твое малодушие — следовало давно уничтожить!

Фрау Даубман *(смотрит ему в глаза, спокойно)*. Вчера я дала ему все его фронтовые письма. *(Подчеркнуто.)* Это тоже. Он читал его в постели.

Даубман *(взволнованно)*. Скверно, очень скверно! Хотя... не сомневаюсь, что свое последнее письмо он уничтожит собственноручно. Я даже уверен, что он уже... *(Замолкает, увидев входящего Хуммеля)*.

Входит Хуммель. Он выбрит, тщательно причесан, в хорошем светлом костюме, темных очках; движения его сдержанны, во всем поведении чувствуется настороженность человека, которого всюду подстерегает опасность; говорит неестественным приглушенным голосом.

Фрау Даубман *(вскакивает, сияя, идет ему навстречу.)* А-а! Появился наконец, соня! Мы заждались с завтраком.

Хуммель *(целует ей руку, потом щеку)*. Добрый день... мама! *(Даубману.)* Добрый день... папа!

Даубман *(собирает газеты и корреспонденцию)*. Ну, мальчик, есть вещи поважнее завтрака.

Фрау Даубман *(настойчиво)*. Ну нет! *(Тянется к звонку над столом.)* Завтрак прежде всего, мои дорогие. *(Заботливо усаживает Хуммеля за стол слева от себя.)*

Даубман *(кладет перед Хуммелем груду корреспонденции)*. Вот, дорогой Рудольф, сегодняшняя порция! *(Смеется.)* Семнадцать телеграмм, двадцать пять писем, ну и — разумеется — пресса. И какая пресса! Одним словом, мы стали знамениты не на шутку. Но это ко многому обязывает, мой мальчик! Ты теперь должен на каждом шагу следить за собой, помнить, кто ты такой.

Из передней входит Труда с подносом, на нем кофейник, молочник, булочки; с помощью фрау Даубман она расставляет все это на столе и удаляется, сделав Хуммелю книксен.

Хуммель *(Даубману с нервным смешком)*. Не беспокойся, отец! Все эти четыре дня мое внимание сосредоточено только на том, что я — Рудольф Даубман! Поверь мне, забыть это я смогу разве что во сне.

Даубман *(простодушно)*. Поэтому не советую тебе, мой мальчик, спать слишком много.

Фрау Даубман *(разливая кофе)*. Отец хочет видеть тебя все время как бы на сцене. Это ужасно, правда, Руди?

Хуммель. Признаюсь, это несколько утомительно.

Фрау Даубман. Вот видишь, Иоганн. Я говорю то же самое!

Даубман *(садится к столу)*. Ну, вы оба преувеличиваете. *(Взглянув на стол.)* Что я вижу, Берта! Лепешки с тмином!

Фрау Даубман *(счастливым голосом)*. Сюрприз для Рудольфа. *(Нежно.)* Помнишь, мальчик, ведь это твое любимое лакомство!

Хуммель *(безразличным тоном)*. Лепешки с тмином? А, что-то припоминаю...

Фрау Даубман *(пододвигает ему тарелку)*. Попробуй! Труда их отлично делает, не хуже, чем пятнадцать лет назад.

Даубман *(отхлебывая кофе)*. Пятнадцать лет эти лепешки не появлялись на нашем столе...

Фрау Даубман *(тихо, с упреком)*. Не напоминай, Иоганн! *(Внезапно разволновавшись, вынимает платок, но, овладев собой, оживленно продолжает.)* А с этими лепешками — помнишь, Руди,— какая приключилась история? Ты учился тогда в шестом классе... нет, в пятом. Однажды пришел из гимназии весь в слезах, с синяком под глазом.

Хуммель. Под левым, кажется...

Фрау Даубман. Нет, под правым, прекрасно помню. Как раз в то утро я дала тебе на завтрак лепешки с тмином, а у тебя их стащили на перемене.

Хуммель *(смеется, уверенным тоном)*. Помню, помню! Это сделал маленький Шпорн с третьей парты.

Фрау Даубман. Да, но ты вначале заподозрил кого-то другого.

Хуммель *(с безразличным видом разламывая булочку)*. А, этого... Хуммеля.

Ф р а у Д а у б м а н. Вот именно! Хуммель, кажется, был сыном часового мастера. После того как учитель пристыдил его перед всем классом, Хуммель расправился с тобой на улице.

Х у м м е л ь *(убежденно)*. Он этих лепешек в глаза не видал!

Ф р а у Д а у б м а н. Да, но лишь на следующий день обнаружилось, что виновником был...

Х у м м е л ь. ...этот маленький Шпорн с третьей парты!

Ф р а у Д а у б м а н *(после паузы, помешивая ложечкой кофе)*. Помнится, ты после этой истории даже подружился с Хуммелем. Верно, Руди?

Х у м м е л ь *(равнодушно)*. Кажется... Что-то в этом роде, хотя, честно говоря, я дружил со многими...

Д а у б м а н *(быстро покончив с завтраком, вытирает губы салфеткой)*. Я уважаю трогательные воспоминания, но, дорогой Рудольф, мне нужно обсудить с тобой более существенное дело. *(Берет одну из газет.)* Сегодняшняя «Эндингенер рундшау»...

Ф р а у Д а у б м а н. Еще кофе, Руди. Кушай, пожалуйста!

Х у м м е л ь *(налив себе кофе)*. Я слушаю, отец.

Д а у б м а н. Сегодняшняя «Эндингенер рундшау» выступает с глубоко мотивированной инициативой...— послушайте только, мои дорогие! — с инициативой создать... *(торжественно)* «национальный фонд для Рудольфа Даубмана»! Сама редакция, возглавляя кампанию по сбору средств, вносит сто марок! *(Разворачивает газету.)* Пожалуйста, вот на первой странице крупными буквами: «Создадим национальный фонд для Рудольфа Даубмана!»

Хуммель и фрау Даубман склоняются над газетой. Даубман торжествующе смотрит на них, развалясь на стуле.

Ну, вот! Что вы на это скажете, мои дорогие?

Ф р а у Д а у б м а н *(неуверенно)*. Национальный фонд для Рудольфа? Не понимаю, Иоганн, что это значит.

Х у м м е л ь *(смеясь)*. Ч т о, это понятно, мама. А вот сколько?

Д а у б м а н *(жене)*. Не понимаешь? Ничего удивительного. Это все результаты твоего равнодушия к общественным делам. Национальный фонд пожертвований для Рудольфа — что может быть проще! *(Хуммелю.)* Я не хочу преувеличивать, мой мальчик, но полагаю, что ты достаточно послужил на благо родины. Так думают, впрочем, все честные немцы. Сам посуди... несмотря на всю свою известность, ты сейчас находишься, мягко говоря, в несколько затруднительном положении.

Х у м м е л ь *(вполне искренне)*. О, несомненно!

Д а у б м а н. Обсудим это с житейской точки зрения. Если не считать твоего героического звания, ты, собственно, никто.

Ф р а у Д а у б м а н *(с упреком)*. Иоганн!

Д а у б м а н. Извини, Берта, позволь мне закончить. Ты, Рудольф,— никто, хотя отдал свои лучшие годы родине, а вернее — врагам родины. Твои ровесники за это время — по крайней мере многие из них — стали, так или иначе, настоящими людьми и благодаря своим способностям, образованию или смекалке занимают определенное положение в обществе. Если бы мы принадлежали к среде людей имущих, тогда другое дело. Но ты знаешь, мой мальчик, что семья чиновника к избранным мира сего не принадлежит. Особенно теперь, когда я уже на пенсии...

Ф р а у Д а у б м а н *(резко)*. Ах, Иоганн! Я не понимаю, как ты можешь...

Д а у б м а н *(прерывает ее)*. Я это говорю к тому, что инициатива редакции «Эндингенер рундшау» как нельзя более своевременна. Это может решающим образом изменить твое будущее, Рудольф.

(К фрау Даубман.) Я объясню тебе, в чем суть. «Эндингенер рундшау» начала широкую кампанию по сбору пожертвований, чтобы Рудольф мог жить в условиях, отвечающих тому, так сказать, моральному положению, которое наш сын занимает в сердцах своих соотечественников.

Хуммель *(спокойно)*. Ты считаешь, отец, что эта кампания может дать сколько-нибудь солидные результаты?

Даубман. Разумеется! «Национальный фонд» — не шутка! Создание его должно не только стать торжественным событием, но и ознаменоваться кругленькой суммой. Это уж обязательно, мой милый. Тут сомнений быть не может.

Фрау Даубман *(задумчиво)*. Боже мой! Это было бы неплохо. Ты мог бы купить, мой мальчик, скажем, хорошую загородную усадьбу или заняться изучением инженерного дела... Или медицины...

Даубман. Думаю, что сможет и то и другое.

Хуммель. Конечно. Но обо всем этом мы начнем думать, когда результаты кампании «Эндингенер рундшау» станут, так сказать, о-щу-ти-мы-ми.

Даубман. Во всяком случае, Рудольф, я полагаю, что тебе следует сегодня же открыть счет в банке. Этим ты облегчишь инициаторам кампании, я бы сказал, техническую сторону дела.

Хуммель *(оживившись)*. Да! Счет в банке — это неплохая идея!

Даубман. Пожалуй, лучше всего в нашем эндингенском отделении Западногерманского банка.

Хуммель *(озабоченно)*. А это солидное учреждение, отец?

Даубман. Да, оно заслуживает всяческого доверия. Свои небольшие сбережения я тоже храню там. Вот хорошо — сходим туда сегодня, скажем, в час дня. Только я прежде загляну к редактору «Эндингенер рундшау» и уточню некоторые подробности... организационно-пропагандистского характера.

Хуммель. Я свободен до трех часов. Потом сюда должны явиться члены какого-то комитета, они хотят, чтобы я сделал доклад о том, что мне довелось пережить в Африке.

Даубман. Знаю, знаю. Значит, договорились: встретимся в холле банка... Запомни: на Бюловплац. *(Поднимается со стула.)* Ну, будьте здоровы, мои дорогие! *(Идет в переднюю, у самой двери оборачивается.)* Да, Берта, не забудь проверить, отдала ли Труда в чистку мой цилиндр. Завтра мне снова без него не обойтись! *(Уходит.)*

Фрау Даубман *(вопросительно смотрит на Хуммеля)*. Завтра? А что намечено на завтра, Руди?

Хуммель *(тяжело вставая)*. Банкет в мою честь, мама. Банкет в ратуше. *(Подходит к креслу на авансцене слева, садится.)*

Фрау Даубман *(долго смотрит на него; встает, придвигает стул к креслу и садится; нежно поглаживая руку Хуммеля, говорит вполголоса)*. Уже три дня, как ты вернулся, мой мальчик, а мы так мало были одни. Утомляют тебя, наверно, все эти бесконечные торжества, да?

Хуммель *(тихо, неискренне рассмеявшись)*. Общественный долг, мама.

Фрау Даубман *(внезапно вспылив)*. Ненавижу их! *(И тут же опустив голову, словно смутившись, умолкает. После паузы.)* А ты, ты?

Хуммель *(мягко)*. Мне лучше всего с тобой... мама...

Фрау Даубман *(просияв)*. Это хорошо! Хорошо, мой мальчик! *(Доверительно.)* Знаешь, мы должны как можно больше быть вместе! Мне ведь заново приходится привыкать к тебе. К твоему голосу. К твоему лицу. *(Вдруг осторожно снимает с Хуммеля очки.)* Эти стекла портят тебя — без них ты мне ближе!

Хуммель *(нервно улыбаясь)*. Мне нужно лечить глаза, мама... *(Откидывает голову, закрывает глаза. Неестественным тоном.)* А ты должна как можно больше рассказывать мне... обо мне. О моем детстве. Мне тоже приходится заново привыкать — к себе! *(Открывает глаза, более естественно.)* В окопах меня однажды контузило, разорвалась мина, и меня засыпало землей... Это катастрофически повлияло на мою память...

Фрау Даубман *(слегка улыбнувшись)*. О, это я уже успела заметить! Господи, ну конечно, мы будем припоминать все! Все! Восстановим в памяти все те счастливые годы!

Хуммель *(с облегчением)*. Только не забудь: на меня в этом смысле рассчитывать не приходится.

Фрау Даубман. Не беспокойся. Моей памяти достанет на двоих. *(Улыбается, внезапно смутившись.)* А знаешь, ты, может быть, станешь смеяться надо мной, но с момента твоего приезда я снова чувствую себя двадцатипятилетней женщиной — такой, как тогда, когда родила тебя! *(Умолкает, прижимается к нему. После паузы.)* Хотя — нет! Не совсем такой. Теперь я ощущаю какое-то беспокойство, которого прежде не было.

Хуммель *(с едва заметным раздражением)*. Думаю, это нервы, мама. Пройдет, когда привыкнешь ко мне... я хотел сказать — к новому состоянию...

Фрау Даубман. Нет, мальчик, нет! Я знаю, откуда это беспокойство! Из-за людей, окружающих тебя, из-за газет, из-за всего этого... *(Умолкает. После паузы.)* Уже на вокзале, когда ты приехал,— эти толпы встречающих, шум, речи... Я стояла оглушенная, полуживая и уже тогда ощутила это беспокойство...

Хуммель *(с циничной откровенностью)*. Уверяю тебя, мама, я тоже чувствовал себя очень неважно... Ты, наверно, заметила?

Фрау Даубман *(овладев собой)*. Ну, все худшее уже позади.

Хуммель *(вяло)*. Вот именно. Я тоже хотел это сказать. Все худшее позади.

Фрау Даубман *(с любовью смотрит на него)*. Ты! Ты! *(Испытующе вглядывается в лицо Хуммеля. Потом говорит прерывистым шепотом.)* Как странно, Руди... как странно! До сих пор я всегда думала, что... что у тебя голубые глаза... как у отца... И только сейчас впервые я увидела, что они, собственно, какие-то серые, что ли?.. Да! Посмотри же мне в глаза, мой мальчик! Ведь я... ведь я пятнадцать лет не видела тебя.

Хуммель с трудом выдерживает ее взгляд.
Раздается стук в дверь, фрау Даубман вздрагивает, словно очнувшись от забытья, оба поворачиваются к двери.
Появляется Труда. Она вносит в комнату роскошную корзину цветов.

Труда. Посыльный принес для господина Рудольфа.

Фрау Даубман *(поднимается)*. Ах, какие чудесные розы! Только, право, я уже не знаю, куда их ставить... *(Идет к буфету, вынимает деньги. Труде.)* Пожалуйста, передайте посыльному.

Труда уходит.
Хуммель тоже встает, осматривает цветы, замечает визитную карточку, приколотую к ручке корзины, берет ее и молча разглядывает.

Фрау Даубман *(возвращаясь)*. Новый поклонник, Руди?

Хуммель *(через плечо, равнодушно)*. Поклонница!

Фрау Даубман. О, мой мальчик, это опасно. Кто же она?

Хуммель *(протягивает ей карточку)*. Фамилия мне ничего не говорит.

Фрау Даубман *(взглянув на карточку)*. «Эльза Хеедберг»... *(Взволнованно.)* Это, вероятно, недоразумение, Руди! *(Поворачива-*

ет карточку, читает с негодованием). «Со словами восхищения молодому герою». Нет, это немыслимо! Немыслимо!

Хуммель *(пожимает плечами).* Но, мама, я не вижу в этом ничего особенного...

Фрау Даубман *(резко).* Эльза Хеедберг? Да ведь это женщина самого низкого пошиба! Она появилась в Эндингене два года назад с мужем, старше ее чуть ли не на пятьдесят лет. И никто не удивился, когда он умер, не прожив и года. С тех пор фрау Хеедберг ведет веселый образ жизни. Выдает себя за баронессу, но ее общественное положение совершенно недвусмысленно! И эта особа осмеливается... Нет, это невероятно!

Хуммель *(спокойно).* Но, мама, ведь я, как утверждает отец, принадлежу всему обществу...

Фрау Даубман. И все же, Рудольф, существуют определенные границы. Границы приличий и такта! Нет, ты решительно должен отослать цветы обратно...

Хуммель *(шутливо).* Что касается меня, мама, я, пожалуй, предпочел бы навестить госпожу Хеедберг, чтобы поблагодарить ее лично. Уверен, что у нее не будет так скучно, как на банкете в ратуше.

Фрау Даубман. Упаси тебя бог, Рудольф, от такого легкомысленного поступка!

Хуммель *(смотрит на цветы, с улыбкой).* И все же... Эти розы великолепны. *(Нюхает цветы.)* Госпожа Хеедберг, вероятно, красивая женщина?

Фрау Даубман *(с раздражением).* Говорят, да...

Хуммель *(отходит от корзины, издали любуется цветами, говорит как бы про себя).* Жаль... жаль...

Фрау Даубман. О чем ты, Рудольф?

Хуммель. Жаль, что репутация госпожи Хеедберг не так прекрасна, как ее цветы.

Фрау Даубман *(молча берет Хуммеля за руку и долго смотрит ему в глаза; вдруг начинает тихо, прерывисто смеяться).* Ах, Руди! Вот какая я смешная, старая женщина! Мне и теперь кажется, что ты все тот же семнадцатилетний мальчик... *(Покачав головой, выпускает его руку.)* Эх ты, мужчина! *(Подходит к столу и опирается на спинку стула.)*

Слышен громкий стук в дверь.

Хуммель. Что за черт, дверь сегодня не закрывается. Войдите! *(Незаметно нащупав в кармане очки, надевает их.)*

Входит Бумюллер. Его движения скованны и угловаты.

Бумюллер. Добрый день! *(Пружинистым шагом приближается к фрау Даубман, целует ей руку.)* Прошу великодушно простить, до сих пор не имел чести... *(Хуммелю.)* Но вы-то, Рудольф, сразу узнали меня, не правда ли?

Хуммель *(смутившись).* Видите ли... что-то... не припоминаю... Хотя, сказать по правде, ваше лицо кажется мне знакомым...

Бумюллер *(крепко жмет ему руку).* Я — Бумюллер!

Хуммель. Бу-бу-мюл-лер? Да, да...

Бумюллер. Капитан запаса. В свое время — в свое время, господин Даубман, на фронте, командир вашей роты!

Хуммель. Правда, правда... *(Нервно смеется).* Ну, конечно! Теперь припоминаю! Извините, но я на своем веку столько встречал лиц и столько слышал фамилий...

Бумюллер. Это вполне простительно! Я вас прекрасно понимаю. *(Бросает неуверенный взгляд на фрау Даубман).*

Хуммель *(пододвигает ему стул).* Прошу, присаживайтесь, капитан!

Фрау Даубман. Вы, наверно, хотите побеседовать с моим сыном, в таком случае... не стану вам мешать. Рудольф, если тебе что-нибудь понадобится, я на кухне. *(Уходит.)*

Бумюллер *(садится, внимательно смотрит на Хуммеля)*. Так вот, господин Даубман! В самом деле, это редкое счастье, когда встречаешь старого товарища по оружию через столько лет!

Хуммель. Вполне разделяю ваши чувства, господин капитан.

Бумюллер. Вы нисколько, нисколько не изменились с тех пор, честное слово!

Хуммель *(сразу почувствовав себя свободнее)*. Ну, все же... Кажется, я немного вырос, возмужал...

Бумюллер. А, это верно. В семнадцатом году вы были гораздо худощавее. Зато лицо, улыбка, искренний взгляд — о, это я сразу узнал!

Хуммель *(иронически)*. Ваша удивительная память, капитан, прямой укор моей...— гм! — забывчивости.

Бумюллер. Дорогой господин Даубман! В моей роте было свыше двухсот человек, но лица моих бравых солдат и по сей день стоят у меня перед глазами! И знаете, чем я это объясняю? Война, господин Даубман, порождает высшие формы общения между людьми, которые ей служат,— формы, я бы сказал, самого совершенного симбиоза душ, более крепкого, нежели всевозможные гражданские узы, в том числе и семейные. Инстинкт, дорогой Рудольф, инстинкт в его чистом виде — вот чудодейственная сокровенность войны! И этот инстинкт сохраняется у нас навсегда. Благодаря ему мы, солдаты, безошибочно узнаем друг друга даже спустя многие годы.

Хуммель *(с явной насмешкой)*. Вы говорите необычайно убедительно. Тем более сожалею, что в первую минуту я как-то...

Бумюллер. Ну, вас целиком оправдывают на редкость тяжелые испытания, которые выпали на вашу долю. Да, что вы скажете о нынешнем положении дел в нашем отечестве?

Хуммель *(дипломатично)*. Я предпочел бы пока не высказываться на эту тему. *(С улыбкой показывает на очки.)* Боюсь, что сквозь эти стекла я вижу все скорее в мрачном свете...

Бумюллер *(понизив голос, серьезно)*. Действительность значительно мрачнее ваших очков. *(С пафосом.)* Пока мы не разделаемся с некоторыми людьми... Впрочем, я уверен, что вы сами во всем разберетесь в скором времени!

Хуммель. Несомненно. Как только немного приду в себя.

Бумюллер *(доверительно)*. Я готов помочь вам в оценке нашей политической обстановки. Надеюсь, что соединяющие нас узы военной дружбы облегчат взаимопонимание. Кстати, я слышал, вы собираетесь в ближайшее время прочесть несколько докладов о своих мытарствах в неволе?

Хуммель. Да, я получил такое предложение...

Бумюллер. Великолепная идея! Но, по-моему, это дело нужно организовать с дальним прицелом, под определенным углом зрения. Такие доклады могут стать отличным средством пропаганды в нашем отравленном веймарскими иллюзиями обществе — при условии, конечно, что вся эта кампания будет опираться на уже существующие реальные силы национального возрождения, мощным выразителем которых является... Да, вот еще что пришло мне в голову: кроме докладов вы могли бы выступить и с книгой — опубликовать в виде дневника историю ваших скитаний в плену. Как вы на это смотрите?

Хуммель *(несколько озадачен)*. Признаться... Гм! Боюсь, что я не владею настолько пером.

Бумюллер. Помнится, в свое время вы отлично владели винтовкой и штыком. В таких руках и перо должно быть послушным! Писать

вовсе не так трудно, как это пытаются нам втолковать всякие прогнившие интеллигентики. Впрочем, если вы сочтете уместным, я готов в какой-то мере помочь в обработке ваших мемуаров...

Хуммель *(рассеянно)*. Ну что ж, над этим можно подумать...

Бумюллер. Подумать? О нет, зачеркнем это слово! Думать, дорогой Даубман,— это предрассудок, которому мы, немцы, не можем сегодня следовать! Да, предрассудок, и вдобавок еврейского происхождения! *(Подчеркивая каждое слово.)* Не думать, приятель, надо, а действовать! Действие, господин Даубман, действие — это все! Простите, а вы уже читали?.. *(Умолкает, прислушивается.)*

С улицы врывается гул множества голосов, отчетливо слышны возгласы: «Хайль! Хайль! Даубман! Даубман!»

Бумюллер *(слегка поклонившись Хуммелю)*. Вот видите, какая популярность!

Входит фрау Даубман, останавливается, неуверенно глядя то на Хуммеля, то на Бумюллера.

Хуммель *(Бумюллеру)*. Как всегда в это время! Школьная молодежь устраивает манифестации перед нашим домом. *(Встает.)* Я должен показаться им, ничего не поделаешь. *(Идет к балкону.)*

Голоса с улицы: «Даубман! Даубман!»
Бумюллер подходит к одному из окон, отодвигает занавеси. Фрау Даубман неподвижно стоит посреди комнаты, заглядевшись на Хуммеля, и нервно теребит платок.
Хуммель, опираясь руками на перила балкона, смотрит вниз; одним и тем же автоматическим движением он кланяется направо и налево.
Рев на улице усиливается.

ВТОРАЯ КАРТИНА

Прием в ратуше. Одна из боковых гостиных. Бра под абажурами создают уютный полумрак. Несколько дверей с портьерами открыты настежь, сквозь них проникает яркий свет из других гостиных, оттуда доносятся смех и разговоры. Камин с зеркалом, пальмы, несколько старинных портретов на стенах. Посредине диванчик, небольшие кресла, столик.
Фрау Даубман и учитель Зейденштосс входят с правой стороны.

Зейденштосс. Увы, мне не везет, уважаемая фрау Даубман! Не успел я перекинуться и словом с дорогим Рудольфом, как его увел кто-то из наших сановников.

Фрау Даубман. Могу вас порадовать: я мать, но мне повезло не больше вашего.

Зейденштосс. О, я вовсе не жалуюсь! Что ж, я лишь скромный учитель гимнастики. Мне достаточно сознания, что... *(торжественно)* Рудольф Даубман был когда-то моим учеником! Ого, и самым бравым учеником! Помню, как ловко он проделывал упражнения с булавами. А опорные прыжки! В прыжках он не знал себе равных!

Фрау Даубман. Но, господин Зейденштосс, насколько я помню, Рудольф всегда считался скорее болезненным мальчиком. Именно гимнастика была его слабым местом в школе. А спорт — спорт он просто не любил!

Зейденштосс. Не любил спорт? Интересно, а мне казалось... *(Вдруг просияв.)* Впрочем, все это неважно, уважаемая фрау Даубман! Зато теперь мы примем его в почетные члены нашего спортивно-гимнастического союза «Германия», председателем которого являюсь я! Уверяю вас, что в ближайшие же дни мы вынесем соответствующее решение. *(После паузы.)* А все же до чего неисповедимы пути господни!

Фрау Даубман. Правда! Трудно даже поверить... *(Заглянув в одну из дверей.)* Этот великолепный прием сегодня... *(Простодушно.)* Искренне признаюсь вам — это выше моих сил.

Зейденштосс. Мужайтесь, мать героя!

Фрау Даубман *(с неожиданным раздражением)*. Нет! Я не хочу думать о герое! Я все время думаю только... *(подчеркнуто)* о сыне! О моем сыне!

Зейденштосс. Ах, уважаемая фрау Даубман, узость личных чувств не к лицу немецкой женщине! Как же так? Неужели ваше сердце не преисполняется гордости при мысли...

Фрау Даубман *(взволнованно)*. Господин Зейденштосс! Гордость, о которой вы говорите,— обман!

Зейденштосс *(сурово)*. Ради всего святого! Кто вас этому научил?

Фрау Даубман *(приглушенно)*. Пятнадцать лет я оплакивала единственного сына, это страшная школа, господин учитель Зейденштосс! *(После паузы, овладев собой, со слабой улыбкой.)* Оставим это. Вы все равно меня не поймете.

Зейденштосс. Признаться, да... *(С гордостью.)* Мы, спортсмены...

Фрау Даубман *(прерывая его)*. Извините, вы не поможете мне разыскать мужа?

Зейденштосс *(предлагая руку)*. К вашим услугам! *(Идут налево.)* Я только что видел его вместе с бургомистром Хинке в буфете...

Уходят.

Из двери в глубине сцены появляются Хуммель в вечернем костюме, Бумюллер с орденами на груди и Меркле в коричневом мундире штурмовика; все трое курят сигары; Хуммель нервничает, поминутно вынимает платок и вытирает вспотевший лоб.

Меркле. Ничего удивительного, дорогой господин Даубман, что вы еще не совсем ориентируетесь в расстановке сил, которая существует в национальной жизни сегодняшней Германии. Но даже находясь в Африке, вы, должно быть, кое-что слышали о нашем бурно развивающемся движении?

Хуммель *(с кривой усмешкой)*. Само собой разумеется! Даже больше скажу: национал-социализм — весьма популярное течение среди воинственных североафриканских племен.

Бумюллер. Это здорово! *(Хохочет.)* Замечательно, верно, камрад Меркле, а? *(Вдруг став серьезным.)* Хотя, кто знает.. Это, пожалуй, еще один факт, подтверждающий наши права по отношению к низшим расам, особенно самым низшим!

Меркле. Еще бы, колониальная проблема! Придет время и для нее!

Бумюллер. Впрочем, я, господа, всегда утверждал, что на лестнице расовой иерархии негры стоят ступенькой выше евреев. Помните, Даубман, этих дьяволов сенегальцев, с которыми нашему полку пришлось так туго в сражении под Гранкуром в августе семнадцатого года?

Хуммель. Конечно, прекрасно помню! О, это был исключительно кровавый день! И если б вы, капитан, не поддержали нас тогда своим примером и боевым духом...

Бумюллер *(удивленно)*. Ну, это не совсем точно, мой дорогой Даубман! В битве под Гранкуром я лично не принимал участия. Как раз тремя днями раньше меня увезли в лазарет. Про сенегальцев мне рассказали уже позднее.

Хуммель *(кашляет, затянувшись сигарой)*. Верно! Верно, господин капитан! *(Нервно смеется.)* Прошу извинить за эту небольшую... историческую неточность!

Меркле. Люблю послушать, когда старые вояки вспоминают дела давно минувших дней, но, господа, давайте поговорим о делах более

актуальных! Сегодняшнее торжество, господин Даубман, наводит меня на некоторые размышления... *(Указывает на диванчик и кресла.)* Может быть, присядем? *(Садятся.)* Так вот, не подлежит сомнению, что вы, дорогой господин Даубман, являетесь сегодня национальным героем. Правда, нация, как таковая, является скорее понятием, идеей! Разумеется, самым высоким понятием, ведущей идеей, направляющей! В обыденной жизни мы имеем дело с реальным объединением сил. Вы меня понимаете: я говорю о политических партиях.

Хуммель. Признаться, я лично склонен к беспартийности...

Меркле. Понимаю. Но вам должно быть известно, что достигнуть идеала беспартийности во всеобщем национальном масштабе на практике можно лишь при абсолютной победе одной партии, точнее говоря — нашей партии! Как видите, ваши склонности и наши политические устремления идут по одному пути. Из этого можно сделать определенные практические выводы, которые мы и должны об-судить! Так, капитан Бумюллер?

Бумюллер *(понизив голос)*. Прежде всего — выборы!

Меркле. Вот именно! Вы, может быть, слышали, господин Даубман, что через несколько недель мы здесь будем избирать местный ландтаг. Наша партия придает большое значение такого рода политическим кампаниям, хотя в принципе мы — противники проклятой парламентской демократии! Вы понимаете — речь идет о мобилизации сил, об идущих за нами массах! *(После паузы.)* В нашем фрейбургском округе предстоит нелегкая борьба...

Хуммель. Вот как? Я и не предполагал.

Меркле. Вы думаете — с марксистами? Ничего подобного. Наш округ, как вам известно, преимущественно аграрный, и этим господам рассчитывать здесь на серьезный успех не приходится. Наш противник — Немецкая народная партия. Увы! До сих пор они имели над нами перевес, тем более что административный аппарат страны находится в значительной степени под их влиянием.

Хуммель. Скажу откровенно: у меня никогда не было особенно дружеских отношений с административными властями...

Меркле. Вот и прекрасно! Тем легче будет приобщить вас к нашему движению. *(Понизив голос, но отчетливо.)* Одним словом, мы хотим, чтобы ваша фамилия открывала список кандидатов в ландтаг!

Хуммель *(ошеломленный)*. Так ведь, господа... я... я, честное слово... не представляю себе!.. Я вообще в политических проблемах...

Бумюллер. Пустяки! Кто говорит о проблемах? Мы ничего решать не собираемся, у нас другая цель: с в я з а т ь! Связать наш великий народ... *(с пафосом)* мифом крови и почвы!

Хуммель. Я не совсем вас понимаю, но...

Бумюллер. Неважно! Мы вас очень быстро введем в курс дела. Я лично берусь познакомить вас с принципами нашей программы — одного вечера вполне хватит!

Меркле. Мы снабдим вас нашими изданиями, прессой, пропагандистскими брошюрами. Чего мы хотим? Чтобы вы выступили с речью на нескольких собраниях — вот и все!

Бумюллер. И в конце концов важно не то, что и как вы будете говорить, а то, что вас зовут Рудольф Даубман! Вы, вероятно, отдаете себе отчет, как звучит ваша фамилия в сегодняшней Германии?

Хуммель *(вдруг встает, двумя руками расстегивает воротничок, говорит слабым голосом)*. Простите, господа, здесь немного душно... *(С болезненной улыбкой.)* Я еще никак не приду в себя...

Меркле *(заботливо взяв Хуммеля под руку)*. Выйдем на балкон, дорогой Даубман!

Бумюллер *(взяв его под руку с другой стороны)*. Да, да! Немного воздуха... воздуха...

Неторопливо уводят Хуммеля.
Из другой двери появляются Эльза Хеедберг и доктор Бёме; останавливаются, молча наблюдают за уходящими и идут к авансцене.

Эльза *(все еще глядя вслед Хуммелю)*. Бедный парень! За весь вечер никак не удается подойти к нему!

Бёме *(раздраженно)*. Ты хотя бы в моем присутствии...

Эльза. О, ты ревнуешь, Фред?

Бёме *(язвительно)*. Думаю, скорее, — ты. Да, моя милая! Среди сателлитов, вращающихся вокруг героя вечера вот уже два часа, ты выглядишь звездой, горящей самым нетерпеливым пламенем!

Эльза. А что такое сателлит, Фред?

Бёме *(предлагает ей сигарету)*. Небесное тело, дитя мое,— тело, которое вращается! Но, увы, герой в столь плотном окружении, что прекрасная звезда начинает проявлять некоторое беспокойство... Не пытайся отрицать! Я отлично читаю это в твоих глазах!

Эльза *(наигранно)*. Тебе все кажется, мой дорогой!

Бёме. Наоборот, я совершенно уверен, что ты охотно впряглась бы в колесницу героя!

Эльза. Отстань! Мне просто жалко этого парня!

Бёме *(вдруг став серьезным)*. А знаешь, может, ты и права! Похоже, что этот человек только сейчас стал мучеником. Потеет, как в бане, хотя...— гм! — якобы привык к африканской жаре. Кстати, ты слышала, Эльза, его речь сегодня? Черт побери! Между нами говоря, она звучала как плохо вызубренный урок.

Эльза. Ты слишком суров, Фред! И попросту относишься к нему с предубеждением! *(Игриво.)* Не каждому дано быть таким оратором, как ты.

Бёме *(серьезно)*. Боюсь, что коричневые уже делают ставку на этого коня. Надо отдать им справедливость, они куда поворотливее, чем мы — Немецкая народная партия!

Эльза. Я в ваших делах не разбираюсь.

Бёме *(некоторое время молча курит, затем, оглядевшись вокруг, говорит, понизив голос)*. И все же... в данном случае ты, Эльза, можешь оказать нам важную услугу.

Эльза *(насмешливо)*. Догадываюсь!

Бёме. Отлично. Это значительно облегчит наш разговор.

Эльза. Но твое присутствие никак не облегчит выполнение задачи, для которой ты хочешь меня использовать...

Бёме. Ах, какие слова! Правда, в устах такой женщины даже банальности звучат очаровательно, но все же...

Эльза. Ладно, хватит. Я тебя поняла, Фред, и сделаю все возможное. *(Смеется.)* Разумеется, не нарушая твоих исключительных прав.

Бёме *(целуя ей руку)*. Надеюсь, Эльза, об этом вообще не может быть речи. Я рассчитываю на твою ловкость, без которой самая пленительная красота становится сокровищем, доступным любому негодяю.

Эльза. Да уходи же, уходи! Тебя ждут в буфете. *(Идет к левой двери.)* До свидания!

Бёме *(протяжно)*. Желаю успеха! *(Смотрит вслед уходящей Эльзе, медленно идет в глубину сцены, сталкивается с Даубманом и бургомистром Хинке. Уходит.)*

Хинке. Да, да, дорогой друг! Я прекрасно понимаю. Это настоящий переворот в жизни вашего тихого дома! Рождение вашего сына

было, если можно так выразиться, относительно ничтожным событием в сравнении с его теперешним, так сказать, воскрешением.

Даубман *(серьезно)*. А вы знаете, Хинке, что случилось при рождении Рудольфа? Фрау Саксель, акушерка, очень рассеянная особа, завернула младенца вместо пеленок — в черно-красно-белое знамя!

Хинке. Это поразительно!

Даубман. Дело в том, что Рудольф родился накануне годовщины взятия Седана. Повсюду в квартире лежали флаги, приготовленные для украшения окон и балкона. Фрау Саксель и схватила второпях один из них... Этот случай заставил нас призадуматься. А сегодня я понял, что он был сим-во-ли-че-ским!

Хинке. Мне кажется, такой факт следовало бы обнародовать.

Даубман *(озабоченно)*. Многое следовало бы, дорогой Хинке! Например, самое время снять мемориальную доску, которую я заказал двенадцать лет назад, уже после войны.

Хинке. А-а! Вы говорите о мемориальной доске на стене нашей гимназии, гордостью и надеждой которой был Рудольф Даубман?

Даубман. Да, именно о ней. Двенадцать лет я почти ежедневно хожу по Гимназиумштрассе и так привык к этой скромной доске с ее красивой золотой надписью...

Хинке. Ничего удивительного! Ничего удивительного!

Даубман. Однако — гм!.. — теперь следует, наверно, снять доску, поскольку...

Хинке. Да, поскольку Рудольф Даубман жив! Ведь содержание надписи на доске сейчас уже не соответствует, я бы сказал, фактическому положению вещей...

Даубман *(задумавшись)*. Это верно! Не со-от-вет-ству-ет! *(После паузы.)* Ничего не поделаешь, придется попросить, чтобы ее сняли. Признаться, я со дня на день откладываю это дело. Для меня есть в нем что-то — гм! — щекотливое! *(Оживленно.)* Хотя, честно говоря, этим скорее должен заниматься городской магистрат, он ведь хозяин здания.

Хинке *(просияв)*. Правильно, дорогой друг! А знаете, сейчас у меня родилась идея простого и притом оригинального решения этого вопроса!

Даубман. Слушаю! Слушаю!

Хинке. Доска останется на своем месте!

Даубман *(удивленно)*. Как это: останется? Ведь на ней написано, что Рудольф Даубман погиб в тысяча девятьсот...

Хинке. А мы только внесем по-прав-ку! Вот как я себе это представляю, получится просто и недорого! *(Чертит пальцем в воздухе.)* Фамилия, разумеется, остается, так же как и следующие за ней слова: «солдат 111-го запасного пехотного полка». А то, что ниже — «погиб на поле славы в 1917 году»,— возьмем в золотые кавычки и перечеркнем жирной красной чертой, как текст, не соответствующий ныне исторической правде. Внизу же на доске будет выгравирована поправ-ка: «Вернулся на родину после пятнадцати лет пребывания в плену»! Ну что, дорогой друг, вижу, вам нравится моя идея!

Даубман *(в восторге пожимает руку Хинке двумя руками)*. Да! Да! Это для меня просто откровение! Теперь, только теперь, с таким текстом, доска Рудольфа Даубмана приобретает глубокий смысл и совершенно новое, я бы сказал позитивное, содержание!

Хинке *(берет Даубмана под руку, ведет к правой двери)*. Видите ли, дорогой Даубман, я как глава города стараюсь решать такого рода трудные и тонкие дела не механически-административным путем, а в подлинно гражданском духе! На ближайшем заседании магистрата мы обсудим вопрос о мемориальной доске.

Даубман *(горячо)*. Что касается расходов, то я охотно приму все на свой счет.

Хинке. Ну, расходы будут незначительные, совершенно незначительные... *(Уходит.)*

Через левую дверь входят Хуммель и полицейский советник Ридингер.

Ридингер *(добродушно)*. Вы, дорогой господин Даубман, честное слово, настоящая примадонна! Успех прямо колоссальный! Только поменьше волнения, дорогой, поменьше волнения!

Хуммель *(с вымученной улыбкой)*. Простите, господин полицейский советник, но я по натуре человек скорее робкий...

Ридингер. Понимаю, прекрасно понимаю. Но не сомневаюсь, что вы постепенно привыкнете ко всему этому! О, перед вами открыт большой и блистательный путь!

Хуммель. Мне приятно это слышать от вас!

Ридингер. Сказать по правде, я рад, что могу с вами поговорить. И поверьте, сегодня это доставит мне большее удовольствие, чем тогда, когда, извините, я буду вынужден говорить с вами по долгу службы! Но, может быть, присядем, вот здесь. *(Показывает на диванчик. Садятся. Хуммель, нервничая, мнет платок в руке.)* Все мы, господин Даубман, каждый на своем посту, служим государству и нации. Нет, пожалуй, я предпочту сказать: республике и немецкому народу! Вы, разумеется, личность героическая, исключительная, вы — представитель нации. А я — простой чиновник, делаю повседневную кропотливую работу. Вы — предмет всеобщего обожания, чуть ли не поклонения, средоточие народных эмоций...

Хуммель *(скромно)*. Мне кажется, господин полицейский советник, я все же... не дорос до такой роли.

Ридингер *(энергично)*. Ну, что вы!

Хуммель. Спокойная жизнь у домашнего очага — вот мое заветное желание, вот что ближе всего моей натуре.

Ридингер *(другим тоном)*. Мне кажется, господин Даубман, мы с вами говорим сейчас на одном языке. И я привык на откровенность отвечать откровенностью: должен признаться, что и я смотрю с некоторым... ну, скажем, опасением на всю эту преувеличенно шумную рекламу, которую устроили вокруг вашей особы наши национал-социалисты. Как будто ваше имя нуждается в рекламе!

Хуммель *(искренне)*. Спасибо вам! Впервые я встречаюсь с таким разумным взглядом на вещи.

Ридингер *(понизив голос)*. По убеждениям я социал-демократ и республиканец. Разумеется, я высоко ставлю патриотизм и доказал это во время мировой войны, а также в ноябре восемнадцатого года. Но как истинный социалист, я сожалею о том, с каким коварством наши... *(Махнув рукой.)* Впрочем, я не об этом хотел сказать.

Хуммель. Пожалуйста, пожалуйста! Говорите, не стесняясь!

Ридингер. Я говорю сейчас с вами, как гражданин и республиканец, как человек здравомыслящий, хотя и чувствительный к проявлениям жертвенности и подлинного героизма. Но — сами понимаете — я еще и полицейский чиновник. Дорогой господин Даубман! Таков уж порядок вещей в этом мире, что даже в самые возвышенные и волнующие события, окруженные ореолом всеобщего почитания, мы, бюрократы, должны, простите, сунуть свой нос.

Хуммель *(слабо улыбаясь)*. Да! Да! Действительно!

Ридингер. В вашем деле, конечно, нет никакой срочности. Но формальности должны быть соблюдены... *(Понизив голос.)* Не скрою от вас, что наше ведомство иностранных дел собирается через ди-

пломатические каналы сделать французскому правительству представление относительно вас.

Хуммель. Но мне кажется, что... я не такая уж важная птица, господин советник! И если бы это зависело от меня...

Ридингер. Мой дорогой, это вопрос государственного престижа!

Хуммель. Я лично предпочел бы... замять это дело!

Ридингер. Ваше великодушие похвально, но это не зависит ни от вас, ни тем более от меня. Во всяком случае, я должен составить по вашему делу, так сказать, служебный доклад...

Хуммель. Что ж, господин советник, я готов в любую минуту...

Ридингер. Очевидно, в середине будущей недели? Лучше всего, если вы заглянете как-нибудь ко мне на службу, в управление полиции Фрейбурга. Для вас это просто небольшая прогулка на машине, поболтаем часок-другой, составим протокольчик — вот и все!

Хуммель. Да, протокольчик — конечно!

Ридингер. И прошу вас, не воспринимайте это чересчур официально!

Хуммель. Простите, господин советник! А нельзя ли все упростить? Я мог бы представить вам в письменном виде готовый подробный и исчерпывающий отчет, который...

Ридингер. Гм! Видите ли, это не совсем соответствует служебным инструкциям. Лично я, разумеется, ничего не имел бы против, но с другой стороны...

Входит слуга в ливрее, осторожно приближается к Ридингеру.

Слуга. Извините, господин полицейский советник, вас просят к телефону. Служба безопасности!

Ридингер *(вставая, Хуммелю)*. Прошу прощения, я на минутку... И кто только придумал эти телефоны! *(Уходит, слуга за ним.)*

Хуммель некоторое время сидит неподвижно, обхватив голову руками; внезапно встает, шатаясь подходит к камину, долго смотрится в зеркало, нервно приглаживая волосы.

Из двери в глубине сцены появляется Эльза, на цыпочках подходит к Хуммелю, кладет руку ему на плечо, говорит едва слышно.

Эльза. Карл...

Хуммель *(в ужасе отшатывается. После паузы, хриплым шепотом)*. Люцци!

Эльза *(тихо смеется)*. Ну, что ты смотришь на меня, как монах на балерину! Это я, в самом деле я, старый ты плут! *(Хватает его за руку и оглядывается. Более серьезным тоном)*. Но здесь мы разговаривать не будем!

Хуммель *(взволнованно)*. Конечно! В любую минуту может кто-нибудь...

Эльза. Придешь ко мне — завтра вечером! *(Вынимает из сумки визитную карточку, протягивает Хуммелю.)* Вот мой адрес. Не забудь: завтра вечером!

Хуммель *(бросает взгляд на карточку)*. Эльза Хеедберг? Это ты? Ничего не понимаю!

Эльза *(прижавшись к нему плечом)*. Поймешь потом! Но не здесь, мой дорогой, не здесь! К тому же ты сейчас какой-то невменяемый.

Хуммель. Погоди, погоди! Так это ты прислала мне... те цветы?

Эльза. А ты даже не соизволил меня поблагодарить. Неважно, сделаешь это завтра. А пока... пока будь здоров, мой дорогой! *(Целует Хуммеля в губы, поворачивается и быстро выходит.)*

Хуммель, ошеломленный, долго и беспомощно смотрит ей вслед.

ТРЕТЬЯ КАРТИНА

Пансионат в горной местности недалеко от Эндингена. Справа часть виллы с большой открытой террасой без балюстрады; несколько каменных ступеней ведут в сад. Сзади видна высокая ограда. В глубине террасы открытая стеклянная дверь в комнату. На террасе разноцветные кресла, в одном из них сидит фрау Даубман, вяжет. Время от времени она подымает голову и смотрит на Хуммеля, который лежит с закрытыми глазами в шезлонге. В открытую дверь осторожно входят госпожа Икс с букетом цветов и господин Игрек с фотоаппаратом через плечо. Останавливаются, смотрят в сторону Хуммеля, потом на цыпочках подходят к фрау Даубман. Господин Игрек тихо покашливает.

Фрау Даубман резко поворачивается к нему, испуганно встает.

Господин Игрек *(с глубоким поклоном)*. Простите великодушно! С нашей стороны это дерзость, но на нас возложена обязанность...

Госпожа Икс *(перебивает)*. Вы не то говорите! Мы пришли сюда не по обязанности, а по велению сердца!

Фрау Даубман *(сухо)*. Простите, не понимаю. Чем могу вам служить?

Господин Игрек. Мы пришли от имени отдыхающих в этом пансионате.. *(Смотрит в сторону Хуммеля.)* К сожалению, кажется, мы пришли в неподходящее время...

Госпожа Икс. Ах, боже мой, до чего обидно! Говорят, вы сегодня уезжаете, это правда?

Фрау Даубман. Да, сегодня вечером. Не понимаю, однако, кто может об этом сожалеть?

Господин Игрек. Все, кто здесь остаются! Увы, мы только час назад узнали, что вот уже два дня среди нас находится... *(с пафосом)* сам Рудольф Даубман со своей уважаемой матерью! Ах, нам понятны тонкие мотивы, которые заставляют героя сохранять волнующее инкогнито...

Фрау Даубман *(подчеркнуто)*. Мой сын приехал сюда отдохнуть всего на два дня, больше ему не позволяют его теперешние *(иронически)* обязанности!

Госпожа Икс *(нежно)*. Ах, не будем говорить сейчас об обязанностях! *(Смотрит в сторону Хуммеля.)* Боже мой, как я вам завидую, что вы можете охранять сон такого юноши! О, это не обязанность, а заслуженная привилегия! Прошу прощения... *(Подходит к шезлонгу, кладет цветы на столик рядом, долго смотрит на Хуммеля.)*

Господин Игрек *(к фрау Даубман)*. Вы разрешите... *(Подходит к шезлонгу, опускается на одно колено, фотографирует Хуммеля, сияющий возвращается, за ним госпожа Икс.)* Да, хотя бы это! *(К фрау Даубман.)* Мы будем вам искренне благодарны, если вы соблаговолите передать вашему сыну... от имени всех отдыхающих наши самые искренние чувства.

Фрау Даубман. Можете быть уверены, непременно передам.

Госпожа Икс. Ну, мы пойдем. *(Протягивает руку фрау Даубман.)* Очень рада, очень рада...

Господин Игрек. Прошу нас извинить! *(Целует руку фрау Даубман.)* Пусть искренность намерений оправдает нашу дерзость. *(Уходят.)*

Фрау Даубман некоторое время глядит им вслед, затем, пожав плечами, возвращается на свое место.

Хуммель *(открыв глаза)*. Да, мама! Подвела твоя конспирация — разоблачили нас.

Фрау Даубман *(подходит к нему)*. Ты разве не спал?

Хуммель. Проснулся минут десять назад... И стыжусь, что тебе, слабой женщине, приходится, так сказать, отражать атаки.

Фрау Даубман *(словно оправдываясь)*. Это, вероятно, славные люди, но если бы они задержались здесь еще минуту, я бы, кажется, их возненавидела.

Хуммель. Да что ты, мама! Ты обошлась с ними чересчур мягко. Черт подери! Им всем кажется, что я — вазон, в который каждый может воткнуть свой букетик!

Фрау Даубман *(обнимает его)*. Не расстраивайся, мой мальчик. Отдыхай! *(Грустно.)* Через час уже нужно укладываться...

Хуммель. К сожалению. *(Смеется.)* А казалось бы, я заслужил более, чем два дня отдыха.

Фрау Даубман *(с горечью)*. Отец с нетерпением дожидается тебя в Эндингене...

Хуммель *(весело)*. В другой раз захватим отца с собой. Но тогда, по меньшей мере, на целый месяц!

Фрау Даубман *(горячо)*. Да, Руди! По меньшей мере! *(Целует его в лоб.)* А теперь, дорогой, я оставлю тебя одного. Пойду купить чего-нибудь сладкого в дорогу...

Хуммель *(поднимаясь)*. Я пойду с тобой, мама!

Фрау Даубман. Нет, нет, мальчик. Полежи еще. Полчасика тоже неплохо. К тому же... *(смеется)* раз уж нас разоблачили, то тебе могут устроить овацию где-нибудь на улице.

Хуммель. Разумное соображение. Ну, тогда я провожу тебя хотя бы до калитки.

Фрау Даубман *(берет с кресла шарф и сумку)*. До калитки — другое дело!

Хуммель *(поддерживая фрау Даубман под руку, ведет ее по ступенькам вниз)*. Только, моя старушка, не нужно тратить много денег. Не думай, что я все еще, как в детстве, обожаю сладости. В Африке я от них совершенно отвык.

Фрау Даубман *(смеясь)*. Тогда я куплю тебе бананов и фиников! Это, кажется, единственное напоминание об Африке, от которого ты не откажешься. Верно, Руди?

Уходят.

На террасе появляется Эльза Хеедберг в изящном дорожном костюме. Осматривается, садится в одно из кресел. Насвистывая, возвращается Хуммель. Со ступенек террасы он замечает Эльзу. С недовольным видом подходит к ней.

Эльза *(смотрит на него с насмешливой улыбкой)*. Да, это я! Поскольку гора не пришла к Магомету... Побойся бога, Карл! Ты что, собственно, думаешь?

Хуммель *(мрачно)*. Думаю, что ты сделала большую глупость. Откуда ты здесь взялась, Люцци?

Эльза. О, это не так уж удивительно. Я знакома с человеком, который очень интересуется твоей особой. Он мне сказал, что ты уехал сюда, а остальное несложно: небольшое путешествие и несколько марок, которые я дала горничной. Прислуга в этом пансионате очень отзывчива.

Хуммель. Понятно, но я удивляюсь...

Эльза. Удивляешься, что я приехала сюда? Это резонно. Ведь ты меня обидел, до сих пор не соизволил воспользоваться моим приглашением — тогда, на банкете в ратуше! К сожалению, успех портит даже самых порядочных людей, не говоря уже о таких проходимцах, как ты.

Хуммель. Если ты приехала, чтобы оскорблять меня...

Эльза. Да ну тебя, Карл! Уж очень ты стал важный! Трудно поверить, что это тот самый человек, которого я знала в добрые времена в

Берлине, когда танцевала в «Альгамбре»... *(Вдруг став серьезной.)* А впрочем, с тех пор мы оба изменились.

Хуммель *(принужденно смеется)*. О да! Сделали, как говорится, карьеру!

Эльза. Ты в особенности! Хотя и я пожаловаться не могу. Мой покойный муж, господин Хеедберг, был старичок состоятельный и очень симпатичный. Ты не представляешь себе, до чего он холил меня — как райскую птичку! Я многим ему обязана, хотя жили мы всего один год.

Хуммель. С его стороны было очень любезно так быстро умереть.

Эльза. О, Хеедберг был чрезвычайно изысканным и воспитанным человеком! Это меня особенно в нем привлекало после такого подонка, как ты!

Хуммель *(задетый)*. Прости, но подонком меня называла только моя жена, не знаю, стоит ли тебе...

Эльза. Что это еще за новости, Карл? У тебя есть жена?

Хуммель. Пустяки! Не стоит вспоминать.

Эльза. Хорошенькие пустяки! Ну-ка, выкладывай. Только не пытайся врать.

Хуммель. Обычная история: женился вскоре после разрыва с тобой.

Эльза *(насмешливо)*. С горя?

Хуммель. Э-э... Кто его знает... Так уж, видишь ли, по-лу-чи-лось. Впрочем, ты ведь тоже!

Эльза. А кто она?

Хуммель *(неохотно)*. Да никто. Не сравнить с твоим Хеедбергом. Кельнерша из второразрядного ресторанчика в Веддинге... Эту женщину я знал давненько, и даже, признаюсь тебе, у нас с ней... както... ну, случайно родился сын!

Эльза. О, этому я верю. И, наверно, не только у нее...

Хуммель. Мальчику было почти четыре года, когда руки пастора за небольшую плату благословили наш союз.

Эльза *(едко)*. Бедняжка! Догадываюсь, что твое супружество было не из счастливых?

Хуммель. Да, для совместной жизни эта женщина оказалась трудноватой. За два года у меня была всего лишь короткая передышка, когда я за одно пустяковое дело просидел несколько недель в тюрьме... Ростом эта женщина невелика, зато энергии в ней...

Эльза *(смеясь, показывает на шрам над глазом Хуммеля)*. Эге, Карл, это, случайно, не она так тебя разукрасила?

Хуммель. Нет, это история посвежее. Неапольская. Память об одном приключении, когда я чуть не поплатился жизнью за невинный флирт с какой-то местной красоткой — след ножа ревнивого матроса, ирландца. *(Тихо смеется.)* Шрам тоже сделал карьеру. Любой ребенок в Эндингене знает теперь, что это след от осколка французской гранаты.

Эльза *(без улыбки)*. Боюсь, что это не смешно. Знаешь, Карл, меня прямо мороз по коже пробрал, когда я увидела тебя на банкете в ратуше... Я уже прежде слышала о некоем Даубмане и даже пожертвовала в какой-то фонд десять марок...

Хуммель. Спасибо, хотя ты не очень расщедрилась.

Эльза. Не в этом дело. Но когда я поняла, что Даубман это вовсе не Даубман, а только ты, Карл, ну, я была просто ошарашена!

Хуммель. Действительно, такое случилось со мной впервые в жизни. И кажется, я влип не на шутку... Но кто бы мог подумать, черт побери! Теперь я убедился, как плохо знал свой народ. Ведь у меня были самые честные намерения. Италия мне наскучила, я хотел содрать с консула немного денег на дорогу, но по некоторым причинам

счел неудобным назвать свою фамилию. Сообразительностью бог меня не обидел, и я решил разыграть небольшую комедию. Конечно, нелегко было влезть в шкуру человека, которого я помнил так мало... допустим даже, хорошо помнил со школьной скамьи... но о котором знал наверняка только одно: что он погиб на фронте. Ну, в консульстве все как-то обошлось. В конце концов одной авантюрой больше в моей бурной жизни. Не мог же я предположить, что все так обернется: почести, демонстрации, триумфальная арка у вокзала... И, что самое удивительное,— довольно солидный капитал!

Эльза *(вздохнув)*. Успех так вскружил тебе голову, что ты не только пренебрег моим приглашением, но даже теперь... *(Резко.)* Послушай, Карл! Ты в самом деле не желаешь поздороваться со мной? *(Хуммель нерешительно подходит к ней, Эльза притягивает его к себе.)* Ну, вот так, Карл! *(Целует его в губы долго и страстно.)* Эх ты... Я тебя так ждала тогда, так ждала! *(Прижимается к нему.)* Еще не завяли цветы, которые я приготовила к твоему приходу...

Хуммель *(вдруг отстраняет ее, оглядывается по сторонам, с тревогой)*. Послушай, Люцци... Сейчас сюда придет эта старая добрая женщина. Твое присутствие будет ей очень неприятно...

Эльза *(резко поднимается, с возмущением)*. Понимаю. Ты очень любезен!

Хуммель *(хватает ее за руку)*. Постой, я тебе объясню...

Эльза. Благодарю, это совершенно излишне.

Хуммель. А все же, раз уж ты сюда пришла, сядь, пожалуйста! У нас еще есть немного времени.

Эльза *(стоит неподвижно, прислонившись к креслу)*. То, что ты хочешь мне сказать, касается той старой женщины? Если так, то...

Хуммель. Поговорим спокойно, Люцци. Я хочу объяснить тебе мое положение.

Эльза. О, твое положение столь блестяще, что ты можешь позволить себе ни перед кем и ни в чем не оправдываться.

Хуммель. Ах, если бы не эта добрейшая женщина, которая поверила или старается поверить, что я и вправду ее сын, если б не то, что ее старое больное сердце...

Эльза. Ого, какой ты стал сентиментальный!

Хуммель. Нет, Люцци! Я не сентиментален. Ты меня немного знаешь. Знаешь, что жизнь обошлась со мной не слишком ласково. Наоборот, я чаще получал пинки, нежели ласку.

Эльза. Надеюсь, что время наших встреч ты расцениваешь иначе.

Хуммель. Это верно. Но в конце концов ведь ты бросила меня ради этого Хеедберга. Ну сядь же, прошу тебя!

Эльза садится, Хуммель прохаживается, иногда останавливаясь.

Да, кроме того времени, когда мы с тобой были вместе, судьба меня не баловала. Мать умерла очень рано, а отец, который лучше разбирался в часах, нежели в детях, заявил, что сын его все равно будет бездельником, и почти не заботился обо мне. А ведь я не был таким уж скверным малым. В гимназии кое-как учился, а за последний год войны, когда я пять месяцев просидел в окопах... И, вероятно, не так уж плохо воевал, если моя фамилия дважды отмечалась в приказах по полку.

Эльза. Но несмотря на это, после войны твои дела сложились далеко не блестяще.

Хуммель. Пока я был самим собой, они шли совсем худо. Я был лишним человеком, ненужным, как и многие фронтовики... *(Смеясь.)* И лишь сейчас, когда я прикрылся чужим именем, меня выдают за героя! Пустой, легкомысленно затеянный фарс привлек ко мне сим-

патии людей, которых моя подлинная судьба столько лет ничуть не интересовала.

Эльза *(порывисто)*. Карл, но ведь дальше так не может продолжаться! В один прекрасный день ты поскользнешься и набьешь себе таких шишек, что не дай бог!

Хуммель. Знаю. Конечно, я забрался чересчур высоко. Тут нужно быть либо святым, либо матерым комедиантом. *(Понизив голос, многозначительно.)* В Германии уже есть один такой — ты знаешь, о ком я говорю... Но я не собираюсь соперничать с ним. Я, может быть, и мошенник, но не из тех, кто рвется на большую арену. В глубине души я питаю к людям слабость, и мне грустно, когда я вижу, как легко они дают себя надуть...

Эльза. Если так, то почему не покончить со всем этим? *(Нежно.)* Я хочу тебе помочь.

Хуммель *(долго смотрит на Эльзу, потом медленно идет к креслу и садится, понурив голову. После паузы)*. Видишь ли, все было бы очень просто, если б не... не о н а, эта несчастная старая женщина, которую я вынужден называть матерью... Хотя, признаться, я это делаю теперь искренне. Еще никто ни разу в жизни не проявил ко мне столько нежной заботы, столько, я бы сказал, сердечности.

Эльза *(мрачно)*. Даже я?

Хуммель. Даже ты, Люцци. О, это совершенно другое. Такого я еще никогда не испытывал. *(Очень тихо.)* Понимаешь, я, в сущности, очень устал. После такой жизни хочется наконец отдохнуть, как следует отдохнуть. Два дня, что я здесь прожил, пришлись мне по вкусу.

Эльза. Потому что всего два. Ручаюсь, если бы ты пробыл здесь неделю, ты бы не знал, куда деваться, а через месяц...

Хуммель. Кто знает.

Эльза. Я в этом уверена. Впрочем, хорош отдых! Ведь ты обманываешь старую женщину, а это, должно быть, очень тягостно.

Хуммель *(с раздражением)*. Обманываю? Ну да, конечно. И все же мой обман делает ее счастливой. Долго она не протянет, но я уверен, что ей не прожить и часу, если я... *(Резко.)* Нет, нет, Люцци! Ты не должна была приезжать сюда. Пойми, я... я не могу и не хочу, понимаешь, не хочу! Ведь ясно, что я убил бы эту женщину!

Эльза *(кладет руку ему на плечо, заглядывает в глаза)*. Я думаю, Карл, твой обман серьезнее, чем ты предполагаешь,— ты уже обманываешь самого себя. *(Отчетливо.)* Помни, однако, что есть люди, которым твоя карьера очень не по душе. Далеко не все склонны умиляться тобою. Есть и такие, что следят за тобой с недобрыми намерениями. Одного я знаю...

Хуммель *(с улыбкой, исполненной отчаяния)*. Увы, люди завистливы. Впрочем, моя смекалка тоже начинает меня подводить. Последний раз в управлении полиции в Фрейбурге мне пришлось туго. Я пыхтел над протоколом часа два, извиваясь, словно угорь. Хуже всего было с проклятым пароходом.

Эльза. Каким пароходом? *(Садится на ручку кресла Хуммеля.)*

Хуммель. Ну, с этим, который якобы привез меня из Триполи в Неаполь. Видишь ли, им понадобилось название этой исторической посудины. Комиссар прицепился к этой мелочи, и я никак не мог убедить его, что дал капитану — хорошему малому, который провез меня без билета — честное слово молчать. Не мог же я его подвести, заявив об этом официально,— верно?

Эльза. Сказал бы первое попавшееся название — «Шарлотта» или «Виктория»...

Хуммель. Тоже придумала! Они из любой чепухи раздуют такое... Затеют проверку, писанину, следствие... Ты в этом не разбираешься, дорогая. *(Вдруг посмотрев на часы.)* Ох, прошу прощения. *(Поднимается.)* Мне нужно укладывать вещи. *(Идет в глубину сцены, смотрит за ограду.)*

Эльза *(не двигаясь с места, наблюдает за ним)*. Больше тебе нечего мне сказать?

Хуммель *(повернулся, смотрит на нее)*. Увы, Люцци,— ничего, что полагается говорить молодой красивой женщине.

Эльза *(идет к нему, обнимает)*. Неправда, Карл! Неправда! Ну, посмотри мне в глаза...

Хуммель *(изменившимся голосом)*. Да, да, Люцци! Ты стала еще красивее, чем прежде.

Эльза *(страстно, прильнув к нему)*. Карл.

Хуммель *(крепко обняв ее)*. Люцци!

Долгий поцелуй.

В калитку входит фрау Даубман с пакетами в руках, поднимается по ступенькам, на последней останавливается как вкопанная, роняет один из пакетов. Эльза и Хуммель, оторвавшись друг от друга, молча смотрят на нее.

Фрау Даубман *(очень тихо)*. Извините...

Хуммель подходит к ней, поднимает оброненный пакетик, нерешительно держит в руке, беспомощно мнется. Фрау Даубман и Эльза долго смотрят в глаза друг другу; Эльза первая отворачивается и быстро уходит. Хуммель медленно идет к двери, которую Эльза оставила открытой, закрывает ее и возвращается к фрау Даубман. Он ведет ее к креслу, усаживает, отбирает у нее пакеты, кладет их на кресло рядом, а сам садится на пол у ее ног.

Хуммель *(мягко)*. Поедем завтра, мама. *(Кладет голову ей на колени. Фрау Даубман, наклонившись, нежно гладит его волосы.)*

ЧЕТВЕРТАЯ КАРТИНА

Комната Хуммеля. С правой стороны дверь в столовую. В глубине два окна. Цветы в вазах и корзинах. С левой стороны на переднем плане диван. За ним, несколько дальше, письменный стол и кресло. Над столом висит большая фотография — портрет юноши в форме. У окна клетка с канарейкой. На письменном столе телефон. В правом углу умывальник с зеркалом.

Хуммель лежит на диване в брюках и куртке, голова обмотана полотенцем, взгляд неподвижно устремлен в потолок. На стуле рядом с диваном валяется пиджак. Слышен стук в дверь, но Хуммель даже не шевельнулся.

Появляется Труда с письмом в руке, идет на цыпочках к столу, кладет письмо, затем, думая, что Хуммель спит, подходит к нему, смотрит на него с нежностью.

Хуммель *(протяжно застонав, поднимает голову)*. А, это ты, Труда... *(Слабым голосом.)* Хорошо, что ты здесь. Пожалуйста, там на умывальнике одеколон... *(Садится, снимает с головы полотенце.)*

Труда *(быстро идет к умывальнику, приносит флакон)*. Разрешите, я вам помогу. *(Смачивает полотенце одеколоном.)* Я сама завяжу! *(Обвязывает полотенцем голову Хуммеля, отступает на шаг и, сложив руки, с нежностью глядит на него.)*

Хуммель *(раздраженно)*. Спасибо, Труда. Можешь идти.

Труда *(теребя передник)*. Я хотела только... посмотреть на вас... немножко...

Хуммель *(зло)*. Что значит — посмотреть? С ума ты сошла, что ли?

Труда *(с упреком)*. Мой бог, почему вы так плохо со мной обращаетесь?

Хуммель. Что за чепуху ты мелешь, Труда?

Труда *(обиженно)*. Хорошая чепуха! Теперь вам легко говорить — чепуха. А шестнадцать лет назад...

Хуммель *(в бешенстве)*. Женщина, у тебя, наверно, жар!

Труда *(горестно)*. «Женщина»... Бог мой, как вы это сказали! Значит, вы... вы уже все забыли?

Хуммель. Что, черт подери, забыл?

Труда *(со слезами в голосе)*. Ох, чего уж тут удивляться... Мне ведь было тогда всего двадцать пять... И я была красивая девушка. Вы же не станете отрицать, что я была красивая девушка.

Хуммель *(сообразив)*. Ну, была. Конечно была.

Труда. Да! Да! Вот и не удивительно, что вы теперь... Бог мой, двадцать пять и шестнадцать... Вместе это получается...

Хуммель *(нетерпеливо)*. Меня это не интересует!

Труда *(меланхолически)*. Тогда вы не говорили со мной таким резким неприветливым голосом... Правда, вы тогда еще не были господином, а только... *(проникновенно)* мальчиком... *(С внезапной страстностью.)* Помните ту ночь... в июне, когда варили клубничное варенье — вы тогда любили клубнику... *(Очень тихо.)* А я, дура, думала, что и меня тоже...

Хуммель *(серьезно)*. Видишь ли, Труда, человек меняется. Клубнику я люблю до сих пор. Ну, а все остальное...

Труда. Знаю. Можете не договаривать. Только мне порой становится очень обидно, когда вы смотрите на меня, будто я шкаф или стул... Но это ничего, все равно я рада, что вы... вы снова... *(Замолкает, испугавшись скрипа двери, ставит одеколон на умывальник и уходит, опустив голову.)*

Входит Даубман, возбужденный, с газетой в руке. Подозрительно смотрит вслед Труде, пожимает плечами.

Даубман *(после ухода Труды)*. Ты что, заболел, Рудольф?

Хуммель *(измученным голосом)*. Да так, ничего особенного. Голова немного болит. *(Ложится.)*

Даубман *(сочувственно)*. Ничего удивительного. Этот ужасный вчерашний скандал...

Хуммель *(с притворным безразличием)*. Ах, меня это не волнует. Из-за какого-то безответственного идиота...

Даубман *(с негодованием)*. Идиота? Это слишком мягкое определение для мерзавца, осмелившегося средь бела дня, в центре города накинуться на Рудольфа Даубмана!

Хуммель *(снисходительно)*. Вероятно, он был просто пьян.

Даубман. Нет, мой мальчик! Я уверен, что это была продуманная провокация! А что же еще? Набросился на тебя с криком, что ты полгода назад стащил у него бумажник в Берлине! Полгода назад — когда ты еще скитался по Африке! И ты не усматриваешь в этом никакой провокации?

Хуммель *(спокойно)*. В худшем случае, отец, я усматриваю здесь ошибку, достойную сожаления. И, по-моему, зря полиция арестовала этого человека.

Даубман *(обиженно)*. Извини, но я остаюсь при своем мнении. А что оно правильно, мой мальчик, доказывает рвение *(потрясает газетой)*, с каким «Фрейбургер нахрихтен» не постеснялась сегодня — и притом на первой странице — напечатать о вчерашнем случае!

Хуммель *(несколько обеспокоенный)*. Кажется, корреспондент этой газеты в Эндингене — доктор Бёме?

Даубман. Да, это его работа! Какая бестактность! Полное отсутствие элементарной деликатности! Вчерашний инцидент сам по себе отвра-

тителен, но разглашать его в прессе — просто неслыханно! Я пойду сегодня к доктору Бёме и выскажу все, что о нем думаю.

Хуммель *(равнодушно)*. Делай, как знаешь!

Даубман. Боже мой! Казалось бы, все то, что ты пережил, мой мальчик, должно тебя раз и навсегда оградить от человеческой гнусности, а между тем... *(Неожиданно другим тоном.)* К счастью, тебя все же на каждом шагу встречают трогательные знаки внимания и обожания.

Хуммель *(цинично)*. Верно. На моем счету в Западногерманском банке за последнее время заметно довольно большое оживление.

Даубман *(потирая руки, вкрадчиво)*. Сколько же там набежало, Рудольф?

Хуммель. Судя по сегодняшнему счету — вон он лежит на столе,— сумма взносов уже перевалила за двенадцать тысяч.

Даубман. Гм, неплохая сумма, Рудольф. Хотя, на мой взгляд, еще очень далекая от той, которая соответствовала бы...

В дверях появляется Труда.

Труда. Какие-то господа пришли.

Хуммель *(недовольно)*. Ко мне? Спросите, по какому делу. Или нет! Скажите, что я сплю.

Труда. Я это им сразу сказала, но они говорят, что ничего, они с удовольствием подождут, когда вы проснетесь.

Даубман *(робко)*. Может быть, ты их примешь, Рудольф? Видимо, дело важное, если они готовы ждать...

Хуммель *(тяжело поднимаясь)*. Что же делать, просите их, Труда.

Снимает с головы полотенце, надевает пиджак, очки. Труда уходит. Вскоре появляется Крюгер, за ним фрау Крюгер.
Оба торжественны и взволнованны.

Хуммель *(идет им навстречу, протянув руку)*. Пожалуйста, входите. Чем могу служить?

Крюгер *(поспешно пожимая обеими руками руку Хуммеля)*. Прошу прощения, моя фамилия Крюгер! А это *(показывает на жену)* моя многолетняя супруга.

Фрау Крюгер *(приподнятым тоном)*. Да, мы с Германом уже двадцать шесть лет...

Хуммель *(показывает на стулья)*. Прошу садиться!

Крюгер осторожно присаживается на краешек стула, фрау Крюгер — на другой стул, позади него. Даубман с интересом наблюдает за ними.

Крюгер *(засмотревшись на Хуммеля, как на икону, после паузы, торжественно)*. Супружество — ох! — это труд. Но труд отнюдь не безрезультатный.

Хуммель *(учтиво)*. Очень рад, что в наше время, время всеобщей деморализации и пагубной свободы нравов...

Крюгер. Вот именно! Поэтому я и моя супруга были щедро взысканы божьим благословением. *(Выпрямившись, отчетливо)*. За двадцать шесть лет примерной супружеской жизни — одиннадцать пышущих здоровьем деток! Одиннадцать сыновей!

Хуммель. Да-а... Это действительно...

Даубман *(поражен, с восхищением)*. Прошу извинить! А кто же вы по профессии, господин Крюгер?

Крюгер *(скромно)*. Я, так себе... играю по пивным *(улыбается)* на флейте.

Фрау Крюгер *(растроганно)*. Это очень плохо оплачиваемая специальность, милостивый государь, но зато такая... душевная. *(С оттенком гордости.)* Мой Герман — ар-тист!

Хуммель *(несколько нетерпеливо)*. Прекрасно, господин Крюгер, но я не совсем понимаю, чему я обязан...

Крюгер. Позвольте, я в двух словах... Так вот, дело в том, что моя супруга несколько недель назад безболезненно и удачно произвела на свет двенадцатое по счету дитя!

Даубман *(восторженно)*. И снова сына?

Крюгер. Да! Двенадцатый сын!

Фрау Крюгер *(со скромной гордостью)*. Я по этому случаю должна получить премию Германского союза жизненности и культуры расы.

Крюгер. Премия премией, но не в этом дело. *(Хуммелю.)* Одним словом, я и моя супруга пришли просить вас, чтобы вы соизволили принять участие в возвышенном обряде крещения нашего двенадцатого сына. Для нас было бы исключительной честью, если бы вы пожелали... лично...

Хуммель *(после паузы, с вежливой улыбкой)*. Ну что ж, я... в общем...

Даубман *(горячо)*. Я полагаю, Рудольф, что тебе ничто не помешает исполнить просьбу господ Крюгер!

Крюгер. О, позволю себе надеяться...

Хуммель. Гм, честное слово, вам трудно отказать...

Даубман. Двенадцатый сын — это не шутка, Рудольф! Это стоит возвеличить твоим именем. Я бы даже сказал, в пропагандистских целях...

Хуммель *(перебивает)*. Хорошо, я согласен, господа. Когда состоится это трогательное торжество?

Крюгер *(сияя)*. Точно день еще не намечен, но ввиду столь благополучного для нас оборота дела я позволю себе в ближайшие дни...

Хуммель. Да, будьте любезны уведомить меня.

Крюгер. Значит, дело решенное. *(Поднимается.)* Прошу извинить за то, что мы осмелились отнять у вас дорогое время...

Хуммель. Ах, пустяки.

Крюгер *(с энтузиазмом пожимая руку Хуммелю)*. Очень, очень вам благодарны, уважаемый господин Даубман. *(Фрау Крюгер встает, делает книксен, Крюгер отвешивает глубокий поклон Даубману.)* Милостивый государь, наше вам почтение!

Даубман *(пожимает руку Крюгеру)*. Я очень рад, доблестный господин Крюгер! Нашей нации необходимо побольше таких людей! Двенадцать сыновей — ну и ну! Вот прекрасный гражданский подвиг. *(Улыбается с внезапным смущением, не лишенным, однако, оттенка горделивости.)* Я сам, правда, должен со стыдом признаться, что дал родине только одного сына... *(Показывает взглядом на Хуммеля.)*

Крюгер *(пылко)*. Да, одного, но какого! *(С поклоном.)* Итак, разрешите откланяться! *(В дверях.)* В один из ближайших дней я позволю себе еще раз... *(Раскланиваясь, исчезает; за ним фрау Крюгер.)*

Даубман. Какие милые люди, Рудольф! Хорошо, что ты не заставил их ждать. *(Доверительно.)* Во время выборной кампании нельзя, мой мальчик, никому отказывать в такого рода мелких услугах. *(Хуммель молчит, досадливо морщась.)* Нужно позаботиться о каком-нибудь подарке для твоего крестника. Я думаю, что самым подходящим была бы твоя фотография большого формата с соответствующей наставительной сентенцией, которая явится для ребенка путеводителем в жизни.

Хуммель *(грубовато)*. Сентенцию, отец, придется составлять тебе.

Даубман. Поищем, поищем в литературе. А кроме того, надо бы еще что-нибудь более реальное... ну, скажем, сберегательную книжечку с небольшой суммой, а?

Звонит телефон.

Хуммель *(подходит, снимает трубку)*. Алло!.. Да, собственной персоной... Из выставочного комитета? Чего?.. А! Домашней птицы, кроликов и голубей... Слушаю вас. Что я вам обещал?.. А, поддержку... Да, верно! Что-то припоминаю. Так что же? *(Слушает, после паузы.)* Понимаю, торжественное открытие... Когда?.. Что вы говорите?.. Ах да, разрезать ленту... Ну, разумеется, ленту разрезать смогу. *(После паузы.)* Хорошо, пожалуйста... Да, все... Прощайте. До свидания. *(В бешенстве бросает трубку.)*

Даубман *(сияет)*. Ну, вот видишь, Рудольф! Ты стал, что называется, популярной личностью!

Хуммель *(не скрывая раздражения)*. О да, не могу пожаловаться! Но, между нами говоря, отец, я собираюсь на какое-то время покончить со всем этим. Ты не станешь отрицать, что я в конце концов заслужил более длительный отдых... где-нибудь в деревне. Людьми я сыт по горло. Эта выставка, которую я завтра должен открывать, пробудила во мне тоску по домашней птице, кроликам и голубям.

Даубман *(озабоченно показывая на клетку у окна)*. Пока что у тебя есть лишь канарейка...

Хуммель *(смотрит на клетку, взгляд его смягчается)*. Канарейка, верно. Очень люблю ее. Только клетка действует мне на нервы! Не выношу клеток! *(С шутливым отчаянием.)* Что за черт! Вот проклятая судьба! Половину жизни потерял в неволе, а теперь? Теперь снова чувствую себя как эта канарейка в клетке! *(С нервным смешком.)* Но я взбунтуюсь, вот увидишь, отец! Я перестану без конца кланяться, разрезать ленты, чирикать о своих мучениях!

Даубман *(в ужасе)*. Побойся бога, мальчик! Что ты болтаешь? *(Опасливо осматривается по сторонам.)* Если бы кто услышал твои слова...

Труда *(появляясь в дверях)*. Господин Хельмут.

Хуммель *(оживившись)*. Ах да! Просите его, Труда.

Даубман *(заинтригованный)*. Хельмут? Кто это, Рудольф?

Хуммель. Сотрудник одного большого берлинского журнала. Он звонил по телефону, просил дать интервью.

Даубман. Ну, тогда я исчезаю. *(Со смехом.)* Не буду мешать тебе исповедоваться! *(Идет к двери, возвращается.)* Только, ради бога, не проговорись случайно этому журналисту, что чувствуешь себя как канарейка... *(Быстро уходит.)*

Хуммель подходит к умывальнику, поправляет волосы. Входит господин в макинтоше с папкой под мышкой. Движения его собранны, он хорошо владеет собой, быстро на все реагирует.

Господин в макинтоше *(еще от дверей протягивая Хуммелю руку)*. Разрешите представиться — Хельмут. Кажется, я первый из берлинских газетчиков имею счастье...

Хуммель *(жеманно)*. Ах, вы меня смущаете, честное слово! *(Ведет гостя к письменному столу.)*

Господин в макинтоше. Наш концерн до сих пор получал сведения о вас из баденской прессы, а теперь нам хочется обратиться, так сказать, к первоисточнику. Мы, берлинцы...

Хуммель *(мягко, с оттенком сентиментальности)*. Действительно, вид у вас типично берлинский...

Господин в макинтоше *(быстро)*. А вы знаете Берлин?

Хуммель *(захваченный врасплох)*. Ну, нельзя сказать, что знаю. Скорее, представляю себе. Возможно, я в скором времени соберусь поехать туда... Но, прошу садиться. *(Подвигает стул.)*

Господин в макинтоше *(садится)*. Благодарю. *(Бросает на Хум-*

меля быстрый взгляд.) Значит, вы и есть тот самый знаменитый Рудольф Даубман! Боже мой, как скверно вы выглядите. Полагаю, вы не обидитесь, если я напишу в своей заметке, что достаточно взглянуть на ваше лицо, чтобы постичь всю бездну страданий, которые вам... *(Замолкает, увидев клетку.)* Извините, это, случайно, не экзотическая ли птичка, привезенная вами оттуда?

Хуммель. Ну, что вы, обыкновенный кенарь. Мне преподнесли его среди других подарков. Забавное создание. Я назвал его Фрицем. Его пение благотворно действует на мои истрепанные нервы...

Господин в макинтоше *(оглядывая комнату, замечает портрет над письменным столом)*. С вашего разрешения, если не ошибаюсь, это ваш портрет в юности?

Хуммель *(невнятно)*. М-да... *(Со смехом.)* Хоть я и не очень люблю признаваться, что имею отношение к этой стриженной по-мальчишески голове. Между нами говоря, я человек немного тщеславный...

Господин в макинтоше *(встает, подходит к портрету, внимательно смотрит то на Хуммеля, то на портрет)*. Бог мой, как, однако, человек может измениться! *(С доверительной улыбкой.)* Я, надо вам сказать, немного физиономист.

Хуммель. Вы считаете, что я изменился в лучшую или худшую сторону?

Господин в макинтоше. Гм, трудно сказать en total, как говорят наши враги французы. Извините, вы, наверно, хорошо владеете французским?

Хуммель *(сильно смутившись.)* Вам это покажется странным, но... честно говоря, я... кроме нескольких общеупотребительных слов...

Господин в макинтоше *(протяжно)*. Да-а-а, это действительно несколько странно. Я полагаю, что, находясь столько лет в плену у французов...

Хуммель *(овладев собой)*. Вы понимаете, ненавидя своих мучителей, я так же сильно ненавидел их язык.

Господин в макинтоше *(с тонкой иронией)*. Ах вот что! Это похвально, очень похвально. Но, коль скоро мы заговорили о языке: правда ли, что африканские негры охотнее всего говорят по-немецки, и притом на чистейшем берлинском диалекте? *(Подчеркнуто.)* Многие путешественники упоминают об этом в своих книгах...

Хуммель *(уверенно)*. Да, в этом есть большая доля истины. Мне лично за пятнадцать лет пребывания в Африке ни разу не случалось встретить негра, с которым я не мог бы договориться по-немецки — вот как сейчас с вами. *(С подъемом.)* Именно благодаря этому я и сумел остаться немцем в течение долгих лет!

Господин в макинтоше *(насмешливо)*. Верю вам, верю, господин... *(с ударением)* Рудольф Даубман. *(Вынимает из кармана блокнот и вечное перо.)* Разрешите? Хоть у меня и прекрасная память, но некоторые подробности хотелось бы по возможности записать буквально. Вы понимаете, мы, журналисты, любим иногда быть точными! Простите, кстати, о точности: вы не могли бы сообщить некоторые даты своей неслыханно интересной биографии?

Хуммель *(непринужденно)*. О, все что угодно. Должен вам сказать, что одна издательская фирма из Лейпцига предложила мне обработать мои дневники. Я уже составил конспект, именно с целью уточнения всех необходимых дат. Записи у меня в образцовом порядке.

Господин в макинтоше *(с едва заметным разочарованием)*. Ах, в по-ряд-ке?!

Хуммель. Да. Частично мне помогли родители, кроме того, семейный архив, ну и прежде всего письма, которые я писал с фронта и которые мать тщательно хранила все пятнадцать лет. Они-то и позволи-

ли мне подробно восстановить переживания военного периода, из которых, сами понимаете, многое могло забыться.

Господин в макинтоше *(озабоченно)*. Да, да, разумеется... *(Вдруг осененный счастливой идеей.)* Значит, вы принялись за систематическое, так сказать, упорядочение своей жизни в виде дневника. Признаться, это обстоятельство ставит меня в несколько затруднительное положение.

Хуммель. Но я не предполагал...

Господин в макинтоше. Я собирался написать яркий репортаж на материале конфиденциальной беседы с вами. Должен сказать, что я специалист в области репортажа о знаменитостях. Но вы упомянули про эти... дневники... Мне не хотелось бы своим репортажем опережать публикацию дневников, которые, несомненно, явятся в ближайшем будущем сенсацией на нашем издательском рынке. Я понимаю, что, возможно, мне удалось бы выудить у вас интересные подробности, но вы, конечно же, предпочтете приберечь их для своей книги...

Хуммель. О, интересных подробностей у меня уйма!

Господин в макинтоше. Не сомневаюсь, то, что выудили у вас местные репортеры, составляет лишь небольшую часть ваших богатейших материалов. Несмотря на это, я, пожалуй, готов отказаться от сегодняшнего интервью, тем более что меня осенила другая, довольно оригинальная идея...

Хуммель. Интересно! Слушаю вас.

Господин в макинтоше. Вы только что упомянули о ваших письмах к родителям с фронта, которые находятся, так сказать, в семейном архиве?

Хуммель. А сейчас даже вот здесь, в моем письменном столе.

Господин в макинтоше. Отлично! А вы не будете столь любезны дать мне на время одно из этих писем?

Хуммель *(неуверенно)*. Как бы вам сказать...

Господин в макинтоше. Если мы опубликуем in extenso письмо Рудольфа Даубмана, написанное им в окопах в семнадцатом году,— лучшей сенсации не придумаешь! Не знаю, представляете ли вы себе, что значит в наше время появление такого документа в прессе? Понятен ли вам эмоциональный эффект подобной публикации, ее волнующее звучание?

Хуммель *(с достоинством)*. Да, в этом что-то есть...

Господин в макинтоше *(соответственно жестикулируя)*. Представьте себе: вступительная статья редакции, совсем небольшая — документ говорит сам за себя. Потом — письмо, жирным шрифтом, конечно. Ну, и можно добавить ваше факсимиле...

Хуммель *(не поняв)*. Да... Фак... симиле... пожалуйста...

Господин в макинтоше. Оригинал будет вам возвращен заказной почтой через неделю. Письмо будьте любезны выбрать по вашему усмотрению.

Хуммель *(медленно открывает ящик стола, вынимает пачку писем)*. Их тут порядочно, как видите.

Господин в макинтоше *(склонившись над письмами)*. Они свидетельствуют о многообразии ваших переживаний на фронте. Не всякий может похвастаться таким собранием.

Хуммель *(нерешительно перебирает письма)*. Хочется выбрать что-нибудь самое интересное... Но так, второпях, трудно...

Господин в макинтоше *(поспешно)*. Если разрешите, я возьму их все. Возврат гарантирую через неделю.

Хуммель *(вежливо)*. Пожалуйста. Возьмите. *(Протягивает письма.)* Откровенно говоря, мне было бы трудно самому сделать объективный выбор... Каждое письмо мне одинаково дорого...

Господин в макинтоше *(ласково)*. Понимаю. Ведь это все, что сохранилось у вас от тех лет... *(Рассматривает письма.)* Боже мой, бумага уже пожелтела, истлела... как кости тех, кто остался там... *(Неожиданно другим тоном.)* У вас очень приятный почерк, он говорит о чрезвычайно эмоциональной натуре.

Хуммель *(невнятно)*. Ну, пожалуй, здесь еще неустановившийся почерк... такой... семнадцатилетний...

Господин в макинтоше *(пряча письма в папку)*. Безусловно. Сердечно благодарю за то, что вы доверили мне эти ценные документы. *(Подчеркнуто.)* Уверяю вас, мы используем их наилучшим образом. И вот еще что: письмо в нашем журнале надо дополнить вашей фотографией. Надеюсь, в этом вы нам не откажете?

Хуммель. Нет, конечно. Я их уже достаточно роздал, но где-то еще есть... *(Ищет на письменном столе.)* Вот, пожалуйста.

Господин в макинтоше *(с дьявольской улыбкой)*. Мы, журналисты, принимаем фотографии только с автографами.

Хуммель. Ох, как же эта пресса требовательна! *(Берет ручку, уже хочет подписать фотографию, но внезапно спохватывается.)* А знаете *(нервно рассмеявшись)*, я вам не дам этой фотографии.

Господин в макинтоше *(с притворной наивностью)*. Почему же? Фотография, по-моему, отличная.

Хуммель. И все же — нет! Мне она кажется неподходящей для большой берлинской прессы. *(Положив ручку, решительно.)* Нет! Фотографию я вам дам завтра. Мне как раз должны сегодня вечером прислать новые, более удачные снимки... Завтра вы их получите непременно.

Господин в макинтоше *(насмешливо сощурив глаза)*. С вашим автографом, не так ли?

Хуммель. Ну, разумеется. Вам послать в гостиницу?

Господин в макинтоше. Зачем же столько беспокойства? Я забегу к вам завтра около полудня. А вечером уеду в Берлин. Итак, не стану больше... Еще раз сердечно благодарю вас от имени нашей редакции за столь ценные документы. *(Пожимают друг другу руки.)* И очень, очень рад, что я первый из берлинских журналистов...

Хуммель *(провожая его к двери)*. Если вы случайно не застанете меня дома, фотография будет лежать на столе, в конверте. Прислуга вам передаст.

Господин в макинтоше *(в дверях, приятно улыбаясь)*. Только не забудьте: с ав-то-гра-фом! *(Уходит.)*

Хуммель стоит задумавшись, держась за ручку двери, медленно поворачивается, тяжело ступая, идет к письменному столу, снимает очки. Опершись на стол, стоит с поникшей головой.

Звонит телефон.

Хуммель *(берет трубку)*. Алло! Да, я у телефона. *(Пораженный.)* А, это ты? *(Долго слушает, затем нервно.)* Вот дьявол! Так прямо? *(Снова слушает, после паузы.)* Вот так история... *(После паузы, очень расстроенный.)* Конечно, после того, что ты сказала. *(Пауза.)* Хорошо, сегодня вечером... Да, в шесть. *(Пауза.)* Обязательно.... На этот раз наверняка. *(Пауза.)* Ну конечно. У меня будет мало времени. *(Пауза.)* У тебя есть свой план? Хорошо. Буду в шесть. *(Пауза.)* Чем угостишь? А, коньяком! *(Смеется.)* Конечно. Не возражаю. Ну, до свидания. *(После паузы, смеясь.)* Нет, нет. Не беспокойся, я не так легко теряю голову. Целую! *(Кладет трубку, некоторое время стоит очень взволнованный, машинально выдвигая*

и задвигая ящик письменного стола. Резко поворачивается, подходит к зеркалу, долго смотрится в него, затем возвращается на середину комнаты, осматривается, словно ища чего-то, медленно идет к окну, останавливается у клетки с кенарем, улыбается, стучит пальцем по прутьям, причмокивает.) Фриц! Фриц! Фрицхен! *(Подсвистывает, тихо смеется.)* Эй ты, старый проказник!

Входит фрау Даубман, тихо закрывает за собой дверь, молча наблюдает за Хуммелем. Он вдруг поворачивается и, увидев ее, смущенно опускает голову.

Фрау Даубман *(очень тихо, с радостью и нежностью)*. Браво, мой мальчик! Браво!

Хуммель *(мрачно смотрит на нее)*. Смешно, да? Ты смеешься надо мной, мама?

Фрау Даубман *(быстро подходит к нему, берет за руку)*. Ну, что ты, Руди! Я радуюсь. *(Доверительным тоном.)* Именно таким я хотела тебя увидеть! *(Настороженно.)* Теперь, только теперь ты стал для меня таким, каким был раньше, давно... Давно...

Хуммель *(смотрит в сторону, говорит жестко, почти злобно)*. Это плохо. Ты не должна...

Фрау Даубман. Почему плохо? О чем ты, мальчик?

Хуммель *(словно заканчивая какую-то мысль)*. Видишь ли, все это... как-то само собой произошло... *(С трудом.)* По правде говоря, я, может быть, и не такой уж плохой, как ты подумаешь обо мне... Только... так уж получилось...

Фрау Даубман *(в ужасе)*. Руди! О чем ты... я... я не понимаю... о чем ты...

Хуммель *(опомнившись)*. Нет! Нет! Этого не объяснишь. Впрочем, придет время, и ты, мама, сама поймешь... *(Осторожно высвобождает свою руку, медленно идет к авансцене, останавливается, угрюмо задумавшись.)*

Фрау Даубман *(потрясенная, идет за ним, судорожно обнимает его за плечи, усаживает рядом с собой на диван, говорит быстро, возбужденно)*. Послушай, мальчик! Мы должны уехать! Должны бежать отсюда! Я ужасно боюсь! Чего — не знаю! Боюсь всех людей, которые тебя окружают... *(Сдавленным голосом.)* Они тебя отнимут у меня! От-ни-мут! А я не смогу, не сумею тебя спасти, мой мальчик! *(Содрогнувшись, совсем тихо.)* Так уже однажды было! Было! Тогда я тоже не сумела тебя спасти! А сегодня? Боже, что будет сегодня?! *(С трудом дыша, после паузы очень тихо, изменившимся голосом.)* Послушай! Мы уедем в деревню... Спрячемся от людей! Возьмем отца, Труду и канарейку... Никого больше! Никого! *(Умоляюще.)* Ведь мы заслужили, чтобы... немножко побыть одним, одним! *(Нежно гладит Хуммеля по лицу.)* Ну, скажи, мальчик, скажи что-нибудь! Ведь мы заслужили... почему же ты ничего не говоришь?!

Хуммель неподвижный, помертвевший, стоит молча, мрачно уставившись в пространство.

ПЯТАЯ КАРТИНА

Столовая в квартире Даубманов, декорации первой картины. Даубман в домашней куртке, без воротничка и галстука, озабоченно ходит по комнате крупными шагами. Фрау Даубман сидит у окна, смотрит на улицу, словно поджидая кого-то.

Даубман. Нет, Берта! Как хочешь, а мальчик ведь уже вырос. Мужчине его возраста провести одну-две ночи вне дома, я бы сказал, просто полезно для здоровья.

Фрау Даубман *(вздохнув)*. Боже мой! Если бы только это... Признаюсь тебе, Иоганн, меня волнует именно здоровье Рудольфа. Он за последнее время так осунулся... Порой мне кажется, что у него температура.

Даубман. Ну, температура — это ты преувеличиваешь, Берта. Но действительно, я тоже заметил некоторую...— гм! — перемену в его внешности и особенно в его поведении, иногда оно бывает... ну, несколько странным.

Фрау Даубман *(подходит к нему)*. Да? Мне кажется, что его тревожат какие-то тайные заботы. На самые простые вопросы он вдруг отвечает как-то невпопад. И часто бывает такой рассеянный или взволнованный, что ли!.. *(Наклоняется к мужу, говорит смущенно, вполголоса.)* Мне даже всякие мысли приходят в голову...

Даубман. Какие же, Берта?

Фрау Даубман *(с улыбкой, смущенно, подыскивая слова)*. Видишь, как бы это сказать...

Даубман. Да говори прямо, если что-нибудь путное.

Фрау Даубман. Сама не знаю... я думаю иногда, может быть, жены ему не хватает... женщины... тихого семейного счастья...

Даубман. Возможно, Берта, возможно. Хотя, на мой взгляд, не следует переоценивать значения таких проблем в жизни мужчины. *(Вдруг оживившись, другим тоном.)* Но, слава богу, эти дела ничего не значат в сравнении с тем, что особа Рудольфа Даубмана стала предметом *(торжественно)* дипломатического демарша!

Фрау Даубман *(не вполне понимая)*. Что это значит, Иоганн?

Даубман. Наш посол в Париже вчера обратился официально во французское министерство иностранных дел с запросом *(строго)*, на каком основании Рудольф Даубман, бывший солдат сто одиннадцатого пехотного запасного полка...

Труда *(появившись в дверях)*. К вам пришли.

Даубман *(приводит себя в порядок, хватает со стула воротничок с галстуком)*. Минуточку... минуточку... *(Застегивает воротничок, завязывает галстук.)* Пожалуйста, просите, Труда.

Труда уходит.

Фрау Даубман *(со вздохом)*. Наверно, опять политика... *(Идет к двери.)* Иоганн, я ненадолго схожу к фрау Вертхейм. Бедняжка заболела сегодня ночью, надо ее навестить. *(У самой двери.)* Вернусь через полчаса. *(Уходит.)*

Входят Бумюллер и Меркле.

Даубман. Приветствую, господа, приветствую! Садитесь, пожалуйста. *(Подвигает стулья, они садятся.)*

Бумюллер *(натянуто)*. Благодарю. Простите, что побеспокоили в несколько неурочный час...

Даубман. Ну что вы! Как политические деятели, вы можете в любую минуту...

Меркле *(оглядевшись)*. Извините, ваш сын...

Даубман. К сожалению, он ушел сегодня довольно рано, часа два назад.

Бумюллер *(обдумывая)*. Гм... Как знать, может быть, это даже лучше, если мы сначала поговорим с уважаемым господином Даубманом... Как ты думаешь, Меркле?

Меркле *(вполголоса)*. Да... Дело, по которому мы пришли, немного, как бы это выразиться, щекотливое...

Даубман *(с беспокойством)*. А можно спросить: для кого щекотливое?

Меркле *(отчетливо)*. Боюсь, что для всех нас.

Бумюллер. Дело, прямо скажем, пренеприятное.

Даубман. Но, господа, я очень волнуюсь! Это, это... связано с моим сыном?

Меркле. Простите, что я отвечу вопросом на ваш вопрос, разумеется, это очень давние дела, но... много ли писем присылал с фронта ваш сын?

Даубман. Трудно сказать... Писал он не очень много, ах, боже мой... наверно, не больше других!

Меркле. Простите, а вы не могли бы припомнить, о чем он писал? Конечно, в общих чертах.

Даубман *(волнуясь)*. Пожалуйста, я знаю почти все письма наизусть. В общем, он описывал окопную жизнь, бои и опасности, которым он подвергался... ну, обычные солдатские фронтовые письма...

Бумюллер. Но настроение, настроение? Какой был тон этих писем? Так сказать, моральное содержание?

Даубман *(горячо)*. Самое бодрое, господа! Во всем достойное тех великих лет! Да, это я прекрасно помню! Письма моего сына с фронта были проникнуты мужеством, душевной стойкостью, волей к победе!

Меркле *(пристально глядя в глаза Даубману)*. А все же? Не было ли среди писем одного или двух, которые содержали бы нечто совершенно противоположное? К тому же выраженное в весьма недостойных словах?

Бумюллер. Понимаете, в минуту слабости кое-кто из наших солдат мог поддаться какой-то внутренней растерянности — гм!..— пессимистическому настроению... особенно под влиянием вражеской пропаганды.

Даубман *(с жаром)*. Нет, господа! Что касается моего сына, я ничего такого не помню... Но мне, собственно, не совсем понятно, почему вас интересуют такие давние и, скажем прямо, неактуальные дела?

Меркле *(вполголоса)*. Увы, в высшей степени актуальные. Представьте себе, в некоторых кругах нашего города поговаривают о каком-то письме Рудольфа Даубмана с фронта, которое якобы неслыханно ком-про-ме-ти-ру-ет нашего молодого героя...

Даубман, изменившись в лице, сидит молча, нервно потирая колени.

Бумюллер. Это письмо, как говорят,— длинный перечень богохульств, направленных против самых святых идеалов, вдохновлявших нашу славную армию во время войны, против духа героизма и веры в спасительную миссию германского оружия, против кайзера, генералитета и поставщиков оружия, против...

Даубман *(возмущенный)*. Простите, я не могу больше слушать! Это... это обыкновенный поклеп! Мерзкая сплетня, родившаяся в гнусной голове какого-то пацифистского мерзавца!

Меркле *(сухо)*. Вы ошибаетесь. Эти слухи исходят от Немецкой народной партии.

Даубман *(резко)*. В таком случае, это какая-то темная и подлая интрига, возникшая в хитросплетениях партийной борьбы! Я потребую расследования, господа! Да, и привлечения клеветников к суровой ответственности! *(Ходит по комнате, сердито отдуваясь.)*

Бумюллер *(словно внезапно прозрев)*. Слушай, Меркле! Мне сейчас пришло в голову — не кроется ли, в самом деле, за этим какая-нибудь предвыборная интрига, попытка мистификации, преследующая цель не столько досадить самому Рудольфу Даубману, сколько дискредитировать нашего главного кандидата?

Меркле *(оживившись)*. Несомненно, Бумюллер! Очень правдоподоб-

но. *(Даубману.)* Потому что, в конце концов, если даже такое письмо действительно существовало — как могло оно очутиться в руках людей, не только чужих, но и политически враждебных вашему сыну?

Даубман *(подумав)*. Господа, а чего проще — убедиться самим? Я вам сейчас принесу все фронтовые письма Рудольфа. Они хранятся, как святыня, в ящике письменного стола, отведенном для них пятнадцать лет назад. Прошу прощения, господа! Сейчас я представлю вам эти достойные всяческого уважения документы. *(Быстро идет в комнату Хуммеля.)*

Бумюллер и Меркле сидят неподвижно. Через открытую дверь из комнаты Хуммеля доносится стук резко выдвигаемых ящиков. Отсутствие Даубмана затягивается; Меркле, а за ним и Бумюллер поворачиваются в сторону двери, их лица выражают все возрастающее напряжение.

Даубман *(возвращается пошатываясь, с перекошенным лицом)*. Поразительно, господа... В столе четыре ящика... я все перерыл... и... и...

Меркле *(резко)*. Что? Нет этих писем?

Даубман. Не могу понять... честное слово! Еще несколько дней назад я видел их... Они лежали на своем месте, в правом ящике! Это просто... *(Умолкает, увидев входящую Труду.)*

Труда. Пришла какая-то женщина... с ребенком. Правда, она вошла через черный ход, но говорит, что у нее важное дело к господину Даубману...

Даубман. Ко мне?

Труда. Я точно не поняла. Может быть, к господину Рудольфу, но его все равно нет дома...

Даубман. Женщина с ребенком?

Труда. Да. Мальчик, лет шесть ему...

Даубман. Ерунда какая-то... Ничего не понимаю. Ну, проси ее, Труда. *(Меркле и Бумюллеру.)* Извините, господа.

Труда уходит.

Входит жена Хуммеля, тащит за руку мальчика. Она в шляпе, плохо одета, движения быстрые, резкие, голос энергичный, пронзительный.

Даубман. Вы по какому делу?

Жена Хуммеля. Я по части своего мужа! *(Быстрым взглядом окидывает комнату.)* Выкладывайте, где этот мошенник?

Даубман *(возмущенно)*. Послушайте, вы в здравом уме? Извините, но что вам, собственно, нужно?

Жена Хуммеля. Я, кажется, ясно сказала: где этот мошенник — мой муж?

Даубман *(грозно)*. Прошу избавить меня от глупых шуток!

Жена Хуммеля. Э, не морочьте мне голову, нечего рот затыкать! Нашелся тоже! Я законная жена этого негодяя, обманщика, шута! Вот, поглядите! *(Показывает.)* Это наш ребенок!

Даубман. Чей, бога ради?

Жена Хуммеля. Мой и его, Карла! Уже год, как нас бросил этот подлец, выродок!

Даубман *(вспылив)*. Но, милостивая госпожа, я не знаю никакого Карла!

Жена Хуммеля. Ну еще бы! Он теперь зовется иначе. *(Кривляясь.)* Даубман, во как! Рудольф Даубман, все газеты о нем трубят! О, это ловкий аферист, ничего не скажешь!

Бумюллер и Меркле вскакивают со стульев.

Даубман *(зашатавшись, машинально ищет рукой опору, натыкается на спинку стула, тяжело дышит, правой рукой шарит у горла, говорит сдавленным голосом)*. Из-ви-ни-те... вы... соображаете, что... говорите...

Жена Хуммеля *(бойко)*. Еще бы! Никакой он не Даубман. Ведь это скандал — столько умных и порядочных людей поверили ему!

Даубман *(безвольно опускается на стул, тупо смотрит на Бумюллера и Меркле, после паузы)*. Господа... я... я... не в состоянии! Может быть... кто-нибудь из вас... сможет...

Меркле *(придвигая стул жене Хуммеля)*. Прежде всего сядьте.

Жена Хуммеля *(садится, второй стул пододвигает мальчику)*. Садись, Франц.

Меркле *(садится напротив жены Хуммеля)*. Значит, вы... гм! Спокойно! Значит, вы утверждаете, что... этот Даубман, о котором пишут газеты,— никакой не Даубман?

Жена Хуммеля *(развязно)*. Я вам скажу, сама-то я газет не читаю, но мой старик, отец, неделю назад приносит из города газету, показывает... Гляди-ка, говорит, это же твой Карл, бездельник он этакий! И показывает фотографию в той газете... Думаете, я его признала? Как бы не так! Из-за этих его очков! Говорю тогда: приснилось вам, отец, что ли? И стала я читать про того Даубмана. Читаю, дескать, был в Африке пятнадцать лет... Обсмеяла я старика, а как же...

Меркле. Совершенно верно! Не понимаю, однако, на каком основании вы сегодня...

Жена Хуммеля. Погоди-ка! Показываю я эту газету одной там моей соседке, а она опять же качает головой: похож, говорит, похож на твоего Карла как две капли воды! Вот только, говорит, очки... А тут вторая соседка: поезжай-ка ты в этот самый Эндинген — для убедительности, дело верное! Вот я и приехала.

Бумюллер Но ведь это, сударыня, еще ничего не доказывает.

Жена Хуммеля. Да вы послушайте, что дальше-то было! Как я приехала, тотчас же спрашивать: а где у вас этот знаменитый Даубман? Ну, люди и показали. Встала я это утречком возле дома, дожидаюсь, дожидаюсь... Так-то сразу войти в дом духу не хватило. Наконец, гляжу — часа два назад это было,— кто-то выходит из ворот... Господин хороший! Точно громом меня поразило! Узнала я его сразу! По походке! Карл мой, да и только. А как одет-то, господи! Какие башмаки, шляпа! Иду я за ним, уже собралась заговорить, поздороваться как положено, и вдруг этот прохвост, точно почуял,— шасть в такси, аккурат стояло на углу! Только я успела его рожу получше разглядеть, вроде бы с профиля... Ну, сел он в такси, шоферу сказал: «Западногерманский банк!» И только я его видела, аж пыль пошла!

Даубман *(вскакивая со стула)*. Банк... Западно... германский... Извините меня... я на одну минуту... *(Бежит в комнату Хуммеля, оставив дверь открытой. Оттуда слышен его разговор по телефону.)* Алло! Банк? Говорит Даубман... Иоганн, Иоганн Даубман! Прошу немедленно закрыть счет... да, счет моего сына... да, да, Рудольфа Даубмана... *(Пауза)* Что? Что? Что вы сказали?.. Когда?.. Час назад?.. Господи... Всю сумму?.. Сколько? Два... Двадцать... тысяч... *(После паузы.)* Ах, какое несчастье... Нет, объяснить в данную минуту не могу. Благодарю вас... благодарю. *(Возвращается, на нем лица нет, сжимая руками виски, точно во сне проходит на середину комнаты. Бумюллер и Меркле кидаются к нему.)* Чудовищно, господа! Чудовищно!

Меркле. Успокойтесь, господин Даубман! Посоветуемся, что делать! Ведь все мы в ужасном положении!

Бумюллер. В политическом смысле мы на краю пропасти! Надо немедленно что-то предпринимать! Господин Даубман, мы же накануне выборов!

Даубман *(вырывается от них)*. Извините! Пустите меня! *(Быстро*

подходит к жене Хуммеля, наклоняется, говорит срывающимся голосом). Вы должны немедленно... покинуть этот дом! Умоляю вас... немедленно... сию минуту... Я вас... я здесь... *(Вынимает бумажник, роется в нем, достает деньги, пытается втиснуть ей банкнот в руку.)* Пожалуйста! Возьмите...

Жена Хуммеля *(пожав плечами).* Спрячьте-ка ваши сто марок! Вот еще!

Даубман *(умоляюще).* Моя жена... поймите! Это будет ужасно! Умоляю вас, немедленно... немедленно уйдите!

Зейденштосс *(громко стучит в дверь, входит сияющий).* Привет господа! Очень рад видеть такое милое общество... *(Протягивая руку Даубману.)* Позволь, дорогой друг, сообщить тебе приятное и прекрасное известие! *(Торжественно.)* На вчерашнем заседании правления спортивно-гимнастического союза «Германия», председателем которого я имею честь состоять, единодушно решено присвоить Рудольфу Даубману звание почетного члена за его...

Даубман *(в бешенстве).* Перестань, Зейденштосс! *(Пошатнувшись.)* О господи! Сердце! Мое сердце! *(Хватается за грудь.)*

Зейденштосс *(остолбенев).* Что... что это значит? *(Бумюллеру.)* Я сказал что-нибудь не то, капитан?

Бумюллер *(сухо).* Ваше постановление немного опоздало.

Зейденштосс. Как это — опоздало? Побойтесь бога, господа! Я ничего не понимаю!

Труда *(вбегает в комнату, размахивая руками).* Святая Мария! Господин Рудольф там! *(Показывает на открытую дверь в переднюю.)*

Даубман быстро идет туда.

Медленно, опустив голову, входит Хуммель. Он в плаще, в очках, с чемоданом в руке; за ним — господин в макинтоше и полицейский.

Даубман *(хватая Хуммеля за руку).* Мальчик! Что это все значит?

Господин в макинтоше *(отстраняя руку Даубмана).* Извините! Этот человек, к сожалению, не ваш сын. Он обыкновенный жулик.

Даубман *(смотрит на господина в макинтоше, затем на Хуммеля. Хрипло говорит).* Значит, это... значит, это...

Схватившись за сердце, нетвердой походкой идет к столу, дрожащей рукой наливает из графина воду в стакан, пьет мелкими глотками, со стуком ставит стакан, падает на стул и застывает, обхватив руками голову. Все молча наблюдают за ним.

Бумюллер и Меркле стоят в стороне и шепчутся, сильно жестикулируя.

Зейденштосс *(подходит к господину в макинтоше).* Прошу прощения... Этот господин... *(Показывает на Хуммеля.)* Этот господин не Рудольф Даубман? Невероятно! Кто же он, в таком случае?

Господин в макинтоше шепотом что-то отвечает ему.

Хуммель ставит чемодан на пол, медленно снимает очки, прячет их в карман. Держится так, будто никого вокруг нет.

Жена Хуммеля *(злобно смотрит на него, подходит, таща за собой мальчика, говорит с издевкой).* Ну, Карл! Подними-ка голову! Я привезла тебе сына!

Хуммель *(словно очнувшись, смотрит на нее и на мальчика, немного смущен, но не слишком удивлен).* А-а... Напрасно беспокоились. Я как раз собирался к вам... *(показывает на чемодан)* в Берлин.

Господин в макинтоше *(услышав последние слова, прерывает разговор с Зейденштоссом).* В Берлин? Недурно! *(Зейденштоссу.)* Я арестовал этого молодчика в тот момент, когда он покупал два билета до Парижа. Два билета, и притом второго класса!

Зейденштосс. Два? Значит, у него есть сообщник?

Господин в макинтоше. Еще не установлено. Скорее — сообщница.

Жена Хуммеля *(с соответствующим жестом)*. Тьфу, подонок! *(Поворачивается к Хуммелю спиной.)*

Господин в макинтоше *(жене Хуммеля)*. Извините, а кто вы такая, позвольте узнать?

Жена Хуммеля *(презрительно)*. Моя фамилия Хуммель.

Господин в макинтоше. Ах, вы его жена, понимаю! В таком случае, вы нам понадобитесь. Хорошо, что вы здесь, на месте. Однако простите, в данный момент в интересах дальнейшего следствия... *(Полицейскому.)* Шерингер! Проводите эту даму в переднюю и побудьте там с нею.

Жена Хуммеля. Только долго я ждать не стану, ребенок у меня голодный! *(Выходит из комнаты с мальчиком и полицейским)*.

Зейденштосс *(господину в макинтоше, возмущенно)*. Ну, знаете ли, в конце концов, я все могу понять... Но подумайте — в Париж!

Хуммель. Очень просто. Столько мне за последнее время пришлось рассказывать о французах, об их пресловутом французском варварстве, что, пожалуй, мне следовало наконец самому посмотреть: а как они, собственно, выглядят, эти французы!

Зейденштосс *(бросая на Хуммеля испепеляющий взгляд)*. Скандал! Скандал! *(Господину в макинтоше.)* Я вам вот что скажу: этот человек мне не понравился с первого взгляда! У меня уже давно возникали кое-какие сомнения, но ради дела, ради, так сказать, высших интересов...

Меркле *(подходит к нему вместе с Бумюллером)*. Ради того, что вы правильно назвали высшими интересами, нам следует подумать, господа, над ситуацией, возникшей в результате *(твердо)* омерзительной мистификации, жертвой которой стала вся Германия! *(Хуммелю, сжав кулаки.)* Негодяй! Как вы посмели так бессовестно злоупотреблять самыми святыми нашими чувствами?!

Хуммель *(спокойно)*. Вы не совсем точно выразились. Я всего лишь плохо рассчитал. Уверяю вас, что я не метил так высоко. Но вы тоже плохо рассчитали. Вы сказали «вся Германия». Вся ли? Мне что-то показалось, будто я имел дело только с небольшой ее частью.

Бумюллер. Вы что, провоцируете нас?!

Хуммель. Какое там! Хочу только сказать, что вы, господа, слишком легко сужаете понятие родины. Вы — лишь одна сторона ее облика, притом самая неприглядная. *(Тише, но отчетливо.)* Я знаю и другую... *(Осматривается.)* Здесь ее нет... *(Очень тихо.)* Я боюсь за нее.

Господин в макинтоше. Я полагаю, Хуммель, что вы получите возможность оправдываться в другом месте! *(Всем.)* Господа! Мне кажется, вопрос ясен. Этот человек отправится в тюрьму и будет осужден по многим статьям закона, как то: обман властей, присвоение чужого имени, подделка документов... Кроме этого, за ним числится несколько мелких делишек, которые он проделал еще в то время, когда не был Рудольфом Даубманом!

Бумюллер *(берет под руку господина в макинтоше)*. И все же, скажу я вам, это не такое простое дело. Вы, разумеется, действуете, как полагается полицейскому чиновнику. Но, кроме того, вы ведь еще и гражданин! Одним словом — немец! Не испытываете ли вы — гм! — в данной ситуации некоторых колебаний?

Господин в макинтоше. Что-то такое, в самом деле, испытываю... Однако не вижу другого выхода.

Меркле. Позвольте, мы вам изложим нашу точку зрения...

Меркле и Бумюллер отводят в сторону господина в макинтоше, к ним присоединяется Зейденштосс. Стоя у окна, шепчутся, оживленно жестикулируют.

Хуммель *(пристально смотрит на Даубмана, понуро сидящего у стола все в той же позе. Медленно подходит, кладет руку ему на плечо. Приглушенным голосом)*. Господин... Даубман... *(Даубман вздрагивает, поднимает голову, часто моргая, смотрит на Хуммеля. Тот говорит, наклонившись к нему, задушевно.)* Будьте так добры, присмотрите за Фрицем. Смесь номер два он любит больше всего. Ну и сахарку иногда... *(Даубман серьезно слушает, кивает головой, словно человек, не совсем проснувшийся; Хуммель продолжает доверительно.)* Я был, знаете, неравнодушен к этой птичке... она единственное живое существо здесь, перед которым... *(Замолкает, выпрямляется, с внезапным раздражением.)* Эх, черт подери! Это неправда! Я забыл, забыл... еще про кое-кого!

Даубман *(с трудом поднимается, потирает лоб, всматривается в Хуммеля, говорит, как капризный, впавший в детство старик)*. Зачем ты это сделал, мальчик? Ты... ты нехороший, бессердечный.

Хуммель *(отворачивается, но вдруг хватает руку Даубмана, целует)*. Про-сти-те меня, господин Даубман!

Даубман *(высвобождает руку, делает несколько шагов к авансцене, замечает чемодан Хуммеля, внимательно, словно диковинку, рассматривает его. Повернувшись к Хуммелю)*. Значит, ты... гм... у-ез-жа-ешь?

Хуммель *(уже спокойнее)* Ну, скорее, меня увозят.

Даубман *(наивно)*. А куда?

Хуммель. В монастырь, господин Даубман, грехи замаливать. *(Подходит к Даубману.)* Видите ли, с нашим народом очень трудно все рассчитать заранее. Оказывается, у нас две вещи уживаются в непосредственном соседстве: пьедестал славы и тюрьма. Что касается меня, уверяю вас, что в тюрьме я буду себя чувствовать значительно спокойнее. И думаю, что пробуду в ней гораздо дольше, чем на пьедестале.

Даубман слушает, бессмысленно кивая головой. Меркле, Бумюллер, господин в макинтоше и Зейденштосс, закончив переговоры, подходят к ним.

Меркле *(сурово)*. Господин Хуммель! Если бы не ум и энергия этого господина *(показывает на господина в макинтоше)*, самого способного чиновника фрейбургской службы безопасности, вы бы сейчас ехали в парижском экспрессе. Я лично сожалею, что так не произошло. Полностью приветствую моральное значение *(поклон в сторону господина в макинтоше)* любой победы закона, но считаю, что в данном случае это привело бы к последствиям, неизмеримо более опасным в самом широком смысле. В ваше омерзительное преступление вам удалось — увы! — вовлечь некие высшие, гораздо более важные, нежели ваша «слава», интересы... Этого достаточно, чтобы в данном случае пожертвовать идеальным понятием справедливости ради спасения несравненно более важного дела: высших интересов!

Хуммель *(насмешливо)*. Боюсь, что вам еще не раз придется жертвовать *(многозначительно)* идеальным понятием справедливости ради всяких других интересов...

Меркле *(возмутившись)*. Прошу не перебивать! *(После паузы.)* Мое мнение целиком разделяют присутствующие здесь политические деятели. Я полагаю, что уважаемый господин Даубман также одобрит их, хотя... *(поклон в сторону Даубмана)* его положение в данном деле особенно, скажем, трудное. Наконец, что касается присутствующего здесь *(поклон в сторону господина в макинтоше)* представителя службы безопасности, то нам удалось с помощью неопровержимых аргументов убедить его, что в этой исключительно

сложной и щекотливой ситуации гражданский дух должен восторжествовать в нем над буквально понимаемым служебным долгом...

Хуммель. Ну, меня вам убеждать не придется!

Меркле *(резко)*. Прошу не злоупотреблять моим терпением, Хуммель! *(После паузы.)* Так вот, чрезвычайно благоприятно то, что, кроме нас, здесь присутствующих, никто еще не знает о происшедшем. И никто, кроме нас, не должен знать. Господин Хуммель! Перед вами две возможности: первая — немедленно отправиться в тюрьму; вторая — также немедленно, ближайшим поездом покинуть — и притом навсегда! — не только Эндинген, но вообще границы рейха. Можете отправляться куда угодно, хоть к черту на рога! Ну, и конечно — молчать! Молчать, прежде всего, ради своей же пользы! *(С угрозой.)* В случае надобности мы сумеем вас найти даже за границей.

Бумюллер *(Даубману)*. Официально, господин Даубман, будет объявлено, что ваш сын уехал на длительное лечение в Швейцарию — подкрепить здоровье, расшатанное лишениями во французском плену.

Даубман *(бессмысленно)*. Да, да... Лучше всего в Швейцарию.

Меркле. Итак, господин Хуммель! Что вы предпочитаете?

Хуммель. Разумеется, уехать, тем более что я не люблю менять свои планы. Я даже не стану требовать от вас денег на путешествие, поскольку обстоятельства сложились так счастливо, что в эту минуту у меня есть немного наличных...

Бумюллер *(взбешенный)*. Знаем! Знаем!

Хуммель. Позвольте, однако, предъявить вам одно небольшое условие.

Зейденштосс. Вот, скажу вам, наглость!

Хуммель *(спокойно)*. Вы, господа, согласитесь выплатить определенную сумму, в виде единовременного пособия, моей жене.

Меркле. Хуммель!

Хуммель. Полагаю, что какие-нибудь две-три тысячи марок...

Бумюллер *(сжимая кулаки)*. Мерзавец!

Хуммель *(подчеркнуто спокойно)*... за эту цену она согласится...

Меркле *(кидается на Хуммеля)*. Молчать!

Хуммель. Вот именно, согласится, пожалуй, молчать в интересах... высших интересов.

Меркле, овладев собой, отходит в сторону с перекошенным от злобы лицом. Бумюллер и Зейденштосс идут за ним, тяжело дыша от возмущения. Все трое торопливо советуются.

Господин в макинтоше. Ваша дерзость совершенно неуместна, Хуммель! Советую вам проявить некоторую сдержанность. Даже больше — некоторую покорность.

Хуммель. Послушайте, ведь между мной и этими господами завязались отношения, я бы сказал, чисто коммерческие. И я и они, хоть и в разной степени, пали жертвами легкомысленной калькуляции. Мы одинаково заинтересованы в соглашении. Только для них это игра по большому счету, а я, признаться, теряю не так много! Свободу? Простите, но в тюрьме я ее только обрету. Находиться в шкуре Рудольфа Даубмана — да никакая самая тесная тюремная камера не может с этим сравниться...

Господин в макинтоше. У вас довольно оригинальная философия. Однако ваши непомерные требования излишне усложняют наши простые расчеты.

Хуммель *(повернувшись к балкону, прислушивается)*. Простите, мне кажется, наши расчеты только сейчас начинают усложняться...

Сквозь открытую дверь балкона доносится шум приближающейся толпы, слышны возгласы, среди них можно различить восторженные: «Хайль!

Хайль! Даубман! Даубман!» Все, кроме Хуммеля, медленно, как автоматы, поворачиваются к окнам и балкону, изумленно прислушиваются. Хуммель садится на чемодан, закуривает. Бумюллер подбегает к балкону и выглядывает на улицу. За ним следуют Меркле, Зейденштосс, господин в макинтоше и, наконец, Даубман.

Голоса с улицы усиливаются, звучат уже у самого дома: «Даубман! Даубман!»

Меркле решительно возвращается в комнату, подходит к сидящему на чемодане Хуммелю, кладет ему руку на плечо.

Меркле. Послушайте... Хуммель!

Хуммель затягивается сигаретой и не двигается. Меркле продолжает мягко.

Господин Хуммель!

Хуммель поднимает голову, смотрит на него. Меркле показывает на балкон, умоляюще.

Вы... Вы должны... *(твердо.)* Вы обязаны!!

Хуммель тяжело поднимается, бросает сигарету, небрежно снимает плащ, швыряет его на чемодан. Меркле наблюдает за ним, говорит вполголоса.

Будьте добры... два слова... хоть несколько фраз...

Хуммель лениво вынимает очки, надевает их, поправляет пиджак и, не глядя на Меркле, неторопливо идет на балкон. Меркле молча следует за ним. Все собрались у окон, напряженно следят за Хуммелем.

Хуммель появляется на балконе. Крики, аплодисменты, возгласы резко усиливаются. Хуммель, подняв руку, как автомат, приветствует толпу. Когда шум стихает, опускает руку, говорит.

Хуммель. Соотечественники! Мужчины и женщины пробудившейся Германии! От всей души благодарю вас за проявление стихийных чувств! Я не так самонадеян, чтобы приписывать их исключительно своим скромным заслугам. Это инстинкт, могучий безошибочный инстинкт крови и расы привел вас всех сюда! Поверьте, ничто не сравнится с тем громадным удовлетворением, которое я испытываю, видя ваши разгоряченные лица! Для меня это самая высокая награда за все тяжкие испытания, которые я перенес. Ваш энтузиазм — замечательный предвестник нового лучезарного завтра нашей дорогой отчизны! К черту гуманность! Наплевать на призрачные права человека и гражданина! Человек — ничто! Германия, Германия — прежде всего и превыше всего!

Восторженный рев, аплодисменты.

Мужчины и женщины! Наш великий фюрер скоро вызволит нас из ярма! Доверимся же ему и преданно пойдем за ним в светлое будущее! Смело посмотрим в лицо грядущих дней! Они надвинутся, как буря, и сметут! Уничтожат! Обратят в прах! Всякую слабость! Все сентиментальные предрассудки! Всю узость личных чувств! Всякую... всякую...

Дальнейшие слова тонут в реве толпы. Хуммель снова вскидывает руку, кланяется направо и налево.

При последних словах Хуммеля в комнату вбегает фрау Даубман. Шарф сполз с ее плеч и волочится по полу. Она уже знает все. Входят полицейский и жена Хуммеля, они с интересом за ней наблюдают. Фрау Даубман, шатаясь, пробегает несколько шагов, останавливается, словно окаменев, около балкона, видит Хуммеля, кланяющегося толпе, поворачивает голову, смотрит помутившимся взором то на полицейского, то на жену Хуммеля, затем снова на балкон, неуверенно делает еще несколько шагов вперед.

Фрау Даубман *(пронзительно, заглушая вопли толпы, кричит)*. Руди! *(Пошатнувшись, падает.)*

Крики на улице продолжаются. Хуммель, как автомат, кланяется во все стороны.

Занавес

МАКС ЦИММЕРИНГ

„Отрицатель"

Перевод с немецкого
ЛЬВА ГИНЗБУРГА

Чем снискал себе успех
Наш назойливый приятель?
Он — известный *отрицатель,*
Он — противник «вся и всех».

Не по разуму речист,
Ходит он «модерным принцем»:
— Отрицание — мой принцип,
Ибо я — не конформист.

Что ж!.. Скажите, разве мы
(К черту фразами бряцанье!)
Отрицаем отрицанье
Фальши, плесени и тьмы?!

Этот новый, светлый мир
Строим мы! А сей философ
На помойке из отбросов
Свой готовит «эликсир».

И при этом мудрецом
Хочет слыть: глаза заводит,
Морщит лоб, ко всем подходит
С озабоченным лицом.

Говорит он: — Не поймешь
Для чего чего-то строят?
Люди *ни-че-го* не стоят.
Все на свете — грязь и ложь.

Мне герои — не пример!
Никакого нет геройства.
А геройство — это свойство
Рассуждать на мой манер!..

Не приемлет ничего
Знаменитый *отрицатель.*
Жалок этот «прорицатель»
И пророчества его!

КАРЕЛ ТОМАШЕК

О мире утреннем...

Перевод с чешского
ЛЬВА ОЗЕРОВА

Пой, зяблик, пой среди ветвей!
Размокший март из сутеми своей
бросает снег на землекопов, словно свет,
на свежий мой, на каждодневный след,
что к людям нас из одиночества ведет...
А на земле так много белых нот,
но тает снег, капель его клюет.
И вот сейчас я всем хочу сказать,
как жив, чем жив, что мне слепит глаза
своею вешней свежестью, слепит до боли:
буксиры на реке, распаханное поле,
долины родины, предместье, ветер ездит
туда-сюда, весенние разносит вести
о сем, о том, а жизнь, как спирт, крепка,
чиста, светла... О девушек упругие колени,
идущих вдаль по слякоти. Как сыро
гремящее в моторах утро мира!
Аллея голая похожа на скелет
какой-то рыбы. Рано. Резкий свет.
Проходят люди по аллее, шли вчера,
и завтра им идти по ней — стара
и все ж нова, как счастье,— то, что мне
необходимо, как в голубизне
крик воробьев, разбуженных весной.
Бензином пахнет. Пахнет новизной,
землей — так вкусно,— не перевести
дыханья, будто бы рояль
я на плечи взвалил, шагаю вдаль,
тащу живую ношу на плечах,
на постромках-лучах,
вот сам я зазвучу, вот запою
о мире утреннем, про улицу свою,
я дал ей имя Головокружения —
дань удивления,— она как даль весенняя.
Она как буря и как шквал
страстей, которыми я встал
над собственной своей судьбой
и над самим собой.

Пой, зяблик, пой!
Встречай зарю!
Как спирт, горю.
В сырой и серый март воспламеняюсь я
на том огне, что мне дарит земля.

АЛАН СИЛЛИТОУ

Ключ от двери

РОМАН

Перевод с английского
Н. ДЕХТЕРЕВОЙ, Б. РОСТОКИНА,
В. СМИРНОВА

Часть 3

ПО КРАЮ ПРОПАСТИ

12

Малайя мокла под проливным дождем. Брайн готов был поклясться, что в жизни не видел ничего подобного: горная хребтовина изнывала, иссеченная беспрерывными потоками. Казалось странным, как это море не выходит из берегов, когда в него стекает столько воды, и Брайн, подходя к дверям казармы, каждый раз почти ждал, что волны вот-вот перепрыгнут через берег, звонко шлепнув по песку, и начнут грызть сваи, точно злобные зеленые псы. Песок, мелкий и едкий, как молотый перец, влетал в открытую дверь.

— Да прикрой ты, бога ради, эту дыру! — заорал телефонист.— Глаза слепит, этак я и голых девочек на открытках не разгляжу.

— Заткнись! — отозвался Брайн, которому нравилась мрачная ярость шторма.— Интересно, скоро ли на пароход и по домам?

Да, на корабле было бы спокойнее. Широкополые шляпы, сапоги выше колен, плащи, и все же, пройдя после завтрака сотню шагов от столовой до казармы, вымокаешь до нитки и приходится переодеваться. Из-за сырости казалось, что здесь холодно, и все, кто был свободен от дежурства, сидели в шерстяных фуфайках — впервые за пять месяцев, с тех пор как прибыли из Англии. Брайн вспомнил свой разговор перед отправкой с меланхоличным сверхсрочником из Уэллса: «Там, друг, жратва паршивая. И что еще хуже — спят в палатках». Длинное ханжеское лицо солдата склонилось над кружкой пива, которым его угостил Брайн: «Да я б в Малайю не поехал, хоть бы мне вдвое платили. Ужас. А от насекомых там можно с ума сойти. Уж не говорю про змей, они к тебе прямо в постель лезут. Кино нет, и даже картинок никаких. А ты бы посмотрел, друг, что там творится, когда муссон дует,— дожди такие,

---

Продолжение. Начало в № 5.

что, ежели поскользнешься, недолго и утонуть. Нет, я тебе говорю — хуже места и выбрать нельзя». Вспомнив этот протяжный певучий голос и этого солдата, который сам едва ли принимал всерьез то, что говорил, Брайн улыбнулся; он прикрыл дверь и пошел дописывать письмо матери.

«Дорогая мама»,— он взглянул на конверт, на котором уже был надписан адрес. Сверху значилось: «Действующая армия», и это заставило его усмехнуться, потому что война уже добрых два года как кончилась. «Действующая! Какие тут действия. И вовсе я не на службе, черт бы ее драл, никому я тут не слуга. Просто совершаю бесплатное путешествие, дальневосточный туристский вояж для бедняков». Он отбросил конверт и надписал новый, поставив начальные буквы Д. А. внизу, в левом углу конверта, где, он надеялся, их никто не заметит.

«Дорогая мама, спасибо за «Дейли миррор». Я с удовольствием почитал газеты во время дежурства в своей лачуге среди рисового поля, где каждый божий день сижу и выстукиваю морзянку. На днях был в Пулау-Тимур и напился. Я там бываю раз в месяц, после получки. Ездим с ребятами, добираемся туда на пароходике, это в двух милях отсюда.

Надеюсь, у вас в Ноттингеме все в порядке. Заходит ли к вам Полин? Если нет, то почему б тебе к ней не зайти? У нее ведь ребенок, времени свободного мало, а я торчу здесь, нам вместе недолго довелось пожить. Привет папе. Отчего он не напишет мне, хорошо бы получить от него весточку». У ног Брайна стоял тазик, куда текла вода с дырявого потолка; несколько капель упало мимо таза, и Брайн пододвинул его. «Сейчас как раз идет дождик,— написал он и неожиданно закончил:— Ваш любящий сын Брайн».

До дежурства оставалось еще полчаса, и, чтобы убить время, он полежал немного на спине, глядя сквозь сетку от москитов в потолок, на жерди и пальмовые листья. В этот день им выдали новые удостоверения личности — фотография, как на арестантских документах, слева от нее краткие сведения: рядовой, состав — летный, 2-й класс, Брайн Ситон, 19 лет, рост 5 футов 9 дюймов, сложение нормальное, глаза голубые. Особых примет нет. Не очень-то подробное описание, но, я думаю, лучшего им и не придумать, потому что, будь я, скажем, горбатый, тогда меня бы здесь не было, правда ведь? Он вытащил удостоверение из кармана рубахи. Ну и рожа! Исхудал я с тех пор, как приехал, надо следить за собой, не то совсем тут растаешь от жары. А гляделки такие же сумасшедшие, как у моего старика, только у меня голубые, а на этой карточке вроде бы еще и косят малость. Загар хороший, но волосы торчат, как поросячья щетина. Ладно, ну ее к черту, эту карточку.

А может, там на базе на каждого из нас заведена особая папка, как в полиции: «Приговорен к двум годам службы в Малайе — высшая мера наказания, дозволенная законом. Там узнаешь, можно ли в восемнадцать лет надеяться выйти сухим из воды. Введите следующего». Он представил себе, что в этой папке:

«Политические взгляды: социалист, читает «Совьет уикли» *.

Личная жизнь: беспорядочная, в итоге перестал уважать власти и теперь заработал двухлетний срок.

Комплексы: материнский, отцовский и комплекс неполноценности.

Патриотизм: отсутствует. Необходимо строгое наблюдение.

Любимая киноактриса: Джин Крейн.

Положительные качества: хороший радист и не зря получает свои шесть шиллингов в день. Работает по шестьдесят часов в неделю — так что пока еще отпущен быть не может.

---

* Советская еженедельная газета, выходящая в Лондоне.

Дисциплина: никакой. Даже на дежурство является в гражданской одежде».

Между тем Хэнсфорд и Керкби затеяли ссору. Хэнсфорд был здоровенный темноволосый южанин, всезнайка, который в девятнадцать лет уже был на полпути между зеленой юностью и уравновешенной зрелостью. Верхняя губа у него все время кривилась, и это казалось скорее моральным, чем физическим недостатком, словно подчеркивало неожиданную смену настроений. Когда Хэнсфорд бывал весел и добродушен, вокруг него собирались все, кто оказывался в столовой, зная, что предстоит потеха; но когда он бывал мрачным и раздражительным, то заражал своим дурным настроением всю казарму, рискуя обратить общее раздражение против самого себя. За это Хэнсфорда особенно не любили. И вот теперь, почти голый, обернув лишь вокруг бедер полотенце, он стоял в воинственной позе, держа в руках мыло и белье. Он уже собирался выйти, но вдруг его любопытное ухо уловило, как Питер Керкби сказал кому-то, что он вовсе и не был призван, а пошел добровольцем. Хэнсфорд, покрепче затянув полотенце на бедрах, немедленно высказал сомнение на этот счет, причем на лице у него появилось такое недоверчивое и подозрительное выражение, что оно само по себе было уже оскорбительным для того, с кем он разговаривал.

— Да брось, никакой ты не доброволец,— протянул он таким тоном, что было ясно: он никогда не поверит этой глупости.— Соври лучше еще что-нибудь.

— А все-таки я пошел добровольцем,— спокойно отозвался Керкби.

Брайн потянулся за жестянкой с табаком, чтобы скрутить папироску. Вкусы его менялись в зависимости от настроения и часто от возможностей: он пробовал курить трубку, черные китайские сигареты, готовые или собственной набивки, и всякий раз это означало, что он спокоен или возбужден, рассердился на кого-нибудь или просто разбогател. Недоверчиво искривленная верхняя губа Хэнсфорда скривилась еще больше.

— Кончай трепаться, брехун паршивый!

— Заткнись! — крикнул Брайн.— Не твое дело, добровольцем он пошел или нет.

Керкби был его старый друг, еще по Рэдфорду, с тех времен, когда оба они пятнадцатилетними мальчишками работали на картонажной фабрике. Низенький, плотный, крепкий, как ослик, Керкби все больше помалкивал, хотя время от времени вдруг обнаруживал чувство юмора, особенно когда Брайн еще там, на фабрике, пытался внушить ему свои политические взгляды. На фабрике они работали вместе, таскали с грузовиков к чанам мешки с сухим клейстером и квасцами или же загружали тележки с мокрым, только что изготовленным картоном в жаркую сушилку.

— Я пошел добровольцем, потому что мне там надоело, сыт был по горло,— терпеливо объяснил Керкби.

Но Брайн знал, что не так нужно спорить с Хэнсфордом, который тут же ответил:

— А вот мне бы там никогда не надоело.

— Не беспокойся,— сказал Керкби.— Я отсюда выберусь вместе с тобой, потому что завербовался только на время «чрезвычайного положения». А иначе меня бы все равно призвали.

Брайн пускал клубы табачного дыма, присев на койку у выстроенных в ряд сверкающих сапог и слушал, как глухо и мягко разбивается о берег волна и как дождь стучит по крыше — звуки эти словно отбивали секунды смертельной скуки между дежурствами. Молодой малаец Че-Дин начищал сапоги до блеска. Можно было подумать, что это составляет предмет его особой гордости — два ряда сверкающих

сапог, вытянувшихся по казарме, но Брайну казалось иногда, что малаец ненавидит всю эту мерзость еще больше, чем он сам, а уж это что-нибудь да значило. Че-Дин был маленький, изящный и хрупкий, на работу он часто приходил в сари и мягкой фетровой шляпе. Однажды он показал им дерево, возле которого японцы расстреляли малайцев и китайцев, и тогда Брайн спросил его, кого он предпочел бы в Малайе — японцев или англичан. Че-Дин пожал плечами и ответил: «Какая разница? И те и другие заставляют нас работать почти бесплатно». А этот псих Хэнсфорд пришел в ярость и тут же швырнул в малайца сапогом, угодив ему прямо в плечо; слезы стыда навернулись на глаза у Че-Дина, и он исчез из казармы на целых три дня. «Я не хотел в него попасть»,— оправдывался Хэнсфорд перед соседями, которые ругали его за отсутствие выдержки.

— Выходит, ты получил даже больше, чем просил, когда тебя отправили в этот поганый свинарник? — Хэнсфорд уселся на койку, словно собирался спорить весь вечер, хотя Керкби теперь мечтал только об одном: снова приняться за ковбойский роман, который читал до этого. И все же самому Керкби тоже иногда доставляло удовольствие, когда с ним ссорились.

— А мне тут неплохо. Я бы никогда не побывал в этой стране, если бы не пошел в армию, верно ведь?

Хэнсфорд потер зад.

— Ну, я мог бы придумать получше способ поглядеть на мир, а то загнали, как скотину, на военный транспорт.

— И я тоже, дружище. Да денег на это не заработал.

— Ну если так, ты правильно поступил,— сказал Хэнсфорд высокомерно и снисходительно, давая понять, что он одержал верх.— Двадцать один год службы будет тебе в самый раз.

Керкби усмехнулся.

— Ты что думаешь, я спятил? — он безуспешно пытался скрыть под усмешкой свое раздражение.— Три года службы — невелика беда.

Хэнсфорд уже вышел на середину барака.

— Не забудь, это лучшие три года в твоей жизни.

— Будет тебе,— вмешался Брайн,— каждый год — лучший год в нашей жизни, все они — лучшие.

— Только не тогда, когда форму носишь.

Хэнсфорд отвернулся, не желая спорить с Брайном, и пристально посмотрел на Керкби, словно хотел ударить его, но не знал, что из этого получится. Он был теперь взбешен больше, чем Керкби, и тот, заметив это, весело улыбнулся.

— Ну что ж, по мне, три года — в самый раз.

— У тебя просто мозги набекрень,— бросил ему Хэнсфорд.

Все прислушивались к спору, оторвавшись от своих книг, от сигарет, от мыслей и просто так — от бездумья.

— Набекрень, да не совсем, Хэнсфорд! — угрожающе крикнул Томпсон, который завербовался на двенадцать лет.

— Ну и пусть набекрень, раз я так хочу,— сказал Керкби.— Плевать. Домой я отправлюсь на той же самой посудине, что и ты, только я не хнычу. Мне любо солнце, и купаться я люблю. Мне даже платят за это. Не так уж плохо пробыть тут годик-другой.

Хэнсфорд никак не мог понять, почему Керкби так доволен.

— Тебе бы наняться вербовочные плакаты писать,— сказал он и побрел вниз по ступенькам принимать душ.

Брайн придавил голой пяткой окурок и стал натягивать высокие сапоги. Без четверти шесть; он накинул на плечи плащ, взял сумку и, сказав: «Ну, до скорого, утром увидимся»,— нырнул в плотную завесу дождя. За этаким шумом и собственных мыслей не слышно; он

все время отплевывался — вода попадала ему в рот. Крытый грузовик стоял шагах в пятидесяти от казармы, Брайн подошел и залез в кузов. Из соседней казармы донеслось пение — люди словно защищались песнями от этих пугавших их дождей, им начинало казаться, что дожди никогда не кончатся, будут лить до тех пор, пока не затопят весь мир. Время от времени на землю падали кокосовые орехи, словно снаряды «Большой Берты»: сперва быстрый свист и шелест в ветвях, потом глухой удар о мокрую землю.

Брайн резко привалился к кабине, машина вырвалась на шоссе, взметнув фонтаны воды из-под колес. Местные полицейские угрюмо стояли под навесами из пальмовых листьев, укрывшись с головой плащами. Грузовик стал подниматься вверх по прибрежной дороге, и Брайну были видны теперь только серые волны, серые облака и ревущая серая пелена впереди. Он был рад, что вырвался из лагеря и отделался от тревожного настроения, которое овладело казармой с началом сезона дождей. Все ее обитатели были подавлены и с нетерпением ждали, когда окончатся дожди. И вот, выбравшись из людной казармы, он сразу почувствовал себя лучше, свободнее, веселее, стал даже насвистывать последнюю песенку из программы местного радио. Возле малайских домиков на высоких сваях женщины разводили костры, чтобы сварить рису на ужин.

Он видел только то, что оставалось позади; совершенно неожиданно машина повернула и, миновав ветхую диспетчерскую вышку, помчалась по мокрой блестящей взлетной дорожке, которая разворачивалась под колесами словно ковер. Брайну нужно было добраться до радиорубки по узенькой тропинке, едва различимой сейчас за пеленой мелкого колючего дождя. Как только грузовик остановился, Брайн выпрыгнул на дорогу, завернулся поплотнее в плащ и зашагал к своей рубке.

Радист, которого он должен был сменить, уже вышел ему навстречу. Тяжелые струи дождя мутили воду, придавая ей какой-то зловещий оттенок; местами потоки совсем размыли узенькую полоску земли, связывавшую взлетную дорожку с рубкой. Брайн шагал медленно, чтобы не поскользнуться и не угодить в глубокие трехфутовые лужи по обеим сторонам, и с таким упорством насвистывал все тот же монотонный мотив, словно он помогал удерживать равновесие. Высокий светловолосый Бейкер подошел к нему вплотную; его близорукие глаза надменно щурились сквозь пелену дождя, а тонкие губы были плотно сжаты — казалось, он вот-вот улыбнется, хотя на самом деле это было совсем не так, и Брайн отлично знал, что он сейчас не в духе и ему на все наплевать после нудного дневного дежурства.

— Ну как?

— Помаленьку.— Бейкер был немногословен; порыв ветра отвернул поля его шляпы.— К семи управишься. «Дак» * из Сингапура сядет через полчаса.

— Хорошенькое время выбрал для посадки.

— Нужно ж ему где-нибудь приземлиться, бедняге.

— Приземлится, если только морду себе не разобьет на этой дорожке,— сказал Брайн.— Не хотел бы я быть на его месте.

Они уже надоели друг другу: Брайну не терпелось остаться одному, а Бейкеру — сбежать от одиночества, так что оба были сдержанны. Они разошлись. На дальнем берегу невидимая рука ветра пыталась окунуть в воду верхушки пальм, наклоняя их стройные, гибкие стволы, но они время от времени, отчаянно борясь, вдруг выпрямлялись. Белые отблески молний скользили по залитому водой полю, словно спеша встретить удар грома у взлетной дорожки.

---

* Самолет системы «Дакота».

Радиорубка стояла посреди квадратной площадки, окруженной четырьмя мачтами, провода антенн скрещивались над ветхой крышей и через отверстие в ней спускались к вращающемуся пеленгатору. Запах сырости был так силен, что дыхание перехватывало, и казалось, будто весь земной шар до самой сердцевины состоит из одной только пористой почвы и промокает, промокает насквозь. Бейкер не выключил динамик, и еще от двери Брайн услышал, как атмосферные разряды спорят с монотонным шумом дождя.

Он вошел и сбросил плащ, панаму, положил сумку. Паршивый лентяй, выругал он Бейкера, оставил аккумуляторы без присмотра, и на них капает с потолка. Небось снова читал свои каталоги мотороллеров; вот уж никудышный работник, ему бы механиком быть, а не радистом. Брайн повозился немного с тяжелыми длинными аккумуляторными коробками, нагромождая их на ящики, которые поставил в сухом углу, расписался в журнале радиограмм и книге дежурного, потом вызвал Сингапур, чтобы проверить связь.

Послушный стук ключа раздался ясно и четко, долгие и короткие, точки-тире зазвучали, словно птичий щебет, успокаивая его и возбуждая и в то же время отрезвляя, как первая рюмка спиртного. Он немного сдвинул наушники, чтобы слышать и низкие басовитые ноты супергетеродинного приемника и стук ключа, так что в ушах у него теперь отдавались и отстукивание, и его эхо, подтверждавшее: все в порядке. Он был совсем один, наедине со своей рацией, и ему достаточно было протянуть руку и нажать на ключ, чтобы где-то за сотни миль отсюда такой же вот одинокий радист протянул руку и отстучал ему ответ. Впрочем, сегодня ответы эти были почти не слышны, и он понял, что его собственные сигналы, пролетая над джунглями, на вершинах гор тоже попадают в лапы атмосферных разрядов и выходят изорванными в клочья. Началось его любимое четырнадцатичасовое дежурство — четырнадцать часов полного одиночества, и, хотя дождь колотил в стены маленькой и шаткой хижины, он был рад, что смена началась, и, отложив на время журнал, который начал заполнять, достал непочатую пачку сигарет и закурил. С подветренной стороны ему виден был серый, весь пронизанный дождем день — вода и низко нависшие облака. Провода антенны, завывая, рождали таинственные сигналы, но вскоре их заглушили сигналы приближавшегося самолета, который запрашивал сводку погоды. Брайн покрутил ручку полевого телефона, чтобы связаться с метеостанцией; покрутил раз, два, три раза, но телефон молчал. Наверно, провод размок.

— Не могу дозвониться,— ответил он самолету, но бортрадист настаивал: ему необходима сводка.

Брайн подошел к дверям взглянуть, какая погода: высота облаков — тысячи две футов, видимость — одна миля, ветер западный — сорок узлов, дождь; он вернулся и отстучал собственную сводку. Не очень точную, но бортрадист был, кажется, доволен. Он хотел получить и пеленг, но антенны, должно быть, закоротило, потому что никак нельзя было добиться отчетливой слышимости.

— Третья степень точности,— отстучал он,— так что не особенно на меня полагайся.

— И не подумаю,— ответил бортрадист иронически.

Ну и погодка! Дождь хлестал с какой-то пугающей стихийной силой, словно дикий зверь, вообразивший, будто он может одним последним усилием выиграть эту битву против земной тверди. Рисовое поле превратилось в озеро, разлившееся до самых деревьев, которые росли на краю поля, и время от времени на поверхности его появлялась рябь, словно в открытом море, где радиорубка была кораблем, уже направлявшимся к берегу. Вода капала с крыши, иногда попадая на автомат и

патроны. Может, он уже и не стреляет. Брайн взял его, вышел из рубки, встал, расставив ноги, и расстрелял диск прямо над рисовым полем. Ураган приглушил трескучий фейерверк пуль и безболезненно принял их в свою утробу.

Промокнув, Брайн вернулся в рубку, разделся до пояса и снова сел к передатчику. Ну и жизнь! У него на сегодня назначено с Мими свидание, он не ожидал, что придется идти на дежурство, но капрал, который должен был дежурить, сказался больным, и похоже, что этого капрала еще не одну неделю в починке продержат. Брайн вызвал французского радиста из Сайгона на смеси международного кода и варварского французского, который в ходу на востоке:

— Как у вас сегодня, никаких самолетов?

Может, он там книгу читал и не хотел, чтоб его беспокоили, но только ответ пришел быстрый и раздраженный, сквозь все помехи:

— А тебе чего нужно?

— Ничего,— отстучал Брайн и подождал немного.

Снова отозвался Сайгон:

— Меня зовут Анри. А тебя?

— Жан Вальжан.

Брайн, разыгрывая его, дважды повторил имя.

— А сколько тебе лет? — отстучал Анри, сделав несколько ошибок.

— Тридцать пять, — соврал Брайн, которому эта игра начинала нравиться.— А тебе?

— Двадцать семь.

Брайн спросил, нравится ли ему Сайгон, и в ответ донесся смех радиста: «Та-та-ти-ти-та-та».

— Ты откуда родом?

Брайн отозвался:

— Из Ноттингема.

— Дай мне тогда адресок какой-нибудь классной девочки.

Им было запрещено переговариваться открытым текстом, но Брайн не знал ни одного военного радиста, который не нарушал бы этот запрет.

«Что же делать, что же делать, раз попал в эту дыру? Только в пекло, прямо в пекло мчать верхом на кенгуру» — стишок, который он сочинил когда-то, пришел ему сейчас в голову. Он послал в Сайгон вымышленные адрес и имя, потом они дружески простились, как делают радисты, одновременно нажав на ключ.

Он наблюдал, как садится «Дакота»: она промчалась низко над верхушками пальм, опустилась на бетонную дорожку и, точно ядро, понеслась в сторону контрольной вышки. Он отстучал последний сигнал — спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи — и выключил передатчик, предоставив эфир бушующим легионам атмосферных разрядов. Сумерки спустились над мокрой землей, и Брайн плотнее прикрыл дверь, защищаясь от москитов, слетавшихся на огонь и садившихся на его тело, покрытое холодным потом. Он попытался разжечь примус, чтобы вскипятить чай, но полыхнуло пламя, и тогда, отбросив примус, Брайн стал запивать хлеб и сыр водой.

Мысль о том, что осталось еще одиннадцать часов дежурства, теперь ужасала его. Вспышки молний подмигивали ему сквозь щель под дверью, словно посмеиваясь над ним — ведь он мог бы сейчас быть в постели с Мими. «Нет, мне просто не везет на этом свете, хотя, конечно, лучше смеяться над своими неудачами, чем клясть их». Ветер, точно хулиган, шумно скандалил, наскакивая на ветхую лачугу. «Один бог знает, как я сюда угодил. Я не знаю. Я не против, чтоб меня одного оставили, но тут все равно как на «губе», даже этот поганый телефон и тот не работает, нельзя вызвать контрольную вышку».

«— Слышь,— сказал мне отец в тот вечер, когда я напомнил ему, что мне завтра восемнадцать исполнится.— Слышь, если я узнаю, что ты в армию завербовался, башку тебе оторву. Помни.— Я как раз вернулся от Полин, с которой мы проводили время на диване, и настроение у меня было отличное.

— Никто по своей воле в армию не завербовывается,— сказал я.— Не знаешь, что ли, вот уж шесть лет как введена воинская повинность.

— Ты мне дерзить не смей,— сказал он и стал мрачней тучи, насупился; я думал, он мне сейчас чайник на голову вывернет, а он только налил мне чашку чая.— Я тебя не спрашиваю, повинность там или еще что, вот меня ж они не зацапали, правда?

— Ну, ладно,— сказал я.— Спасибо за чай, а только ведь здоровье у тебя было слабое, верно?

— Может, и так. Но я к тому же неплохо прикинулся. Одно могу тебе сказать: после всех лет безработицы и житья на пособие я за этих сволочей воевать бы не стал. Ведь нам — и мне, и тебе, и матери — много пришлось вытерпеть.— Он торопливо отрезал мне ломтик мяса.

— Ну как ты не понимаешь, па, меня наверняка призовут, я ведь годен. И тут уж мне не отвертеться.

— Дейв и Колин сумели отвертеться, всю войну ухитрялись. Они перехитрили всех солдафонов. Ох и пройдохи они оба.

— А все-таки их взяли, верно ведь? — сказал я, с грустью вспомнив тот день.

— Ну да,— сказал отец с улыбкой,— а только война-то к тому времени кончилась.— Он с наслаждением отхлебнул чаю.— Так что держись подальше от всего этого».

Но Брайн вовсе не хотел держаться подальше, потому что это означало бы остаться в Ноттингеме, а он не был уверен, что ему этого хочется. С другой стороны, он не то чтоб боялся дезертировать, но ему казалось, что позволить мобилизовать себя — еще хуже, чем слоняться, будто преступник, по ночным улицам. Ну, а вдруг он пропустит что-нибудь интересное, если не отдастся на этот раз на волю течению? А отец все говорил:

«— Наш Эдди в семнадцатом году дезертировал, сел на велосипед и сбежал к своей сестре в Ковентри. Хитрый, стервец, был — не поехал по дороге — боялся, что его полисмены схватят; вдоль канала двинул, по бережку, ну и там, конечно, ни души не встретил. Путь был вдвое длиннее, но игра стоила свеч. Тетка его там шесть недель прятала, а он, болван, стал скучать по Ноттингему и в один прекрасный день вернулся, так что пришлось отцу с матерью возиться с ним. А тут один дружок увидел, что полисмены к нашему дому идут, ну Эдди и смылся, засел в Уоллатон Рафс. Он там чуть не замерз до смерти, бедняга. Я к нему все, бывало, ездил на велосипеде, жратву возил, что мать ему стряпала. А как-то раз я сплоховал, и проклятые полисмены меня перехитрили, следили за мной до того самого места, где Эдди прятался, ну и сцапали его. Через три месяца он уже был во Франции, а еще через неделю попал к немчуре в плен и там застрял до конца войны. Смех, да и только. Этот Эдди такой был мошенник!»

Они сидели в светлой кухне, и отец снова налил чаю сыну и себе.

Выпив воды, Брайн ощупью добрался до походной койки, расстелил простыню. Бейкер не позвонил вовремя в часть, чтоб зарядили аккумуляторы, и они совсем разрядились, так что теперь в рубке ни черта не видно. Он лежал на койке и слушал, как капли дождя стучат в стены и по крыше, словно тысячи зерен риса,— дождевая страда в юго-восточной Азии. «Что бы сделали Дейв и Колин на моем месте? В два счета улизнули бы. Но они б так далеко не забрались, как я, а ведь я тут кое-что повидал такое, чего им сроду не увидеть. «Я тебе не

рассказывал, Дейв, как я видел питона, когда служил в Малайе? Он полз прямо по рисовому полю. Длинный, футов двадцать, и толстый, как моя ляжка, а как расплескивал лужи! Но я на него и смотреть не стал!» «Что ж ты, смотрел бы на здоровье,— сказал бы Дейв.— А я лучше в кино посмотрю Тарзана».

Огромные крысы без конца шмыгали по стенам, шушукаясь где-то под крышей о том, что вода согнала их с насиженных мест. Общество это ему не особенно нравилось, и он стал крутить ручку телефона в надежде, что кабель каким-нибудь чудом соединится где-то на дне этих болот. Но телефон молчал, бесполезный, как взломанный замок, и Брайн, выпив еще глоток воды, уснул весь в холодном поту.

Бледные зигзаги молний озаряли рубку, проникали ему под веки и заставили его в конце концов широко открыть глаза, и теперь — когда, приподнявшись, он стал напряженно вглядываться во тьму, где ревел ветер, гремел гром и так сверкало, словно какой-то сумасшедший, выпущенный на волю, хулиганил со спичками и гремучей смесью,— теперь этот гром казался ему еще оглушительнее, чем раньше, когда он лежал, уткнувшись в подушки. Простыни намокли, и он подумал, что, наверно, не заметил, как на него капала вода, но потом успокоился, поняв, что это пот. Мысль, что ему придется сейчас передвигать койку на другое место, была несносна, и у него не хватало сил преодолеть усталость.

Молнии сверкали непрерывно, словно небо превратилось в одну гигантскую сигнальную лампу; один раз спросонья он даже попытался прочесть ее сигналы, но они были бессмысленны — какая-то невразумительная морзянка, перекрываемая громом.

■

Он заметил, что серый, тусклый свет проник в рубку, почувствовал это, еще не раскрывая глаз, словно свет этот был осязаемым,— призрачная завеса, которую дождь просунул, как письмо, под дверь, пока он лежал, отвернувшись к стенке. Он еще не совсем проснулся, а шум, приветствовавший его, был так оглушителен, что он, пожалуй, предпочел бы поспать еще. Шторм, бушевавший всю ночь, продолжал греметь, словно шло сражение, и, хотя бушевал он повсюду, казалось, что главная сила удара сосредоточена на этом рисовом поле, и в первую очередь на радиорубке. И в эти минуты, пока он бодрствовал, лежа на спине, в душу ему прокралось беспокойство. Он вздрогнул от жгучего прикосновения холодной простыни и пронзительного запаха плесени, потом закашлялся,— после приступа кашля ему стало еще холодней; он сел, натягивая на себя рубаху. Вода поднялась уже до самой койки, затопив его высокие сапоги и обтрепанную книжку карманной серии «Пингвин». Потоп, да и только! Надо будет проголосовать, если мимо пойдет Ноев ковчег, чтоб подвезли. Все на борт. Домой. «Что же делать, что же делать, раз попал в эту дыру? Плюнь на все. Сиди и помалкивай. И все-таки что за свинство! Но надо все же пошевеливаться. Из-за этого грома собственных мыслей не слышно, мне бы наушники да козырек на глаза от молний». Из сапог извилистой струйкой текла вода; вылив ее, он обулся, побрел к рации и включил передатчик. Потом настроился и сразу же получил приветствие из Мингаладона, из Бирмы: «Доброе утро!» «А что в нем доброго?» — отстучал он в ответ. И замолчал. Было уже семь часов.

Он выглянул из двери, которая была с подветренной стороны. Все, кроме маячивших вдали деревьев, ушло под воду, так что тропинки, которая вела через затопленное поле к видневшейся вдали взлетной дорожке, теперь не было видно. Дождь все лил, хлестал по взбаламу-

ченной воде, и казалось, он будет идти без конца, пока сама рубка не уплывет прочь. Первым побуждением Брайна было бросить рубку, перебраться через рисовое поле к взлетной дорожке, потому что антенны сейчас все равно бесполезны и не могут больше служить для пеленга. Он зашлепал по лужам к пульту и, каким-то чудом соединившись по телефону с контрольной вышкой, обрисовал дежурному офицеру грустную, но довольно наглядную картину своих бедствий. Дежурный прервал его: «Запирай рубку и пробирайся сюда. Грузовик отвезет тебя в лагерь». «Вот только лодку за мной не пришлют, чтоб до взлетной дорожки добраться,— подумал он и с такой силой захлопнул крышку приемника, что она чуть не треснула.— Идиот паршивый!»

Насвистывая какой-то мотив, он запихнул вахтенные журналы и боеприпасы в сумку, отсоединил аккумуляторы и поставил их как можно выше. Огромная раздувшаяся пиявка величиной с небольшую змею, извиваясь между его сапогами, пробиралась в рубку через щель. «Эй ты, там никого нет, я вовремя смылся!» — крикнул он ей вслед. Стены рубки были сплошь покрыты пауками и другими насекомыми, спасавшимися от наводнения, под крышей испуганно пищали крысы, время от времени они спускались вниз, к кромке воды, а потом спешили обратно наверх — сообщить своим, что вода не спала, а может еще подняться и затопить их всех.

Ноги его нащупали тропку, которая была теперь фута на два под водой. Зажженная сигарета размокла, и ветер осыпал ему лицо табачными крошками, он то и дело сплевывал против ветра. Перекинув автомат через плечо, он еле-еле брел по воде, так как тропинка местами была совсем размыта, и, пытаясь нащупать ее, он уходил под воду чуть не до самых плеч. Вспотев, несмотря на дождь, он со страхом думал, что может наступить на змею, вспоминая при этом всех попадавшихся ему змей, и в особенности питона, который плескался недавно рядом с рубкой. А может, они все залезли на деревья? Мысль эта показалась ему утешительной, но маловероятной. Он ругался вслух и разговаривал сам с собой. «Да, вот это приключение! Выходит, я забрался еще дальше, чем мечтал, ведь это втрое дальше, чем Эфиопия, не шуточка! О черт, скорей бы добраться до взлетной дорожки, а там уж до лагеря рукой подать. Хоть бы чайку попить». Он плотнее завернулся в плащ, защищаясь от косого дождя. «Вот если б отец меня сейчас увидел: «А я тебе что говорил? — сказал бы он.— Ну как, обормот, болтаешься по самую шею в ледяной воде? Недолго и ревматизм схватить. Уж коли ты так любишь воду, пошел бы искупался в Тренте. Я тебе что говорил — не лезь в эту армию. Они для нас никогда палец о палец не ударили, чего ж ты для них стараешься, а?»

Нужно было пройти по взлетной дорожке целую милю против ветра, и казалось, ветер вот-вот своротит ему скулы; плащ развевался у него за плечами, точно у Белы Лугоши — человека-вампира, а поля шляпы отогнулись, как у старого золотоискателя. Пузыри взлетали из-под его высоких сапог. Ему надоело все на свете, он даже не думал о том, что сзади на него может наскочить самолет. «Единственное, чего мне сейчас хочется,— это добраться до теплой казармы, взять толстый роман в руки и еще получать миску жратвы каждые четыре часа, чтоб не знать голода. Право, жизнь тут не такая уж тяжкая, когда вся эта водичка с небес не льет на голову».

На контрольной вышке было немногим лучше, чем в радиорубке. Вода лила сквозь крышу, стекала по стенам, и карты на стенах побледнели и расплылись: Бирма лезла в Бенгальский залив, а Французский Индокитай сползал к Сингапуру. Суматра стала совсем красная, и Брайн усмехнулся, увидев это, хоть и подумал, что жаль губить такие хорошие карты. Огромный навес напротив вышки, из-под которого вы-

двигались прожекторы перед прибытием самолета, обрушился на землю. «Ремонт встанет в копеечку»,— усмехнулся Брайн. Дежурный офицер на контрольной вышке сердито покосился на гражданскую рубашку Брайна, но тот даже не замечал этого и в задумчивости курил у двери, чувствуя, как сырость пронизывает его до мозга костей.

Разбрызгивая грязь, подошел грузовик со сменой, и Бейкер выпрыгнул прямо в лужу, которой не видно было из машины.

— Ну что, лагерь еще на месте,— спросил Брайн, когда тот перестал наконец ругаться,— или его тоже смыло к чертям?

Бейкер отказался от сигареты.

— Нужно добраться до рубки и вытащить оттуда аккумуляторы.

— Туда сейчас не доберешься. Рисовое поле затоплено.

— Офицер связи приказал.

Брайна словно по затылку ударили, даже искры из глаз посыпались. «Выскочка проклятый, да знает ли он, что говорит? Коли хочет, пусть сам туда лезет, вместо того чтоб глушить виски и жрать овсянку в офицерской столовке».

Бейкер учился в закрытой школе, круг его интересов был узок, больше всего он интересовался спортом, и никогда не переходил в своем недовольстве границы устава королевской армии.

— Так или иначе придется нам это сделать.

Брайн спустился с вышки. «Переть назад через эту слякоть из-за каких-то заплесневелых аккумуляторов». Грузовик за какую-нибудь минуту проехал милю по взлетной дорожке, и Бейкер пришел в замешательство, увидев, как высоко поднялась вода.

— Ну, давай,— крикнул ему Брайн, уже стоявший по пояс в воде.— Что, подмокнуть боишься? А если попадется змея или, чего доброго, две, не обращай внимания: они от тебя первые убегут.

— А, дьявольщина! — крикнул Бейкер, прыгая в воду.

Брайн быстро зашагал по полю, останавливаясь только для того, чтоб указать Бейкеру, где размыта тропка, и чувствуя себя смелее теперь, когда он был не один да еще шел впереди. «А уж если бы с деревьев начали стрелять, тут я совсем о змеях перестал бы думать».

— Ребята в казарме тебя жалели — всю ночь просидеть тут в такой потоп! — крикнул Бейкер.

Дождь больше не колол Брайна иголками, капли тупо долбили кожу, от усталости он ничего не замечал. Справа плеснула в воде змея.

— Спасибо,— отозвался он, обращаясь к Бейкеру.

— Пока дожди, будем работать на тех же волнах из расположения взвода связи. Тут нет ямы?

— Нет, шагай. Вот здесь яма, но неглубокая. Они вполне могли бы сообразить это еще вчера.

Но все же это было неплохо: взвод связи расположен всего шагах в пятидесяти от казармы, можно отлучаться время от времени, чтобы встречаться с Мими. Он открыл дверь рубки, и раздутая пиявка снова выплыла наружу.

— Вчера вечером на казарму дерево повалило ветром,— сказал Бейкер.— Правда, никого не задело.

Они поставили аккумуляторы на стул. У Брайна появилось ощущение, будто он здесь в последний раз и никому уже вообще в этой рубке больше не работать. Бейкер решил, что нужно внести внутрь запасную антенну, и вышел за ней, но, едва добравшись до антенны, тут же отдернул руку, словно по ней прошел ток: пауки, пиявки, сороконожки и скорпионы нашли там себе убежище от потопа.

— Ах, чтоб тебя! — воскликнул он.— Ну, черт с ней, пусть остается.

«Что ж, побуду тут еще год, а осенью сяду на корабль.— Эта мысль успокаивала Брайна.— Все-таки неплохо, что я здесь, да и интересно,

было бы жаль, если б я всего этого не увидел, что бы там отец ни говорил. Ведь в Рэдфорде как-никак нет таких скорпионов, и потом, мне же всегда хотелось попутешествовать. Вот только скверный способ я выбрал для этого. И орут на тебя, как на собаку, за то, что ты форму носить не хочешь. Да я и в гроб не лягу в форме, хотя, конечно, в день получки, когда за деньгами идешь, приходится все же надевать».

Он накрыл аккумуляторы плащом (сам он все равно уже промок до нитки, и плащ ему больше не нужен), и они потащили их к грузовику.

— Смотри не поскользнись,— сказал Брайн.— А то еще в кислоте искупаешься. Подумать только — получить пенсию за ревматизм и обожженную задницу.

Они медленно шли друг за другом, с трудом заставляя себя не ускорять шаг под струями дождя.

— Даже сесть толком не сможешь, верно? — подхватил Бейкер, радуясь, что они уже прошли полпути.

Казалось, дождь никогда не кончится. Сверкающее синее море и такое же синее небо над зелеными холмами, пастельные краски Муонга за проливом, красные и черные корабли в бухте и желтые полоски пляжей к северу от городка — все это уже стало казаться сном, еще более смутным и призрачным, чем воспоминания о Ноттингеме.

В погожий денек одно удовольствие посидеть голым у рубки в плетеном кресле и позагорать, пока там какой-нибудь несчастный самолет надрывается, прося пеленг или метеосводку. Бывало, Брайн разжигал костер и поджаривал себе хлеб, а потом ел его с сардинами, достав баночку из бесконечных запасов в продуктовом ящике. Как-то он дал несколько баночек китайцу, который обрабатывал рисовое поле возле рубки, погоняя быка, запряженного в соху, и преглупо себя чувствовал, когда китаец начал его благодарить и кланялся чуть не десять раз кряду. «Хуже нет, когда такой вот безграмотной скотине добро сделаешь; у него просто в голове не укладывается, что все мы равны. Мими говорит, что они в пояс кланяются вместо того, чтобы руку пожать». Беспрерывный шум дождя был сейчас единственной реальностью: плотный кокон воды окутывал мозг и весь окружающий мир.

Из кузова грузовика видна была рубка — маленький темный кубик посреди огромного серого квадрата воды. Потом она исчезла из виду, и грузовик с ревом помчался по взлетной дорожке, разгоняясь, словно самолет. Он, Брайн, сейчас такой мокрый и голодный, что сперва почистится как следует и пойдет в столовую, выдует там крепкого пива столько, сколько в него влезет. А через день или два увидится с Мими. Бейкер толкнул его в бок.

— Ты заснул,— сказал он.

13

Свернув с шоссе (хотя здесь висит объявление: «За этой чертой — запретная зона для союзных войск»), сразу вырываешься из назойливых объятий огней и шума транспорта, попадаешь под сень пальмовой рощи. Узкая дорога изрыта колеями, и тени деревьев, растущих по обе ее стороны, сплетаются на середине. Каждый раз, сворачивая с шоссе, Брайн чувствовал себя преступником, решившимся совершить что-то отчаянное и непоправимое, хотя на самом деле он всего-навсего отправлялся повидать Мими. Шагая по дороге, он рисовал себе образ Мими где-то там, за стеной мрака, за мерцанием светлячков, которые время от времени вспыхивали перед ним по два сразу, а когда он подходил ближе, словно выключали свои лампочки. Ночная тьма надежно скрывала их, пока не минует опасность, а потом можно было снова зажечь свои огоньки; в общем, светлячки неплохо разбирались в правилах маскировки.

Он представлял себе Мими в голубом кимоно, вот она сидит у тростникового столика и прихорашивается в ожидании его прихода. А может быть, сидит в пижаме и пустым взглядом смотрит в зеркало на этот желто-зеленый мираж, на свое маленькое личико и плавно двигающиеся изящные ручки. Когда ее не было рядом, он не мог ясно представить себе ее черты, образ ее ускользал, туманился, издеваясь над бессилием памяти. Так бывало часто и с другими воспоминаниями. Когда, возвращаясь после дежурства, он видел лагерь — два десятка длинных бараков, угловатых и гладких, обсаженных тонкоствольными пальмами,— то аэродром и радиорубка, которые он покинул всего каких-нибудь полчаса назад, стирались в памяти, и он уже не мог бы описать взлетную дорожку или рубку, маячившие на солнцепеке в сонных просторах раскаленного поля. Да, в разлуке сердце смягчается и тает, потому что память обманывает тебя. Все далекое и недосягаемое, таящееся в прошлом или будущем, всегда привлекательнее того, что перед глазами, и становится еще призрачней, когда пытаешься, настроив глаз, как антенну, разобрать их туманные очертания. Он не мог, например, как ни старался, припомнить некоторые улицы Ноттингема, знакомые лица, а потом вдруг они с необычайной ясностью возникали перед ним, когда он меньше всего ждал этого, так ясно, что однажды, отстукивая срочную радиограмму, он вдруг перестал работать и, хотя самолет ждал в воздухе, сидел неподвижно, пока видение не рассеялось. Из-за этих наваждений он перестал доверять своей памяти.

Он остановился прикурить, и во тьме, сгустившейся еще плотнее после того, как спичка погасла, увидел яркие огни городка. Но дорожка меж черных деревьев привлекала его сейчас больше, и он снова зашагал по ней. Он не видел Мими уже неделю, что само по себе было тяжко, а если учесть, как разжигала его каждая встреча с ней,— просто невыносимо. Офицер связи отказался выдать постоянный ночной пропуск, потому что догадывался, зачем это ему. Трех долларов в день только и хватит, чтобы раз в неделю побывать в платном танцевальном зале «Бостонские огни», где работала Мими; вернуться полагалось не позже часу ночи. Со всех сторон его опутывали ограничения, изобретенные каким-то гением устава: разрешение на то, разрешение на это... «Ну, а чего еще я ждал, когда шел в армию? Нужно было сказать: у меня старая слепая матушка, которую надо кормить, и еще, что я верю в бога и в Иисуса Христа, и еще сослаться на кучу всякой белиберды. Тогда они, может, отпустили бы меня. Подумать только, они-то там, в Англии, считали меня умным, я ведь книжки читал! Конечно, я еще правую руку от левой отличать не умел, а уже выучил сотню французских слов; а когда время по часам научился узнавать, то уже знал, как называется столица Болгарии. Бухарест, так, кажется?»

Бросить ключ, не закончив радиограмму, его заставило воспоминание о том дне, когда четырнадцатилетним мальчишкой он пошел наниматься на работу. Нужно было пройти медицинскую комиссию, и врач-окулист сказал: «Ну-ка, взгляни на эту таблицу, сынок. Видишь, кружки на ней разорваны то слева, то справа. Вот я и хочу, чтоб ты, начиная вот с этого большого кружка, говорил, с какой стороны они разорваны — справа или слева». Ну и смеху было! Сроду я себя таким безграмотным не чувствовал, хотя работу мне это получить не помешало.

Дорога была сухая, припорошенная пылью — муссоны кончились несколько недель назад; хотя здесь и не бывает смены времен года, близилось рождество. Он шел, засунув руку в карман, думая о том, что такой же валкой походкой ходит отец, хотя вряд ли кто-нибудь, кроме него самого, мог бы заметить это теперь, после строевой муштры на английских плацах. Но походка осталась прежней, и он порадовался этому,

шагая в темноте, так как это подчеркивало его собственное «я», отделяя его от лагеря, казармы и всего, что с ними связано. Мимо, точно призрак, прошел малаец в белых шортах и тропическом шлеме, и Брайн сказал ему по-малайски «Добрый вечер», так что каждый из них мог убедиться, что мимо прошел человек, а не призрак. Приветствие осталось без ответа, и Брайн даже усомнился, что его можно понять, когда он говорит по-малайски. Он знал, как называются у малайцев дни недели, умел считать, выучил несколько слов, обозначающих еду и напитки, да еще два-три глагола, вот и все. В лагере у них был кружок по изучению малайского языка, но он никак не мог заставить себя посещать занятия, не мог относиться всерьез к изучению этого языка, отчасти потому, что считал малайский не таким важным языком, как, скажем, французский или испанский, а отчасти просто потому, что не хотел утруждать себя. Он знал, что выучиться было бы нетрудно: слова можно нанизывать одно к другому, не беспокоясь о сложностях грамматики, о которой он вообще не имел ни малейшего представления.

Недалеко отсюда были Патанские болота, и запах гниющих овощей, кислый и в то же время горько-сладкий, смешивался с запахом рыбы и риса, которые готовили на жаровнях в хижинах, разбросанных среди деревьев. Бунгало было за вырубками — большой дом на сваях с полдюжиной комнат. Полы в нем прогнили, а крыша из пальмовых листьев текла во время дождя. И все же, когда он пил чай в комнате у Мими или лежал, положив голову ей на колени, погруженный в приятное забытье, когда запах курений, которыми пропитались здесь самые стены, наплывал на него волнами, этот дом начинал казаться ему последним убежищем,— каким-то непостижимым образом дом этот напоминал ему о его прежней жизни, оставшейся так далеко в прошлом, что он не мог воссоздать ее в памяти и уж тем более выразить словами.

Он увидел свет в угловом окне: это комната Мими. Вдова-китаянка, сдававшая ей комнату, отправилась в Муонг, она ездила туда каждую неделю и должна была вернуться только с последним паромом, а к этому времени Брайн уже обязан был вернуться в лагерь. Он не пошел к крыльцу, а, пользуясь уловкой, к которой прибегал, когда вдова бывала дома, отправился к черному ходу, пробравшись через запущенный садик и испытав на какое-то мгновение панический страх, когда ему вдруг показалось, что он наступил на змею. «Ладно, может, она уже мертвая»,— успокаивал он себя, пробираясь вдоль веранды. Надеясь, что Мими не слышала, как он подошел, Брайн заглянул в незашторенное окно и увидел, что она лежит на постели голая до пояса, в одних пижамных брючках. Казалось, она просто глядит в пустоту, но проследив за ее взглядом, он увидел на потолке маленькую ящерицу, охотившуюся за насекомыми.

— Почему ты не влезаешь сюда? — спросила она, не поворачивая головы. Он не отвечал.— Отсюда тебе лучше будет видно ящерицу,— сказала она тихо и настойчиво, так что ему трудно было не подчиниться.

Он оперся локтями о подоконник и улыбнулся.

— Я и отсюда ее вижу. А то спугну, если войду.

Вид у Мими был обольстительный: волосы короткие, черные, лицо круглое с чуть желтоватой, но свежей юной кожей, веки тяжелые, неподвижные. «Как куколка»,— хотелось ему сказать вначале, но это годилось только для развлекательных книжек, какие доставались ему, бывало, на рождество, и для малоправдоподобных описаний из учебника географии, по которому он учился в своей никудышной школе. Он вспомнил, как в самый первый вечер танцевал с ней в «Бостонских огнях», как они разговаривали и пили рюмку за рюмкой и какой она была желанной, когда он смотрел на ее рот, красиво подчеркнутый помадой, ее раскосые глаза,

взгляд которых в те секунды, когда они оба молчали, казался таким пустым, что его охватывал страх перед пропастью, которая их разделяет. С тех пор прошло несколько месяцев, и он знал теперь, что пропасть, разделявшая их тогда, была ничуть не шире той, что разделяла его и Полин более четырех лет назад там, в Ноттингеме, в самом начале их долгого и отчаянного романа. «Даже здесь я не могу вырвать ее из памяти, а впрочем, я ведь женат на ней, что же тут удивительного?» Его мучили эти невольные переходы в мыслях, точно в волшебном фонаре,— от одной к другой, от Мими к Полин, и потом снова сюда, в сегодня — к Мими, потому что долго вспоминать о жене было мучительно больно, словно кто-то проводил по его легким острым, как бритва, лезвием,— его мучило то, как быстро он предал Полин, едва они расстались.

В тот первый вечер, возвращаясь из танцевального зала, где другие посетители отобрали у него Мими, он отстал от своих друзей и спустился на нижнюю палубу пароходика, переправлявшего их на тот берег. Китайская девочка в черной одежде сидела, поджав ножки, на скамье и, сплетая пальчики, поднимала руки к свету, чтобы взглянуть, что получилось. Потом занятие это наскучило ей, и она расплакалась; Брайн положил ей на колени горстку монет, и она успокоилась, а мать ее, проснувшись, не могла понять, что же ее разбудило, раз дочка молчит.

Пароходик дошел уже до середины пролива; издали Муонг был похож на поток угасающих искр, дальше к северу простиралась гладкая равнина моря, пустынная на целую тысячу миль до Рангуна и Ирравади. Черная заселенная полоса на противоположном берегу давно уже погрузилась в сон, и только вокруг пристани Кота-Либис, где пассажиры ждали переправы, еще сверкало ожерелье огней. Возвращаясь на верхнюю палубу, он переступил через чьи-то вытянутые ноги и увидел Мими, которая стояла у борта и задумчиво смотрела на Муонг. Она была в желтом платье, в руках — черная сумочка.

— О чем это вы задумались? — спросил он.

Она быстро обернулась.

— А, это вы. Просто спать хочется,— и снова отвернулась к воде, как будто только эта волнистая фосфоресцирующая поверхность могла сейчас дать отдых ее глазам, утомившимся за последние пять часов от яркого света и красок.

— Вам каждый вечер приходится так много работать, как сегодня?

Он обратил внимание на ее сережки — маленькие желтые фонарики, отбрасывавшие на щеку тень в свете пароходных огней.

— Работаешь или нет — все равно устаешь,— сказала она. Он поцеловал ее, ощутив холодное прикосновение сережки, когда она отстранилась.— Перестань,— сказала она, отворачиваясь,— с вами, парнями, нужно быть начеку.

— Только не со мной,— сказал он.— Я просто хочу знать, где ты живешь.— Он не понимал, почему она не притворилась, будто ее рассердил его поцелуй, ожидал, что будет куда хуже. Но она улыбнулась.

— А зачем тебе это знать?

— Чтобы прийти к тебе в гости.

Вместо того чтобы прогнать его, она только поддразнила:

— А зачем?

Он почувствовал, что она всегда так ведет себя, даже когда устала. Это была маска. Он никак не мог решить, сколько же ей лет; любопытно, какой она показалась бы со стороны невидимому свидетелю их разговора; он сплюнул за борт.

— Мне нравится с тобой разговаривать, не все ж с ребятами в казарме толковать.

Что ж, хитрость эта была не хуже всякой другой — для почина. На мгновение Мими превратилась в смешливую девчонку, куда более юную, чем он сам; но потом она словно опять погрузилась в какую-то свою жизнь, куда ему не было доступа, вероятно потому, что он был еще слишком молод, а может, и потому, что вообще глубины жизни, доступные ей, были далеки и совершенно чужды ему. И он чувствовал себя сейчас то молодым, то старым, и реально было одно — что он с ней рядом, на пароходе, все остальное — что было и что будет — стерлось в сознании, оставались огни, и волны, и деревянная палуба суденышка — все, что шло от хмеля и чувства, и было заперто в нем, девятнадцатилетнем юнце, и сковывало его язык. Разговор не клеился.

— Завтра воскресенье,— сказал он, доставая пачку сигарет.— Так что ты, наверно, не работаешь.

Она больше не улыбалась и не взяла сигарету, пришлось ему закурить одному.

— Нет,— сказала она.

И не думая о том, что он может показаться навязчивым, Брайн спросил:

— Мы увидимся?

— Если хочешь.— Она была равнодушна, но он так удивился, что не заметил даже, как безрадостно она согласилась. Он смутно сознавал, что навязал ей знакомство, но мысль эта его не беспокоила. Увидев, что он молчит, она улыбнулась.— Ты что, не хочешь?

— Хочу, конечно.

Огни Кота-Либис словно выросли, и они увидели на берегу людей, ходивших или стоявших в ожидании пароходика, который уже разворачивался у пристани. Окурок его сигареты упал в воду.

— Где мы встретимся? — спросил он, обнимая ее.

— В семь, около фотоателье В городе.

Ящерица не шевелилась целых десять секунд. Что за интерес смотреть на эту ящерицу, повисшую вверх лапками?

— Долгая песня,— сказал он,— так может всю ночь продолжаться.

— Детям это нравится,— сказала она.

— Вот и моей матери тоже. Она рассказывала, что маленькой девочкой любила сидеть на кухне и смотреть, как движутся стрелки часов. И подолгу сидела так.

— Мне бы надоело.

— Я люблю ящериц,— сказал он.— У меня в рубке есть ручной хамелеончик, сверху зеленый, а снизу синеватый, как утиное яйцо. Он с утра выползает, и я ему даю хлеба с молоком на блюдечке. Ну, теперь уж мы с ним друзья. Он тут как-то недавно пропадал несколько дней, и я думал, что его змея съела, а потом он вернулся с самочкой, так что, выходит, он все эти дни за ней ухаживал. Теперь они вдвоем лакают из блюдечка. Я думаю, они уже поняли, что попали в злачное местечко.

Она рассмеялась каким-то недоверчивым смехом, поглаживая грудь, и села на постели.

— Отчего ты вечно мне какие-то сказки рассказываешь?

Он перепрыгнул через подоконник и сел рядом с ней.

— А разве это плохо — сказки рассказывать? Во всяком случае, только тогда я тебе и нравлюсь, правда ведь?

Он притянул ее к себе.

— Ты смешной,— прошептала она.

Многие ее слова, казалось, потеряли смысл и стерлись, как монеты, давно утратили связь с тем, что она думает. Он представлял себе, как она с легкостью говорила их, обращаясь к другим своим любовникам, которые у нее наверняка были; он узнавал эти слова и ненавидел их, мучаясь ревностью, потому что они мешали ему сблизиться с ней.

— Это лучше, чем киснуть все время, как некоторые,— сказал он.

— Но ведь смешные люди на деле всегда самые грустные.

Странная судьба: отец ее стал лавочником, а раньше был последним бедняком из Кантона. Брайн представлял себе, как он с палкой через плечо, настоящий Дик Уиттингтон *, только китайский, плыл в джонке на юго-запад, посасывая плиточку опиума, чтобы поддержать в себе бодрость. Он представлял его себе молодым, с волевым железным лицом, на голове у него шляпа, похожая на крышку от мусорной корзины, только без ручки. Вот он живет там, в Сингапуре, питаясь горсточкой риса, заискивает перед всеми, вероятно, красивый, и это тоже использует в своих интересах. Такая жизнь казалась Брайну ужасной: в Ноттингеме это еще куда ни шло, но здесь... да лучше смерть, чем такая жизнь — выцарапывать цент за центом, торгуя то с уличного лотка, то в лавчонке, даже Мими говорит, что это дело нелегкое. Зато вот Мими училась в лучшей школе, это их тоже разделяло, и к тому же она китаянка, да еще женщина, и в возрасте у них разница в несколько лет. Все это как-то усложняло его отношение к ней, хотя в последнее время лед отчуждения таял.

В школе она проучилась недолго, ей пришлось уйти. И печальная история, которую она ему рассказала, растрогала его. Ее дружок, состоявший в какой-то политической партии (он не сомневался, что это была за партия, потому что научился неплохо разбираться и в правых и в левых и еще потому, что уже неплохо знал Мими), вынужден был оставить ее, беременную, в шестнадцать лет, и исчез, скрываясь от английской полиции, преследовавшей его. Потом пришли японцы, и с тех пор его никто не видел. Английских полицейских тут тоже четыре года не видели, разве что арестованных, под конвоем.

Она сидела, поджав ноги и отодвинувшись от него. Он хотел обнять ее, но желание это погасло, когда он увидел ее глаза.

— Какая ты печальная,— сказал он.— Тебе, наверно, так надоедает каждый вечер смеяться по заказу, что, когда ты со мной, ты не можешь даже заставить себя улыбнуться.— Он отошел и сел на стул.— Вот я и рассказываю тебе смешные истории, чтобы ты улыбнулась. Так ведь лучше, правда?

— Иногда,— отозвалась она тоном ребенка, который никак не может понять, о чем ему говорят.

— А еще,— продолжал он,— знал я одного чурбана, который взял и пошел в авиацию, и его послали в Малайю. Это был довольно отесанный чурбан, не просто большое полено, а вполне отесанный и оструганный, только вот пробор у него был не там, где положено, и, несмотря на это, он нашел себе подружку-чурку, которая во сне говорила по-китайски, а когда не спала, то с трудом объяснялась по-английски, и вот она как-то сказала, что любит его. Ну как, нравится тебе такое начало?

Это было начало новой трогательной истории, он не мог уже остановиться, перестать сочинять и рассказывать ее, словно выпил несколько рюмок виски, разогревших его, хотя сегодня он и в рот не брал спиртного. Рассказ становился как бы частью его самого, вроде руки или ноги, только неподвластной ему, слова легко и бездумно всплывали из темной глуби его души. Он вдохновенно играл роль, и словно зарница вспыхивала и светила холодным и ярким светом где-то у горизонта его сознания, пока не кончалась история, пока он не переставал шутить. И к концу Мими начинала смеяться, ее тянуло к нему, и им удавалось обойти все преграды и сложности. Она молчала или смеялась, но он почти ничего не мог прочесть на ее лице; и все же предпочитал, чтобы она смеялась, тогда в ней, по крайней мере, было больше тепла и ласки. Сейчас она лежала

---

* Легендарный персонаж: пришел в Лондон с одной котомкой, а впоследствии стал мэром города.

на спине, сбросив пижаму. Ее нагота была под стать этой влажной удушливой ночи, и, взглянув вверх, он подумал, что ее обнаженное тело каким-то образом связано с пляской смерти, которую совершает мошка вокруг раскаленной электрической лампочки: то, чего не поглотили черные утробы прожорливых ящериц, полонило и сожгло это солнце. Нагота ее вызвала в памяти девчонок из Ноттингема, и он подумал, что ведь он не видел ни одну из них совсем обнаженной, сколько бы раз они ни бывали вместе (кроме Полин, его жены, но она не в счет), ни с одной из них он не спал вот так, ни на одну не смотрел так, как смотрел сейчас на Мими, говорившую с ним совсем непринужденно, будто костюм Евы был последней модой, разрекламированной в «Стрейтс таймс», и будто его можно с гордостью показывать как нечто приобретенное за высокую цену, даже сейчас, в этом дрожащем полусвете. И он сам не знал, что искренней: медленно освобождаться от ненужной и все же влекущей одежды, обнажая белую гладкость кожи, или сразу отдать свою наготу другому. Все зависит от страны и от климата, и он столь же остро ощущал это различие, как и различие между такими далекими друг от друга частями света: между джунглями и полями, болотами и лесистыми холмами, между морем с акулами, со страшной рыбой-пилой и медленно петляющими среди лугов реками средней Англии, берега которых зачастую покрыты таким же плотным покровом, как тело девушки, рядом с которой он лежал там, глядя, как она шевелится, медленно и неохотно, в сонной и тяжелой неге зимы.

— Сейчас приготовлю тебе чай,— сказала она, отвечая на его поцелуи.— Тогда нам будет не так жарко.

— Чтоб мою жажду утолить, нужно восемь пинт пива, но тогда уж я буду ни на что не годен! — Чай был естественным рубежом в их свиданиях, после него они приступали к любви, и ритуал этот совершенствовался в течение многих встреч.— Когда вернусь в Ноттингем, я, наверно, не смогу пить горячую бурду, которую готовит мама — с молоком и сахаром. Мне теперь подавай чай холодный и слабый, в больших круглых чашках.

Ее тонкие руки соскользнули с его шеи.

— Ничего, ты скоро снова вспомнишь английские обычаи.

Теперь он так привык к ее медленной речи, что, когда она вдруг начинала говорить быстро, он не улавливал смысла, не слышал ни интонации, ни ударений, и бесполезно было повторять. Его умение разбирать морзянку не помогло ему научиться понимать Мими, и так как родным ее языком был китайский, ей удавалось многое скрывать под монотонностью английской речи.

— Я не собираюсь возвращаться в Англию,— сказал он.

Она как будто удивилась.

— Почему? Очень милая страна. Так пишут в «Стрейтс таймс».

— Может быть, только мне она не нравится.

— Но ты же должен туда вернуться.— Она улыбнулась.— Ты обещал прислать мне книжки и еще кое-что.

Он совсем забыл об этом: книжки о технике любви и противозачаточные средства.

— Ты и так достаточно знаешь.

— И все же мне хотелось бы почитать про это,— сказала она обиженно. Получалось, будто он берет обратно свое слово.

— Ну хорошо,— сказал он.— И все-таки мне еще целый год тут быть. А может, я и дольше останусь.

Мошкара тревожила Мими: она развернула простыню и натянула ее на себя.

— В Малайе у тебя нет работы, так что придется тебе вернуться.

— Работу можно найти на каучуковой плантации. Малайский мне выучить нетрудно, если взяться за него по-настоящему.

— А какая она, Англия? — спросила Мими.— Расскажи.

— Я ничего не знаю про Англию. Но расскажу тебе про Ноттингем, когда ты расскажешь мне про джунгли. Если тебе мешает мошкара, опусти сетку.

— Да нет, ничего, они меня не трогают. А на плантации очень опасно.

Оба замолчали. Они слушали, как квакают лягушки, как стрекочут кузнечики, словно ткут в высокой траве бесконечную пряжу. Собаки лаяли где-то возле хижин, и из бухты на Муонге к ним донесся замирающий звук пароходной сирены — он слабел, продираясь сквозь густую тень деревьев и прячась от деревенских огней. Брайн усмехнулся.

— Ты словно цыганка ворожишь. Что же тут опасного — остаться в Малайе?

Кровать скрипнула — Мими повернулась к нему всем телом, и ее черные, как уголь, глаза засветились тревогой.

— Значит, ты думаешь, что живешь в мирной стране?

Он улыбнулся — ради собственного успокоения. Страна и в самом деле казалась ему вполне мирной; конечно, здесь водятся тигры, змеи, здесь вредный климат, но так ли уж все это страшно?

— Ерунда,— сказал он.— Просто нужно перешагнуть через это. В джунглях я еще не был, но, может, скоро придется там побывать. У нас кое-кто в лагере собирается взобраться на Гунонг-Барат посмотреть, на что они похожи, эти горные джунгли. Всю дорогу, наверно, в гору будем идти.

Он вспомнил, как впервые увидел Пулау-Тимур по дороге из Сингапура с борта «Авро-19», который с ревом летел над прибрежными болотами на высоте шести тысяч футов. Пулау-Тимур лежал среди яркой синевы моря неподалеку от материка, словно россыпь зеленых холмов, и с высоты под ярким полуденным солнцем был похож на пластилиновый макет местности, вроде тех, какие Брайн делал в школе.

«Авро» снизился над портом Муонг, потом поднялся выше над лесистыми горами и бросил свою тень на пустынную гладь моря к западу от порта. Брайна чуть не вывернуло от резкого поворота, когда самолет, словно задев брюхом верхушку горы и промчавшись над островами, пошел на посадку, пролетая над широким четырехкилометровым проливом. Он все снижался и снижался над синей гладью пролива, и ближняя часть посадочной площадки, сверкавшей под солнцем, точно кусок канала, окруженного деревьями, приближаясь, становилась все шире. Брайн увидел песчаное дно, просвечивавшее сквозь воду, увидел несколько сампанов, спешивших прочь с дороги, рыбацкие сети на шестах, которые торчали из моря, словно ножи, нацеленные в брюхо самолета; потом по обе стороны желтыми полосами промелькнули длинные песчаные пляжи, и моторы зловеще смолкли. Это было жуткое мгновение, когда техника вдруг словно отказала, отступила перед тишиной. Брайн взглянул влево и увидел далеко на севере большую гору — величественная ее вершина вздымалась в небо, привлекая его взгляд к далям, которых он никогда раньше не замечал. Одиночество этой вершины затронуло что-то в его душе: мощная и независимая серая гора, не доступная ни жаре, ни холоду, маячившая на полпути в другой мир, за эти секунды взволновала его больше, чем все, что он видел до сих пор. Даже обратная сторона луны казалась хорошо знакомой в сравнении с этим совершенно иным миром, иным измерением, вдруг возникшим вдалеке за водным простором и прибрежными болотами. Потом видение исчезло, потому что снова взревели моторы и самолет помчался над посадочной дорожкой вдоль берега, где его уже ждали

легковые машины, грузовики и повозки, запряженные быками, миновал деревянные строения, пальмы, диспетчерскую вышку, и наконец Брайн, ощутив легкий толчок, с облегчением почувствовал, что они приземлились. А через несколько дней он стоял на берегу, любуясь простершимся над Пулау-Тимур вечерним небом, по которому стремительным потоком плыли над холмами оранжевые, желтые, зеленые и кроваво-красные полосы, простираясь с юга на север и угасая где-то в стороне, там, где были Сиам и Бирма. Пальмы склонялись над водой, и ночные огоньки рыбацких деревушек взбегали к той самой вершине, которую он видел из самолета. Он узнал название этой горы — Гунонг-Барат, что значит Западная гора, и нашел на карте ее высоту — четыре тысячи футов. Гора эта стояла в стороне от главного малайского хребта, это была целая цепь утесов и горбатых уступов, разделенных лесами, лощинами, по которым мчались горные потоки, и венчала все это одна вершина, царившая над всеми этими городками и рисовыми полями на прибрежной равнине. Он надеялся, что ему удастся когда-нибудь добраться до этой вершины, но не знал, как и когда может представиться такая возможность. Гора была в двадцати четырех милях к северу от их лагеря, склоны ее покрывали густые заросли, дорог не было, да и вообще, думалось ему иногда, вряд ли она заслуживала того, чтоб на нее взбираться.

— Не понимаю, зачем тебе туда лазить? — удивилась Мими.— Там и души-то живой нет.

— Откуда ты знаешь? А я вот слышал, что на вершине есть ресторанчик, и в нем один малый из Йоркшира продает кофе и булочки с кремом. Он там уже лет тридцать торгует, и дело идет из рук вон плохо, потому что все так же, как и ты, думают, будто там никого нет.

— Неправда,— сказала она улыбаясь.— Только ты меня не понял. Тут в Малайе будут большие бои, потому что народ не хочет, чтоб здесь были англичане. Война будет.

Он знал об этом, читал в газетах про убийства на каучуковых плантациях и про то, что в людей стреляют неизвестно по какой причине. Как-то вскоре после приезда из Сингапура он спросил у капрала-телефониста, почему на всех письмах все еще нужно писать «Действующая армия», и тот ответил, что малайская народная армия, сражавшаяся против японцев, не хочет теперь сдавать оружие, которым англичане снабдили ее во время войны, и, по существу, выступает против Англии, требуя независимости для своей страны. «Будет еще похуже,— сказал этот всезнающий пророк-капрал.— Увидишь, какая тут в один прекрасный день кровавая заваруха начнется. Одна надежда, что я к этому времени уже смотаюсь отсюда и всего этого не увижу, хотя мне так не везет, что могу и застрять».

— Ну что ж,— сказал Брайн весело.—Может, я и правда вернусь в Англию, как только представится случай, и найду там тихую, безопасную работу на какой-нибудь фабрике. Тогда уж я смогу выслать тебе все эти книжки, которые обещал.— Он осторожно стянул с Мими простыню и обнял девушку.— А только мне бы хотелось тут насовсем остаться.

— Нет, это не для тебя. Ведь что тут будет, когда начнется война? Все здесь считают, что коммунистическая армия собирается выйти из джунглей и перебить англичан. И никто не сможет остановить ее, так говорят. И может, много малайцев и китайцев при этом погибнет.

— Не знаю,— сказал он полушутливо-полусерьезно.— Но я-то ведь коммунист, так что со мной, может, ничего и не случится.

— Не надо шутить.

— А я и не шучу. Ты просила меня рассказать что-нибудь про Англию, так ведь? — Он закурил, чтобы отогнать дымом мошкару.—

Так вот, я жил в старом, ветхом доме в Ноттингеме и помню, до войны отец мой однажды по-настоящему плакал из-за того, что лишился работы. И так шло несколько лет, и денег в доме совсем не было, и еды тоже. Детям, правда, не так трудно было: нам бесплатно давали молоко и горячий обед каждый день — хитрые, собаки, заботились, чтоб мы выросли и могли потом против коммунистов драться. Теперь там стало немного полегче, но отчего это я должен идти против коммунистов?

— Не знаю,— сказала она.— Но ведь ты против, верно?

— Это ты так думаешь.

— Все англичане против.

— А ты не будь в этом слишком уж уверена. Вот я, например, не против. Это точно. У меня своя голова на плечах есть.— Но тут он увидел, как серьезно лицо Мими, и собственную его серьезность словно рукой сняло, будто кровь потекла быстрее по его жилам, и он начал вдруг фантазировать:— И если ты узнаешь, что какой-нибудь самый красный коммунист хочет купить пулемет и полсотни дисков, сообщи ему — у меня есть. Если сразу уплатить не сможет, пускай по десять долларов в неделю выплачивает. Или пусть ящик пива выставляет время от времени.

— Ты сумасшедший,— улыбнулась она.— В жизни не видела таких сумасшедших.

— Я чокнутый, поэтому ты меня и любишь, правда? — сказал он, целуя ее губы, шею, грудь, лаская ее едва заметные на ощупь соски, захлестнутый темной волной страсти и чувствуя себя так, словно какая-то неодолимая сила направляет его руки. Она высвободилась из его объятий и потянулась за халатом.

— Раздевайся. А я пока принесу чаю, будем пить в темноте.

Тишина размыла запруду, сдерживавшую его мысли, и картины прошлого стали проноситься перед его глазами. Они были туманнее, чем действительность, и яснее, чем грезы, но отвлеченнее обычных мыслей, потому что настоящее вдруг отступило. Темные людные ноттингемские улицы и их обитатели вдруг протянули сюда, в лесистые горы Малайи, свои щупальца, которые всюду настигали его, а порой терзались тоской по дому, хотя чаще все же пробуждали в нем целую бурю ненависти и решимость никогда не возвращаться назад, если только удастся, пока не съежится это огромное расползшееся пятно воспоминаний и сами они не сгниют в забытом и захламленном уголке его памяти. Он переживал это так бурно потому, что в девятнадцать лет будущего не существует: сегодняшние страсти черпают силу в прошедшем, и оттого Ноттингему было совсем не трудно вытеснить из его памяти Малайю. Он расстегнул рубашку и присел на постели, ожидая возвращения Мими. В этой комнате он не любил оставаться один, не то что в радиорубке; казалось, страшные призраки таились в каждом углу, только и выжидая мгновения, чтобы броситься на него. Это была странная комната, слишком многое было здесь связано с чужими людьми, слишком много их прошло через этот бивак. Он улыбнулся: ну что ж, в этом винить некого. Здесь пахло духами, потом, пудрой, соком деревьев, росших за окном, и все это мешалось с еле ощутимым запахом Патанских болот и ароматом курений. Он потрогал рукой постель, где только что лежало теплое тело Мими, и еще глубже, чем он думал, погрузился в атмосферу этой чуждой страны. Он улыбнулся: «Ведь я не очень ошибся, когда еще мальчишкой сказал дедушке Мертону, что в один прекрасный день возьму да и уеду в Эфиопию. Старик был бы небось доволен. «Ах ты поганец сопливый,— сказал бы он.— Подумать только, куда забрался и сразу бабу себе завел! Ну, это яблочко с моей яблони».

На веранде тихо звякнул поднос, потом шаги босых ног Мими приглушили музыку ночи — она ступала осторожно, чтоб не занозить их

о дощатый пол. Он прислушивался, словно в каком-то забытьи, точно звуки эти слышал не он, а кто-то другой, далекий, и оставался в неподвижной отрешенности, пока она не подошла к двери; потом потянулся за сигаретой и чиркнул спичкой в тот самый миг, когда маленькая ручка Мими выключила свет. Последнее, что он видел при свете, лежа на спине, была ящерица, вдруг прыгнувшая вперед и проглотившая москита, который долго звенел, кружась по комнате, все искал, где бы еще насосаться крови. Кожа на спине у Брайна еще зудела; перед тем он был уверен, что крови москиту досталось немало, и он усмехнулся при мысли, что какая-то частица его существа дважды исчезла сейчас в чужой утробе, совсем как в невероятной истории про Иону, который попал в чрево кита.

Она поставила поднос на пол, и он почувствовал ее дыхание, когда она склонилась к нему, чтобы подать чашку.

— Чудесно,— сказал он, отхлебывая чай.— Но я помолчу, а то еще беду накликаю.

Она присела у постели, отставив чашку после первого же глотка, и прикоснулась к нему.

— Брайн, Брайн,— прошептала она.

Она произнесла это невыразительно, и он не понял ее.

— Что такое? — громко спросил он.— Думаешь, я могу понять это кваканье?

Он одним глотком осушил чашку.

— Сама не знаю, что я думаю,— сказала она.

— Я тоже не знаю,— отозвался он с некоторой тревогой, потому что он-то ведь знал. И даже мог бы объяснить свои мысли, но не хотел. Думать — то же, что плавать под водой: нужно иметь сноровку, не то непременно утонешь. Порой, когда думаешь, то всплываешь и плаваешь поверху, но в этом хорошего мало — многие краски и красоты мира открываются только под водой: и скалы, и водоросли, и водяные змеи, и всякие фантастические рыбы — все мечты, фантазии, рожденные его воображением. Но он еще не умел плавать под водой, сколько захочется: чаще всего, когда он пытался сделать это, ему начинало казаться, что легкие и барабанные перепонки вот-вот лопнут, и он тут же всплывал на поверхность. Иногда, впрочем, он оставался под водой достаточно долго, чтобы насладиться удивительными картинами и ощущениями, и чувствовал тогда, что если, напрягшись, пересилит слабость и страх, то мало-помалу овладеет этим искусством. То же самое и с искусством мыслить — одолеть мысли было почти так же невозможно, как глубину, и все же они всегда тянули его к себе, словно обещая, что в один прекрасный день он сможет, не подвергаясь опасности, погрузиться в недра собственного сознания гораздо глубже, чем теперь.

Рука его гладила Мими по спине. Она улыбалась:

— Ну вот, наконец-то ты заторопился.

— Я как раз думал,— сказал он, поддразнивая ее, но не разжимая объятий,— что я вечно спешу. Вот и сейчас прошло уже несколько часов, и мне скоро уходить.

— Как глупо,— сказала она.— Мне так жаль.

Он не знал, правду ли она говорит, но сейчас он и не думал об этом, потому что она уже встала и сбросила халатик, а когда она легла рядом, он почувствовал прикосновение ее руки. Прошлое и настоящее слились воедино, подчинились лавине поцелуев, так что и улицы далекого северного города и зеленые джунгли — все слилось в этом мгновении.

— Я тебя люблю,— сказал он.— Только так и могу понять тебя по-настоящему.— Может, для нее время и пространство тоже слились в этом мгновении? — Люблю, слышишь?

Они молчали, Мими никогда не разговаривала, предаваясь любви: что значили слова в сравнении с выразительным языком ее исступленных рук, ног, тела?

Они притихли. И тогда шелест деревьев за окнами перешел в рев и наполнил комнату. Страстно квакали лягушки, тысячи сверчков крутили свои маленькие трещотки, точно зрители на огромном стадионе, а волны глухо шумели вдали, набегая на берег и пряча голову в песок после всего, что им пришлось увидеть, пока они блуждали над бесстыдной пучиной моря,— это был голос малайской ночи.

14

«Только одно могу сказать — ненавижу Ноттингем,— подумал он, улыбнувшись спокойно и насмешливо,— ненавижу за все те годы, что отчетливо отпечатались в моем мозгу, словно кадры из фильмов в витрине кинотеатра». Он жил тогда в Рэдфорде, и ему было пятнадцать, когда он начал работать — пошел в пасхальное воскресенье чистить котлы и трубы, пока фабрика стояла, начал по своей воле: за работу в праздники платили в двойном размере, а он как раз копил деньги на велосипед. Уйму денег платили: шиллинг и пять пенсов вместо восьми с половиной пенсов, или, вернее, платили бы, если б работа была все время. Он выходил из дому затемно, в половине шестого, шагал по пустынным улицам, сторонясь фонарных столбов, чтобы не расшибиться спросонок. Пошел мелкий дождь, и он поднял воротник, дрожа от прикосновения холодных капель и радуясь тому, что хоть идти недалеко. Отец не велел ему работать: «Не так уж тебе эти деньги нужны, сынок, еще наработаешься, когда постарше станешь». Он-то знал, как тяжела сверхурочная работа, на которую с такой готовностью шел Брайн, даже не подозревавший, что это такое. А Брайну это казалось большим достижением — работать, когда почти никто не работает, и заработать право на самоуважение, которое дает двойная плата.

Несколько юношей, лет по шестнадцати, как раз закончили ночную смену — с десяти до шести. Через дверь в конце коридора брезжил рассвет, звезды сияли над странными стенами без окон — одна стена была выше другой, и от этого небо походило на усеянную алмазами ручку огромного ножа. Прямо у его ног был люк с открытой крышкой, и он увидел, что лестница завалена золой и шлаком из фабричных котлов. Все это нужно было вытаскивать наверх, и в горле у него сразу пересохло, ему захотелось чаю, побольше чаю. Он взглянул вниз в котельную на скопище труб и приборов под круглым, точно вход в пещеру, люком, из которого задом, высоко вскидывая ноги, выбирался Джек Паркер. Лицо, руки и комбинезон у него были черней, чем костяшки домино, и он отчаянно ругался.

— Ну, я рад, что мне хоть эту кучу вытаскивать не нужно. Там целая гора золы, внизу она еще горячая.

— Выходит, этим мальцам все убирать придется,— сказал механик Тед Боузли. Управляющий Сэмсон велел Брайну не отмечаться в проходной, являясь на эту сверхурочную работу.

— Законом запрещено, ведь тебе еще шестнадцати нет,— сказал Боузли.— Так что помалкивай.

Он шел через темные подвалы, забитые до самых пожарных кранов большими рулонами бумаги. «Вот пожарище тут будет, если загорится,— подумал он, и ему даже словно теплей стало, когда он представил себе это.— Тогда уж никакого затемнения. Вдруг немчура бросит бомбу как-нибудь ночью, хотя теперь вроде налетов больше не будет.

Ну да ведь пожар от любого окурка может начаться, и уж тогда, попомните мое слово, одними огнетушителями да пожарными шлангами не обойтись». Войдя в кочегарку, Паркер снял берет и обнажил копну непокорных рыжеватых волос.

— Ну, теперь твоя очередь,— сказал он, увидев Брайна.

— Шести еще нет,— отозвался Брайн, сразу вставая на защиту своих прав. И все же взял лопату. По обе стороны топки шли две дымогарных трубы, каждая примерно в фут диаметром, причем левая проходила параллельно топке, потом поворачивала и соединялась с правой.

— Я спереди все выгреб,— сказал Паркер, доставая карманное зеркальце.— Ох и чумазый же я, как углекоп.

— Угу,— сказал Боузли, тоже собираясь уходить.— Они тебя еще загонят в шахту.

Ровно в шесть Брайн заглянул в трубу, но ничего не мог там разглядеть. Тогда он стал на колени и по пояс залез в трубу; она была вся в саже, душная и теплая. Одно усилие, и он уже внутри, распластался на животе и волочит за собой лопату, готовый взяться за дело. Извиваясь, он продвигался вперед по кирпичной кладке, увлеченный новым для него мрачным миром. Здесь было темно и тесно, ни один звук не долетал снаружи. Он замер, удивленный и даже в какой-то мере польщенный тем, что ему позволили проникнуть в сказочный механизм мира промышленности, и не желал приступать к работе прежде, чем насладится этой минутой. Здесь было тепло и страшно, если думать о страхе, но он не стал думать, а, продвинувшись еще на несколько футов, добрался до кучи горячей золы, поднимавшейся чуть не до самого верха. Оставаться здесь было невозможно, он почти утонул в золе и саже, которая забивалась ему в нос, в глаза, в уши. Он попытался ползти назад и, обнаружив, что не может повернуться в такой тесноте, похолодел от ужаса. Поднятая им пыль затрудняла дыхание, и он лежал, точно мертвый, в этом бесконечно длинном гробу, только часто-часто дышал, словно хотел прочистить горло. Прошло больше года с тех пор, как он ушел из школы, и это была его вторая работа, так что он считал себя опытным рабочим, человеком из фабричного мира, он уже курил и выдавал себя за восемнадцатилетнего в пивных, где официанты старались не замечать его; ухаживал за девчонками, которых удавалось подцепить, а в прошлую субботу даже участвовал в драке и теперь вовсе не собирался пасовать перед горсткой какой-то паршивой сажи.

Он перестал двигаться, и страх его рассеялся. «Вот только вылезу, отдышусь, а потом уж по-настоящему за дело». Но нужно было ползти, лежать слишком долго в обнимку с этими кирпичами было жарко. Да, жарища и духота тут страшная, хотя ведь в море, наверно, и похуже приходится. Он был в гробу, крышка которого плотно закрыта, зато в изголовье и в ногах доски как бы выломаны; темнота напомнила ему угольные шахты, он подумал о том, что он будет похоронен здесь, на глубине двадцати тысяч футов, если не сумеет выкарабкаться. Жану Вальжану, когда он удирал по сточным трубам, и то, наверно, лучше было, а вот Эдмон Дантес, когда делал подкоп, тоже небось хватил лиха. Брайн взял горсть золы, надеясь, что она, остывая, уже начала твердеть, но она посыпалась у него между пальцами, как песок в песочных часах. «Вот, если бы мне нужно было из тюрьмы удрать, я бы и глазом не моргнул, раз-два и вылез бы, но тут, когда дело касается потрохов этой вонючей фабрики, где за гроши вкалываешь всю ночь, незачем стараться. А если им что не понравится, то плевать я на них хотел, да и проверить они не смогут». Ему жгло руки и колени, но он все полз назад по трубе, пока ноги у него не повисли в воздухе, и, увидев позади свет, он понял, что выбрался на волю.

Свет лампочек ослепил его.

— Быстро ты осмотрелся,— сказал мистер Уиткрофт.— За две минуты.

— А мне показалось, что я там год проторчал.

Брайн потер руки и коленки, стряхнул с одежды сажу, хотел взглянуть на свое лицо, но зеркальца нигде не было.

— Сейчас полезу опять и покопаю немного.

— Вот молодец,— сказал Уиткрофт.— Только слишком долго там не сиди, а то еще загнешься, чего доброго. Я пошлю Билла Эдисона с другого конца. Так что вдвоем вы живо закончите.

«Может, оно и верно»,— сказал себе Брайн, снова залезая в черную трубу. Сколько раз отец говорил ему: «Никогда не вызывайся добровольцем»,— а он не слушался, хотя здравый смысл ему подсказывал: раз начинают вербовать добровольцев, непременно жди беды. «И не суйся никуда сам». Отец говорил это с убежденностью, и Брайн видел, что он прав. В том-то и беда, что он вечно куда-нибудь суется или идет добровольцем и сам не знает, как это получается. Что-то такое, о чем человек и понятия не имеет, сидит в нем и только и ждет случая, когда ему предложат куда-нибудь вступить или пойти добровольцем, и не успеет он оглянуться, как уже лежит в такой вот «калькуттской черной яме», задыхается и орудует изо всех сил лопатой за какие-то семнадцать пенсов в час. Он обливался потом. «Так и чахотку получить недолго,— подумал он.— Лежишь тут часами, вдыхаешь эту черную сажу. Я уже и хрипеть начал».

Он постепенно прокладывал себе путь в трубе. Сверху зола была только чуть теплой, но когда он добирался до кирпичного дна, она обжигала ему руки и колени. Он отползал немного, чтобы дать рукам отдых, потом снова полз вперед и еще быстрее работал лопатой. «И чего я так спешу, дурак?» — спрашивал он себя. И отвечал, отправляя лопатами золу в конец трубы: «Чтобы скорее кончить».

Он уже проработал восемь месяцев на картонажной фабрике Робинсона, в высоком здании, почерневшем от времени, пропитанном запахом трудового пота. Фабрика стояла на длинной улице, застроенной небольшими двухэтажными домами.

Сперва Брайн был чернорабочим, таскал тяжести, бегал по поручениям, подметал полы. Он отмечался в проходной каждый день в восемь утра и на несколько недель был приставлен к уборщице, помогал ей убирать контору, как только являлся на фабрику. Это была легкая работа, и благодаря ей утро не так долго тянулось, потому что по-настоящему он начинал работать только в девять. А в десять уже был перерыв на чай, и не успевал он оглянуться, как приходило время бежать домой обедать. У каждого директора фирмы был свой кабинет, а у мистера Роусона в кабинете висела огромная карта военных действий в Европе, красиво раскрашенная и такого масштаба, что можно было находить даже мелкие города, отбитые русскими у немцев,— каждый город, название которого объявляло московское радио под аккомпанемент десяти залпов из трехсот двадцати орудий, а потом в девятичасовой вечерней сводке повторяла Би-би-си. Солнечногорск, Волоколамск, Калач, Орджоникидзе, Дебальцево, Барвенково, Таганрог — названия, таившие в себе стальную твердость и могущество, знаменовавшие поражение немцев, хотя они сами еще не сознавали этого, знаменовавшие торжество силы, выступавшей теперь на стороне правого дела и продвигавшейся шаг за шагом к Берлину, к центру их страны. В расцвете своей черной славы немцы гусиным шагом двинулись на страну, где всеми заводами и всем имуществом владел народ, в страну, которая станет в один прекрасный день обетованной землей для всего человечества и где хлеб будет бесплатным, а люди будут работать только четыре часа в день.

Само слово Россия, Россия, Россия волновало Брайна, как какое-то изначальное слово, корень всех слов (даже до того, как он узнал, что означает оно нечто гораздо большее, чем просто страну), и убеждало в ее непобедимости, и поэтому, когда он впервые услышал, что немцы вторглись в Россию, он радовался — ведь это означало, что война долго не протянется. Германия была для него страшным видением: огромная фигура, с зубами словно снаряды, с руками точно штыки, с ногами как топоры, со сверкающими, как оружейная сталь, глазами и волосами из колючей проволоки, с низким лбом из мешков с песком и бронированным телом; только теперь она шатается и, истекая кровью, откатывается от Москвы и от Сталинграда под ударами Красной Армии, всей той массы рабочего люда, которая течет по своей земле, словно полноводная река мщения, и воздаст должное нацистским заправилам в Германии. И он улыбнулся этой мысли здесь, в черной дыре на фабрике Робинсона, подгребая золу под живот и проталкивая ее дальше к ногам, точно прах сожженных немцев.

Дома у него были собственные карты русского фронта, только не такие большие, как у мистера Роусона, но все-таки достаточно большие для того, чтобы обозначать на них карандашом извилистую ленту, где гуляет пламя и смерть. Это было увлекательно: он слушал сообщения о взятых городах и соответственно передвигал линию фронта. И когда советские войска, наступая, глубоко врезались на западе между Брянском и Харьковом, он знал, что немцы, стоявшие южнее, вдоль Донца, попадут в окружение, если только не уберутся восвояси. Газеты дома бывали редко, и вначале ему трудно было находить на карте названия городов, услышанные по радио.

Он часами искал их, склонившись над картой вместе со своим двоюродным братом Бертом, который тоже был увлечен этой военной игрой, затеянной Гитлером. Они напряженно разыскивали город с трудным названием, но зато уж после того, как находили и отмечали его на карте, другие города было найти нетрудно. Многосложные слова, быстро произносимые диктором, стремительно влетали ему в уши, жужжа, как пила, вонзающаяся в дерево: «Белая Церковь». Бои бушевали вокруг нее несколько дней, пока грохот их не стал замирать. Белая Церковь. Берт помогал ему искать ее, и название это так вошло в их мысли, что его невозможно было забыть — эту священную чашу Грааля рядом с огромным кружком Киева. Первым ее отыскал Берт.

На карте мистера Роусона длинный ряд булавок с красными головками обозначал русский фронт, и, убирая кабинет, Брайн в первое же утро заметил, что булавки вколоты слишком далеко на востоке и что их не передвигали неделю, а то и две. Может, потому, что Роусон утратил интерес к карте, но, во всяком случае, не потому, что перегружен работой; это был один из самых молодых и самых незанятых директоров, мужчина лет тридцати пяти, с полным лицом и рыжеватыми прилизанными волосами, человек, как говорили все, добродушный — когда он, проходя мимо, замечал, что кто-нибудь не работает, он никогда не выговаривал за это. Роусон был усат и носил очки. Он удачно и выгодно женился и мог не бояться призыва в армию — его работа у Робинсона, как считалось, имела государственное значение. Некоторые ставили ему это в вину и говорили, что ему следовало бы воевать, даже будь он родственником самого босса Робинсона, но кое-кто из старых рабочих говорил, что он правильно делает, держась подальше от всего этого.

В первый раз Брайн подмел его кабинет, очистил корзинки для бумаги, вытер пыль с «Ремингтона» (напечатав при этом свое имя и сунув в карман несколько скрепок для бумаги), а потом стал изучать карту России и возмутился, что булавки не передвигали так долго. Здесь фронт все еще проходил от Ленинграда мимо Москвы к Сталин-

граду и на Кавказ, так что огромная территория, занятая за это время Красной Армией, не была отмечена. И тут ему пришла в голову страшная догадка: а может быть, этого Роусона интересовало только, как далеко продвинулись немцы в начале войны, может, его вовсе не радует, когда русские отбирают назад свою землю. Брайн усмехнулся и стал лихорадочно — было уже без пяти девять — перекалывать булавки, и, прежде чем он собрал щетки, тряпки и жестянки с мастикой, чтоб отдать их уборщице, русский фронт был установлен там, где следовало.

Ему было приятно делать это, и с тех пор он с еще большим рвением производил в кабинете уборку и каждое утро, как только объявляли о взятии новых городов, передвигал булавки на карте. Однажды он не удержался от искушения и написал внизу на карте: «Пора открыть второй фронт». «Потеха,— сказал он себе. — Посмотрим, заметит он это или нет, а заодно узнаем, не надоела ли ему игра с булавками. Но, может, лучше стереть написанное — тут некоторым не нравятся русские; или, может, такие люди просто не любят, когда кто-нибудь пачкает их шикарные карты». И все же он оставил надпись, потому что душа его жаждала признания, хоть какого-нибудь знака, хоть нескольких слов— чтобы мистер Роусон, например, заметил, какой он начитанный и умный, как он быстро находит эти русские города с трудными названиями и как точно передвигает линию фронта. Кто еще из двух сотен рабочих на фабрике мог бы сделать это с такой точностью? Насколько ему было известно, никто. И как знать, может, старина Роусон придет в один прекрасный день и скажет: «У вас это неплохо получается с картами, Ситон. Надо будет посмотреть, может, мы найдем вам работу в конторе». Но нет, так не бывает. А что поделаешь? Не пойдешь же к ним и не скажешь: «Эй, мистер Роусон, вы видели, что я с вашей картой сделал? Я решил, что это просто позор — такая хорошая карта, а булавки не на месте». С одной стороны, конечно, ему может показаться наглостью, что я занимаюсь у него в кабинете такими делами, не сказав ни слова, а с другой стороны, чего ему обижаться, он даже и не заметил ничего, но тогда и места в конторе мне не видать. Не то, чтобы мне очень хотелось этого, ведь придется носить костюм и каждый день надевать чистую рубашку, а где же я на это денег возьму, скажите, пожалуйста? Маме с этим тоже не справиться. Уж лучше я поработаю на фабрике с другими ребятами.

К обеду он очистил половину левой части трубы. Теперь он залезал так глубоко, что выталкивать золу лопатой не удавалось, он стал брать с собой два глубоких лотка и, наполнив оба, тащил их наружу. У заднего конца трубы, за кочегаркой, кучи золы поднимались до самого потолка, и кирпичный настил там был очень горячий. Пот мешался с пылью у Брайна на лице, грязь лезла в рот и щипала кожу, а он сдувал ее или стирал с лица свободной рукой. После каждых шести лотков он отдыхал, лежа на боку, как бывалый шахтер, мечтая о сигарете или о кружке чая. Когда он приспособился к жаре, к тесноте и к недостатку воздуха, ему даже стала нравиться эта работа, к тому же вдвойне оплачиваемая. Он чувствовал себя смелым, мужественным, и если бы мать, или тетушка Ада, или дедушка Мертон увидели его сейчас, они бы сказали: «Какая польза в этой душной трубе работать. Но он крепкий парень, так что большого вреда ему от этого тоже не будет». И потом, хорошо работать совсем одному, когда никто не стоит над душой и не смотрит, сколько ты сделал; правда, он совсем неплохо работает, но — Брайн усмехнулся, снова погружая лопату в золу,— никому, конечно, не вздумается прийти сюда и посмотреть, как он тут управляется.

Большинство здешних мастеров и рабочих проработало у Робинсонов от двадцати до сорока лет, так что у фирмы в округе твердая репутация, хотя платят они так, что всякий профсоюз немедленно

объявил бы забастовку; но уж если тебя туда взяли, можешь быть уверен: пока ты гнешь спину и шапку ломаешь перед каждым мастером, тебя не уволят. Это была одна из тех фирм, что соблюдают традиции благотворительности: тяжкий труд и ничтожная плата для угодных фирме людей, которые будут служить ей верой и правдой, несмотря ни на что. А перед войной, когда люди готовы были горло друг другу перегрызть за работу, все только боялись, как бы не обидеть мастеров да не вылететь вон — живи тогда на пособие, хотя вся разница-то была бы в том, что они получили бы на несколько пенсов в неделю меньше да не надрывались бы, не лизали бы никому задницу от страха, что их уволят. За оплатой труда у Робинсона следили очень тщательно — она всегда чуть-чуть превышала пособие по безработице, и этого как раз хватало, чтоб заставить людей работать, но вряд ли могло хватить, чтобы спасти их от мучительной голодной смерти. Брайн улыбнулся, вспомнив, о чем тогда думал. Слава богу, что война: можно смотаться еще куда угодно, пусть только попробуют ко мне какую-нибудь собаку приставить, хоть я не очень-то люблю работу менять и предпочел бы на одном месте удержаться, чтобы руку набить и друзей завести. Только вот не могу понять людей, которые тут по сорок лет торчат,— хуже пожизненной каторги, особенно, если в других местах можно больше заработать. И что они в конце концов получат, после того как здесь всю жизнь проторчат? Чашку какао, экземпляр Библии да карманные часы за пять шиллингов, чтоб отмерять оставшиеся им дни безделья. А то и этого не получат, так я думаю. Хорошо еще, если спасибо им скажут, и уж как они тогда суетятся, как признательны... А то, бывает, только плюнут, раз уж нельзя ничего другого сделать, скажем, швырнуть окурок на ворох тряпок, пропитанных парафином, или сбросить одного из мастеров в люк. Но ничего уж не изменить. Раньше они думали, что у них специальность есть, они, мол, квалифицированные, и терпели всяких кровососов, которые им указывали, что делать, будто они прислуга. Да ведь сорок лет— это целая жизнь, да за это время во всех странах мира можно пожить, все посмотреть и все перепробовать, вместо того чтоб торчать тут и кланяться всякому в этом крысятнике у Робинсона.

Я сказал позавчера Бобу Торпу, что старик Робинсон просто рабовладелец, о таких в Библии говорится, что он хитрая змея и мерзавец, он и своих бабушек оптом продаст, если их у него больше двух окажется. А старина Торп ответил, что не нужно так говорить, а то как бы Робинсон и его надзиратели не услышали. «Ну и что же, если услышат?»— спросил я, усмехаясь про себя. «Как что? — сказал он, и его длинное лицо еще больше вытянулось от страха.— Тогда тебя с работы уволят». Боб — толстенький такой человечек лет шестидесяти. «Вот ужас,— говорю,— придется другую искать, правда?» А он ухмыльнулся и говорит: «После войны, когда с работой опять будет трудно, у вас нахальства поубавится». «Не беспокойтесь,— говорю.— Война кончится — этого старого толстяка с сигарой прогонят в шею вместе со всем его правительством. Тогда все по-другому будет. Их песенка спета». А может, и нет. Тут уж никто наверняка сказать ничего не мог, и Брайн тоже, хотя на лице у него и была написана уверенность — ведь он тоже боялся, что ему придется испытать отцовскую горькую судьбу, если прежние времена вернутся. «Нет уж, лучше пулю в лоб,— подумал он.— Или нет, лучше этих сволочей прежде перестрелять, и, может, все переменится».

Когда он проработал у Робинсона три месяца подсобным рабочим, мастер поставил его на приготовление массы — мешать воду с клейстером в бункерах, где образуется коричневая паста, а потом засыпать квасцы, перед тем как всю смесь отправить в котел. Он таскал со склада пятидесятикилограммовые мешки и, положив их на деревянный край чана, ссыпал туда клейстер. К концу рабочего дня тут ужасно воняло.

и когда Брайн сплевывал, слюна у него была оранжевая. Затычку в днище чана можно было вытащить только при помощи рычага, установленного в подвале, в прокатной, где делали картон. Когда оба больших чана наполнялись и у него выдавалась свободная минута, он залезал на верхнюю ступеньку лестницы и успевал поглядеть, как три или четыре листа бумаги затягиваются роликами старой прокатной машины. Всем этим командовал Боб Торп, он был мастер и уже тридцать лет управлялся с этими самыми машинами — лысый пожилой толстяк, который разговаривал со всеми учтиво, спокойно и, по слухам, даже читал книжки, а свирепел, разве только если там наверху, в чанах, не хватало массы для его любимых и всемогущих прокатных машин. Тогда в глазах у него появлялся злобный блеск и, боясь увольнения, он ругал Брайна последними словами. Брайн отвечал ему тем же, но снова брался за дело. Прокатные машины работали только два дня в неделю, и в эти дни в прокатной и вокруг чанов с пастой был настоящий ад: дребезжащие допотопные машины сотрясали потолок подвала и даже цеха, находившегося над ними. Брайн окреп, таская мешки и размешивая массу, он чувствовал, как твердеют его мускулы, как легко он переносит теперь тяжести, еще недавно казавшиеся ему непосильными. Чем труднее была работа, тем больше она ему нравилась, тем больший подъем вызывала она у него, и, возвращаясь домой усталый и на первый взгляд ко всему безразличный, он на самом деле чувствовал в себе огонек жизни и прилив внутренней энергии, которая помогала ему оставаться таким живым и веселым во время долгих прогулок с Полин по полям и лесам.

Во все остальные дни недели он возил вагонетки на подъемнике на верхний этаж фабрики в нагретую горячим паром сушилку, вместе с другими мальчишками развешивал листы картона для просушки, потом оттаскивал их обратно к прессам, а оттуда в картонорезку; наконец он доставлял картон к упаковщицам и складывал тюки для погрузки в товарные вагоны. Зачастую после того, как последние мокрые листы наконец подрежут и разложат для просушки, оставалось немного свободного времени — законный, признанный перекур, когда ребята могли пошататься без дела, пока листы не затвердеют и не станут такими жесткими и острыми по краям, что можно порезать пальцы. Здесь царила приятная расслабляющая атмосфера, как в теплице, и пять или шесть мальчишек, растянувшись на теплом и пыльном деревянном полу высоко над шумом автомобилей и станков, болтали или разглядывали комиксы, одни на этом фабричном небе, таком непохожем, как понял Брайн, сидя в черных трубах котельной, на эту тесную закопченную дыру.

В своей норе он то и дело без всякой причины откладывал лопату и смотрел широко раскрытыми глазами в темноту, ничего не видя и только ощущая все время стенки в каком-нибудь дюйме у себя над головой и по бокам; ему было так тесно, что он все время стукался о них локтями. Чувство, будто проход сужается, вдруг острой болью пронзало его мозг; он ложился ничком и прижимал руки к телу, напряженный и молчаливый, желая создать хоть иллюзию того, что здесь не так тесно, стараясь усилием воли замедлить биение сердца; потом принимался насвистывать какую-то песенку собственного сочинения, в надежде, что мотив из нового фильма, который он тщетно пытался вспомнить весь день, все-таки придет ему на память. Но безделье ему надоедало, и он снова брался за работу. Иногда ощущение, что проход сужается, возникало у него так неожиданно, что он не успевал овладеть собой и, охваченный страхом, извиваясь, словно змея, быстро отползал назад, вываливался на пол кочегарки и стоял там, покуривая, минут пять, отдыхая и потешаясь над тем, как он испугал всех своим неожиданным появлением. В свободное время в сушилке он часто учил Билла Эдисона читать карту. Шестнадца-

тилетний Билл проходил подготовку в юношеской военной организации, где он был уже капралом и где ему была обещана третья нашивка, если он сдаст экзамены на аттестат первого класса. Это был здоровый, как бык, парень, который мог поговорить о джазе или о женщинах, но был туповат во всем, что касалось точных наук, вроде картографии. Зато он лихо отстукивал такт костяшками пальцев, когда пел непристойные куплеты, отплясывал, подпрыгивая на месте, под песенку «Эскимоска Нэлли» или раскачивался из стороны в сторону под марш Сузы, слова которого были, конечно, должным образом изменены.

В те вечера, когда Брайн не гулял с Полин, они отправлялись с Биллом Эдисоном на поиски приключений, начиная с четырехпенсовых мест на галерке в каком-нибудь захудалом «Гранде», где обычно показывали ерундовый фильм: они смотрели его, пока не надоедало издеваться и громко хохотать над всей этой старомодной белибердой, а потом пробирались дальше по рядам и находили девчонок, которые позволяли обнимать себя за талию. Иногда им попадались девчонки, которые, так же как и они, искали острых ощущений, и тогда начинались яростные объятия и поцелуи, губы тянулись к губам, и вспыхивала борьба не на жизнь, а на смерть. Брайну это нравилось, и он пытался тут же, в задних рядах, сделать такое, что шокировало даже Билла Эдисона. Однажды он сумел расстегнуть блузку на своей девчонке и так тискал ее, так низко запрокинул ее на кресле, что маленькую девочку, сидевшую слева от них, это стало привлекать больше, чем кинофильм, и она спросила звонким удивленным голоском: «Мама, а что этот дядя делает с тетей?» Билл, раздосадованный тем, что у него дела идут далеко не так удачно, ткнул его в бок: «Смываемся, пока не выгнали». И тогда они вчетвером со стуком и грохотом выскочили из зала, не дожидаясь, пока билетерша позовет администратора, и отправились в закусочную поесть рыбы с жареной картошкой.

Однако чаще всего он проводил вечера с Полин. Им нравилось гулять вместе, а познакомился он с ней в полутьме задних рядов кинотеатра «Савой», когда дешевый военный фильм стал подходить к счастливому концу и он, утратив к нему всякий интерес (почему это никогда не убивают героя и с самого начала ясно, что он должен остаться в живых? И почему те, в чьих грустных глазах застыло ожидание смерти, обязательно погибают?), обернулся и увидел ее среди пустых кресел. Она смотрела на экран внимательно и спокойно, без того напряжения во взгляде, какое он знал за собой. В этот вечер он был один и поэтому, пересев на свободное место рядом с ней, заговорил:

— Не выношу такие фильмы, от них просто живот болит.

Помолчав, она сказала:

— А зачем же вы на них ходите?

— Да так, думал, что-нибудь хорошее покажут.

— Ну, а теперь вы уже знаете, какой это фильм, правда?

Она заговорила, и это неплохо для начала.

— Ну, конечно больше не пойду, если только вы со мной не пойдете. На той неделе получше фильм будет — музыкальный. Кей Кайзер со своим джазом.

— Мне Гарри Джеймс больше нравится.

— Мне иногда тоже. А когда заиграет трубач, я просто как на иголках.

— Так убери иголки, и все будет в порядке, правда ведь?

Его рука лежала на спинке ее кресла.

— Я провожу тебя домой, если хочешь,— сказал он.

— Меня уже ждут,— сказала она.

Когда заиграли «Боже, храни короля» и они стали пробираться к выходу, подошел парень и взял Полин под руку.

— Пусти-ка, друг,— сказал Брайн,— я ее провожаю.

— Вот как? — сказал тот.

— Конечно,— ответил Брайн.

Он был разочарован, что девушка не поддержала его, но потом, усмехнувшись, вспомнил, что они даже не знают друг друга по имени. С какой же стати ей вступаться? Он взял ее за руку, а за другую держал этот высокий парень, который, как казалось Брайну, был здоровее его, хотя, может, это объяснялось тем, что парень был в толстом темном пальто и белом шарфе. Брайну даже показалось, что он видел этого парня на какой-то фабрике.

Сначала, выйдя на улицу, Брайн словно ослеп от темноты. Девушка не пыталась отделаться ни от одного, ни от другого, а просто и спокойно шла между ними, словно знала, что в конце концов все как-нибудь уладится и тогда, оставшись с одним из них, она решит, хочется ей идти с ним дальше или нет. «Наверно, мне лучше уйти,— подумал Брайн.— Ведь если у них любовь, надо их оставить в покое. Может, они даже помолвлены, почем я знаю». У него возникло невольное желание юркнуть куда-нибудь в самое темное место на этой темной улице. «Может, у них еще с детства любовь, а я им все порчу». Но он не отпускал ее руки (позднее они вспоминали об этом со смехом) и, охваченный каким-то упрямством, вместе с ними пересек улицу и углубился в тихий переулок.

Тут парень резко остановился, и перед глазами у Брайна вдруг взметнулся кроваво-красный фонтан, вспыхнули разноцветные искры. Он выпустил руку Полин и, взвыв от боли, отлетел к стене какой-то часовни. Удар породил в его душе жажду мщения — он так хватил противника по голове, что его стиснутые пальцы заныли от боли, словно он ударил по бетонной или железной стене. Полин стояла посреди улицы, точно тень, ожидая одного из них, и Брайн решил, что он победит, хотя уверенность эту пошатнул сильный толчок в грудь, снова отбросивший его в стене. У него перехватило дыхание, и он понял, что это уже не шутка, что это настоящая драка и отступать поздно. Он рассвирепел и, отклонившись влево, сделал обманный выпад, нащупал слабое место противника, прежде чем нанести ему удар. Нагнув голову, он бросился вперед и, проскочив под самыми кулаками парня, схватил его за пояс и стал тянуть к себе, зная, что у него хватит сил, чтоб согнуть этого типа вдвое и швырнуть на тротуар. Сомкнув руки на спине противника, Брайн все крепче сжимал его, а тот ничего не мог с ним поделать; Брайн уперся подбородком парню в грудь изо всех сил, словно поднимал самый тяжелый мешок, и жал до тех пор, пока тот не упал. Брайн выпустил его, но тот вскочил раньше, чем Брайн успел расквасить ему физиономию каблуком. Брайн все время прижимался к противнику и после упорной, молчаливой возни голова парня вдруг оказалась у него под мышкой. Мгновение, и он сжал ее, словно тисками, напрягая мускулы одной руки и немилосердно нанося удары второй, благодаря счастливую случайность, потому что ссадины у него на лице нестерпимо болели.

Противник не сдавался, отбиваясь ногами. Но Брайн уже не помнил себя и делал все как во сне, охваченный первобытной жестокостью.

— Оставь его! — кричала Полин.— Оставь!

Смысл ее слов наконец дошел до него, и он удержал занесенный испачканный кровью кулак.

— Ну, получил? — спросил он, отпуская противника.

Тот застонал и упал на землю.

— Пошли,— сказал Брайн.— Хватит с него.

Она взяла его под руку, и они ушли.

— Не нужно было делать этого,— сердито сказала она.— Он бы сам ушел через минуту, я просто уверена.

Она оттолкнула его руку.

— А разве он не ухаживал за тобой? — спросил Брайн.

— Конечно нет. Он подсел ко мне за минуту до твоего прихода и спросил, можно ли меня проводить. А я ему даже не ответила.

Брайн молчал, она тоже умолкла, и он был рад этому, потому что почувствовал слезы у себя на щеках. Ему захотелось уйти и никогда больше не видеть ее, спрятаться от своего стыда. Темная волна захлестывала его, но тем нужнее ему было находиться рядом с ней, потому что тогда сердце его не так сжималось от боли. Она разорвала бы ему сердце, эта боль, если б он остался один в темноте. Он все повторял себе, что нужно вернуться и посмотреть, как там этот малый, и в то же время какое-то отчаянное и необоримое чувство толкало его вперед.

— Надеюсь, с ним все в порядке.

— Наверно,— сказала она, снова взяв его под руку.

Из ссадин сочилась кровь. Вот как кончился вечер, когда Брайн решил наудачу один прогуляться в кино, но он был рад, что дрался из-за этой девчонки, которую еще даже не видел при дневном свете, и победил в драке.

— Как тебя зовут, детка? — спросил он, прижимая ее к себе и целуя. Мимо проехала машина, тускло светя фарами в сторону города.

— Полин,— сказала она.

Когда он вернулся домой и опустил руки в миску с водой, вода стала розовой. На следующее утро на его лицо было страшно смотреть.

■

Обычно в сушилке Брайн, подобрав кусок картона, экзаменовал Билла, проверяя, хорошо ли тот знает условные знаки, географическую сетку, линейный и цифровой масштаб, определение магнитного склонения, истинного курса и румба. Кусок картона покрывался сложными символами, которые всякому несведущему показались бы китайской грамотой; Брайн объяснял также, как снимать профиль с карты. Все свои знания он почерпнул из картографического руководства, которое нашел субботним вечером в одной из городских книжных лавок. Он с увлечением читал эту книжку несколько недель, но совсем забросил ее, когда начал гулять с Полин, и не вспоминал о ней, пока в один прекрасный день Билл не сказал, что ему чертовски трудно приходится, потому что у него экзамены на аттестат первого класса, а он в картах ничего не смыслит.

Билл сегодня тоже вызвался очищать дымоходы, но Брайн проработал чуть ли не до вечера и почти очистил половину трубы (сыт по горло и еле жив, в глотке сажа, задыхаешься и потеешь), а Билла все не видно, и он начал подозревать, что Билла назначили на какую-то работу полегче, например во дворе, на свежем воздухе, поднимать на веревке ведра с золой, а потом грузить на машину. А может, и нет. Он слышал, как мастер сказал, что ему придется потом поработать и в правой трубе, потому что и ее они собирались очистить сегодня, чтоб сразу растопить печь. Ну, если Билл увильнул, не будет ему больше никаких занятий по картографии. А еще друг, хотя, конечно, он в тысячу раз лучше, чем все эти начальники. Им бы только побольше продукции выпустить да потуже набить карманы. Что ж, им легко быть патриотами; на их месте и Брайн бы сумел. Про Роусона говорят, что он из них самый порядочный, а только и он тоже дрянь: Брайн из-за него лишился спокойной работы, Роусон все-таки увидел на карте в своем кабинете надпись «Пора открыть второй фронт», и ему, наверно, это не понравилось, потому что уборщица сказала Брайну, что на его место назначили другого. Вот тебе и оценили знания, вот тебе ихняя благодарность за то, что ты булавки передвигал куда надо!

Он проглотил слюну — во рту было полно сажи — и продолжал копать, теперь уже почти у того колена трубы, где он надеялся встретить Билла Эдисона. Он смертельно устал — казалось, кто-то закрывает ему глаза ватой,— с трудом преодолевал искушение бросить лопату и тут же уснуть; это была нестерпимая усталость, которая обычно одолевала его во второй половине рабочего дня и от которой все тело становилось каким-то вялым, а глаза слипались, и ему приходилось бороться с собой, чтобы не закрыть их, совсем отгородившись от мира. Обычно этот мир, открывавшийся ему при свете солнца, был такой яркий и многоцветный, на него нельзя было не обращать внимания, но здесь черному мраку помогали тепло и удушливый запах сажи, которую он механически насыпал в низкий лоток, прижатый ногой к стенке; им все сильнее овладевало желание свернуться калачиком на мягкой куче сажи и позабыть обо всех этих мыслях. И хотя коварное желание гнездилось в нем, оно не облеклось еще в слова, и, борясь с этим желанием, он не давал словам прорваться наружу. В этом теперешнем примитивном существовании ему удавалось поддерживать душевное равновесие только мерными взмахами лопаты, беззвучно врезавшейся в слой сажи, мягкой, точно масло, и даже еще мягче — лопата скользила словно по бархатной ткани. Он с удовлетворением услышал, как, достигнув кладки, сталь приглушенно заскребла по кирпичу. В конце дымохода зола кое-где затвердела, превратившись в маленькие ноздреватые комки, здесь было жарче, и вообще за весь этот день ему еще ни разу не было так невыносимо тяжело.

Он отползал на животе каждые пять минут и, перевернувшись на спину, лежал так, пока не отойдут руки и колени, а потом снова полз вперед. «Готов побиться об заклад, даже на море ненамного трудней бывает. Конечно, там можно в два счета погибнуть — утонешь в шторм и все, но здесь тоже надышишься этой дряни помаленьку и наживешь чахотку, хотя, право, не знаю, что хуже — тянуть тут лямку всю жизнь или быть повешенным, четвертованным, утонуть наконец. Ну да, слава богу, мне сейчас не выбирать. Лопата, вот и все, что мне сейчас нужно, лопата, чтоб откопать себя из могилы или, наоборот, закопать, как я это сделал сегодня; во всяком случае, к тому идет, и надо побыстрей шевелиться, кончать со всем этим. Это не дело — так долго сидеть тут, точно я труп, похороненный в пыльной утробе старой робинсоновской фабрики. Я зарываю все лучшее, что во мне есть, торчу часами в этой дыре, где ни черта не видно, хотя, вообще-то говоря, из меня вышел бы неплохой шахтер. Пусть я и здоровенного роста, а все ж я тут насобачусь лопатой орудовать и, если повезет, попаду в число мальчиков Бевина, тех, что берут на шахты, а не посылают воевать с немцами, впрочем, по мне, лучше б ни того, ни другого, а просто отправиться бы своим ходом на тот свет, когда придет пора».

Он работал теперь еще быстрее, чем раньше, побуждаемый какой-то внутренней силой, вонзая лопату в последние футы золы, насыпая ее в лоток и собирая ладонью остатки, которые неудобно было сгребать лопатой.

День уже кончился; сегодня он не видел, как рассвело, и не увидит, как стемнеет. Да если каждый день так, скоро спятишь. Тут ему пришло в голову, что он работает слишком быстро, потому что сердце у него бьется все чаще и чаще, в горле пересохло, а руки невыносимо болят. «С чего б это? — подумал он.— И ради чего? — спросил он себя.— Ну-ка скажи мне, зачем это? Куда ты торопишься как сумасшедший? Чего ты даже не передохнешь, болван?» Он прекратил работу, вытянулся на спине, и блаженное спокойствие вливалось в его тело, точно пинта густого пива. «И что за смысл так надрываться? Сегодня не закончил, закончишь завтра».

Но ему хотелось выбраться из этого подземелья, увидеть свет, вдохнуть свежего воздуха, пройти по улицам, овеваемым ветром, хотя бы для того, чтобы взглянуть на случайную звезду над темными крышами, чтоб уйти прочь отсюда, подальше, за тысячи миль. Он открыл глаза. «Нет, я эту поганую фирму брошу. Уволюсь и пойду еще куда-нибудь, даже если придется на работу пять миль туда и пять обратно на велосипеде ездить. Хватит с меня». Мысль эта утешила его, и лопата снова вонзилась в золу. Он то впадал в дремоту, то оживлялся, иногда голова у него словно становилась совсем пустой; он не сознавал даже, что продолжает думать о работе или о своем решении бросить ее, но какая-то искра вдруг вспыхивала в нем, и он начинал работать еще быстрее, чем раньше, яростно отбрасывая золу со своего пути.

Чья-то чужая лопата мелькнула перед его лицом и отбила кусочек кирпичной кладки, и вдруг где-то прямо перед ним в темноте загремел голос Билла Эдисона:

— Черт меня подери, если это не старина Брайн! Наконец-то мы покончили с этой дрянью!

Обняв друг друга, они хохотали, радуясь своей победе.

15

Сидя в пустой лагерной библиотеке с кружкой чая, которую поставил около него на стол слуга-малаец, Брайн развернул полевую карту Пулау-Тимур. Из Сингапура прибыла новая группа радистов, наконец-то ему предоставили двухнедельный отпуск и отправили в лагерь отдыха в Муке. Он только что освежился под душем, и солнце еще не успело пропитать потом его одежду — на нем была безупречно белая рубашка и шорты, которые всего час назад принесла из стирки прачка-китаянка; палец его, скользнув от Муонга по береговой линии, остановился на Муке — окаймленном пальмами заливе напротив Гунонг-Барат, который отделен от него полосой воды всего в несколько миль, окрашенной в разные оттенки синего цвета. Прихлебывая чай, он блуждал глазами по карте: отпечатано в 1940 году, отметил он, исторический документ, и ему припомнился этот год — там, за холмами, вдали, словно айсберг, растаявший под вечным солнцем времени,— год, когда один за другим ушли в армию его двоюродные братья Колин и Дейв, а потом через несколько недель вернулись обратно. Они вернулись у него на глазах, когда все уходили на войну, и, как ни странно, под молчаливым любопытством, с каким он смотрел на их гимнастерки, перекинутые через спинки стула, как шкуры убитых животных, скрывалось глубокое убеждение, что они поступили правильно и хорошо. Ада помогала им и другие родственники тоже — потому что это отвечало их натуре и их традициям. Из десятка здоровых мужчин, связанных с их семейством узами близкого и дальнего родства, только двое, уйдя в армию, остались там, и один из них был убит в Тунисе. «А мы что говорили» — таков был приговор всех остальных, которые либо дезертировали, либо устроились на военных заводах. «Это, наверно, рекордная цифра для одного семейства,— подумал Брайн.— Никто не может сказать, что мы не внесли свой вклад в борьбу за свободу, хотя, что мне делать в этой стране, ума не приложу, только вот, конечно, войны тут сейчас нет». Его мирок, да и весь мир вообще изменились с тех пор, и, конечно, пора было им измениться, хотя собственная его жизнь была похожа на остров, оторванный от родного берега. Малайя, он чувствовал это, была лишь промежуточным звеном, и его ожидали какие-то голубые дали, как в той песенке, которая за последние полгода обошла всю страну,—

песенке «За голубым горизонтом»; она звучала в кафе, ее насвистывали, напевали, ее звуки, точно опиум, текли из радиоприемников. В концертах по заявкам, передаваемых малайским радио, ее просили исполнить десятки слушателей — малайцы, китайцы, англичане,— и так из недели в неделю, целое море имен, их было столько, что диктор даже перестал зачитывать эти бесконечные списки, а просто ставил пленку, и сладкая музыка лилась над страной. Много недель Брайн не мог от нее отделаться. Мотив то нравился ему, то казался отвратительным, но, сам того не замечая, он насвистывал его каждое утро, шагая к рубке по взлетной дорожке с бутылкой воды и продуктовым мешком, хлопавшим по ляжкам, и скрываясь на заросшем кустарником пустыре, уходя вдаль, в никуда, в пустоту, над которой сверкал голубой горизонт.

Посреди пустыря расчищали квадратную площадку под новую радиорубку, и он должен был помогать двум механикам распаковывать огромные ящики, устанавливать стены и крышу, антенны. Они работали втроем целыми днями, голые до пояса, потемневшие от загара. Новая рубка по сравнению со старой казалась великолепным сооружением: будет стоять на сухом месте, туда проведут электрический кабель, который проложат под землей вдоль новой дороги, и грузовик сможет подъезжать к самым дверям. Заново оборудованная радиостанция, как говорили, будет работать круглосуточно, и дежурство тоже будет круглосуточное, независимо от того, есть самолеты или нет, хотя Брайн понимал, что начальству, конечно, начхать, если ты поспишь час-другой в самые тяжелые предутренние часы. Разговоры о строительстве новой станции велись уже несколько недель, и вот теперь, несмотря на плохую погоду, им все-таки привезли установку и стали собирать ее по номерам и по плану, так, словно собирали модель из детского конструктора. Была установлена и новая станция — Пи-би-экс, а на взлетной дорожке появилось несколько радарных установок. Поговаривали даже, что заменят допотопную контрольную вышку каким-то сверхпрочным небоскребом. Взлетную полосу теперь ограждали на ночь. «Будто в военное время»,— подумал Брайн, почувствовав, как у него при этой мысли сжалось что-то внутри. Да и в лагере все теперь занятые, деловитые, здесь появилась какая-то совсем новая атмосфера, которой не было, когда он сюда прибыл,— словно все они тут не зря. Это стало заметно и в столовой, когда он зашел туда в обеденное время, и в уборной, куда забежал по дороге в душ, прежде чем идти к Мими, и во взводе связи, где теперь работало больше связных каналов, чем раньше, да и в той особой подтянутости, которой щеголяли теперь все, кто работал в штабном корпусе. Можно было подумать, что эта проклятая война уже началась, хотя он чувствовал, что главный его бой еще впереди — ему придется воевать против дисциплины, которую хочет навязать им штаб. Связистов, дежуривших посменно, это должно было коснуться в последнюю очередь: они были освобождены от маршировки и от караульной службы, им разрешалось приходить в столовую с опозданием, если они предъявляли бумажку, которую любой предприимчивый радист мог взять у офицера связи из стола и заполнить. И если дежурный офицер, обходя казарму поздно утром после подъема, интересовался, почему радист дрыхнет так долго, прикрывшись простыней, то можно было пробурчать из-под противомоскитной сетки, что он дежурил прошлой ночью,— тогда хоть не было особого шума. Нет, учиться семь месяцев, чтобы получить радистский значок, без сомнения стоило.

Карта была несложная, и запомнить ее не составляло труда. Он откинулся в деревянном кресле, чтобы допить чай и спокойно дождаться, пока в одиннадцать подойдет грузовик, который должен отвезти всю их компанию к острову. Двухнедельный отпуск — это уже кое-что, а потом он вернется и станет работать в новой радиорубке, а там уже он будет

на борту корабля, рассекающего синие волны на пути в Англию. Время идет быстрее, если впереди есть что-нибудь приятное, а когда наступают приятные минуты, сразу замечаешь, что недели и месяцы ожидания безжалостно убиты, зачеркнуты намертво, и в памяти от них ничего не остается, они как сморщенная змеиная шкурка, которую иногда отбрасываешь ногой с дороги.

«Все на борт» — эта крылатая фраза стала у них лозунгом освобождения; если б он летал на «Остере» или на «Тайгер Моте», он написал бы ее в небе над зеленым склоном Пулау-Тимур, а пока довольствовался тем, что посылал в эфир морзянкой в сравнительно свободные часы ночного дежурства только для того, чтоб услышать, как эти начальные буквы ВНБ повторял какой-нибудь полусонный радист в Карачи или Мингаладоне — трехзвучный след трехбуквенного символа, пропетого электрическими контактами под чьей-то рукой, хоть и далекой, но разбуженной движением его сердца. Томясь на чертовом острове действительной службы, каждый хотел удрать домой — бросить винтовку, гаечный ключ или ключ радиста, перо или поварешку и бежать что есть духу к первому же военному транспорту с синей каемкой на корпусе. Незаметные черточки мелом на стене за койками отсекали уже отслуженные месяцы, тут же была написана дата очередной демобилизации и отъезда, и со временем это стало казаться Брайну каким-то магическим преобразованием формул, которые помогут взорвать атомы, удерживающие на месте решетку их тюрьмы.

Он отгонял тщетные мысли и надежды, слишком захваченный настоящим, чтобы мечтать о возвращении в Ноттингем. Нельзя сказать, чтобы его туда не тянуло — ведь целый год до отъезда из Англии он был женат на Полин, и чтобы она не скучала без него, он оставил ей ребенка. Но они успели прожить вместе всего несколько недель, так что настоящей семейной жизни у них, по существу, и не было. Писать письма она была не большая охотница, а год разлуки — слишком долгий срок, чтобы узы, привязывавшие его к ней, остались такими же крепкими. Он не мог делать пометки мелом на спинке кровати или на стене, хотя тоже знал с точностью до одного дня, что как ни крути, а десять месяцев здесь еще пробыть придется, но для того, чтоб обнажать перед всеми эти шрамы будущего, требовалась душевная энергия, которую он не хотел так легко тратить.

Его вдруг охватило мрачное беспокойство, и он готов был разнести в клочья этот длинный, тихий барак с полками книг, потому что не понимал еще причин этого беспокойства. Грохот грузовиков, огибавших расположение мотопехоты, и топот солдат, шагавших в гарнизонный клуб, не вывели его из задумчивости. «Как это чудесно, Брайн,— сказала Мими, когда он сообщил ей о своем двухнедельном отпуске.— У тебя с самого приезда не было отпуска». Он удивился: чему она так радуется? Ведь она должна скучать по нему так же, как он по ней. Но подозрения его всегда были недолговечны, и он успокоился, когда она, нежная, заботливая, приподнялась на постели и склонилась над ним для поцелуя. И вдруг им овладело слепое, неистовое желание сделать по-своему, ненависть к этому мертвенному спокойствию, которое словно затаилось в самом ее сердце, и, не дожидаясь, пока она поцелует его, он сел и опрокинул ее на спину, прижимаясь губами к этим неподвижным губам, чтобы разжечь ее страсть, убивая при этом свою собственную.

Она отодвинулась. Ему показалось, что она поняла все, только не подала вида.

— Меня целых две недели не будет! — крикнул он.— А тебе все равно? — и тут же пожалел, что позволил себе кричать на нее. Так

нельзя — об этом говорили ему ее молчащие губы и ее глаза. Ну а как же тогда? Как, бог ты мой? Ему приходилось довольствоваться одной только постелью, а этого мало.

— Мне тоже грустно, Брайн.— Ее нежное тело придвинулось к нему, и на душе у него стало не так мрачно.— Мне не хочется, чтобы ты уезжал.

— И мне не хочется.

— Не говори так. Тебе полезно отдохнуть. И даже необходимо. Ты слишком много работал, гораздо больше других.

Может, она и права: эти четырнадцатичасовые смены кого угодно в три погибели согнут, хотя, если подумать, вроде бы ничего в них особенно трудного нет.

— Там проходит автобус из Муки,— сказал он с усмешкой.— Так что я смогу каждый вечер видеть тебя в «Бостонских огнях», если ты не прочь потанцевать со мной.

— Да,— отозвалась она как-то рассеянно, уйдя в себя, с отрешенностью, которую ему, наверно, никогда не сломить, хотя он не перестанет стремиться к этому.

Она протянула руку, но, ощутив ее прикосновение, он остался холоден, и мрачная волна снова поднялась у него в душе, породив неудержимое желание ударить ее за то, что она прибегает к этой уловке.

— Ты можешь предложить что-нибудь получше? — спросил он грубо.

Она убрала руку.

— Приезжай повидать меня, если хочешь.

«Бесконечная запись, как на магнитофонной ленте,— подумал он,— нужно взять ножницы и обрезать ее, тогда, может быть, я увижу что-нибудь настоящее». Ветер теребил за окном верхушки деревьев. Брайн присел на постели и потянулся за рубашкой.

— На кой черт стану я мешать другим. Если не хочешь, чтоб я к тебе ходил, так и скажи.

Прежде чем он успел натянуть рубашку, она крепко обхватила его сзади, прижавшись губами к его спине между лопатками.

— Я могу предложить кое-что получше.

— А мне начхать.

— Я приеду к тебе в Муку. Там можно найти укромное местечко на берегу и устроить пикник. Я доберусь туда утренним пароходиком, а потом на автобусе. Ну как?

Пощечина ожгла ее, отбросив к стене. Когда острие ссоры обнажалось, все улаживалось быстрее. Маленькие кулачки колотили его, вцепившись друг в друга, они упали на кровать, погребенные под листвой поцелуев, а за окнами в ветвях деревьев стонал ветер.

Утром он пошел к казарме за вещами. Пит Керкби и Бейкер должны были ехать на том же грузовике. Бейкер был лондонец (отец его, биржевой маклер, сколотил небольшое состояние), высокий, с серыми, стального оттенка, глазами, близорукий, в очках без оправы, блондин, подстриженный ежиком.

— Грузовика еще не видать? — спросил Керкби.

— Он там по взлетной дорожке за своей тенью гоняется, чтоб время убить,— сказал Брайн. Бейкер откинулся на койке, усталый после ночного дежурства.— А мне одного хочется — выспаться. Осточертела эта морзянка, каждую ночь все одно и то же.

— И я не спал,— сказал Керкби, запихивая в вещевой мешок купальные трусы и тапочки.— В четыре утра пришлось принять длиннющую радиограмму от какого-то бабника из Сингапура. Ну и занятие! Этот парень там совсем дошел, пока ее передал, а я взмок, пока принял. Чуть на стену не полез. В шесть только закончили: полных два

часа. Если б не подошел отпуск, я, наверно, привязал бы себя к передатчику, включил ток — и крышка.

Бейкер собрал чертежи своей авиамодели и упаковал их в чемодан вместе с деревянными планками — он надеялся закончить до начала соревнований новую модель. Когда он смотрел вдаль через открытую дверь, взгляд его, пробиваясь сквозь усталость бессонной ночи, становился каким-то странным, такой взгляд иногда бывает перед приступом безумия у человека, который может броситься туда, в набегающие волны, в поисках более долгого сна, чем тот, который был ему сейчас и впрямь нужен. Муха ползла по его колену, но он не замечал ее. Брайну казалось, что Бейкера зря учили на радиста: в его морзянке не было четкого ритма, его сигналы, срываясь с ключа, только путали того, кто пытался разобрать их за сотни миль отсюда. Дисциплины в эфире он не любил, быть может, потому, что ему уже пришлось испытать на себе слишком много подобных же мелких ограничений, когда он учился в младших классах закрытой школы, чем он часто хвастал. Он с презрением относился к профессии радиста, говоря, что если у тебя есть врожденное чувство ритма и цепкая память, позволяющая запоминать всякие правила и целые страницы кода, этого достаточно, чтобы достичь совершенства, и, значит, на его взгляд, такая работа годится для недоразвитых. Он питал страсть к более сложной аппаратуре — к машинам, мотоциклам, самолетам. Если верить его рассказам, он как угорелый носился на мотоцикле по дорогам Англии, возмущая тишину воскресного вечера в тихом Сэрри с такою же отчаянной, как он сам, девчонкой, визжавшей ему в ухо, чтоб он жал на всю железку. Низкий лоб, орлиный нос и тонкие прямые губы придавали его лицу выражение гордое и высокомерное, это часто бесило соседей по казарме, уверенных, что он в самом деле такой, тогда как надменность его чаще всего бывала просто маской, под которой он старался скрыть свое с трудом сдерживаемое безрассудство.

Керкби засунул в бумажник пачку денег, и они направились к грузовику. На Бейкере была ярко-зеленая рубашка с цветами, открытая спереди и болтавшаяся над шортами, которые были совсем как у Бетти Грейбл *; он был весь обвешан вещами и фотоаппаратами, словно рождественская елка — игрушками. Он просидел с четверть часа в открытом кузове грузовика, злясь на шофера, который исчез где-то за кухней.

— Мы к переправе опоздаем, если он сейчас не придет,— ворчал Керкби.— Уж лучше бы сами как-нибудь добрались, давным-давно были бы в Муке.

Когда Брайн сказал, что в Муке будет просто рай без писка морзянки, хоть две недели отдыха, Бейкер вдруг запел во все горло:

По ней скучать я буду там:
Морзянку слать не лень,
Морзянку слать не лень
Мне каждый божий день.
Наушники не жмут,
Висят спокойно тут...

Он вытащил из своего мешка белую мягкую шляпу, встряхнул ее и нахлобучил на голову.

— Бога ради, хватит вам орать,— донеслось из ближней казармы.— Спать не даете.

— Заткнись,— крикнул Бейкер.— Радуйся заокеанской жизни, птенец желторотый.

— Шел бы ты...— отозвался голос из казармы менее злобно, потому что того солдата не палило жаркое солнце, да и навешано на нем, наверно, тоже было поменьше, чем на Бейкере.— Я здесь уже пять лет.

* Американская кинозвезда.

— Рассказывай! — заорал Бейкер.— Да я уже в Багдаде жил, когда тебя твой папа еще и в мешочке не носил.

— Языкастый, скотина.— И больше ни слова.

Когда Бейкера прислали в школу радистов еще там, в Англии, он был молчалив и замкнут, да и потом, спустя два месяца, он все еще держался особняком. Брайн подумал, что теперь замкнутость стала для него просто уловкой, он попросту прибегнул к тактике, внушенной ему воспитанием, когда очутился среди незнакомых и шумных людей, чьи разговоры едва понимал. Но теперь он мог кричать и скандалить не хуже любого старого матроса. Хлопнула дверца машины, колеса забуксовали в пыли, потом машина рванулась к воротам. Брайн присел на корточки закурить, и тут у самых его ног упал большой сверток, за ним — второй, поменьше, потом бутылка с водой, панама без значка, две пачки сигарет и несколько книжек. Пока хозяин всех этих пожитков карабкался в кузов, Брайн прочел название одной из книжек — «Филантропы в рваных штанах» — и подумал: «Интересно, о чем это».

— Ну-ка, держи да помоги мне залезть.

Грузовик уже набирал скорость, и человек бежал за ним по дороге. Брайн и Бейкер протянули ему руки и помогли перевалиться через борт. Опоздавший благополучно плюхнулся на свои пожитки, затем встал и, усевшись на деревянной перекладине, стал распечатывать пачку сигарет.

— Надеюсь, этот рикша довезет до Муки? — спросил он, протягивая им сигареты.

— Да,— отозвался Брайн, беря сигарету.— Спасибо.— Он прикрыл огонек от ветра ладонью.— А ты тоже на две недели?

— Что-то вроде этого. А в часть меня назначат, когда вернемся. Я только утром прилетел из Чанги. Вы все трое связисты?

Брайн окинул его взглядом: это был человек среднего роста, плотный, здоровый, лет тридцати пяти. Его панама, перелетев через борт машины, упала на башмак Брайна, как кольцо в ярмарочном аттракционе, а теперь владелец панамы взял ее и нахлобучил на лысеющую голову. На нем были защитного цвета штаны, заправленные в армейские сапоги, и белая пятидолларовая рубашка — словом, самая дешевая неформенная одежда, какую только можно придумать. Рубашка с открытым воротом и закатанными рукавами обнажала волосатые руки и грудь, на левой руке была вытатуирована голая женщина. «Строевик,— решил Брайн.— Наверно, уже лет десять в армии, и в Малайе он тоже не новичок, во всяком случае, судя по загару». Лицо у него свежее, сквозь загар проступал румянец, но в густых усах пробивалась седина, а светло-карие глаза заставляли думать, что волосы у него когда-то были светлые. В нем было что-то юношеское, какая-то простота и разумность в отношении к жизни; Брайн замечал это и в других сверхсрочниках, которые жили в этом замкнутом служебном мирке и оставались добродушными, покладистыми, пока не становились унтер-офицерами (он подозревал, что этот как раз и был унтер-офицером, но не мог бы сказать наверняка и оттого испытывал некоторую неловкость. Нужно это дурацкое обращение по уставу, когда говоришь с ним, или нет?). В нем чувствовалась какая-то целеустремленность и добродушный юмор, потому что такие люди не знают забот, но за стенами лагеря, в штатской одежде, они проходят по жизни неуверенно, точно во сне.

Грузовик с ревом промчался через деревню, и от быстрой езды пятна пота у них на рубахах высохли.

— Я тоже связист,— сказал новенький, когда Керкби ему ответил.— Так что, когда вернемся, нам, наверно, часто придется вместе работать. Моя фамилия Нотмэн. Для офицеров капрал Нотмэн, а для вас просто Лен. Плевал я на эту дисциплину и на то, есть у вас нашивки или нет.

— Это мы увидим,— сказал Бейкер.— А где вы работать будете?

— На телефонной станции. Я раньше радистом был на самолете, но потом, когда нас стало слишком много, меня разжаловали. Хотели на кухню сунуть, чистить картошку, но я устроился телефонистом при ФБР.

Керкби повернулся к нему.

— Что это за ФБР? — спросил он с усмешкой.

— Филиал братьев-разбойников. Федерация британского разбойничьего империализма. Фаршированные головы. Безденежье. Разбитые ноги. Десять шиллингов в день на всем готовом, даже крабов дают. Но я устал до смерти,— сказал он.— Сегодня в четыре часа встал.

— Теперь нас таких двое,— сказал Бейкер.

Нотмэн вытащил из вещевого мешка бутылку китайской рисовой водки:

— На, попробуй. Кишки не загниют. Здесь самое лучшее виски. Я его в этой бутылке ношу, как самогонку — прячу, чтобы не угощать всяких сволочей, которые мне не по нутру. А они-то думают, я им одолжение делаю, что не сую под нос эту бутылку, они мне за это благодарны. А потом спохватятся, да поздно.

Брайн сделал глоток из бутылки, за ним Керкби. Бейкер решил воздержаться.

— Будет поздно, друг,— сказал Нотмэн.— Бери, пока дают, не прогадаешь. А то через пять минут у тебя может сердечный припадок начаться, и тогда калекой на всю жизнь останешься. Меня уж тут выучили.

— Ты откуда? — спросил Брайн, заметив в его речи своеобразный акцент.

— Из Канады, но у вас, у лимонадников, восемь лет прожил, так что теперь, наверно, стал такой же, как вы.— Он запихнул бутылку обратно в мешок и запел хрипловатым, но приятным голосом, глядя на проносившиеся мимо пальмы:

Нас в небесные чертоги
Не доставит старый форд,
Потому что старый форд
Не домчит туда и в год...

Он пел, пока Брайн, Пит и даже Бейкер не подхватили песню. Трудно было сказать, пьян ли Нотмэн или просто разошелся, а может, и то и другое, да к тому же, наверно, сказывалось напряжение, накопившееся за время скучных дежурств, и неожиданная разрядка. Они слушали слова песни и живо подхватывали каждый куплет, а грузовик тем временем въехал в Кота-Либис и повернул к воротам порта, где таможенные чиновники в чалмах удивленно подняли головы от тюков и чемоданов, чтобы взглянуть, откуда доносится пение:

И нельзя связаться с небом
Нашим кодом Ку-Дэ-Эм *,
Потому что нет у бога
Передатчиков совсем.

Брайн стоял у поручней, глядя, как зеленая вода течет к Муонгу. Три большие джонки, груженные мешками с мукой и каучуком, плыли туда же, и их латаные паруса так медленно скользили над водой, что казалось, будто они и не движутся вовсе; это напоминало ему прочитанные недавно стихи о старых кораблях, чьи паруса, как лебеди, уснули. «Да, похоже на спящих лебедей,— подумал он,— а еще они похожи на корабли, которые после битвы тащатся в спасительную гавань». Нотмэн сидел в кузове, стиснув руками голову, потом стал безразлично смотреть назад, на длинную полосу берега, словно те новые места, куда он ехал, не интересовали его.

---

* Сигнал: «Иду заданным магнитным курсом».

Пароходик так ловко и точно проскочил между стоявшими на якоре судами, что казалось, будто он скользит по рельсам, проложенным под водой. Когда пароходик заскользил к пирсу, Брайн взобрался обратно в кузов. Нотмэн снова оживился — сложив на коленях толстые руки, он с любопытством наблюдал за малайцами и китайцами, взбиравшимися по сходням с узелками и корзинами в руках.

— Бог ты мой,— сказал Бейкер.— Они как мухи. Тысячи мух.

Сонное выражение исчезло с лица Нотмэна.

— Ты бывал когда-нибудь в лондонской подземке в восемь утра? По сравнению с тем, что там творится, здесь все грациозно, как балет в Ковент-Гарден.

Машины, тесно стоявшие на нижней палубе, стали постепенно съезжать на пристань, и грузовик, осторожно проехав по пирсу, очутился в городе, а оттуда по широкому, застроенному красивыми домиками бульвару направился к прибрежному шоссе. Все сняли панамы, боясь, что их сдует ветром и унесет в море. Город кончился, за ним показалась целая вереница голубых заливов. Когда залив оставался позади и машина двигалась по перешейку, сверху, с шоссе, открывались новые заливы и новые перешейки. Потом грузовик вдруг круто спустился в лощину, и на дне ее они увидели полоску песчаного берега и зажатый меж скал горный поток, окаймленный пальмами. Китайская семья грелась на солнышке у дома, детишки, гоняясь друг за другом, с шумом вбегали в воду. Гладь моря ширилась, а потом сужалась так, что оставалась лишь узкая полоска за верхушками деревьев, зубчатая, похожая на пилу, потом и она исчезла, и грузовик уже снова карабкался вверх.

— Чудесно,— сказал Нотмэн, передавая бутылку по кругу,— выпьем за все это. Кто откажется, тот просто болван. Что ж вы мне не сказали, что Пулау-Тимур — это такая красота?

— Да вы же не давали мне слова вставить,— возразил Брайн, передавая бутылку Бейкеру.

Конечно, чудесно, он это знает и без Нотмэна, он всегда так считал. У того, кто создал все это, кем бы он там ни был, зоркий глаз, если кисть его могла написать такие заливы и широкими мазками изобразить море вдали; и у него, наверно, был гигантский кулак, которым он стукнул о землю и нагромоздил эти горы, и той же рукой разбросал по долинам алмазы, превратившиеся в храмы. Корабли приплывали из древнего царства Барат и бросали якорь в проливе между островом и материком, и вырос на перешейке город. Неизменные и яркие краски этой картины, ее долговечность по сравнению с его собственной жизнью, тепло, щедро изливаемое небом, изобилие крохотных жизней, которые, Брайн это знал, так и кишат на каждой ветке, и под каждой травинкой, и в синеве моря,— все это вызывало у него мысли о смерти, о гибели. Эта удивительная красота наполнила его сердце тоской. Он смотрел вдаль, и не было больше ни гор, ни океана, а только эта тоска, так внезапно охватившая его.

Мука находилась в двадцати милях от городка — несколько белых двухэтажных домиков, стоявших в сотне футов над скалами и пляжем.

— Да, в Кении ничего подобного не было,— сказал Нотмэн.

— А долго ты там пробыл? — спросил Брайн. Они поднимались на второй этаж главного корпуса.

— Два года.

— И в джунглях был?

— Ходил раз охотиться.

— Подстрелил что-нибудь?

— Да, свой большой палец да еще командира. Никакой дичи. Совсем как здесь.

Они взбирались по бетонным ступеням. «Да, тут после бутылки пива

поскользнешься, ноги переломаешь». Им предоставили помещение, китаец должен был стирать белье за доллар в неделю, а еще кто-то стелить постели, чистить обувь и приносить по утрам чай — тоже за доллар. Уладив все эти дела, они побежали вниз по каменистой тропе купаться.

Брайн вбежал в море, словно хотел спастись от смерти на земле в пустыне соленой воды, плеснувшей ему навстречу, и он упал в воду, сдался на ее милость, качаясь на волне, как бревно, пока не ощутил спиной шершавое прикосновение песчаного дна. Все это было так далеко от азбуки Морзе, дальше уж невозможно, и вода теплая, как молоко, сжимала его со всех сторон, настойчиво стараясь проникнуть внутрь тела. Он сильно шлепнул по ней ладонями, подняв столб брызг, и раскрыл рот, опаленный солнцем, которое словно только и ждало его, чтобы обрушить ему на голову весь свой жар и запечь волосы в жесткий и плоский блин. Лежа с закрытыми глазами, он гадал, куда он обернулся сейчас лицом — к морю или к берегу. Если к берегу — Мими приедет его навестить. А если к морю — бросит его. Он смотрел на черные паруса груженой джонки, входившей в пролив в миле от побережья, но прежде чем успел что-нибудь подумать, Бейкер поднырнул и схватил его за ноги. Брайн отбился кулаками, всплыл на поверхность и обхватил Бейкера за пояс, стараясь перевернуть его, а потом, упершись ему в грудь подбородком, стал давить и давить, пока тот не разжал рук. Брайн окунул Бейкера в воду, но он тут же всплыл, молотя кулаками податливую гладь моря.

В лагере было сейчас человек десять, пляж почти все время пустовал, и в столовой обслуживали быстро.

— Вот это роскошь,— сказал Брайн Нотмэну, когда тот словно в ответ на его слова бросил ему маленькую книжку.

— Почитай-ка вот, пока мы здесь.

На другой день все, кто был в лагере, отправились на ту сторону острова купаться в горном озере. Брайн стоял в кузове грузовика между баклагой с водой и ящиком с бутербродами. Длинная желтая полоса пляжа, тянувшаяся вдоль всего северного берега, заканчивалась лесистым выступом мыса у маяка Телебонг-Хед. Брайн искал глазами какое-нибудь укромное местечко на случай, если Мими приедет к нему, как обещала, но увидев за дальней деревушкой чудесную бухточку, отгороженную с обеих сторон скалами и затененную росшими в глубине ее пальмами, вдруг совсем перестал верить, что она приедет.

Скала, заслонявшая все впереди, исчезла за поворотом дороги, и тогда перед ним и внизу открылись рисовые поля, словно туго натянутая ярко-зеленая ткань, на которой тут и там были разбросаны коричневые заплатки деревень. Плоская равнина, уходя вдаль, к темной зелени поросших мангром болот, сливалась у моря с синей дымкой, подернувшей горизонт. И это принесло ему ощущение счастья, потому что, раз тут рисовые поля — значит, есть и люди, добывающие трудом кусок хлеба, но вскоре, когда грузовик пошел на спуск, видение это исчезло.

На полпути вниз грузовик свернул на боковую дорогу и встал у горного потока, который нырял здесь под деревянный мост и буйствовал среди скал по пути к рисовым полям. Брайн спрыгнул с грузовика и, пройдя немного вверх по реке, подошел к огражденному подковообразной скалой большому и чистому водоему, где в прохладной и спокойной воде кружили серебряные рыбки. Водораздел был вверху на высоте двух тысяч футов, и поток, проносясь через леса и ущелья, впадал в водоем у того самого места, где стоял Брайн. Так он стоял в одиночестве, пока другие не прибежали, с криками бросая с разбега свои обнаженные тела в воду и стремительно заполняя тихий водоем.

Джордж, унтер-офицер из Кота-Либис, приехавший сюда на неделю, поселился вместе с ними. Он еще раньше служил в этих местах,

и Брайн знал, что он стал унтер-офицером лишь потому, что прослужил в авиации тридцать лет, а вовсе не потому, что выслуживался, подхалимствовал или орал на солдат. Он был скорее похож на безобидного, добродушного и незаметного кассира с захолустной железнодорожной станции, каких любят изображать в английских фильмах типичными тружениками, чем на военного. Его ничто не беспокоило, и он был настолько безобиден, что не умел даже шутить, в армию он пошел, чтобы избежать мелких жизненных затруднений, а может, нарядился в военную форму просто так, без какой-либо особой цели. Свои обязанности, предусмотренные уставом, он, должно быть, исполнял хорошо, хотя в Кота-Либис редко видели, чтобы он занимался служебными делами: по целым дням он просиживал у себя и читал Эдгара Уоллеса так сосредоточенно и увлеченно, что Брайну приходил на память его дядюшка Доддо, который имел обыкновение вот так же взасос читать отчеты о скачках, и разница между ними была только в том, что у Джорджа при чтении глаза расширялись, а у дяди Доддо превращались в щелочки, да еще в том, что дядя Доддо отдавал этому занятию только часть своего времени, так как у него была и другая работа.

— Не все ли равно, какую жизнь ты ведешь, если только тебе удается жить с некоторыми удобствами,— заметил однажды Джордж, стягивая носки перед тем, как идти на пляж.— Платят мне прилично, дают жратву, одежду и койку. Взамен я делаю кое-какую работенку, впрочем, не очень себя утруждаю,— подмигнул он,— и меня лишают свободы. Справедливей этого и не придумаешь, друг.

Он так спокойно стал набивать трубку, что Брайн готов был съездить ему по зубам. Да он просто глуп — дохлая скотина, старый, безмозглый дурак. Такие рождаются рабами.

— Нет уж, такая жизнь не по мне,— сказал Брайн.

— Ну что ж,— отозвался Джордж, нисколько не задетый, хотя Брайн на его месте счел бы это величайшим оскорблением,— а только я ее сам избрал, понял?

«Некоторые и тюрьму бы избрали, лишь бы им давали там чашку чаю»,— подумал Брайн. Джордж был среднего роста, лысый, пузатый, кривоногий и в купальных трусиках напоминал белого муравья ростом с человека. Он взял полотенце и вышел из комнаты, оставив Брайна наедине с его книжкой. «Боже,— подумал Брайн,— ведь он здесь уже тридцать лет, а мне сейчас всего двадцать. Надеюсь, я не стану таким трупом через тридцать лет. Интересно, Лен Нотмэн тоже так кончит? Нет, не думаю, потому что ему в будущем году демобилизовываться, и он говорит, что смотается отсюда ко всем чертям, поедет к себе в Канаду, найдет там работу где-нибудь на севере и снова будет свободным человеком». «Я за эти восемь лет научился ценить свободу,— сказал ему Нотмэн.— А тот, кто этому рано или поздно не научится, не достоин ходить по земле, потому что такие в конце концов становятся врагами и гонителями тех, кто знает, что такое свобода».

В пять часов он отдыхал на пляже. Сероватое море незримо излучало прохладу. Бейкер вышел из воды, с бешенством отмахиваясь от слепней, облепивших ему ноги, словно ягоды смородины; подкараулив Бейкера у берега, они теперь жадно впились в его тело,

— Совсем как летучие пиявки,— сказал Нотмэн.— Тебя когда-нибудь кусали пиявки?

Он наплавался досыта и теперь полулежал, прислонясь спиной к скале и надвинув на затылок тропическую панаму, хотя солнце уже скрылось за островом.

— Нет,— сказал Брайн, отшвыривая окурок.

Они покурили молча. На севере виднелся Гунонг-Барат — черная хищная громада, вдававшаяся в море на двадцать с лишним миль.

Брайну хотелось взобраться повыше сквозь сырую чащу лесов (черт с ними, со всеми пиявками, змеями, тиграми или слонами), попробовать силы на крутых непокорных уступах. Это нелегко, но попав в когти жестокой необходимости, он будет шагать вперед, упорно и терпеливо продвигаясь все выше и выше. Потом это видение стало тускнеть в его мозгу и уступило место бесконечным размышлениям о том, какие просторы откроются его взгляду с высоты четырех тысяч футов.

— Я уж давно подумываю, как бы взобраться вон на ту гору,— сказал он.

— Ну и что же тебе мешает? — лениво спросил Нотмэн.

— Да ничего. Впрочем, дело это нелегкое. Тут у нас в казарме один малый прилетел недавно из Бирмы, над этой горой пролетал, так вот он утверждает, что она до самого верха покрыта непролазными джунглями.

— Ну что ж, зато будет о чем вспомнить,— сказал Нотмэн.— Не можешь же ты уехать из Малайи, так и не увидев, какие они, эти джунгли!

— А какие они, джунгли? — спросил Брайн.

Тот улыбнулся.

— Пожалуй, похожи на женщину — глубокие, темные и непостижимые. И опасные, если не поберечься.

— Мне бы они, наверно, не показались такими,— сказал Брайн.

Он уже рассказал Нотмэну, что женат, и ему не хотелось так резко менять тему разговора.

— А мне вот показались. Я прожил восемь лет в одиночестве — хочу сказать, только с одной женщиной. А потом — давай бог ноги.

— Но мы ведь говорили о Гунонг-Барат. И почему эта гора должна быть обязательно на что-нибудь похожа?

— Да потому, что так оно и есть. Иначе в ней просто не было бы никакого смысла. А во всем должен быть свой смысл. Все на свете что-нибудь да означает.

— Ну ладно,— сказал Брайн.— Сдаюсь. Так что же означает? Гунонг-Барат?

— Ты хочешь спросить, что означает взобраться на него? Я читал как-то, что на гору может лезть только тот, у кого нет никаких честолюбивых планов, но кто все-таки хочет что-нибудь получить от жизни. Конечно, ты — дело другое, ты просто идеалист, в том смысле, что предаешься мирским соблазнам, не пачкая рук.

— Ну и что? Разве я не могу делать это только потому, что мне так хочется?

— Ну, как знаешь. Думаю, ты можешь купить в Муонге карту. Там на ней все отмечено. Увидишь, что тебе предстоит преодолеть, чтобы взобраться на вершину. Ты карту читать умеешь?

— Конечно.

— Попроси отпуск на неделю и полезай. Прихвати с собой Бейкера и Керкби.— Берег стал темнее, и низкая линия горизонта казалась теперь значительней далеких очертаний горной гряды, потому что она была совсем близко, рукой подать.— Подумай об этом всерьез.— Теперь Нотмэн уже убеждал его.— Вам троим это сделать так же просто, как искупаться или выпить по глотку виски.— Он передал Брайну бутылку.— Выпьем?

Нотмэн вовсе не был таким уж отчаянным любителем выпить, каким показался им вначале, он умел пить так, что это доставляло удовольствие и ему, и окружающим. Брайну представлялось, что Нотмэн, пробираясь сквозь жизненные джунгли, сумел выработать в себе какое-то подобие спокойствия и организованности, как-то примирить недоуменную растерянность с осторожной сосредоточенностью — качества, не свойственные Брайну, которому жизнь по временам казалась какой-то стихией, куда бросаешься без оглядки или раздумья о себе и других,

а все оттого, что нет ни времени, ни достаточного опыта, чтобы как следует все обдумать. «Все люди отличаются друг от друга,— размышлял он,— и я точно знаю, что я не такой мудрый, как Нотмэн. А все же интересно, поумнею ли я в его возрасте?»

После купания, когда Брайн отчаянно боролся с прибоем и не без страха преодолевал последние сто шагов до берега, он вместе с Бейкером строил на пляже замки из песка. Каждое такое сооружение было окружено причудливым зигзагом рва, и от замка к замку вели бесконечные подземные туннели, точь-в-точь как на рисунках в сборнике средневековых легенд. Они трудились терпеливо и восторженно, точно дети, изо всех сил стараясь, чтобы углы стен были острыми, а башни прочными. В полдень, прежде чем полезть наверх ко второму завтраку, они смотрели, как вздымается прилив, как пенистая полоса подползает все ближе и останавливается в каком-нибудь дюйме от их сооружений из песка. И вот уже одна стена, намокнув, развалилась, и Брайн испытывал какое-то спокойное торжество — вот, мол, говорил же я,— видя непреложность законов этой бесконечной войны между водой и землей, войны на измор. Они придумали, как сделать это состязание еще интересней: туннели, выходившие одним концом к воде, вели под самые высокие из башен, так что башни эти рушились еще до того, как вода подступала к ним, и строители радовались, когда этот хитрый способ разрушения действовал безотказно.

Мими все же навестила его однажды во время отпуска. Он совсем не ждал ее или, вернее, уже оставил с горьким разочарованием всякую надежду увидеть ее здесь, потому что отпуск подходил к концу, так что приезд Мими почти помешал им, нарушив спокойную размеренность их жизни. Но когда он увидел, что Мими стоит у калитки в синем платьице, с желтым зонтиком и соломенной пляжной сумочкой и приветливо машет ему рукой, у него от волнения сжалось что-то внутри. И волнение это внезапно заполнило пустоту, образовавшуюся от всей его явно неполноценной жизни — жизни вдали от нее.

Они пожали друг другу руки и оба засмеялись — им показалось, будто они не виделись долгие годы.

— Ты не ждал меня, верно?

— Верно. Я уж и надеяться перестал, а это значит, что я рад тебя видеть.

Она объяснила, что по утрам отсыпалась после тяжелых и долгих вечеров в танцзале, и ее лицо становилось еще бесстрастнее и неподвижнее, чем в те минуты, когда она молчала. Они купили в ларьке пива, бананов и апельсинов. Мимо них прошел старый малаец, погоняя волов, запряженных в повозку со скорлупой кокосовых орехов; он был одет в сари и обут в сандалии; ребра под коричневой кожей у него так выпирали, что он мог бы служить наглядным пособием для занятий по анатомии. Брайн потянулся к Мими и взял ее за руку. Теперь, когда она с ним, изгиб пустынного пляжа, похожий на желтоватый, точно слоновая кость, бумеранг, зажатый в зубах у прохладного моря, обрел какую-то осязаемую реальность.

— Красивее местечка и не найдешь, правда?

Она спокойно шла рядом, вертя на плече зонтик, так что тень от него дрожала на дороге, словно маня их укрыться от палящего солнца.

— Да,— сказала она,— здесь хорошо,— и это прозвучало так искренне, что он впервые остался доволен ее ответом.

Они свернули к пляжу возле Тэлок-Баханг. Слева от них поднимался высокий лесистый холм Муки, увенчанный белой башенкой маяка. Он повел ее в укромный уголок, который заметил, еще сидя в грузовике, и, перебравшись через скалистый перешеек, они вышли на пустынный пляж. Когда они присели на песок, Мими стала рассматривать его вещи.

— Ах ты противный мальчишка,— улыбнулась она.— Что же ты купальные трусы не взял?

— А зачем они мне здесь?

Он стянул с себя шорты и рубашку, чувствуя, как солнце, точно поток теплой воды, обрушилось на него.

— Ты скоро смуглым станешь, как тамил,— сказала она, взглянув на него,— а был такой бледный блондин, когда я с тобой познакомилась.

— Ну, а каким я тебе больше нравлюсь? — спросил он, расстегивая сзади пуговицы на ее платье.

— Черным,— сказала она.— Хочу, чтобы ты был черным, как негр,— и вдруг взвизгнула: — Пусти! Я сама.— Верх ее платья опал, как лепесток цветка, обнажая тело.

— Как негр я не стану,— сказал он.— Но стал бы, если б мог, только бы тебе понравиться.

— Ты мне и так нравишься,— лениво сказала она.

— Хочу еще больше нравиться. Может, мне все тело ваксой вымазать?

— Пахнуть будет плохо.

Она чертила на песке китайские иероглифы.

— Что это значит? — спросил он.

— Это стихи: «Жаку лучше жить под ветром синим».

— Странные стихи.

— Я их в одной книжке прочла.

— А что это значит?

— То, что сказано.

— И все-таки, что это за синий ветер?

— Под которым лучше жить Жаку,— сказала она.

— Непонятно как-то. И я уверен, ты вовсе не то написала.

Она стерла иероглифы.

— Нет то. А почему стихи тебе не понравились?

— Понравились.— Он чувствовал себя глупо и неловко.— Не знаю, что это значит, но звучит красиво.

Они лежали рядом, и ему показалось странным, что тело ее по сравнению с его смуглой рукой было совсем бледное, почти розоватое. Как будто оно было чуждым солнцу, зато все его тело стремилось к солнцу, впитывая уже целый год в Малайе поток его лучистого тепла и превращая это тепло в запас сил на будущее, на всю жизнь. Торс у него был гибкий, руки мускулистые, грудь широкая, бедра узкие, а тело Мими было удивительно прохладное на ощупь, точно оно отталкивало солнечные лучи; оно было настороженно чутким к его ласке, и медленные грациозные движения Мими пробуждали в нем страсть. Море легкими шагами вбегало на песок, потом отступало и снова возвращалось с тихим шуршанием, которое было чуть тише шелеста ветра, точно отзвук этого ветра и в то же время его посланец, опережавший шелест деревьев на берегу. Он чувствовал себя словно во сне, сотканном из солнца, воды и песка, очарованный лесом, и небом, и скалами, и белоснежной кромкой волны, куда они вдруг бросались, спасаясь от жгучих прикосновений солнца и чуть ощутимой ломоты в теле. Он ловил Мими, касался ее груди. Запахи кокосового масла и соленых морских брызг мешались в ее волосах, и, прижимаясь к ее голове лицом, он жадно вдыхал эти запахи — знакомые запахи объятий. Потом он, смеясь, тянул ее за собой в морскую пену и еще дальше, в прозрачность волны, а потом они возвращались на берег и ели сандвичи, запивая их пивом. Он закурил сигарету и заметил, что огонек спички совсем не виден при ярком полуденном свете. Они уснули нагишом на песке, и, когда она ущипнула его за ногу, чтобы разбудить, он вскочил и долго гонялся за ней по пляжу, мчался большими прыжками туда, за камни, и дальше, в тень деревьев. Сине-

вато-зеленая змея бросилась в сторону, легко извиваясь среди сучьев и листьев, увлекаемая прочь какой-то невидимой силой. Деревья вставали над ними бесконечной колоннадой, отделяя небо от мертвенной почвы джунглей, где не растут цветы. И когда они бежали обратно к прибрежным пескам, предательская волна страсти вновь захлестнула его. Мими увлекла его в тень скалы, вновь разбуженная слепой неразумной силой его желания, и ласки ее были вялыми, пока, наконец, всепобеждающая сила экстаза не охватила обоих, и тогда мучительная радость его стала разгораться и в ней.

— Я никогда не уеду из Малайи,— сказал он.

— Ты хочешь сказать, что любишь меня?

— Ты знаешь это. И здесь чудесно.

А на следующий вечер он вернулся в Кота-Либис и еще не успел распаковать свои вещи, как капрал Уильямс подошел к нему и сообщил, что он должен работать в расположении взвода связи на тех же волнах, что в прежней радиорубке.

— Дай мне хоть до казармы добраться,— огрызнулся Брайн, чувствуя, что к Мими ему сегодня уже не вырваться.

— Да я-то тут при чем,— сказал Уильямс, один из старых служак-радистов, на которых продолжительная работа у аппарата действовала как контузия; с лица у него не сходило какое-то виноватое выражение, глаза все время напряженно вглядывались в пустоту, а руки дрожали, как у паралитика.— «Дакота» прилетает из Сингапура, а в диспетчерской говорят, что работать должен ты.

Брайн запихнул в мешок кружку, пачку сигарет и зашагал к бараку связистов, расстроенный и злой, потому что был избалован двумя неделями свободы. Засунув руки в карманы, он шагал по дорожке между деревьями и даже не слышал, как его резко окликнул стоявший возле дежурки штабной офицер.

— Солдат! — крикнул он снова, видя, что Брайн продолжает шагать к бараку связистов, откуда доносился разноголосый писк морзянки.

Брайн надел панаму, подошел ближе и козырнул.

— Почему вы шли без головного убора, солдат?

Дорожка, которая вела к длинному штабному бараку, несколько возвышалась над уровнем двора, где стоял Брайн. У штабного офицера выражение лица было надменное и насмешливое, словно застывшее с самого рождения, только оно и могло придать этому лицу некоторое подобие осмысленности. Его лицо Брайн (не без влияния плохих романов) назвал бы правильным, с чеканным профилем, хотя пьянство и разгульная жизнь, без сомнения, оставили на нем пятна и щербины вроде тех, какими отмечен иной раз профиль на старых монетах. Офицер этот вовсе не слыл ревностным поборником дисциплины, был сговорчивым и почти беспечным, то есть несколько больше джентльменом, чем другие офицеры, потому что придирался ко всяким «нарушениям» только тогда, когда нудная рутина службы приедалась ему самому; но в то же время это был самый опасный тип офицера, ведь никогда не знаешь, чего от него можно ждать, и потому он вечно застает тебя врасплох, стоит только расслабиться, приоткрыть защитную завесу хитрости.

Отвечать было нечего, и Брайн сказал только:

— Да ведь взвод связи рядом, и я думал так дойти, сэр.

В голосе его звучал вызов и в то же время раскаяние в совершенном проступке. Керкби ухитрился бы скорчить такую мину, будто он только что вернулся с гауптвахты, где отсидел две недели, и из жалости его упрекнули бы лишь в том, что он нарушил устав, но у Брайна лицо слишком явно выдавало его чувства, и потому подобный прием вряд ли помог бы ему. «Что я для них — желторотый птенец, прямо со школьной скамьи, как некоторые? — сердито подумал он.— Да я четыре года на

фабрике проработал. Я женат, и у меня есть ребенок, так что не позволю мной помыкать».

— Ваша фамилия?

«На семь суток застряну, не меньше». Он услышал смех Бейкера, доносившийся из окна барака.

— Ситон, сэр.

— Зачем вы идете во взвод связи?

«А потом он спросит, зачем я родился».

— На дежурство, сэр.— «Лучше не связываться. Как говорил Нотмэн: «Если хочешь с ними бороться, будь благоразумен. Иначе проиграешь».

— Так вот, Ситон, смотрите, чтобы я больше не видел вас вне казармы без головного убора. Чтоб все было как положено.

Брайн ушел, улыбаясь про себя и радуясь, что его не лишили отпуска на семь, а то на все четырнадцать суток. «На месте правительства я бы военно-воздушные силы расформировал, а потом и вовсе прикрыл».

Он включил рацию и, прижав ключ, стал крутить ручку точной настройки, пока резкий свист передатчика не ударил ему в уши. Свист этот, нарастая, стал походить на пронзительный вопль души, бьющейся в муках где-то высоко над железной оболочкой, непрестанно накалявшей реле передатчика; Брайн убрал руку с ключа. Потом он отстучал вызов Сингапуру, чтобы проверить связь. Кажется, не так плохо для половины шестого.

С «Дакоты», грохотавшей где-то над самым сердцем джунглей, пришла радиограмма. За работой он забыл о своих обидах и, когда самолет сел, даже позабавился немножко, выстукивая стихи из популярного сборника. Каждая буква вылетала в эфир с быстрым стрекотом точек и тире, и горячие искорки вспышек отзывались в мозгу у тех, кто умел читать эти символы. Так, за словом слово, за ритмичной строкой строка спорхнул с его ключа весь «Хан Кублы» от начала до конца, и волнение охватило его, когда он представил себе, как стихи эти наполняют джунгли и океаны, доходя до каждого, кто мог их слышать, посланные неизвестным, не ждущим ответа. Работать без шифра на волне бедствия (да и на всякой другой волне) было, как гласил дисциплинарный устав, преступлением, за которое предают военно-полевому суду, но, насколько было известно Брайну, все радиостанции в этот час либо прекращали работу на ночь, либо не могли услышать его за дальностью расстояния. И потому вслед за первым стихотворением далеко во мрак ночи понеслись певучие строки «Безжалостной красавицы», которые, быть может, даже достигли ушей того, кто их написал, и снова зажгли голубой огонь, родивший эти строки. Точки и тире возникали в уверенном и привычном темпе, сохраняя ритм стиха и даже отдельных слов. И верхушка антенной мачты высоко над вершинами деревьев испускала дробную морзянку, похожую на щебетание птиц, улетающих из клетки на свободу.

16

Закусив сосисками с бобами, Брайн побежал наверх переодеваться. «Ты хоть шкуру отмой!» — крикнул ему вдогонку отец, когда его грубые башмаки так загрохотали по деревянной лестнице, что даже радиоприемник в комнате стал потрескивать.

Брюки и пиджак висели на спинке стула: этот подержанный костюм мать купила ему с рук на Олфртон-роуд за шесть шиллингов; он был практичного синего цвета в узкую полоску, слегка лоснился на швах и вообще выглядел не слишком шикарно. И все же костюм — это костюм,

и, надев его с галстуком и белой сорочкой, он после целого дня возни с квасцами и клейстером в вонючих чанах чувствовал себя почти щеголем, а в кармане у него позвякивали пять монет из двухфунтовой получки; остальные деньги он оставил внизу в столовой. Расшнуровывая ботинки и рассматривая комбинезон, он насвистывал какую-то бешеную джигу под стать своему беззаботному настроению в пятницу, свободную от работы. На двухспальной кровати, стоявшей у окна, он спал вместе с братьями Артуром и Фредом, но комната считалась его — он ведь был старший. В углу стоял шкаф с его книгами, всего сто тридцать семь штук — на одной дверце был приколот изнутри список всех названий и авторов, а на другой написано мелом по-русски: «Да здравствует Россия и Сталин» — эту магическую фразу он составил по учебнику русской грамматики, который раздобыл в библиотеке несколько месяцев назад. У окна стоял письменный стол — отец смастерил для него из старых ящиков и выкрасил в темно-коричневый цвет. Над столом висела карта Восточной Европы, где цветными карандашами была отмечена линия фронта. Скоро карта эта будет ненужной, широкая полоса, серая оттого, что линии пометок здесь постоянно стирали резинкой, врезалась уже далеко в территорию Польши и Румынии. Впрочем, в шкафу у него хранилась другая карта, карта Западной Европы, которая дополнит картину краха Германии, если только янки и англичане поторопятся со вторым фронтом.

Приходя в книжную лавку, он рылся и рылся в ящиках, читал названия и, открывая книгу, знал, что в конце концов он возьмет все то, что ему понравится,— три, а может, четыре книги или даже пять, если тоненькие, и унесет их. Давным-давно, как-то субботним утром он зашел в лавку вместе со своим двоюродным братом Бертом, и, пока он рылся в книгах, Берт нетерпеливо листал журналы, лежавшие на столе. А Брайн спешил, он весь обратился в зрение, его глаза быстро бегали по корешкам, а пальцы лихорадочно листали страницы до тех пор, пока Берт не начал нетерпеливо считать минуты, а потом подошел к нему и спросил:

— Ну, выбрал что-нибудь?

— Да, вот эти две.— Брайн протянул Берту книжки, потом взял еще путеводитель по Бельгии.— Вот эту тоже хотелось бы прихватить, но она стоит полдоллара.

— Ну, пошли, если выбрал,— сказал Берт,— а то в кино опоздаем.

— Обожди еще минутку,— хотел сказать Брайн, но волнение уже прошло, и он повернулся к Берту: — Идем скорее.

В очереди за билетами Берт отдал Брайну книгу, которую тот хотел, но не мог купить.

— Ты мой лучший друг,— сказал Берт, крепко сжав ему плечо.— Бери, бери.— Вне себя от радости Брайн вцепился в маленькую книжечку, сгибая ее эластичный красный переплет с золотыми буквами, перелистывал крапчатые, словно мраморные, страницы.

— Спасибо, Берт, я этого не забуду.

И не забыл: с тех пор он никогда не оглядывался, стоя у полок в подвале магазина. И хотя у него бывало при этом такое ощущение, что все смотрят на него, потому что дрожь в руках и коленях словно бы выделяла его из числа остальных, пальцы его потихоньку подбирались к той книге, которую уже высмотрели его голубые глаза. Он стоял здесь, вдохновляемый не храбростью, а азартом, притаившимся, точно зеленоглазый кот, у него за спиной, стоял окруженный непреодолимыми соблазнами и побуждаемый к действию яростной и неизменной страстью библиофила, хотя читал, лишь когда начинал скучать или из любопытства. В глазах у него притаился страх, но напряжение воли помогало ему сдерживать этот страх, и он быстрым точным движением хватал

книгу с полки и прятал ее за пазуху. Раз, два, три — вот книги уже надежно спрятаны под рубашкой, и он шагает вверх по лестнице, не думая о том, что спрятано у него на груди: боялся, что если он будет думать об этом, то в наказание полетит вниз и сломает себе шею. И с каким-то отсутствующим видом, словно зрелище такого множества книг оглушило его, он протягивал продавщице две трехпенсовые книжки, бормоча: «Сколько с меня?» — «Шесть пенсов», и он благодарил бога за то, что, глотнув на улице воздуха, смешанного с парами бензина, вновь почувствовал себя на свободе, среди субботней толкотни и шума.

Все шло слишком гладко, чтобы это могло продолжаться долго. Не то, чтобы он стал беззаботнее, он всегда был таким. Просто везение кончилось, и ему куда неприятнее было вспоминать, каким идиотом он выглядел в глазах девушки-продавщицы, которая заметила, как он запихивал под рубашку книги и карты, чем то, что его поймали на месте преступления. Он спросил тогда у девушки, сколько с него причитается за два завалящих томика Вальтера Скотта, и услышал в ответ самое страшное из всего, что ему приходилось слышать за много лет:

— Ты бы лучше вынул те книжки, что у тебя за пазухой.

Он вынул их молча, только побледнел: три книги и две карты на матерчатой подкладке.

— Имя и адрес?

Кроме него, у кассы никого не было. Он сказал ей все, но она ничего не записала. «Борстел, Борстел, Борстел»*. Это слово барабанной дробью стучалось у него в ушах. Тебя упрячут на три года в Борстел, в тюрьму для малолетних, и уж как пить дать, не туда, где Берт отбывает последние полгода, так что даже знакомого там у тебя не будет. Он стоял, не двигаясь. Она взглянула на него. Она была тоже худая и бледненькая, в синем халатике, молодая и в то же время старая, восемнадцатилетняя и шестидесятилетняя, у нее были тусклые глаза, и руки ее быстро мелькали, ставя книги на место — с прилавка на полку, а хозяин только что вышел из ближней двери, совсем рядом. Только Брайн мог оценить ее великодушие в тот миг, когда она сказала мягко:

— Иди, и чтоб духу твоего здесь не было.

Если бы полицейские обыскали его дом и нашли все те книги, пять лет были бы ему наверняка обеспечены; к счастью, девчонка эта знала, кто ей друг, а кто враг, и он потом часто думал, насколько лучше жилось бы на свете, если б люди вот так же стояли друг за друга, как эта девушка постояла за него.

Белая рубашка, стянутая у шеи петлей галстука в синюю крапинку, трепыхалась на нем, точно крылья голубя мира. Он чувствовал себя нарядным в этом костюме — одежда рабочего парня, у которого бледное лицо, но достаточно крепкие мускулы, чтобы он мог везде чувствовать себя уверенно. Он захлопнул дверцу шкафа, накинул пиджак и сбежал вниз.

— Не приходи поздно! — крикнула ему вдогонку мать, когда он грохнул кухонной дверью так, что посуда задребезжала.

Была весна, вечернее солнце выглянуло из-за снежно-белых облаков. Ребятишки бегали под противовоздушными навесами, заслонявшими небо. Квартал теснившихся друг к другу жилых домов и фабрик был расположен на ровном склоне холма, но Брайн, энергично шагая по мощеной улице на свидание с Полин, почти не замечал, что все время идет в гору. Он закурил сигарету и швырнул спичку на подоконник (за стеклом висело объявление: «Прием срочных заказов на венки и кресты»), глянул на свое отражение и усмехнулся, отметив, что аккуратно заче-

* В настоящее время так называется система наказания малолетних преступников, впервые примененная в городе Борстеле.

санные волосы ему как нельзя более к лицу. Когда он вышел на бульвар, люди еще брели домой с работы. Ветер погнал ему навстречу конфетную обертку, потом прилепил ее, словно значок, к стволу дерева.

«Она должна появиться с минуты на минуту»,— подумал он, подходя к фабрике, потому что станки были уже остановлены, и зажатая среди высоких домов шумная улица сразу стала тихой и спокойной. Здание фабрики из красного кирпича, с прямыми квадратами окон, простояло уже сотню лет и было еще совсем крепкое. Когда он в детстве проходил мимо таких муравейников, они вселяли в него ужас, потому что он не знал, откуда берется весь этот шум. Теперь он уже знал о фабриках достаточно и не боялся больше, хотя и сейчас, подходя к какому-нибудь большому заводу, работающему на полную мощность, он все еще чувствовал, как оживают в нем отголоски воспоминаний об испытанном некогда страхе при виде этой собранной воедино силы, которая, казалось, так и подступает изнутри к каждому окну и вот-вот вырвется наружу, словно страшное чудовище, гонимое богом. «Странно,— подумал он,— ведь когда попадаешь внутрь, фабрика уже больше тебя не пугает и кажется даже мирной, потому что сам ты становишься ее частицей».

Он стоял возле табельных часов, и сторож в форме ополченца местной обороны поглядывал на Брайна, но не трогал его, этакий седовласый дрючок лет семидесяти в чудной ополченской шляпе, улыбается перед зеркалом у себя в конуре и поправляет ленточки медалей. «Последняя надежда Англии,— усмехнулся Брайн,— грозный страж. Готов поспорить, что он и медали свои заработал, подстригая газончики».

— Девочку ждешь, наверно? — спросил сторож.

— Дружка,— ответил Брайн, помолчав.— А ты что, на парад собрался, папаша?

— А хоть и на парад,— сказал старик, обиженно отворачиваясь.

Брайн видел, что он слишком стар для парадов, и пожалел о своей шутке. Бедняга. Тут много таких, как он. Ноттингемские пенсионеры, получающие пособие, нанимаются куда попало, чтобы хоть что-нибудь подработать к своим десяти шиллингам, вступают в ополчение, пока еще можно получить теплый костюм и пальто, отправляются иногда на крытые плацы посмотреть, как маршируют их младшие собратья, или послушать лекцию, а чаще всего просто торчат в пивных и пьют пиво, если кто угостит. «Интересно, угостил бы такой дезертира хоть чашкой чая?» — подумал Брайн.

Он увидел на ступеньках Джима Скелтона.

— Привет!

— Здравствуй!

— А Полин и Джоан где?

— В уборной прихорашиваются,— сказал Джим.— У них это дело долгое.

— Закурим,— предложил Брайн.— Закуривай, друг,— обратился он и к старику.

— Не откажусь,— отозвался тот.— Большое спасибо.

— Спасибо,— сказал Джим. Все трое закурили.

— С сигаретами по-прежнему туго,— заметил старик.— Даже если есть деньги.

— Ну так вот,— сказал Брайн.— Нужно все видеть, все слышать и молчать. Все есть, все пить, ни за что не платить.

У них в доме было с десяток пачек сигарет, спрятанных в угольном ящике, подарочек, прибывший к ним как-то ночью на спинах двоюродных братцев. Пачки эти незадолго до того исчезли из лавки на их улице, были украдены у хозяина, который только накануне сказал Брайну, искавшему курева для отца, что у него ни единой сигареты нет.

Хотя, правда, это было на другой день после того, как там побывали Дэйв и Колин. Они очистили лавку, забрали не только сигареты, но и шелковые чулки, виски, всякую снедь и деньги тоже. Все трое с наслаждением курили.

— Такие парни, как вы, в шестнадцать лет должны в ополчении быть,— сказал старик.— Это полезно.

Брайн обиделся, словно его обозвали шалопаем или «легавым».

— Это ты так думаешь, друг.

— Я лучше как-нибудь еще развлекусь, чем из ружья палить,— сказал Джим.

Джим был одного роста с Брайном, но плотнее его, лицо у него было широкое, татарское, подбородок круглый, с ямочкой, зубы квадратные, нос приплюснутый, а волосы рыжеватые, зачесанные назад. Он служил механиком и ремонтировал швейные машины, на которых работали девушки, а также наблюдал, чтобы защитные гимнастерки без задержки поступали из пошива и каждая девушка получала свою долю еженедельного вознаграждения за труды. Брайн, которого Джим уважал за его книги, сам уважал Джима за то, что тот так ловко управляется с машинами и с электричеством и умеет чинить моторы.

Девушки уже вышли, спустились с крыльца, и, не сказав друг другу ни слова, все четверо зашагали по улице.

— Куда же мы пойдем? — поинтересовалась Полин.

— Погуляем,— сказал Брайн.

— Вот остряк,— она толкнула его в бок.

— Не тронь моего друга,— сказал Джим.

— Ребята! — воскликнула Джоан.— Мы всегда будем вместе. Но все-таки куда мы пойдем? Мне бы тоже хотелось знать.

Брайн сказал, надеясь, что его предложение примут без спора:

— В Вишневый сад.

— Слишком далеко,— сказала Джоан.— И вообще не знаю, зачем туда идти.

— А я знаю,— улыбнулся Джим.

— Ну, меня вы туда не затащите,— решительно сказала Полин.

Брайн подмигнул Джиму: все равно, мол, пойдем в ту сторону.

— Ну-ка, перестань хитрить,— сказала Полин.— Я видела, как ты подмигивал.

— Смотреть надо как следует.

— Сам смотри, а то как двину! — отрезала она.

— Он думает, хитрей его тут нет,— поддержала подругу Джоан.

— Ну и катитесь отсюда, чтоб вас разорвало,— сказал Брайн.— А я просто хотел пойти в Вишневый сад, вот и все.

Полин была одного роста с Брайном; длинные темные волосы рассыпались у нее по спине, поверх застегнутого темно-коричневого воротника. Когда она спускалась с крыльца, Брайн разглядел, что на ней под пальто надет рабочий халатик. Глаза у нее были большие, карие, казалось, они видят все, хотя Брайн знал, что она почти ничего не замечает. Джим рассказал Брайну, что она одна из самых проворных работниц на фабрике и что во время работы она вовсе не такая мечтательная, какой прикидывается, хотя оба приятеля соглашались, что сразу этого никогда не скажешь. Иной раз по вечерам, предоставленные собственным мыслям, задумчивые или бездумные, они, нисколько не тяготясь молчанием, шагали рука об руку по залитым солнцем улицам и бульварам, затихавшим после окончания рабочего дня, прежде чем сумерки сгустятся над городом. Когда она шла рядом, Брайн чувствовал, какая она высокая, как изящны ее движения. У нее была хорошая фигура, теперь он уже знал это наверняка — небольшая красивая грудь, крутые бедра, чуть толстоватые ноги. Вся она была доволь-

но плотная и крупная, но не настолько, чтобы о ней можно было сказать «не девка, а лошадь».

Сейчас она шла впереди, взяв за руку Джоан, и так они спустились по Илкстоун-роуд, сопровождаемые шагах в пятидесяти Джимом и Брайном.

— Они сегодня что-то кисло настроены.

— Наверно, у них какие-то женские заботы,— ухмыльнулся Джим.

— Надеюсь, что нет,— сказал Брайн.— Полин мне нравится. Хорошая девчонка, и горячая такая. А у тебя как дела с Джоан?

— Отлично. Рассуждать она не горазда. Иной раз за вечер и двух слов не скажет. Я однажды спросил ее, почему это так. Мы в кино с ней были, и мне тогда показалось, что ей уже все надоело и она хочет со мной порвать. Когда мы домой шли, я ее и спрашиваю: «В чем дело, детка? Скажи мне»,— а она в слезы. Так и не сказала, в чем дело. И перед этим мне показалось, что она какая-то странная, когда мы у нас дома пили чай с гренками. А когда я ее на прощание поцеловал, она такая же нежная была, как всегда; так что все уладилось, и назавтра на работе она была как обычно.

Брайн видел, что у Джима дело зашло дальше, чем у него. Джим не только работал рядом со своей милой — то подойдет к ней приводной ремень поправить, то машину смазать или почистить,— она и по вечерам большей частью бывала с ним, помогая матери Джима или оставаясь с его младшими сестрами и братьями, когда родители уходили в кино. Полин же никогда не бывала у Ситонов, да и Брайн не мог весь день провести рядом с ней. Они встречались по вечерам несколько раз в неделю, но если физическая близость между Джимом и Джоан была такая же, как у молодоженов, проживших вместе год, то у Брайна с Полин все еще продолжалась игра в кошки-мышки, и, разлучаясь, они забывали друг о друге до следующего свидания, потому что только физическая потребность сводила их. Он никогда не приглашал ее к себе посидеть с отцом, с матерью, с Фредом, Артуром, Маргарет, Сэмми, как будто она была членом их семьи. И он завидовал отношениям между Джоан и Скелтонами, но как-то не мог установить такие же отношения с Полин. Он часто по вечерам бывал у нее дома, и когда-то они были знакомы семьями, но сама она ни разу не предложила, чтобы он повел ее к себе. Брайн думал, что она, быть может, стесняется попросить его об этом, и пользовался ее застенчивостью, если только это и впрямь была застенчивость, чтобы предотвратить такое посещение. При одной мысли о том, что Полин будет сидеть у него дома с отцом и с матерью, он ощущал неловкость то ли от мысли, что ему будет стыдно за них, то ли оттого, что Полин может им не понравиться, и тогда она тоже будет чувствовать себя неловко. Он не хотел, чтобы отец и мать знали о его связи, ему хотелось сохранить от них в тайне эту сторону своей жизни, как будто если б они узнали, то должны были бы разделить с ним тайну его любовных отношений, которые из-за этого утратили бы свою полноту. Но когда однажды мать сказала: «Я встретила миссис Маллиндер, она говорит, что ты гуляешь с ее дочерью»,— он вовсе не смутился, хотя все еще не приглашал Полин к себе. «Ну что ж,— сказала она,— это неплохо. Она девочка хорошая. Только смотри, дома не появляйся, если какой грех случится». Вот и все.

Когда они прошли Рэдфорд, уже темнело. «Ну и хорошо,— подумал Брайн.— Только бы никого из знакомых не встретить». И едва он это подумал, как по дороге из Вудхауза показался дядя Джордж, он спускался с холма на велосипеде и окликнул Брайна, едва они поравнялись:

— Э, Брайн, а не рано ли тебе за девочками ухаживать?

И тогда Брайн состроил пристойную физиономию и крикнул в ответ:

— А я что, я ничего!

И чего ему вздумалось кричать, этому Джорджу? Но Брайн не мог удержаться от смеха, вспомнив, как дядя Джордж уговорил однажды Веру представить его молодой незамужней женщине у них во дворе и как Вера послала Брайна сказать этой Элис Декстер, что она, Вера, просит ее зайти на минутку,— чтобы помочь ее скупердяю брату, кузнецу Джорджу. И когда Элис Декстер пришла к ним, Джордж взял в руки газету, чтобы она видела, что он читает, как человек трезвый и образованный, но читать он сроду не умел и газету держал вверх ногами. Эта история часто вызывала смех у них в семье, и особенно смеялся Ситон, ведь он тоже не умел читать, но и не пытался никогда делать вид, будто умеет.

Ветер завывал над голым Вишневым садом.

— Тебе не холодно, детка? — спросил он Полин.— Закутайся поплотней.

— Не холодно,— прошептала она.

Те двое где-то слева слились в одну неясную тень и явно собирались найти удобную ложбинку, чтобы там пристроиться. Брайн крепко обнимал девушку за талию.

— Сейчас мы найдем хорошее местечко.

Звезды были бледные и какие-то расплывчатые, каждая из них словно боялась, что ее вот-вот скроет туча.

— Здесь чудесно. Так тепло и тихо.

— Да. И вообще здорово,— отозвался он.— Моя бабушка жила когда-то вон там,— он показал в темноту.— И дед тоже, он был кузнец.

При воспоминании о том, что дед его был кузнец, Брайн испытывал какую-то необъяснимую гордость. Кузнец — это искусный мастер делать вещи, который умело управляется с самой тяжелой черной работой, как, например, он сам, когда чистит дымоходы; кузнец придает своим молотом новую форму железу и стали, положив металл на наковальню, у него стальные мускулы, он ловко владеет своей силой.

— У-у-у! — протянула она.— Загадай желание, Брайн.

— Зачем? Осторожно, куст.

— Я видела, как звезда упала.

— А я не видел,— он еще был полон мыслей о кузнецах.

— Вон еще одна, гляди,— сказала она, протягивая руку.

— Теперь видел,— радостно заявил Брайн.— И загадал желание.

— И я тоже.

— Ты что загадала? — спросил он.

— Не скажу. Если кому-нибудь скажешь, оно не сбывается.

— Ну и ладно,— поддразнил он ее.— Я тебе тоже не скажу.

— А я тебя и не спрашиваю,— отозвалась она обиженно.— И не говори, если не хочешь.

— А ты как думаешь! — воскликнул он с возмущением.— Ты мне не говоришь, и я тебе тоже не скажу.

— Ладно,— проговорила она.— Но ведь если бы ты сказал, мое-то желание все-таки могло бы сбыться.

— А мое нет,— возразил он, и не думая идти на уступки.

— Может, оно у нас одно,— сказала она. Это насторожило его. «Готов поклясться, что нет. Я вовсе не загадывал, чтоб мы поженились»,— подумал он. Но ведь достаточно, чтоб она это загадала, хотя он-то уверен, что этого не будет.

— Ты знаешь, какое у меня было желание, правда? — спросила она, сжимая ему руку.

Он знал это. Оно пришло стремительно, без слов, стрела любви, невидимая во мраке, помогла сбыться его желанию, потому что никакого другого желания он и не мог бы загадать, оставшись наедине со

своей девчонкой посреди Вишневого сада в весенний вечер, под покровом сумерек. И слова ее зазвучали лаской, более сладостной, чем все, что он когда-нибудь слышал, хотя уже не в первый раз вспыхивало у обоих это желание.

— Я загадал то же самое,— сказал он, и перед ним возникли две строчки — надпись, которую он видел на картине в гостиной в Ноуке: «Коль любишь крепко, как я тебя, ничто не разлучит тебя и меня». Чувство это тут же рассеялось, едва только ему пришло в голову, что если б он рассказал об этом Полин, она посмеялась бы над ним и даже перестала бы с ним гулять, сочтя его слюнтяем. Но это не огорчило его.

Взошла луна, и теперь они уже были бесконечно далеки от маленьких домиков, и бугры, и лощины, и кусты в слабом лунном сиянии выступили из мрака. Теплая нежная пелена легла от изгородей и домиков до самой долины Серпент Вуд, и бледный свет луны превратил небольшой, всего в полмили шириной, Вишневый сад в огромную и неприступную пустыню, где словно и не бился пульс жизни. Брайн сорвал пучок свежей травы и поднес к лицу, вдыхая ее запах.

— Что-то Джима и Джоан не видно,— сказала она.

— Да они здесь, рядом,— отозвался он.— Если им покричать, они услышат.

И чтоб она совсем перестала думать об этом, он привлек ее к себе, крепко обхватив за талию. Он нашел ее губы, слегка открывшиеся, чтоб ответить на его слова, и он ощутил теплую влажность этих пойманных губ, сразу затвердевших и сомкнувшихся при его неожиданном порыве, но она обнимала его, и от этого только горячей делались поцелуи, которые она словно пыталась остановить, все сильней прижимаясь к нему. Он споткнулся о какую-то кочку, но сохранил равновесие, хоть и не видел ничего у себя под ногами, отстранился на миг от ее губ, крепко прижатых к его губам, а потом, держа ее в объятиях, снова прильнул губами к ее губам, так что у обоих дух захватило. И оба они знали, что это за уловка: она давала каждому из них возможность показать, что его любовь сильнее, потому что тот, кто первый начинал задыхаться и ловить воздух, любит меньше. Близость ее тела, лица и губ пробудила в нем сладостное томление. Он впился в ее рот, не дыша и не давая вздохнуть ей, затягивая это чувственное прикосновение к ее губам, которые вначале словно дремали, но потом дрогнули, подтверждая, что и она любит его горячо и вовсе не собирается уступать в этом состязании. Он все сильнее прижимался к ее лицу, в то же время желая освободиться и рассмеяться и вздохнуть полной грудью или хоть самую малость, но вместо этого он все вдыхал и вдыхал сладость ее губ, припухших и слегка вздрагивающих, притягивающих его к себе так, что он чувствовал ее любовь, и поцелуи его лились все сильнее, точно неудержимые слезы.

Ветер налетел на них, словно поцелуй далеких лесов, и в долине, устланной поцелуями, все, что было вокруг,— и воздух, и трава, и тьма — отступило, оставляя их в тисках неразрешимой любовной муки. Руки Полин сжимали его шею чуть ниже затылка, и она надеялась, что он почувствует ее страдания, такие же сильные, как и его, и ослабит неистовые, беспощадные объятия, позволив ей вздохнуть и победить, потому что ее любовь сильнее. Для него весь мир сосредоточился в каком-то тесном, ярко освещенном пространстве, в круге, ограничившем все его мечты, и эти поцелуи вызвали к жизни видение. Оно было чудесным. Брайну хотелось вздохнуть, но он снова сдерживал себя, хотя от этого поцелуи его становились не такими волнующими, и, сдерживаясь, он продолжал думать только о том, чтобы продлить их. И руки его блуждали по ее шее и плечам, он стремился сдержать бурное дыхание. «Я люблю тебя, Полин, я люблю тебя. Уступи же, сдайся. Начни дышать,

чтоб я мог доказать тебе это». Но она прижималась к нему все теснее, словно хотела доказать, что ей все равно, пусть даже этот поцелуй длится еще пять минут кряду. Колени его дрожали. Он пытался задержать дыхание еще хоть на секунду: так бывает, когда нырнешь и хочешь вынырнуть в нужном месте. И хотя губы ее были тоже крепко сомкнуты, она качалась из стороны в сторону и стонала и старалась освободиться. А он знал, что еще несколько секунд — и он умрет, потому что легкие его были точно бочонок с порохом, и теперь только одно видение было в освещенном круге — фитиль, который, извиваясь, тянется к этому пороху, и вот уже дымок поднимается и ползет по стенкам. Еще немного— и он умрет, словно захлебнувшись под водой.

Она вдруг разжала руки, но он не понимал, что с ней, пока она не начала бить его кулаками по спине, и тогда он услышал, как она жадно хватает воздух. В глазах у нее были слезы, и он нежно поцеловал ее; теперь оба они дышали глубоко, и он почувствовал, что у него тоже на глазах выступают слезы, только это слезы любви и счастья. Они стояли, прильнув друг к другу и уронив руки.

— Я люблю тебя, Брайн,— сказала она.

Они спустились в широкую ложбину и прилегли у куста, темные края ложбины как бы приближали ночь, земля отдавала сыростью. Полин потянула его вниз, увлажняя его лицо солеными поцелуями, словно для того, чтобы вознаградить их обоих за его победу там, наверху, и вернуться к любовным ласкам. Он ощутил сладковатый привкус ее помады и, возвращая ей поцелуи, стал расстегивать ее пальто. А потом они лежали в ложбине, и у них не было часов, чтобы узнать, сколько сейчас времени, и они курили оба, чтобы создать иллюзию живительного тепла в сыром и свежем ночном воздухе.

— Тебе нужно купить пальто,— сказала она,— а то схватишь воспаление легких.

Он усмехнулся.

— Ну уж нет. У меня кровь, как кипяток. Я — ходячая печка.

— И все-таки,— сказала она. Они вылезли из ложбины.— Должно быть, уже десятый час. Интересно, а где они?

— Ушли, наверно. Джоан, кажется, живет в Лентоне?

Он освободился от лихорадочного возбуждения и остро воспринимал теперь ночь, испытывая к шороху листьев, к запахам земли и трав любовь, столь же сильную, как и к самой Полин. Он остановился и снова поцеловал ее долгим и нежным поцелуем.

— Ну вот,— сказала она с улыбкой,— и как это тебе не надоест?

— Никогда не надоест,— он сжимал в темноте ее руку. Они прошли Кольерс Пэд и вышли на ярко освещенное шоссе.

— Отец с матерью, наверно, в кино, сегодня ведь пятница,— сказала она.— Они, думаю, не скоро вернутся.

— Если твой отец дома, мы с ним, может, в бадминтон поиграем. Я все же надеюсь как-нибудь его одолеть.

— Никогда не одолеешь: он слишком долго практиковался.

Брайн согласился с ней: Тед Маллиндер был долго прикован к постели после аварии на шахте. Когда он возвращался из забоя, на него наехала вагонетка и сломала ему ногу. Он слишком рано прыгнул в клеть, думая, что вагонетка уже остановилась, а она еще двигалась. Словно акула, вцепилась в него острая боль, взметнулась к голове и взорвалась в мозгу, швырнув его в туманную страну черных провалов и снов, где его собственная боль перемешивалась с чужими страданиями, а очнувшись, он с ужасом убедился, что это его собственные страдания. Одна операция за другой, и теперь он превратился в несчастного, страдающего астмой калеку и единственное утешение находит в том, что стал непобедимым игроком в местной любительской команде игро-

ков в бадминтон. По вечерам он чаще всего ковылял на костылях в пивную «Джон Ячменное Зерно», где, проглотив три пинты легкого пива, играл, когда до него доходила очередь. Хоть он и мог стоять на ногах, но предпочитал бросать волан, сидя на стуле, установленном у черты, потому что мастерство свое он приобрел в больнице, когда играл с кресла на колесиках. Он был широкоплечий, смуглый, насмешливый; веселый характер помогал ему сохранять вкус к жизни и старых друзей, а в борьбе с отчаянием его поддерживали жена и четыре дочери.

Сейчас Маллиндер сидел за столом, протянув к горящему камину искалеченную ногу, а его жена, высокая, смуглая, как цыганка, вошла в комнату с эмалированным чайником в руках и поставила его перед мужем. Вошли Полин с Брайном. «Вот жизнь,— подумал Брайн,— за ним ухаживают, как за королем. Конечно, завидовать тут нечему — кому охота быть хромым». Одиннадцатилетняя Морин, сидя по другую сторону камина, разглядывала какой-то «комикс».

— Привет, Брайн,— воскликнула она, едва он появился на пороге.

— Ну как, сдала на стипендию? — спросил он.

По ней сразу было видно, что она из этой семьи: лицо у нее овальное со смуглой оливковой кожей, даже еще более задорное и проказливое, чем у других, потому что она самая младшая.

— Еще не знаю. Да мне плевать, сдала или нет. Я буду себя по-дурацки чувствовать в этой школьной форме. Я хочу в четырнадцать пойти работать, не дожидаться шестнадцати.

— Ты что, спятила? — спросил Маллиндер.— Учиться куда лучше. Узнаешь, почем фунт лиха, когда на работу пойдешь. Эх ты, сумасбродка!

— С тобой и вправду можно с ума сойти. Сколько раз я тебе говорила, чтоб ты меня сумасбродкой не называл.— И чуть не плача от смущения и стыда, она заговорила с Брайном: — Брайн, а ты знаешь, что будет, если часто моешься?

— Что?

— Мыльной сыпью весь покроешься! Правда ведь, папа?

— Валяй дальше,— отозвался отец.— Выходит, ты и впрямь сумасбродка.

Миссис Маллиндер послала Полин мыть чашки, а Брайна посадила за стол напротив мужа.

— Возьми бутерброд с сыром,— сказала она.— Если хочешь, я тебе сахарину в чай положу, а то паек мы только завтра получим.

— Да, спасибо. Мы только с сахарином и пьем.

Ему показалось странным, что его об этом спрашивают,— он словно попал в общество более культурное, чем то, к которому привык. Чай — это чай, все равно с чем его пьешь — с сахарином или с сахаром. У них дома паек забирали за три недели вперед, мать всегда ухитрялась выклянчить его у бакалейщика.

— Она хитрая,— сказала миссис Маллиндер со смехом, когда он упомянул об этом.— Война кончится, а у нее будет уже за три недели вперед получено.

— А как на русском фронте в последние дни? — спросил Маллиндер, подсмеиваясь над пристрастием Брайна, который, конечно, принял этот вопрос всерьез.

— Они скоро будут уже в Германии. Русские, уверен, возьмут Берлин.

— Будем надеяться, они там и останутся,— сказал Маллиндер.— Хотят с этим сбродом покончить раз и навсегда.

Брайн откусил кусок бутерброда.

— Еще бы.

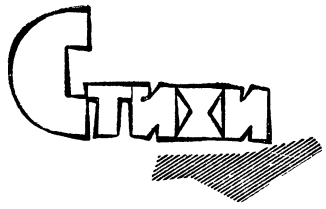
— Достань сигареты у меня в плаще, Полин,— сказал отец.

Брайну нравилось смотреть, как она работает, как моет посуду, нарезает хлеб и сыр, мажет масло на хлеб. Украдкой, насколько это было возможно в комнате, полной народу, он следил за движениями ее гибкого шестнадцатилетнего тела и видел, какой привлекательной она стала, сняв толстое пальто и оставшись в блузке и юбке, в которых простояла целый день у станка. Сладостное чувство, сохранившееся от объятий в Вишневом саду, еще трепетало в нем, и время от времени, когда Полин проходила мимо стола, он ловил запах ее лица и тела, запах пудры и губной помады, которой она потихоньку пользовалась, хотя отец не раз запрещал ей это делать. Брайн с удивлением думал: «Неужели никто не догадывается?» Ему казалось, что это должно отражаться в глазах, в каждом движении.

Он медленно ел бутерброд, пил чай, рассеянно прислушивался к перебранке между Морин и Дорис, старшей сестрой Полин, которая через месяц должна была выйти замуж и теперь, казалось, хотела вдосталь насладиться домашними ссорами, прежде чем навсегда покинуть родительский дом. Маллиндер включил приемник, надеясь послушать последние известия, но не сумел ничего поймать и выключил радио, произнеся вслух шахтерское ругательство, потонувшее в общем шуме. Интересно, как он терпит весь этот гам, хотя неизвестно, может, ему это нравится. И все же, надо признать, веселая семейка. Вот если б у них в доме такой спор разгорелся, давно уже в воздухе мелькали бы кулаки или горшки летали. Полин ужинала, сидя напротив него. Она поймала его взгляд и поднесла к губам чашку, не желая глядеть на него. И вдруг невероятная мысль ошеломила Брайна, нелепая мысль, которая сразу вырвала его из привычного мира — работа, свидания с Полин, да и свобода тоже, потому что, несмотря ни на что, он был свободен,— и все вокруг приняло такой новый и головокружительный оборот, казавшийся в то же время чудесным, что против его воли это видение обожгло его, как раскаленное клеймо. «А может, она уже беременна,— подумал он.— Мы ведь несколько раз бывали вместе».

(Окончание следует)

БАЙ Т. МУР



Перевод с английского
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Взгляд в историю

Африка —
Парадокс.
В Лиссабоне
В сырой конторе
Картограф
Ставит чернильную кляксу
На Африку, и ее
Зовут
«Черным континентом».

Африка.
Воображение
Населяет ее людоедами,
Огнеедами,
Дикарями,
Приносящими в жертву людей.

Африка.
Исследователи
Приносят в Европу вести
О золоте
И алмазах,
Слоновой кости
И пряностях,
И парни с Флит-стрит
Устремляются
За добычей.

Африка —
Гибель для белых.
Там змеи,
И дикари,
И непроходимые джунгли.
Но Африке нужен свет,
И торговцы привозят сюда
Библию
И ром
И просвещают
Проклятый материк.

Африка.
За добычей
Гонятся все — от французского
Иностранного легиона
До разбойников в пробковых
шлемах
Из всех стран света.
С пушками и знаменами
Приплывают они
По морю,
А некоторые смельчаки
Пробираются с караванами
Сквозь пески великой Сахары —
И все это лишь для того,
Чтобы цивилизовать
Дикарей.

И вот уже
Цивилизаторство
Идет полным ходом —
Золото и алмазы
Переправляют в Европу,
Уже подводят итоги,
И вдруг просветителям
В голову
Приходит,
Что есть и другое
Золото,
И тогда начинают людей
Продавать
В Нью-Орлеане,
Бостоне
И Саванне.

Но это лишь эпизоды,
Только лишь эпизоды
Из великой книги —
Истории Африки.

Новая Африка

Из мрака восточной ночи
Африка выплывает
На первые полосы
Газет всего мира.
Куда ни глянь —
На севере и на юге,
На западе и на востоке,—
Всюду взрывы, что будят
Некогда спавшие земли.
Колонии освобождаются
Так быстро, что их народам
Некогда избирать
Национальные флаги
И национальные гимны.
У них великое дело
Преобразования Африки,
«Черного континента».
Отныне двести миллионов,
Двести миллионов африканцев
Сами определяют
Судьбу своих стран.
И все это, несмотря
На происки тех, кто недавно
Заливал эти страны кровью.
Колониальные тюрьмы,
О которых скоро забудут,
Стали университетами,
Откуда на сцену истории
Вышли бесстрашные,
Закаленные борцы за свободу.
Зовите их розовыми или красными —
Они заставили всех
Считаться с Африкой.
И Африка может сегодня
Догнать наш двадцатый век.

Месяц жатвы

Боги ликуют двенадцать месяцев,
Крестьянин — только месяц Глейто,
Когда в полях золотится рис
И самый памятливый не вспомнит,
Что было когда-то голодное время.

Поля наполняют густеющий воздух
Благоуханьем созревшего риса,
Окры, кореньев и кукурузы.
В этот месяц не угасает
Веселый очаг в крестьянском
жилище —
Хозяйке дома теперь не до скуки.

Вон по извилистой узкой улочке,
Беспечно танцуя, шагает девчонка
И распевает песню о жатве
И после — песенку о веселье.

Когда же солнце Глейто заходит
За деревья, поля и горы,
Видно, как по холмистой дороге
Движутся черные силуэты:
Это семья направляется в город,
Чаши, блюда, корзины и тыквы
Качаются на головах у женщин.
Глейто — месяц, когда в деревне
Вспоминают тех, кто ушел навеки
В дальние плодородные страны,
Где встречаются все племена.

На поминках пойдут разговоры:
— Какой был искусный в деревне
знахарь,
Как он нас исцелял от болезней!
— А помнишь, какая была повитуха,
Сколькие от нее в деревне
Впервые услышали слово «здравствуй»!
— А вот был старейшина, мудрый
и скромный,
Его приглашали на все советы —
Познаньям его завидовал вождь.
— А помнишь, был кузнец голосистый,
Весельчак, хохотун неуемный,
К кузне его сходились крестьяне
По делу и для приятной беседы?
— Была красавица в нашей
деревне...
— Юноша был, смышленый и
быстрый,
Ему еще в детстве поверило племя
Все секреты и тайны старших...

Где для поминок зарежут корову,
А где крестьянин не пожалеет
Единственную в хозяйстве козу —
Только бы сделать приятное другу,
Который придет посидеть с тобою,
Поговорить и почтить раздумьем
Память тех, кто ушел навеки
В дальние плодородные страны.

Месяц жатвы. Гремят тамтамы.
В джунглях, взмывая и опускаясь,
Извивается лента песни.
Лунный свет в серебро превращает
Сто миллионов безмолвных листьев.
А ноги так и зовут туда,
Где на извилистых узких улочках
Слышатся четкие ритмы танца.

ХАСИБ АШ-ШЕЙХ ДЖААФАР

ГИБЕЛЬ ПОЭТА

Перевод с арабского
МАРГАРИТЫ АЛИГЕР

Ветер, ветер шумит в тростнике,
Плачет, плачет вода в реке,
Слезы смешивая с сурьмой.
Тысяча стягов — кровавый каскад.
О гибели сына плачет мать.
Рыдает мать о тебе, герой.
О ты, который был свеж, как роса, трепетен, как цветок.
По черным дорогам смерти идешь, и никто не положит венок.
Чернота твоих глаз — берега реки в тихой лунной ночи.
Что в сердце твоем? Пепел? Свинец? Кровь? Огонь? Мечи?
Кто плачет? Ветер или мать? Или сироты в доме твоем?
Или и ветер, и дети, и мать, и твой разрушенный дом?
Кровавы раны твои, герой... Ты лежишь на асфальте всю ночь.
Ты один, ножом распорота грудь, и никто не придет помочь.
Горькую думу думаешь ты... Стены вокруг молчат.
Кинжалы сверкают в глазах убийц, словно в глазах волчат.
А в твоих глазах зеленеет вода и утренний лотос цветет.
И что за свет во мраке ночном? Или это забрезжил восход?
Или это пожар взвился, словно конь? Или сказочный город возник,
Озаряя сиянием мрак реки, берегов шумящий тростник?
Ты зеленую свежесть живительных струй в ладонях своих принес,
И узкие лодки, лодки без весел, полные рыбы и роз,
Они, как темные тени сурьмы, лежат у твоих глаз.
А на зеленых косах пальм сверкание звезд и рос.
И кричит, кричит в деревнях петух, возвещая утренний час.
Да петух ли это нарушил сон, или выстрел раздался вдруг?

Это смерти вкус или пепла вкус, или кровь, или снег голубой?
Убитые отовсюду бредут и становятся рядом с тобой.
Ты слышишь, в двери они стучат: вставай, поднимайся, друг!
Лодки свежести и любви уже понесла река,
И ветер на веслах и пенье их ты слышишь издалека.
Свадьба ли, похороны шумят или только ветра вой?
А если свадьба, не ты ли жених в одежде огневой?
Гремят барабаны в деревнях лотоса и тростника,
И глина жрет за звездой звезду, и громко плачет река:
Он умер, он в сумерки был одет, и утонул его взгляд
В блеске звезд и в сверканье росы, и он не придет назад.
Его унесли, одного, без венков, с молодым и прекрасным лицом.
Блестели глаза на его лице, но их погасили свинцом.
Блестели мокрые листья пальм, но их осушил огонь.
Последняя свежесть ночной росы легла на его ладонь.
Ах, ночь, один лишь холодный мрак наполнил твои глаза...
На пальмовых листьях, на пальмовых листьях роса, роса, роса...

ОКТАЙ АКБАЛ

Улица Чужаков

ПОВЕСТЬ

Перевод с турецкого
И. СТЕБЛЕВОЙ

I

Улица Чужаков, словно мост, связывает два кладбища. Она начинается и оканчивается у могильных плит. На этой улице живут люди, которые умеют утопить свое горе в ложке воды. Секунда за секундой пробегают сутки, и каждый день к вечеру, когда жители улицы, расставшись с булыжными мостовыми города, доходят до первой могильной плиты, они чувствуют, что становятся людьми совершенно иного мира.

Утро здесь начинается раньше, чем в какой-нибудь другой части города. С первыми фабричными гудками на окнах распахиваются белые полотняные занавески, сколотые булавками, и дома становятся похожими на театральную сцену. Люди заняты разными делами. Одни сидят на тюфяках, лежащих прямо на полу, торопливо жуют завтрак, другие, поставив перед собой чашку воды и смотрясь в карманное зеркальце, сбривают бороду недельной давности, третьи умываются над тазами и лоханями, а кое-кто уже направляется к выходу.

Город еще спит сладким сном, а улица Чужаков уже давно на ногах. Во всех комнатах началась жизнь, слышатся то крики, то грохот. Двери домов захлопываются за спиной у людей. Рабочие, дети — школьники или подмастерья,— изредка чиновники спешат по делам, оставляя на непросыхающей грязи улицы следы своей торопливости. Вслед за ними, сотрясая дома, проносится несколько телег.

После того как трудовое население покидает квартал, появляется солнце. Оно вползает в раскрытые окна домов, добирается до самых потаенных уголков, до постелей, еще хранящих тепло человеческих тел, касается спящих малышей.

Улица похожа на коридор. Как длинная лента, она связывает выстроившиеся по обеим ее сторонам каменные и деревянные дома. Количество этих домов всем известно, но сколько людей живет в них, ведомо одному только богу. Жители улицы Чужаков поверили в то, что она создана будто бы только для них, и каждого, кто случайно сюда попа-

дает, разглядывают с враждебным любопытством, дети колотят пришлых ребятишек, а женщины бросают язвительные замечания вслед незнакомкам, находя в них тысячи недостатков. Если вы, заблудившись, случайно попадете сюда, вы не разгадаете с первого взгляда тайны этих мест. Увидев сидящих у дверей домов или высунувшихся до пояса из окон девушек и женщин в красных, зеленых, лиловых ситцевых платьях, увидев унылых, плохо одетых мужчин, которые сидят сгорбившись на табуретах в кафе, шумную босоногую детвору, вы растеряетесь и начнете сомневаться в том, что находитесь на улице, которая действительно принадлежит этому городу.

Разные люди живут в квартале Чужаков: торговцы фруктами, сапожники, мясники, продавцы газет, возчики, служащие, рабочие, пенсионеры, вдовы, старики, дети... Мальчишки-газетчики, которые до полуночи наполняют город своими звонкими голосами, предлагая самые последние выпуски газет на площадях, трамвайных остановках или в казино, и вечно охрипшие продавцы конфет, которых можно встретить с их маленькими лотками на каждом шагу, без шапок, без башмаков, в дырявых штанах,— все они с этой улицы. Они появляются в самых неожиданных местах, на самых многолюдных перекрестках города. Встретив где-нибудь человека со своей улицы, мальчишка-газетчик кивает ему с улыбкой: «Здорово, дяденька!» И думает: «Этот — из наших». Он радуется тому, что в сердце огромного города, в толпе незнакомых людей он встретил друга.

В каждом доме на улице Чужаков живут мастера разных ремесел. Мужчины, женщины и дети — все умеют что-нибудь делать. Руки у них — это главная часть тела. Благодаря им живет, ест и пьет множество людей. Каждый хорошо знает свое дело и держится за работу крепко, как за оружие. На тех, кто не работает, смотрят косо. По здешним понятиям, каждый парень, у которого пробились усы, должен утром бежать на работу, а вечером возвращаться домой с буханкой хлеба под мышкой. Они ступают тяжело и медленно, потому что зарабатывают хлеб в поте лица своего.

Раньше всех возвращаются чиновники и учащиеся. Те, кто работает на фабриках, приходят позже. Фруктовщик является домой поздно вечером, а вагоновожатый и продавцы газет — за полночь. На лице у каждого, кто шагом победителя вступает на улицу, написана радость: день прошел не без пользы. В эти часы в кофейне проигрывают пластинки с самыми популярными мелодиями, и тот, кто устал и измучен, веселеет.

Каждое утро, переступая порог другого мира, люди до вечера становятся собственностью большого города. Пока они мечутся в городской сутолоке, женщины, что остались дома, устраивают посредине улицы шумные сборища. Забытые в пеленках младенцы, проснувшись, пробуют свои высокие и низкие голоса, тем самым обнаруживая, кто из них в будущем станет зеленщиком, возчиком или продавцом газет. Дети постарше нетерпеливо вертятся возле кипящих кастрюль, грызут черствые куски хлеба или подгнившие яблоки.

Иногда между детьми возникает драка из-за какого-нибудь пустяка, из-за камешка или обидного слова, и тотчас же им на помощь, как ангелы-хранители, устремляются матери. С бранью женщины вцепляются друг другу в волосы. Вмиг вся улица оказывается на ногах, словно по ней пробежал электрический ток. Все сбегаются к месту происшествия. Когда становится слишком шумно, в драку вмешивается сторож — он невысокого роста, в шинели с широкими плечами и шествует так, будто именно он создал мир. Сторож совсем потерялся в толпе, только изредка показывается его голова да слышится голос. Но он занят своим делом — старается разнять дерущихся. Постепенно все расходятся, и улица пустеет.

В самом центре улицы Чужаков расположена кофейня. В хорошую погоду стульями уставлена вся улица, от начала до конца. Здесь переругиваясь играют в трик-трак, в девятку, в домино. Зимой крохотная кофейня набита битком, беспрерывно гудит маленькая печка. Самые колоритные фигуры квартала, молодые парни, спешат в кофейню, чтобы, столпившись вокруг стола, промотать дневной заработок, играя во все азартные игры подряд. Того, кто не играет на деньги, вообще не считают за человека.

Хозяйка кофейни Зульфю-ханым живет в задней комнате, а верх сдает жильцам. С утра до вечера она занимается посетителями. Своей кофейней Зульфю очень дорожит, благодаря ей она стала влиятельным лицом в квартале. В кофейне принимаются все важные решения, и с мнением Зульфю считаются. Тут подыскивают невесту холостяку, разводят супругов, тут пишут письма под диктовку, отцы жалуются на своих сыновей, а сыновья — на отцов. Здесь дают советы тем, кто влюбился. Здесь, включив старый «Телефункен» выпуска 1935 года, слушают турецкие народные песни, сопровождая музыку вздохами и восклицаниями. Некоторые подпевают. Иногда все встают и начинают танцевать, отбивая такт ладонями. Когда всеобщее воодушевление достигает наивысшей точки, в кофейню вихрем врывается сторож и кричит: «Что за шум в такой поздний час! Что за безобразие! А ну, все по домам!..» Но Зульфю и кто-нибудь из разгулявшихся посетителей подхватывают его под руки и ставят перед ним чашку сладкого кофе. И скоро коротышка сторож тоже начинает подпевать, прихлопывать в ладоши, покачиваться — он бы и рад пуститься в пляс, но приходится блюсти честь мундира.

Кофейня Зульфю известна во всей округе. Имя хозяйки частенько упоминают в полицейских участках. Зульфю, с сигаретой в зубах, с неизменным узорчатым шарфом на голове, как ретивый чиновник, находится при исполнении своих обязанностей. Иногда поздним вечером двое полицейских совершают неожиданный налет на кофейню и ловят с поличным тех, кто играет на деньги. Кофейня закрывается на неопределенный срок. Тогда Зульфю набрасывает на плечи новую шаль и отправляется обивать пороги, вымаливая разрешение вновь открыть кофейню. Ведь без кофейни в квартале скучно: по вечерам люди томятся.

В хорошую погоду в окнах домов маячат головы. Соседи негромко переговариваются через улицу, освещенную тусклым светом. Парни с сигаретами во рту, взявшись под руки, слоняются взад и вперед. В воздухе носятся тоскливые куплеты любовных песен. В эти поздние вечерние часы молодые девушки долго и глубоко вздыхают, их сверстницы, недавно вышедшие замуж, тихонько делятся с подругами своими таинственными впечатлениями, молодые жены, укладывая подушки и одеяла, тщательно стелят на полу грешные ложа, а их мужья занавешивают двери, оставляя открытыми окна.

Школьники уже давно погрузились в сон без сновидений. Бок о бок со своими женами лежат чиновники. Отставным служащим снятся высокие посты, и во сне они грубо кричат на важных чиновников.

У работниц чулочной и папиросной фабрик, у строителей и рабочих руки работают и во сне. Они снова разбирают табак, скручивают нити, включают станки. Опять крутятся колеса, стучат машины. Каменщики продолжают класть стены, которые они не успели закончить наяву, и кирпичи аккуратно ложатся один на другой.

Мясник и зеленщик — за своими прилавками. Вертится мясорубка, отрезаются бараньи ляжки, отбиваются котлеты, самые спелые гроздья винограда выкладываются на витрину, разрезаются арбузы, на яблоки наводится глянец.

Извозчики во весь опор гонят своих лошадей, украшенных лентами, экипажи заново выкрашены. Щелкает кнут, лошади минуют улицы, проспекты и летят, летят... Молодые женщины придумывают своим будущим детям красивые имена, а девицы на выданье грезят о юношах, с которыми накануне перебросились словом. Вернувшаяся из кинематографа парочка воскрешает в своем воображении огромный белый дворец, широкую, как море, постель, атласное одеяло и пуховые подушки, которые они видели в фильме, впрочем, оба не очень унывают — для них все постели одинаковы.

Вагоновожатый Рыза привык мечтать за работой. Пустив трамвай на полную скорость, он вспоминает жену и детей. Ему вдруг приходит в голову мысль, что остановок в городе больше, чем нужно. Вот если бы он мог на полном ходу миновать их все и поставить трамвай в депо, то за десять минут сумел бы добраться до дому.

По улице бродит важный сторож с двумя овчарками. Шаги его тверды, плечи расправлены. Он светит фонарем в темные углы, по временам свистит и ждет ответного свистка. Он не жалуется на жизнь. Он привык вот так обходить в полночь улицы, встречать запоздавших прохожих, дышать воздухом, которым никто не дышит. Если запираться по ночам в доме, можно сойти с ума. Он не мыслит своей жизни без револьвера, свистка, собак, без всех этих домов, фонарей на углах, без драчунов, пьяниц и воров.

Вот уже весь квартал спит глубоким сном, не слышно ни звука. Сторож гулким шагом проходит по мостовым, осматривая, все ли двери хорошо заперты. Из города доносится звук свистка, и он отзывается долгим свистом, как бы говоря: «Все в порядке. Мои спят спокойно...»

II

Самый большой дом на улице принадлежит отставному каймакаму *. В дом ведет небольшая лестница, а на верхние этажи — другая, со сломанными ступенями. Каймакам живет наверху, первый этаж занимает самый богатый человек квартала — мясник Гани. У него две жены и четверо детей. Старший сын от первой жены служит в армии. Вторая жена — молодая — родила двух сорванцов-мальчишек и девочку. Сыновья Гани — зачинщики всех проказ. Один из них учится в школе и неизменно переходит из класса в класс. Другой выучился только отбивать котлеты, обвешивать да сбывать рассеянным покупателям кости вместо мяса. Он умеет отличать баранов горной породы от равнинных караманцев. Отец говорит о нем: «Этот парень выйдет в люди!»

Сверкающая чистотой лавка мясника Гани находится на главной улице района. Его постоянные клиенты — чиновники, которые пользуются кредитом и платят по счету раз в месяц. Гани-эфенди умеет хорошо заработать. Он знает, как обращаться с покупателями, беседует с ними о политике, о войне, поругивает дороговизну. Каждый вечер, опустив штору, он подсчитывает дневную выручку. Он привязан к дому, женам и детям. Три раза в неделю у них жарят мясо, аромат которого разносится по улице, заставляя соседей раздувать ноздри и облизываться.

На втором этаже дома — четыре комнаты. Две из них, выходящие окнами на улицу, занимает мастер Хусню-эфенди с дочерьми. В комнатах с задней стороны дома живет извозчик Тахир. Этот этаж — самое оживленное место в большом доме.

---

* Каймакам — главное административное лицо уезда.

Извозчик Тахир поселился здесь совсем недавно. Выйдя из тюрьмы, он женился на хорошенькой девушке и привез ее в этот дом. Тахир влюблен в свое ремесло и предан своему фургону и лошадям не меньше, чем жене. Фургон его выкрашен в синий цвет, разрисован пейзажами, птицами, парусными лодками, а в гривы лошадей вплетены ленты. Кнут в руках Тахира служит скорее предметом украшения, потому что он им никогда не пользуется, даже не касается им лошадей, зато с особой картинностью щелкает им в воздухе, и этот звук придает лошадям резвости.

Тахир возит вещи, зимой — дрова и уголь, по праздникам катает желающих. Праздничных дней он ждет с большим нетерпением, начинает готовиться к ним заранее, прихорашивая лошадей бумажными гирляндами и флажками. В первый день праздника он встает затемно, надевает новую одежду и, сев на козлы, направляется к месту празднества. Он счастлив, потому что самые красивые на площади экипаж и лошади — у него, самый пригожий возница — он сам, больше всего детей толпится вокруг него. Когда яркий, увешанный флажками и гирляндами фургон, битком набитый девочками в алых, зеленых, лиловых платьях и мальчиками в длинных и коротких штанишках, с красными бумажными флажками и с разноцветными шарами в руках, со свистульками во рту, с шумом и веселым гомоном катится по площади, все прохожие, увидев его, застывают на месте.

Тахир пробыл в тюрьме восемь месяцев. Все знают, что из-за женщины, но он об этом никогда не говорит. Только однажды он рассказал свою историю обступившим его парням. «Бабам верить нипочем нельзя!» — коротко бросил он в заключение. Жена Тахира — пухленькая женщина. Она часто ввязывается в драки с соседками, устраивая настоящее светопреставление.

В двух смежных комнатах, выходящих окнами на улицу, живет отец троих дочерей Хусню-эфенди. Хусню-эфенди уходит из дому ночью и возвращается домой ночью. В квартале его можно встретить только по воскресеньям. Хусню-эфенди повидал жизнь. Все его любят и уважают. Он человек широкой души, щедрый, часто заказывает лимонад для всех посетителей кофейни. По воскресеньям и вечерам, когда Хусню-эфенди свободен, уважаемые люди квартала поджидают его в кофейне, чтобы послушать его речи о событиях, вычитанных в газете, о местах, где он родился и вырос, анекдоты.

Хусню-эфенди потерял жену, будучи совсем молодым, и вырастил своих дочерей сам, трудясь в поте лица. Девочки, которые были моложе одна другой на два года, уже подросли. Старшая, девятнадцатилетняя Гёнюль, работает у портнихи. Смуглая, черноглазая, она всегда хорошо одета и завоевывает сердца с первого взгляда. Всем известно, что она уже несколько месяцев гуляет с младшим лейтенантом. Когда она, красиво причесанная и в новом платье, выходит из дому, все знают, что она отправляется на свидание. Мальчишки прерывают свои игры и драки, увидев, как она в манто цвета пламени, покачивая бедрами, проходит по улице. Поговаривают, будто тот младший лейтенант обманул и бросил Гёнюль и теперь она гуляет с другим. Но, вероятно, это выдумали женщины, завидуя ее красоте и шикарному виду. Гёнюль знает себе цену и не придает особого значения тому, что о ней болтают.

Средняя сестра, Зехра, учится в лицее. Она застенчива. Каждое утро в переднике, с портфелем в руках она уходит в лицей и возвращается домой к вечеру. Просто не верится, что эта скромница — сестра Гёнюль.

У Зехры доброе сердце, она пишет соседям письма под диктовку. Никто ни разу не сказал о ней ничего плохого.

Самая младшая из сестер, озорница Сельма, уже второй год учится в последнем классе начальной школы. Она вдруг как-то сразу сильно изменилась. Жители квартала, которые привыкли видеть, как она играет на улице в прятки и баюкает кукол, теперь не узнают ее. Вместо маленькой озорницы появилась девушка с заметно выпуклой грудью и блестящими глазами. Она учит своих подруг танцевать модные танцы и рассказывает им то, что узнала от старших сестер.

Когда сестры собираются вместе, они делают все, что им взбредет в голову. Никто им в этом не препятствует. Под вечер, когда на улице бывает наиболее оживленно, три девушки, перегнувшись, свешиваются до пояса из окон, словно спелые плоды. Их рты всегда заняты делом, языки работают, не переставая. Они либо сплетничают, привирая и сочиняя, либо мурлычат песенки из кинофильмов. Каждая мечтает о чем-то своем. Гёнюль воображает себя в ярко освещенном зале, среди нарядных людей, блестящих мундиров и разноцветных шелковых платьев, прекрасных женщин и стройных мужчин, нежных голосов и тонких ароматов. Большой оркестр исполняет модные танцевальные мелодии. Вот к ней приближается высокий белокурый офицер, обнимает ее за талию, и они начинают кружиться...

Зехра приберегает свои мечты для более подходящего случая, а сейчас она думает об экзаменах. Ее цель — стать учительницей, самой зарабатывать на жизнь и ни от кого не зависеть.

Младшая, Сельма, намочив волосы, накручивает локоны. Она знает, когда должен пройти мимо окна юный капрал.

Поднявшись на двадцать ступенек, вы попадаете на верхний этаж. Здесь разместились со своими семьями отставной каймакам и вагоновожатый Рыза. Домовладелец занимает комнаты окнами на улицу. Вагоновожатый поселился здесь недавно, в комнатах, смотрящих окнами во двор, но за короткое время стал одной из наиболее значительных фигур квартала. Он водит вагон первого класса на линии Харбие—Аксарай. Его сын рассказывает соседским ребятишкам всевозможные истории об отце. По его словам, трамвай отца блестящий, красный и всегда набит битком. Ездит он очень быстро, обгоняя даже автомобили.

Хозяина дома жители квартала почти не знают. Уже много лет поговаривают, что он при смерти. За ним терпеливо ухаживает его седовласая супруга. В начале каждого месяца она устраивает концерт жильцам из-за квартирной платы. Их сын, рослый капитан, приезжает домой раз в месяц.

Вот так и живет своей жизнью этот дом, похожий на Ноев ковчег. У каждого этажа, каждой комнаты — своя история. Люди под крышей этого дома — словно одна большая семья. И несмотря ни на что, жизнь идет неплохо.

В доме пятеро мужчин: мясник, извозчик, вагоновожатый, мастер и пенсионер. Но все пятеро никогда не собираются вместе. Все, кроме пенсионера, лежащего неподвижно в постели, встречаются и здороваются только на лестнице. Мясник с восьми часов утра и до вечера в лавке, извозчик выезжает из дому с восходом солнца и возвращается ночью, вагоновожатый уходит затемно, мастер часто ночует на фабрике.

Только в воскресенье все дома. В воскресенье большой дом оживает. В воскресенье Гёнюль под внимательными взглядами своих сестер ярко красит губы, причесывается, надевает свое огненное манто и, спустившись с лестницы, выходит на улицу. При виде ее женщины пересмеиваются и шепчутся.

Девушка быстро, не глядя по сторонам, проходит улицу и, миновав кладбище, переводит дыхание. Она уже чувствует себя совсем другим человеком. На проспекте, вдоль которого вытянулись кинематографы, ее ждет, поглядывая на часы, возлюбленный.

III

На другой стороне улицы напротив большого дома стоит двухэтажный неоштукатуренный домишко. Вот уже две недели в нем пустовала комната, выходившая окном на улицу. К окну был приклеен листок бумаги с надписью от руки: «Сдается комната».

Всякому, кто вздумал бы высунуть голову из окна мастера Хусню, в первую очередь бросился бы в глаза этот клочок бумаги с корявыми буквами. Девушки гадали о том, кто снимет свободную комнату.

Прежде ее занимала большая семья с бесчисленным количеством детей, которые вереницей бегали по улице. Когда семья уехала, стало значительно тише.

Дом принадлежит старухе, которая с сыном и невесткой живет на первом этаже. В одной из двух верхних комнат — в той, что позади,— живет шофер, а передняя комната свободна. Желающих снять ее было много, но старая домовладелица под разными предлогами не сдавала ее. То ей казалось, что плата недостаточна, то жильцов оказывалось слишком много. Ей хотелось, чтобы здесь поселилась семья без детей. Многодетные семьи надоели.

Наконец однажды к вечеру в дверь постучал молодой человек в сером пальто и заявил, что хочет посмотреть комнату. Старуха повела юношу по скрипучим ступенькам на верхний этаж.

Комната молодому человеку подошла. Он заплатил за месяц вперед и сказал, что поселится сразу, что вещей у него почти нет, только немного книг, и что жить он будет один.

По его словам, был он студентом университета и приехал из провинции.

Хозяйка обещала дать ему постель, стол, стул и шкаф. Сказав, что возвратится через два часа, молодой человек ушел. Старуха пересчитала деньги и осталась довольна...

Вот так он и попал на эту улицу — не свалившись с неба, а придя собственными ногами. Он поселился в первой попавшейся комнате первого попавшегося дома.

Расставив по местам стол, стулья и шкаф, он разложил на столе свои бумаги, книги поставил в шкаф, постелил постель, и комната обрела жилой вид.

Он подошел к окну. На улице сыпал снежок. Он протер пальцами запотевшее стекло и в образовавшееся оконце оглядел улицу. Снег плотным слоем покрывал землю. Узенькая тропка, по которой мог пройти только один человек, тянулась вдоль улицы, разделяя ее пополам, и от этой тропинки к двери каждого дома вела еще более узенькая тропочка.

Сквозь щели в потрескавшейся раме окна сильно дуло, и в комнате становилось все холоднее. Салих принялся затыкать щели обрывками газеты. Покончив с этим, он обернулся и начал разглядывать комнату. Это была его комната. Она принадлежала только ему. Теперь он будет здесь жить — ложиться спать, вставать, смотреть из окна на улицу и, зевая, убивать время. Кто знает, сколько часов подряд он будет перебирать свои мысли наедине с этими четырьмя стенами, лицом к лицу с этим столом и десятком книг, с этим тощим матрацем, расшатанным шкафом и единственным стулом? Сколько раз ему придется гасить свои мечты о грязно-коричневый потолок с бесстыдно голой свисающей лампочкой, засиженной мухами, об эти стены, усеянные пятнами от раздавленных клопов и следами от гвоздей, об эти розовые занавески на окне? Какие дела привели его сюда? Что ищет он в этом квартале, названия которого даже не знает, на этой улице с кривыми домами, в этой унылой комнате на втором этаже кирпичного неоштукатуренного дома?

Он встал со стула, прошел два шага и оказался на середине комнаты. Зачем он здесь? Да просто так... без всякой причины... Он поднял руку и потер лоб. Снова те же проклятые мысли, пропади они пропадом! Ну, зачем тосковать! Вот идет снег, холодно, но ведь существует же и что-то хорошее... Может быть, скоро появится солнце, и снег начнет таять. На улицу высыпят смеющиеся люди. Из окон начнут выглядывать соседи. Он узнает много новых друзей. Он увидит девушек с черными или каштановыми волосами, развевающимися на ветру, пойдет в какую-нибудь кофейню и будет сидеть там допоздна. А потом можно вернуться домой, в комнату, которая его ждет. Он придет в свой новый дом, приготовит постель и вытянется на ней во весь рост. Можно будет открыть окно. Из окрестных домов или из кофейни, что напротив, к нему донесутся приглушенные звуки мелодий. Мечтая под эту музыку, он забудется сном. Вот как бы он хотел провести первую ночь в своей новой комнате. А утром... Об этом можно подумать и после!..

Какие заманчивые фантазии бродили у него в голове, пока он тут стоял. Салих улыбнулся, взял книгу со стола и поставил ее в шкаф. Тетрадь и ручку выложил на стол.

За дверью послышались шаги. Постучали. Он открыл дверь и увидел старуху хозяйку. Она спрашивала, не нужно ли ему чего-нибудь. Салих ответил, что все в порядке, и поблагодарил ее. Старая женщина стала спускаться по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы передохнуть. Салих изумленно смотрел ей вслед. С таким трудом она поднялась наверх только затем, чтобы узнать, не нуждается ли он в чем-нибудь. Он хотел пойти и поцеловать ей руку, но потом раздумал. Салих закрыл дверь. Ему пришло в голову, что есть на свете хорошие люди.

Снег как будто перестал. Салиху с трудом удалось открыть окно. Да, снег не идет. Салих окинул взглядом улицу из конца в конец, увидел головы людей в окнах верхнего этажа большого дома. В кофейне полно народу. Из трубы валит дым. Должно быть, в кофейне оглушительный шум. Потом взгляд его скользнул по большому дому, в окнах которого торчали головы. В других домах окна то открывались, то закрывались. Из них высовывались женщины, укутанные платками. На улицу стали выбегать дети. Они кричали, толкали друг друга в сугробы, падали, снова вскакивали. Салих долго смотрел на них. Откуда взялись эти босоногие, сквернословящие, оборванные дети? Как они живут? Только сейчас Салих понял, что находится в самом первобытном месте города. В этом квартале жили никому не ведомые, простые люди, которых видят повсюду, но которых никто не принимает в расчет.

Чувствуя, что ледяной воздух постепенно наполняет комнату, Салих закрыл окно. Вдруг он вспомнил, что сегодня даже не обедал. Он запер комнату и, положив ключ в карман, ощутил беспричинную радость. Может быть, это потому, что он владеет чем-то, что принадлежит только ему?

По лестнице, которая скрипела от каждого шага, он спустился вниз и опять увидел старуху хозяйку. Она высунула голову из своей комнаты и дала ему ключ от входной двери, похожий на револьвер. Салих растерялся, не зная, куда его спрятать, и наконец с трудом засунул ключ в задний карман брюк.

Он вышел на улицу и двинулся по узкой тропинке в снегу, такой узкой, что на ней не могли бы разминуться два человека. Достигнув улицы, мощенной булыжником, он обернулся и посмотрел туда, где поселился несколько часов назад. Эти плохо одетые люди, двигавшиеся по белому ковру, эти могильные камни, запорошенные снегом, вдруг стали ему дорогими.

Он прошел мимо красивых домов, в которых живут богатые и важные люди. Прошел мимо женщин в мехах и шляпках, мимо прилизан-

ных молодых людей, насвистывающих сквозь зубы мотивы из кинофильмов, мимо девушек в коротких вечерних платьях. Его глаза встретились с красноречивым взглядом молодой женщины, глядевшей на улицу из окна. Шагая дальше, Салих миновал трамвайную остановку с навесом, булочную, возле которой толпился народ, и вошел в небольшую харчевню. Там он съел самое дешевое блюдо.

Снова тем же путем, мимо тех же доходных домов, по булыжной мостовой, он вернулся к себе. Беззвучно открыв ключом дверь, стараясь никого не потревожить, он тихо поднялся по скрипучей лестнице, замирая после каждого шага. Наконец лестница кончилась, и он очутился перед своей комнатой. Салих тихонько вставил ключ в дверь и подождал немного, опасаясь, что старуха хозяйка, разбуженная его шагами, снова потащится наверх только для того, чтобы пожелать ему спокойной ночи или узнать, не нуждается ли он в чем-нибудь. Повернув ключ, он вошел. В этих четырех стенах он снова ощутил себя свободным. Там, на улице, среди чужих людей, он не был свободным. А здесь — совсем другое дело... Здесь все принадлежит ему так же, как и та улица, что видна в окно, кофейня напротив и люди в кофейне...

Салих разделся и лег в ледяную постель. Он вспомнил свою красивую комнату в доме родителей. В большой гостиной их особняка сейчас сидят отец, мать и младшие братья. Отец, как всегда, читает газету, а мать что-то вяжет. Младшие братья готовят уроки. Горит, потрескивая, печь. Стенные часы бьют девять раз. Вот отец снял очки и, отложив газету, задумался. Может быть, он вспоминает непокорного сына, не пожелавшего стать благоразумным, и беспокоится о нем. «Ну что ж, — думает, наверно, отец, — пусть немного собьют с него спесь! Тогда он бросит заниматься своими стихами или чем-то там еще и, как благоразумный человек, вернется на факультет». Отец снова берется за газету. А мать? Не отрывая глаз от вязанья, она неотступно думает о нем: что с ним?.. Где он?.. В десять часов отец и мать поднимаются с мест, отсылают детей спать и, погасив в гостиной свет, выходят.

Вдыхая холодный воздух, Салих вспоминает и девушку, чьи глаза свели его с ума, ту, которая вошла в его сны. Можно ли ее забыть? Как он будет жить в этом незнакомом квартале, вдали от нее?

Граммофон в кофейне заиграл печальную анатолийскую песню, слова которой отчетливо донеслись до его комнаты.

«Скажу-ка я солнцу, чтоб оно сегодня не всходило» — этих слов песни, которую он услышал в первую ночь своей новой жизни, Салих не забудет никогда. Прошептав их,, он погрузился в сон.

IV

Солнце заполнило комнату. Он открыл глаза и увидел перед собой окно. За стеклом было ярко-синее небо. Салих удивился — где он? Вокруг незнакомые предметы: шкаф, стол, занавески, стены и дверь. Он силился вспомнить, где видел их раньше. Эта комната!.. Нищая комната.

Салих встал, подошел к окну и посмотрел на улицу. Мимо шли люди. Снег начал таять. Было заметно, что это последний снег в году. Женщина в платке, покачивая бедрами, вышла из двери соседнего дома и скрылась в кофейне. Он опять лег на кровать. Солнце светило ему прямо в лицо, но было по-прежнему холодно. Он все вспомнил. Как приехал вчера сюда и поселился среди неведомых ему людей незнакомого квартала. Как пришел сюда, в первый попавшийся дом, и снял первую попавшуюся комнату. Он вспомнил хозяйку этого дома, снег на ули-

це, босоногих детей, женщин, повязанных платками, кладбище и тот, другой район, где высились особняки и доходные дома...

Салих зарылся лицом в подушку. Он хотел прислушаться к себе. Какой сегодня день? С улицы донесся голос газетчика, разогнавший тишину. Салих тотчас открыл окно и окликнул его. Потом вышел в прихожую и, стараясь не скрипеть, спустился вниз. Он купил газету, тихо вернулся в комнату и снова растянулся на постели. Он прочитал сначала заголовки, набранные крупным шрифтом. Восточный и западный фронты, немецкие и русские официальные сообщения, количество пленных и убитых, заявление какого-то генерала, речи, передовая, анекдоты, реклама кинематографов, подробности о преступлении, совершенном прошлой ночью, фотографии убитого и убийцы. Салих отбросил газету и подошел к окну. Глаза его остановились на одном из окон дома на противоположной стороне улицы. За стеклом появилась девушка с обнаженными руками, она расчесывала волосы. Салих перевел взгляд на кофейню. В нее входили и выходили люди с приветливыми лицами. Никто не спешил на работу. Было воскресенье. По лестнице большого дома кто-то спускался вниз. Человек с курчавыми волосами, чисто одетый подошел к кофейне, отворил дверь и вошел. С другой стороны появились двое юношей и, перебрасываясь шутками, тоже вошли в кофейню. Каждый, кто проходил по улице, непременно заглядывал в кофейню. Как это маленькое заведение могло вместить столько народу?

Салих тоже решил пойти туда. Его интересовал мир этих незнакомых людей. Там, внутри, кипело оживление. Там, конечно, пьют кофе и чай, играют в карты, звенят монетами, спорят о политике и о войне. И, конечно, подают мудрые советы Гитлеру и Черчиллю.

Салих на мгновение представил себе, что он в кофейне. Слева от него здоровенный извозчик рассказывает о своей последней проделке, двое парней припоминают фильмы с драками и стрельбой, которые шли в местных кинематографах, кто-то заводит разговор о военной опасности. Если бы Салих мог очутиться в этой кофейне! Он забыл бы о своем одиночестве, о своей тоске. Но это невозможно. Ведь он не один из них!.. Он — чужой. О чем ему говорить с этими людьми? Ну ладно, а если не разговаривать, просто прийти и сесть в углу? Спокойно пить чай и смотреть на них, слушать их разговоры. Но как они встретят его, не скажут ли: «Откуда взялся этот тип?» Вероятно, они сразу угрюмо замкнутся. Может быть, надеть старый костюм, который лежит в чемодане? Но, пожалуй, и это бесполезно. Какую бы старую, поношенную одежду он ни надел, как бы ни изменил свой внешний вид, все равно он не будет похож на них. Они и он — это люди разных миров. Они и он повсюду и в любое время сталкиваются нос к носу, но они и он совершенно не похожи друг на друга. Салих вспомнил, что он постоянно встречал этих чужих ему людей: шофера, извозчика, вагоновожатого, лавочника, кондуктора, рабочего — всех тех, кто зарабатывает хлеб трудом рук своих. Но он никогда не утруждал себя размышлениями о них. Его никогда не интересовало, как живут эти люди, о чем они думают, о чем мечтают. Он и не представлял себе, что они могут испытывать любовь, радость и печаль, словно у них нет желаний, нет другой участи, кроме как работать. Салих вспомнил, что относился к ним, как к некоей разновидности машин, как к своеобразному инструменту. И если он теперь смешается с ними, сможет ли он стать таким же, как они? Никогда. Внешний облик здесь ни при чем. Они не так, как он, разговаривают, по-другому смеются. И радость, и горе их понятны только им самим. Даже ходят они иначе. Салих расстроился. Всю жизнь он был далек от них. И сейчас он не мог занять среди них место, как бы ему этого ни хотелось. Он поднял брошенную газету, развернул ее и стал читать первую попавшуюся строчку.

V

Всякий раз, как открывалась дверь старой кофейни, ветер вталкивал внутрь нового посетителя.

В одном из углов кофейни четверо парней играли в карты, рядом с мастером, державшим в руках газету, расположились хозяйка кофейни Зульфю, ее сын, фруктовщик Фахри, и финансовый чиновник. Они были заняты разговорами о политике. Слуга Али разносил чай и кофе. У окна устроились Мехмед, сын метранпажа, и двое его приятелей. Самое почетное место в кофейне занимали они, потому что все трое стали солдатами и сидели здесь в солдатской форме. Мехмед к тому же был капралом. Они беседовали о военной службе, о демобилизации, о том, что завтра кончается их отпуск, что их ждет казарма. Впрочем, Мехмед не принимал участия в разговоре. Он водил пальцем по запотевшему окну, разрисовывая его сплетением линий, букв и причудливых узоров. Он был задумчив. Он был влюблен. Его пленила младшая из троих дочерей мастера, та, которая еще совсем недавно была озорной школьницей и которая так внезапно выросла... Каждое воскресенье, сидя до вечера в кофейне, он ждал, когда она пройдет мимо окна. Мехмед давно знал эту девочку. Оба они выросли на этой улице, играли вместе до тех пор, пока неожиданно для самих себя не стали взрослыми.

Сейчас, когда его товарищи обсуждали слухи о демобилизации, Мехмед разглядывал улицу и дома на противоположной стороне. На запотевшем стекле он протер ладонью круглое оконце. Стали видны грязь на улице и следы ног. Сквозь маленький блестящий кусочек стекла он словно снова увидел то, что давно уже минуло. Опять они, малыши, бегают по этой улице, по той же грязи со следами ног почти тех же людей. В то время, правда, на улице не было такого количества домов. Пустыри были шире, а телеграфных столбов было меньше. Воздушные змеи не запутывались в проводах. Тут было очень удобно играть в прятки, в салочки, в полицейских и воров. Босиком шатались они до позднего вечера с одного пустыря на другой. Однажды три маленьких приятеля сквозь дверь, размалеванную картинками, попали в темное помещение. По белой простыне двигались странные, не виданные в их квартале мужчины, удивительные, нарядные женщины. Скакали кони, мчались автомобили. Мужчины умели великолепно драться. Кто бы ни выходил один на один с тем высоким смуглым парнем в широкополой шляпе, все летели наземь. Когда прогремел выстрел, Мехмед испугался. Они тогда никак не хотели покинуть эту темную комнату, смотрели одно и то же до тех пор, пока какой-то темнолицый человек не вытащил их за руки на улицу. Так они заболели кинематографом. Насмотревшись фильмов со стрельбой и драками, они старались походить на тех людей, которых видели в фильмах. Однажды показывали картину, в которой полуголый человек, перескакивая с ветки на ветку, кричал страшным голосом. Это им так понравилось, что всю неделю они оглашали улицу дикими криками, карабкаясь по деревьям. Мехмед вспомнил также, как получил за это от отца здоровенную затрещину.

Каждый из них рано начал работать. Хасан стал продавать газеты, а Хильми поступил официантом в казино. Оба быстро узнали вкус заработанных денег. В их карманах позвякивали монеты. Они курили сигареты и вели разговоры о женщинах. Но Мехмед не был похож на своих приятелей. Он больше всего интересовался стихами. Отец, метранпаж, взял его к себе в типографию учеником. Но дело не клеилось. Мехмед и сам не заметил, как вырос. Однажды мать взглянула на него и сказала: «Гляди-ка, какой большой парень стал, даже борода появилась». Тогда он посмотрел на себя в зеркало: на лице пробивался слабый пушок. Значит, он становится взрослым. С детством нужно было решительно по-

кончить. Теперь он отказывался участвовать в футбольных матчах на улице, изредка соглашаясь взять на себя роль судьи. Тот высокий смуглый парень в кинематографе по-прежнему раздавал великолепные удары, но Мехмед понимал, что теперь он уже не любит его так, как прежде, у Мехмеда появился интерес к любовным романам. Когда-то он долго размышлял и не мог понять, почему лунные ночи называют прекрасными. Теперь наконец-то он и сам нашел для этого некоторые основания. Друзья заучивали любовные песенки и все вместе ухаживали за девушками. Приятели, однако, были смелее и опытнее Мехмеда. Он был слишком застенчив. Встречая взгляд девушки, он терялся. Его друзьям нравилась любая встретившаяся девушка, но Мехмед мог любить только одну-единственную. Ею стала младшая дочь мастера Хусню-эфенди, Сельма. Маленькая белокурая девушка хорошо понимала это, но делала вид, что ни о чем не догадывается. Наконец подошла очередь Мехмеда вместе с другими парнями квартала идти в солдаты. Они с радостью надели форму и бродили по улице, принимая почтительные приветствия соседей. Дети называли их «дяденька солдат». Наконец они стали мужчинами. Все трое проходили обучение в казарме за городом. Мехмеда назначили в военную типографию. Каждое воскресенье он возвращался на свою улицу и просиживал до вечера в кофейне. Взгляд его все время был обращен на улицу. Он высматривал свою любимую.

Первое свидание Мехмеда состоялось в тот день, когда он впервые надел солдатскую форму. Они бродили поодаль от квартала — на пустыре среди обломков деревянных лачуг и повалившихся заборов. Мехмед рассказывал ей о солдатской форме, о службе в армии, о стихах, которые он писал... Четырнадцатилетняя девочка все время смеялась. Она еще мало что знала о жизни, но старалась подражать старшим сестрам. Она почти ничего не поняла из того, что он ей говорил. Ей просто нравилось бродить по улице со светлоусым солдатом, как тот лейтенант, о котором рассказывала старшая сестра, и чувствовать на себе любопытные взгляды прохожих. В тот день, когда Мехмед нацепил на рукав нашивку капрала, он, набравшись смелости, поцеловал девушку.

Сейчас, глядя на улицу сквозь запотевшее стекло, Мехмед как бы снова увидел все это. Его плеча коснулась чья-то рука.

— О чем ты? — спросил Хасан.

В кофейне было полно людей. Отец Сельмы, Хусню-эфенди, читает газету и рассказывает о последних новостях с фронтов... Среди картежников вот-вот вспыхнет ссора... Зульфю изливает душу сторожу, который зашел выпить чашку кофе.

Мехмед очнулся.

— Так, немного задумался,— сказал он.

Хильми, показав на дом напротив кофейни, произнес:

— Говорят, приехал новый жилец. Молодой парень, и один-одинешенек. Ребята видели его. Вот он... стоит у окна.

Мехмед равнодушно слушал товарища. Взгляд его на мгновение остановился на окне верхнего этажа дома напротив. Там мелькнула тень. Интересно, откуда этот человек, что ему здесь нужно? Может быть, это студент, который приехал из провинции учиться и сейчас, стоя у окна, думает о своем далеком городе, где оставил близких? Наверно, у него есть возлюбленная, которая снится ему по ночам. В этом большом городе он, наверно, чувствует себя одиноко. Совсем один, наедине со своими мыслями и тоской...

Хасан, словно угадав, о чем думает Мехмед, заметил:

— По виду непохоже, чтобы он приехал из Анатолии. Скорей всего, стамбулец. Что ему здесь понадобилось? Смотри, высунулся в окно... Наверно, скучно ему.

Мехмед снова задумался. Его мысли на этот раз прервал Хильми.

— Как он глядел на нас! Словно никогда в жизни не видел людей...— проговорил он.

Мастер Хусню повысил голос, перечисляя названия дальних стран, разматывая клубок воспоминаний.

Хильми сказал:

— Что будем делать сегодня? Пойдем в кино?

Мехмед, пожав плечами, ничего не ответил.

— Видно, у тебя на уме совсем другое,— проговорил Хильми. Потом, посмотрев в окно на небо, заявил: — Уже обедать пора. Я проголодался, пойдем.

Они встали. Хасан сказал:

— Мы пойдем в кино в Бейоглу *, а он пусть милуется со своей любовью.

Они вышли втроем. На улице было шумно. У дверей толпились ребятишки, запускали волчки и галдели. Повсюду царило оживление, обычное для обеденного часа в воскресный день. Мехмед взглянул на окна второго этажа большого дома, но Сельмы не было видно. Трое солдат двинулись по улице, привлекая внимание взрослых и детей.

Когда они уже свернули в сторону, окно в большом доме отворилось, и в нем показалась белокурая головка. Из глубины комнаты кто-то крикнул: «Сельма, закрой окно!» Но Сельма уже успела заметить, что юноши ушли.

Хусню-эфенди еще не вернулся из кофейни, и три его дочери, приготовив обед, поджидали отца. Гёнюль в пижаме с красными цветочками бродила по комнате.

— Этот человек не меняется... Никак не может расстаться с этой ужасной кофейней... Сельма, ступай позови его! — выходила из себя Гёнюль.

Сельма поправила локоны и выбежала на улицу. Она вошла в кофейню, где отец собрал вокруг себя всех посетителей — даже картежники, оставив свои распри, слушали его. Когда-то на острове Крит Хусню-эфенди влюбился в красавицу гречанку и хотел увезти ее с собой. Эта история была постоянной темой рассказов Хусню-эфенди. Увидев Сельму, он тут же прервал рассказ и сразу встал. Дочь, скрестив руки на груди, ждала его. Бросив торопливо слушателям: «Доскажу потом, на неделе»,— он направился к дверям. Они вышли вместе. Гёнюль, свесившись из окна, неодобрительно смотрела на отца. К ней подошла Зехра.

— Ты знаешь, в дом напротив приехал новый жилец! — сказал она.

— А нам-то что, милая. Тут каждый день одни уезжают, другие приезжают,— равнодушно ответила Гёнюль.

— Но это другое дело. Этот молодой человек интересный, шикарный и одинокий... Нижние жильцы видели его. Они рассказывали...

Гёнюль перевела взгляд на окно, к которому была еще прикреплена бумажка: «Сдается комната». В окне никого не было.

— И на том спасибо,— сказала она,— по крайней мере мы будем видеть хоть одно человеческое лицо.

Зехра печально посмотрела на нее.

Пришел отец, и они сели за стол.

Вдруг тишину нарушили громкие голоса. Это жены хозяина дома и вагоновожатого затеяли ссору из-за уборки лестницы.

— Закрой дверь! — раздраженно крикнула Гёнюль Сельме.— Ну и люди! Накажи их господь!

Черпая ложкой суп, она думала о молодом человеке, с которым должна была встретиться через час.

---

* Район Стамбула.

VI

После обеда пошел дождь. Тучи заволокли солнце. По воскресеньям всегда шел дождь. Сначала падали редкие капли, потом дождь припустил, напугав тех, кто собирался на прогулку. Улица сразу опустела, только дети некоторое время с криком бегали под дождем, потом и они по одному скрылись в домах. Окна тотчас захлопнулись.

Сельма прильнула к окну, разглядывая струйки воды, стекавшие по стеклу. Может быть, Мехмед сейчас во дворе мечети ждет ее под дождем, думала она...

Дождь застал Гёнюль в то время, когда она со своим светлоусым лейтенантом уже добралась до большого проспекта. Схватив ее за руку, молодой человек подбежал к дверям, украшенным картинками, и втолкнул Гёнюль в темноту. Они сели в углу. Перед ними и сзади них сидели люди. Лейтенант взял ее влажную ладонь, и Гёнюль, довольная тем, что спаслась от дождя, взглянула на экран, куда, словно преследуя их, ворвался дождь и забарабанил по белому полотну...

Салих оделся, взял шляпу и собирался выйти из дому, когда разразился дождь. Улица умывалась. Салих положил шляпу, подошел к столу и достал черную тетрадь. Мелким красивым почерком он начал писать.

«Воскресенье — день, который я ненавижу. К тому же еще и дождь. Улица опустела. Какое страшное впечатление производит улица без людей! Особенно эта!.. Хочется пойти побродить, но пусть сначала утихнет дождь. Тоскливо. Если дождь скоро не перестанет, настроение у меня окончательно испортится. Сесть бы да почитать книгу? Но и на это не хватает терпения. Читать массу фраз, которые одну за другой нанизало скопище дураков в часы досуга, можно только в солнечный день. Что же остается делать, как не думать? О чем? Разобраться нужно во многом... Сначала — эти странные люди. Люди из здешней кофейни... Вдруг на мгновение я почувствовал, что они мне стали чем-то близки. Хотя бы те трое, что сидели утром в кофейне. Один из них был задумчив, даже печален, говорил мало. Они сидели долго, пили чай. Мне хотелось подружиться с ними, поговорить.

Самое большое здание у нас здесь — это трехэтажный дом напротив. В окне второго этажа я видел девушку с каштановыми волосами. Она заметила меня и скрылась. Ах, я не знаю, о чем писать... Хозяйка предложила мне обед, прислала с невесткой суп и фасоль. Я не посмел отказаться, боясь их обидеть. Невестка оставила поднос с едой и ушла. Не знаю, из чего был сварен этот суп. Я взял одну фасолину и положил ее в рот. Судя по виду, суп нельзя было есть. Я с трудом съел фасоль, не решаясь проглотить ни ложки супа. Меня разбирала досада: зачем я принял эту еду? Ведь мог выйти на улицу и пообедать в ресторане. Суп остыл. Того и гляди, придет за подносом хозяйка или ее невестка и увидят полную миску. Как они отнесутся к этому, удивятся, расстроятся, сочтут меня гордецом или идиотом? Я должен был съесть этот суп. Я окунул ложку в жидкость, потом взял ее в рот. Я закрыл глаза, словно глотал отраву, чувствуя отвращение к этой ложке, вилке, миске. Зачем они мне прислали это? Может быть, они едят это каждый день, может быть, это их лучшая еда?.. Вторая ложка прошла легче. Я начал торопливо глотать суп, не замечая его вкуса. Когда миска опустела, я обрадовался, потом вспомнил все, что передумал по этому поводу, и мне стало стыдно. Вот они, здешние люди, поступают иначе. Они крошат в суп хлеб и едят его весело... Им и в голову не приходит — хорош он или плох. Да и нужно ли думать о том, хорошо или плохо то, что насыщает желудок, согревает человека?

Пришла невестка, забрала поднос. Я поблагодарил ее. Она ответила: «На здоровье»,— и вышла. Это совсем молодая женщина. Ее муж уже много месяцев в армии. Зовут ее Хайрие. Какая у нее высокая грудь! Она, кажется, рада моему приезду — смотрит мне в лицо, улыбаясь. В ее взглядах что-то есть. Я еще не понял, что именно, но это меня пугает.

Утих бы дождь... Мне хочется написать письмо Невин. Но что я могу сказать, как объяснить ей мое поспешное бегство?

Утром я взял ручку и написал две страницы, но письма не окончил. Вот они: «Невин, не знаю, как ты объяснишь себе мой отъезд. Я не стану излагать тебе его причины. Ты только должна знать, что я люблю тебя и думаю о тебе. Сейчас я нахожусь в таком месте, которого ты и представить себе не можешь, живу на улице, по которой ты ни разу в жизни не проходила. Ты спросишь, для чего я это сделал. Они говорят теперь, что я захотел стать бродягой. С детских лет я всегда пугал их своими поступками. Отец говаривал: «Странный ребенок!» Я был малоподвижен, много размышлял. Я жил, ел, пил, играл, гулял в просторных комнатах больших домов, в садах, полных солнца. Я полюбил тебя, и мы должны были пожениться. Так думали и наши семьи. Ты — дочь богатых родителей, я — сын важного чиновника. Словом, мы подходили друг для друга. Я учился в университете, через два года должен был получить диплом и занять подобающее место в жизни. Мы бы поженились и, наверно, были бы счастливы. Ты бы носила красивые платья, я бы произносил красивые речи. У нас родились бы дети, они бы росли, учились в школе, шли бы путем, пройденным нами, следуя тем же обычаям, тем же традициям. Мы выдали бы нашу дочь за юношу из хорошей семьи и так, завершив свои дела, подошли бы к своему концу...

Так, моя девочка, думали и мой отец, и моя мать, и все твои и наши друзья. Разве могли они думать иначе? Это было бы невозможно. Их отцы выучились у своих отцов, матери — у своих матерей. Их мир был ограничен. Они, собственно, не знали жизни, света, людей. Они не видели дальше своего носа. Они не знали, что делается за рамками их мирка, считая весь мир таким, каким он им представлялся. Они жили и умирали только для себя.

Я хочу, чтобы ты меня поняла. Я ненавижу тесные границы нашей повседневной жизни, жизни в четырех стенах, лишенной свободных горизонтов. Я не хотел жизни без цели, без смысла. Отец считал меня непокорным сыном, мать терпеливо старалась повести меня по уготованному мне пути. А ты искала во мне человека, который составил бы твое счастье, человека, который завтра будет богат и обеспечит все твои запросы. Какая огромная разница между жителями этого квартала и всеми вами! Огромная, как пропасть. Вы живете в больших домах, а тут люди втиснуты в маленькие комнаты. Но, по-моему, они счастливее вас. Я начинаю понимать, что до сих пор был получеловеком. Здесь, по крайней мере, ощущаешь, что ты свободен. Я хотел бы, чтобы и ты была рядом со мной. Ты должна так же, как и я, сломать стены своего мирка и выйти на широкий простор... Не знаю, поймешь ли ты меня, потому что ты из тех, кто не умеет мыслить самостоятельно. У тебя заученные, штампованные мысли и убеждения. Ты из тех людей, которые любят не человека, а вещи. Поверь мне, пойми меня. Я буду любить тебя вечно. Я хочу, чтобы ты поняла мой поступок, который кажется странным. Я...»

Да, я... ну а кто же я? Жилец комнаты на втором этаже дома номер восемьдесят три по улице Чужаков, двадцатичетырехлетний студент университета, начинающий поэт. Вот и все. Я же знаю, что она ничего не поймет из моего письма, что, вероятно, я вскоре получу письмо со штемпелем «Гёзтеп» и на листке бумаги, вложенном в конверт, будет: «Ос-

тавь свое чудачество, возвращайся домой» или что-нибудь в этом роде... Эх, бедная маленькая дурочка!..

А дождь идет... Мне грустно. Есть о чем думать, но я больше не могу. На сегодня хватит. Вот сверкнула молния. Как сильно иногда гремит гром — дом задрожал...»

Мехмед пообедал и вышел из дому. На вопрос матери, куда он идет, ответил:

— В казарму. Товарищи ждут.

Он прошел мимо кофейни, взглянул на окна большого дома и зашагал по улице. Когда он дошел до угла, хлынул дождь. «Какая досада — девушка, конечно, не придет в такую погоду,— подумал Мехмед,— отец ее не пустит. А может быть, Сельма под каким-нибудь предлогом все-таки убежит из дому и побудет со мной». Мехмед закурил сигарету. Он вошел во двор мечети и стал бродить там, проклиная дождь. Его приятели отправились в Бейоглу, а он... Женщины, набиравшие в ведра воду из фонтана во дворе мечети, таращились на капрала, мокнувшего под дождем. Младшая дочь мясника, проходя со своим ведром мимо Мехмеда, пропищала:

— Дяденька Мехмед, опять ждешь Сельму?

Мехмед молча отошел. Да, видимо, девушка не придет.

А в это время Сельма стояла у окна. Отец заснул после обеда, Зехра сидела за столом. На лестнице послышались шаги. Сельма метнулась.

— Пришел офицер, сын каймакама. Я сейчас вернусь,— сказала она и выскочила из комнаты.

Выйдя на улицу, на другой стороне она заметила девушку с длинными волосами. Та подмигнула ей и махнула рукой в направлении мечети. Сельма поняла и бросилась бежать в ту сторону. Сверкнула молния. Волосы у Сельмы намокли. По дороге она встретила жену вагоновожатого и дочь мясника с полными ведрами в руках. Девочка сказала ей:

— Он ждет тебя.

Женщина насмешливо поглядела на Сельму.

— Я иду за табаком для отца,— пробормотала Сельма и побежала.

Оглядевшись по сторонам и убедившись, что ее никто не видит, она вошла во двор мечети. Юноша был там. Дождь погасил его сигарету.

В это время Тахир и его жена, пройдя кладбище, вступили на мощеную улицу. Тахир был облачен в черный костюм, на голове его красовалась кепка. Жена его была в голубом пальто. Они не обращали внимания на дождь, словно его и не было. Они шли так, словно был ясный солнечный день, хотя усы у Тахира были мокрые.

VII

Четыре зятя и четыре невестки, жившие в доме напротив кофейни, собравшись вместе, били в бубен, танцевали и жарили кукурузу. Их матери, свекрови, тещи сидели неподалеку, наблюдали веселье и сплетничали. Зашел разговор о военной службе. Первый зять объявил, что ему скоро идти в солдаты. Второй и третий зятья недавно вернулись из армии. Четвертый был солдатом и как раз сегодня приехал в отпуск. Все они были трудовые люди: столяр, парикмахер, швейцар в школе, сапожник, и у всех, за исключением сапожника, были дети. Еще одна дочь была незамужем и работала на чулочной фабрике. Это была тоненькая девушка с длинными волосами. Она была помолвлена с сыном

Зульфю, который отбывал воинскую повинность. В письмах к матери, которые время от времени приходили из Эрзинджана, он исправно передавал приветы своей невесте. Свадьба должна была состояться по окончании срока его службы, но в последнее время Хюсние сильно изменилась. На заработанные деньги она накупила себе платьев, туфель, шелковых чулок. Она была в восхищении от старшей дочери мастера и старалась подражать ей. Своего жениха Хюсние забыла. С тех пор как он уехал, она стала совершенно другой. Это была уже не прежняя сопливая девчонка в сандалиях на деревянной подошве. Теперь у нее были другие мечты и мысли.

В этот воскресный день, сидя на тахте и зашивая разорвавшуюся подкладку пальто, она размышляла. Ее старшие сестры, их мужья, мать и дети сестер, веселились, разговаривали и смеялись, создавая ужасный шум. В глубине души Хюсние презирала их. Эта жизнь ей надоела, она даже ненавидела всех их. Как отвратительно вульгарны эти люди! Они не умели говорить, вставать, садиться, есть... Их речи и шутки были грубы. Жить с таким мужем Хюсние просто не смогла бы. Вот и сын хозяйки кофейни, с которым она помолвлена... Все детские годы они играли вместе и неплохо относились друг к другу, мальчик хорошо знал все ребячьи игры. Но годы прошли, а он мало изменился. Человек, который зарабатывает на жизнь своими руками и не умеет связать двух слов! Хюсние же стала совсем другой с тех пор, как работает на фабрике. Как много знали девушки в ее цехе! Стоило послушать ту рыжую, которая работала вместе с ней. Она рассказывала Хюсние такие вещи, которые даже ее старшие сестры не могли бы слушать, не краснея. Она гуляла с молодыми людьми, щеголявшими в узких брюках и огромных штиблетах. По окончании работы ее поджидали парни с цветком в петлице, и они уходили вместе. Как ловко Суна проделывала все это!.. Куда только молодые люди не водили Суну!.. В кино, театры, на вечеринки, в казино, на пляж... А разве они не покупали ей пирожные и шоколад?.. Чем платила за это Суна? Ничем таким, что бы ей не нравилось. Молодые люди под покровом темноты в самые волнующие моменты фильма целовали ее в губы, их пальцы блуждали по ее телу. Более смелые пытались зайти и дальше. Но Суна всегда умела выпутаться из затруднительного положения. Рассказывая об этом Хюсние во время работы у станка, она добавляла:

— Увидишь, однажды я поймаю кого-нибудь из них. Он от меня не уйдет, я стану невестой человека, окончившего университет.

Хюсние была в восторге от молодых людей с пестрыми цветками в петлице, которые вертелись вокруг Суны. Когда она сравнивала их со своим женихом, ей хотелось плакать. Наслушавшись рассказов Суны, она воображала себя героиней всех этих приключений. Постепенно Хюсние начала обращать внимание на словечки, которые то справа, то слева бросали ей прохожие. В первый раз, когда какой-то человек подошел и заговорил с ней, она испугалась и убежала. Потом Хюсние раскаивалась в этом. Все фабричные девушки — в меру своего ума и красоты — рассказывали разные истории о любовных приключениях, о первых поцелуях, о знакомых кавалерах — брюнетах, блондинах, русых. Однажды Суна сказала:

— Хюсние, ты, видно, у нас тихоня. Ничего о себе не рассказываешь.

— Я помолвлена,— коротко бросила Хюсние.

Рассказывать о женихе она не стала. Да и нечего было. Когда же Суна узнала, что Хюсние невеста слуги в кофейне, то заметила неодобрительно:

— Жаль, но тебе виднее.

Время шло. Поначалу Хюсние сняла с головы платок и сделала шестимесячную завивку. Потом купила шелковые чулки и сшила себе

модное пальто. Однажды Суна познакомила ее с молодым человеком. Они разговорились. Высокий темноволосый юноша уверял Хюсние, что уже много недель караулит ее, что он влюбился в нее с первого взгляда, что он просто поражен ее красотой. От этих слов Хюсние потеряла голову. Они стали часто встречаться, и любовь сделала Хюсние еще красивее.

Как легко думается человеку в дождливые дни. Громкий смех зятьев прервал ее размышления. Дождь ручейками стекал по окнам. С наступлением сумерек воскресенье для жителей квартала кончилось. Дождь слегка затих, чтобы ночью припустить снова и уже идти до утра.

VIII

Толстый почтальон сделал шаг, остановился и посмотрел на реку грязи, затопившую всю улицу. И в такое проклятое место посылают письма! Он подвернул брюки и решительно зашагал по грязи. В руках у почтальона была пачка писем, адресованных в этот квартал, за спиной болталась сумка.

Солнце стояло над домами. Ребятишки лепили из грязи пирожные и домики. Дойдя до нужного ему места, почтальон вытащил из пачки два письма, проверил номер на двери и прочитал: «Господину Решаду Илмазу», «Госпоже Азаде Тыназ».

Этот дом принадлежал слепому хафызу * и его жене. В комнате на верхнем этаже жили два студента университета. Почтальону никогда не приходилось вручать в собственные руки студентам письма, которые им приходили из Анатолии. Зато кто не знал белокурую Азаде, жившую на нижнем этаже! Это была стройная женщина, умевшая внушить к себе любовь. Почтальон знал, что она некоторое время жила с капитаном, потом бросила его и переехала на улицу Чужаков. Это письмо было не от него. Кто знает, что в нем? Почтальон держал в своих ладонях и носил на спине чужие секреты. Часто ему хотелось узнать их. Он пытался что-нибудь разгадать по тому, как был надписан конверт, по почерку или по имени. Иногда его охватывало с трудом подавляемое желание вскрыть и прочитать одно за другим все письма, которые лежали в его сумке. Как было бы хорошо в один прекрасный день, бросив все дела, бежать, захватив сотни писем, укрыться в тихом месте и все их прочесть!.. Кто знает, что в них!.. Думая об этом, почтальон смеялся над собой и по-прежнему вручал письма адресатам.

Дверь была заперта, и ему пришлось два раза постучать железным кольцом. Дверь приоткрылась, и показалась голова в платке. Почтальон протянул письма.

— А нам нет? — спросила женщина.

— Нет,— ответил почтальон и пошел дальше.

Жена слепого хафыза, гадалка Камер-ханым, высунувшая в дверную щелку свой огромный нос, яростно захлопнула дверь.

Следующее письмо было адресовано «Госпоже Зульфю, хозяйке кофейни». Почтальон довольно улыбнулся: это наверняка от ее сына Керима, который служит в армии. Каждый раз, когда приходило письмо от Керима, Зульфю звала почтальона в кофейню, усаживала за стол и предлагала стакан горячего чая. Он читал ей письмо, и при каждом слове Зульфю качала головой и вздыхала. Когда чтение заканчивалось, она желала ему долгой жизни, и он отправлялся дальше. А Зульфю с

* Хафыз — человек, выучивший наизусть Коран и читающий его на похоронах, свадьбах и т. п.

письмом в руках обходила всех соседей. Почтальон знал, что и сейчас повторится та же история.

Из открытой двери и окон кофейни по всей улице разносилась песня. Двое подростков расположились на стульях у самых дверей. Оба только что вышли из детского возраста, но в зубах у каждого уже торчала сигарета. Увидев почтальона, они тотчас вскочили с криком: «Письмо, письмо!»

Из кофейни им ответил голос:

— Это Керим, Керим!

Паренек выхватил у почтальона письмо и подал его Зульфю, которая босиком выбежала на улицу. Зульфю целовала письмо, смеялась и плакала. Затащив почтальона в кофейню, она усадила его за стол. Вокруг них собралась толпа женщин и детей. Отпив глоток чаю, почтальон вскрыл конверт и начал читать:

«Моя любимая мамочка, в первых строках посылаю тебе особый привет, целую твои руки». При этих словах Зульфю расплакалась. В конце каждой фразы она прерывала чтение, приговаривая: «Птенчик мой, дитя мое!»

Керим, служивший на восточной границе, как всегда, просил у матери денег. В конце письма шли поклоны сначала невесте Керима Хюсние, потом старшему брату Фахри, всем родственникам и соседям.

Почтальону надоело перечислять всех, кому посылались приветы, и он, пропустив несколько строк, сказал:

— Короче говоря, он шлет привет всему кварталу.

Он допил чай. Кто-то из присутствующих обиделся:

— А мне привета не написал!

Помахивая пачкой писем, почтальон поднялся по лестнице большого дома. На ступеньке первого этажа он встретился с Сельмой.

— Твоей сестре! — сказал он, протягивая изящный конверт, и улыбнулся.

— А мне когда принесешь? — спросила девушка, сощурив глаза.

Когда почтальон выходил из большого дома, его увидел Салих. «А может быть, и мне есть письмо? — подумал он.— Хотя возможно ли это! Ведь никто не знает, где я». Тем не менее взгляд его был прикован к пачке писем в руке почтальона. Вот кто-то подошел к почтальону. Они заговорили, смеясь и хлопая друг друга по спине. Салих высунул голову в окно, теряя терпение. Что, если почтальон все-таки принесет ему свалившееся с неба письмо? Он чуть было не закричал: «Эй, послушай-ка, скорее!» Наконец почтальон расстался с тем человеком, поглядел на конверты, которые держал в руке, и подошел к двери. Салих затаил дыхание. Да, почтальон звонит... Салих птицей слетел по лестнице, но невестка уже открыла дверь и взяла письмо. Увидев юношу, она сказала:

— Вот письмо.

— Знаю.— И Салих протянул руку.

— Не вам, а мне! — сказала молодая женщина и засмеялась. Смущенный Салих повернулся, собираясь уйти, но женщина остановила его: — Пожалуйста, прочитайте мне письмо, я читаю совсем плохо...

Он протянул руку и нечаянно коснулся ее пальцев. Оба вздрогнули. Салих начал медленно читать письмо. Некоторые слова он разбирал с трудом. Письмо было от мужа, который служил в армии. Тот писал, что ему плохо, что он тоскует по жене. В этом месте Салих несколько строк пропустил. Письмо кончилось, и юноша почувствовал облегчение. Подняв голову, он увидал голубые блестящие глаза женщины, ее обнажен-

ные округлые руки и загорелую кожу. Салих протянул ей листок бумаги, и их руки снова встретились. Женщина смотрела, улыбаясь. Салих не мог выговорить ни слова. Нужно было хоть что-нибудь сказать, но ничто не шло на ум. Наконец, будто это имело какое-то значение, он спросил:

— Долго еще вашему мужу до демобилизации?

Женщина ответила неопределенным жестом. Потом стала рассказывать о себе. Сообщила, что свекрови нет дома, что ей очень скучно. Раньше, до замужества, она работала на фабрике, потом бросила работу. Говорила она долго. Салих кивал головой, хотя большинства ее слов не слыхал. Его глаза были прикованы к смуглой коже и маленькому ненакрашенному рту. Салих дрожал от желания коснуться ее мягкого и горячего тела. Отгоняя дурные мысли, он распахнул дверь на улицу.

Было холодно. Он дотронулся рукой до письма, лежавшего в кармане пиджака, того письма, которое он написал вчера. Идя по направлению к проспекту, он продолжал видеть перед собой смуглое лицо и блестящие глаза молодой женщины.

Почтальон счищал грязь с башмаков. Вместе с пачкой писем кончилась и улица. Он достал новую пачку: все письма были адресованы в квартал больших домов, красивых особняков, чисто одетых людей. Этот квартал начинался за кладбищем, на месте бывшего пожарища. Письма, которые посылались сюда, были такие же, как и те, кому они были адресованы. Почерк красивее и имена другие. Вот письмо важному чиновнику, это — судье, это — тому знакомому доктору, а вот — коммерсанту... Этот изящный конверт получит дочь инспектора. Какие, должно быть, красивые слова нанизаны там одно за другим! Сейчас он должен отдать эти письма адресатам. Здесь его обязанность состояла в том, чтобы позвонить у дверей и, сказав: «Почта», вручить конверт. Кто-то открывает дверь, протягивает руку, даже не взглянув на почтальона, и, получив письмо, тут же ее захлопывает. Здесь не до бесед и расспросов о самочувствии. Совсем не то, что на улице Чужаков!

Почтальон взял пачку писем в левую руку и собрался уже пересечь кладбище, как заметил трех девушек. Все трое были хорошо одеты. Одна из них, хорошенькая брюнетка, нерешительно подошла к почтальону и спросила:

— Не знаете ли вы, где находится дом Камер-ханым?

Почтальон указал на дом в конце улицы.

— Погадать пришли? — спросил он.

Девушки, промолчав, пошли в указанном направлении. Почтальону часто приходилось носить Камер-ханым письма. Сколько лет жила Камер в этом квартале, не знала даже Зульфю. Гадалка была сухопарой женщиной с крупными зубами и огромным носом. Слава о ней перешагнула границы квартала. Хотя почтальон и не верил в гадание, посмеиваясь над подобными вещами, но и у него, как у каждого, бывали минуты слабости. Проходя мимо дверей Камер, он иногда колебался—что, собственно, плохого, если за двадцать пять курушей человек узнает будущее? Разве он не ждет чего-нибудь и, на что-нибудь не надеется, как и другие люди? Неужели всю жизнь он будет разносить от двери к двери чужие каракули? А потом, всегда интересно, кто родится — девочка или мальчик? Однако он умел взять себя в руки и посмеяться над этими нелепыми мыслями.

Почтальон посмотрел вслед девушкам. Та, хорошенькая брюнетка в зеленом пальто, ему понравилась. Наверно, хочет разузнать о каком-нибудь молодом человеке, в которого влюблена, подумал почтальон и зашагал в сторону квартала богатых домов.

IX

Три девушки поведали гадалке Камер свои печали. Они выложили перед ней все с простодушием, свойственным только юным созданиям. Камер слушала с доброй, понимающей улыбкой и так увлеклась рассказанными историями, что забыла о кофе, и тот убежал. На троих все же хватило, и она протянула девушкам чашки. В это время в наружную дверь кто-то громко постучал. Камер открыла и увидела белокурую Азаде. Весело смеясь, та проговорила:

— Камер-ханым, я оставила свой ключ в комнате... Меня никто не спрашивал?.. А письма не было?..

— Не знаю, какое мне дело! — ответила Камер и вернулась в свою комнату.

Азаде уже собиралась запереть дверь, как кто-то снаружи потянул за кольцо.

— А-а, это вы, а я не обратила внимания,— проговорила она.

Вошел молодой человек в потертом пальто, держа под мышкой портфель. Увидев Азаде, он совершенно растерялся. Она заметила, что он смущен, и поспешила объяснить:

— Я снимаю комнату внизу.

Лицо Азаде, ее вьющиеся белокурые волосы, полная грудь, умопомрачительные ноги в шелковых чулках, которые короткая юбка позволяла хорошо разглядеть, совершенно потрясли Решада. Он в замешательстве закрыл дверь, проговорил: «Вот как, я очень рад»,— и скрылся. Азаде, улыбаясь, посмотрела ему вслед.

Когда три девушки выходили от гадалки, у окна верхнего этажа кто-то был. Решад провожал удаляющиеся фигуры взглядом. Вот в последний раз мелькнула трепетавшая на ветру юбка, и девушки скрылись за кладбищем. Решад отошел от окна, улегся на кровать и распечатал полученное утром письмо. Оно было от матери. Уже с первых строк видна была вся мать... Она просит, чтобы он остерегался переменчивой погоды Стамбула, чтобы тепло одевался... Решад улыбнулся. Этот белый листок бумаги прилетел к нему из его родного города на юге. Письмо сразу воскресило в его памяти родной дом, сад, отца и братьев, соседей. Мать писала о том, что кто-то умер, а кто-то родился, и о самом важном событии — назначении нового каймакама. Они с нетерпением ждут летних месяцев, пишет мать. Пусть он успешно закончит курс, получит диплом и, вернувшись домой, с гордостью пройдет рядом с отцом по улицам родного города. «Сын отставного капитана Нури-бея Решад-бей стал судьей!» — станут говорить в городе.

Решад опустил руку с письмом. Он не мог получить диплом в следующем году! Каждое лето, приезжая домой, он говорил, что перешел на следующий курс. Он лгал отцу, матери, друзьям и соседям. Каждое лето он столько фантазировал на эту тему, что осенью, возвратившись в Стамбул, и сам начинал верить в свои выдумки, словно, уехав из дому, действительно попадал на следующий курс. Но на деле было не так — Решад по два года сидел на каждом курсе. Причина для этого была — если только ее можно назвать причиной. В первый год у юноши, только что окончившего лицей, в большом городе закружилась голова. Вереницы минаретов, чугунные мосты, широкие проспекты, многолюдные кинематографы, казино, кофейни, женщины, непрерывная смена людей — все это опьянило Решада. В каждом встречном человеке было что-то новое, одна девушка не походила на другую. Шатенки, русые, брюнетки, блондинки — без счета... Промелькнул первый год. На следующий год Решад попривык к городу, начал заниматься и перешел на

второй курс. Потом все началось сначала: учение его утомило, хотелось отдохнуть, да и, кроме того, он уже слишком привык к городу.

Решад прислушался к песне, которая доносилась с нижнего этажа. Нежный теплый голос пел песню далеких прошлых лет. Решад забыл о письме. Он вспомнил, как два года назад переехал в этот дом. Тогда улица была такой же, как и сейчас, только некоторые ребятишки были еще либо в животах у своих матерей, либо в пеленках. Вместе с приятелем Расимом он снял эту комнату за десять лир в месяц. Для жены слепого хафыза это были большие деньги, в те дни за десять лир можно было снять целый дом. Еда еще не вздорожала, войны не намечалось. Все было дешево, как вода. Гадалка сдавала тогда одну из комнат верхнего этажа парикмахеру. Это был длинноволосый чудаковатый человек. Он по два раза в день скандалил с женой, и хотя сам брился раз в неделю, других хотел брить каждый день. С молодыми студентами у него сначала установились хорошие отношения, он даже приглашал их в свою парикмахерскую и просил, чтобы они брились только у него. Но уже на второй раз, держа в руке бритву, он заявил Расиму, что тот якобы поглядывал на его жену с дурными намерениями. А женщина была изможденная, измученная возней с четырьмя детьми!..

Вскоре парикмахер уехал из этого дома. Некоторое время его комната пустовала, а на окне комнаты студентов, выходившем на улицу, красовалось объявление: «Сдается комната». Однажды утром к ним вошла Камер и сорвала листок. Так юноши узнали, что теперь комната занята. В нее переехал слепой хафыз с женой, уступив комнату внизу новому жильцу. Кто был этот приезжий? Молодых людей это мало интересовало, они были заняты — семестр подходил к концу. Они уходили рано утром и возвращались к ночи. Нового жильца они ни разу не видели и не интересовались им.

Сегодня утром, когда Решад вернулся домой, сбежав с лекций, дверь ему открыла белокурая женщина. «Я снимаю комнату внизу»,— сказала она. Решад удивился, как за столько дней он ни разу с ней не встретился. Интересно, кто была эта блондинка, что она за человек?

Слушая нежный голос, Решад старался представить себе его обладательницу. Может быть, она сейчас тоже думает о нем? Какие красивые у нее ноги! Грудь, волосы, губы, бедра вызывали желание прикоснуться к ним. Глаза у нее, наверно, зеленые... А может быть, голубые... Решад приоткрыл дверь, голос теперь слышался отчетливее. Теплый, глубокий, приятный голос... Она совсем недалеко, всего двадцатью ступеньками ниже, за деревянной дверью. Вероятно, лежит на кровати или тюфяке на полу. На ней утренний халат, на босых ногах комнатные туфли. А может быть, она разгуливает по комнате в комбинации? Тело у нее горячее, как огонь... Вот она подошла к зеркалу и долго глядится в него. Вот, изогнувшись, потянулась, затем поправила свои белокурые локоны...

Песня на миг прервалась. Может быть, и она думает о юноше из провинции, который совсем недалеко, двадцатью ступеньками выше, за деревянной дверью слушает ее песню?

Внезапно Решад очнулся от грез. Песня оборвалась, и послышались шаги. Дверь внизу открылась и закрылась. Юноша подбежал к окну. Блондинка шла, кутаясь в ярко-синее пальто. Вместе с ней ушла и песня. Решад огорчился. Куда она может идти сейчас, неужели она где-то работает? Перепрыгивая по камням, проложенным в грязи, она дошла до угла. Тело ее изгибалось, концы волос трепал ветер.

Вот уже и нет песни в доме... Без песни дом стал мрачным. Казалось, комнату и все, что в ней было, охватила глубокая печаль. Эта песня словно все изменила. Решад попробовал насвистеть ее, но ничего не получилось. Он закрыл глаза и представил себе, как блондинка подни-

мается в гору. Ветер толкает ее вниз, раздувает волосы и полы пальто. Мужчины, идущие навстречу, слева и справа, смотрят на нее, оглядываются. С балконов, из окон домов высовываются головы, чтобы взглянуть на нее. А она идет, это белокурое чудо, напевая про себя танго: «Ах, как хорошо любить друг друга при свете звезд!»

X

Автомобили редко сворачивают на улицу Чужаков. Только когда у чьей-нибудь жены начинаются родовые схватки или приезжает новый жилец, можно увидеть машину, пробирающуюся по узкой кладбищенской дороге. Грузовики же здесь вообще ни разу не появлялись. Поэтому, когда из-за угла вынырнул битком набитый вещами старый фордовский грузовик, дети с криком бросились за ним следом. Опустив на землю бумажные змеи, они с любопытством рассматривали грузовик. Огромная машина была так нагружена, что, казалось, может разнести всю улицу. В кузове ее были навалены столы, стулья, шкафы, диваны, ковры и еще множество предметов, которых ребятишки никогда не видели.

Когда грузовик достиг середины улицы, шофер просигналил. На звук клаксона то здесь, то там начали открываться окна и высовываться головы.

Наконец машина остановилась возле углового дома, окрашенного в розовый цвет. Из кабины вылез человек, достал ключ и отпер дверь дома. Теперь стало ясно: сюда переезжает новое семейство. Грузчик, неподвижно и робко стоявший в кузове среди кучи вещей, спрыгнул и принялся сгружать их. Он работал как автомат: взвалив на себя огромный диван, исчезал с ним в двери и почти тотчас возвращался с пустыми руками.

Вокруг грузовика собрались почти все дети квартала. Мальчишки и девчонки начали понемногу помогать грузчику. Постепенно войдя во вкус работы, они заторопились, стараясь обогнать друг друга. Шофер закурил сигарету и, наблюдая за ними, покрикивал:

— Вот молодцы, разгрузим машину — я вас прокачу до проспекта!

Услышав это, дети загалдели и стали еще быстрее таскать вещи в дом. Они не знали усталости. Так под смех и крики грузовик был разгружен. Когда все наконец было перенесено, вышел человек в пальто и протянул шоферу зеленый банкнот. Ребятишки переглянулись — может быть, и им перепадет по пять курушей? Но человек повернулся к ним и крикнул:

— Ступайте отсюда, нечего вам здесь глазеть! — Он вошел в дом и захлопнул дверь.

Но шофер крикнул: «А ну-ка!» — дети тотчас забыли о неприветливости человека в пальто и в мгновенье ока набились в кузов. Зульфю, стоя в дверях кофейни, с улыбкой смотрела на детей.

Ребятишки кричали и вопили, шофер тоже что-то кричал. Он дал газ и развернул машину.

Проезжая мимо кофейни, шофер четыре раза просигналил, дети салютовали четырехкратным воплем. Открылись окна, которые были еще закрыты, жители квартала выглядывали и улыбались. Проехав вдоль всей улицы, машина скрылась за углом.

Решад взял шляпу и вышел из дому. В кармане его пиджака лежало короткое письмо к матери. Решад собирался зайти на почту, а потом ему предстояла встреча с Расимом в кафе «Мерич».

Солнце стояло довольно высоко и уже припекало. Грузовик с детьми сейчас уже, наверно, доехал до проспекта, и счастье ребятишек окон-

чилось. Шофер, конечно, уже ссадил их с машины, и пока грузовик вливался в уличный поток, дети провожали его радостными возгласами. Эту радость они донесут до улицы Чужаков, сохранив ее в глазах и в голосе.

Решад прошел через кладбище, за которым начинался большой город. Как только ноги его ступили на каменную мостовую, Решад остановился, поправил шляпу и одернул пиджак. Затем пошел дальше. Здесь начинался другой мир. Окна особняков и многоэтажных домов были закрыты.

Мечтая о белокурой соседке, Решад продолжал идти, пока не встретился с возвращавшимися домой детьми. Они смеялись, толкали друг друга, о чем-то разговаривали. Словно этот грузовик привез не чье-то имущество, а радость и счастье для них. Они поравнялись с Решадом и, как поток, встретивший препятствие, обтекли его с двух сторон. Все хорошо его знали. Да и как можно было не знать человека, который жил на их улице! Но он был не такой, как их отцы и старшие братья. Они не смогли бы определить, чего ему не хватает. Это был другой человек, он был чужой. Его облик, походка, взгляд — все было иное. Ребятишки настороженно смотрели на него. Сын мясника, осмелев, произнес:

— Здравствуйте, дядя!

Решад хотел им что-нибудь сказать, но не знал что. Дети прошли, и Решад крикнул им вдогонку:

— Здравствуйте, дети!

Те сразу остановились и, смеясь, замахали руками. Они тут же приняли его, словно рухнула стена между ними. Простое приветствие — всего два слова — расположило их к нему. Довольный собой, Решад отправился дальше.

Ребятишки с победным кличем атаковали квартал. На этот раз окна домов остались закрытыми. В этом шуме не было ничего непривычного. Не только детский крик, но и крик о помощи в полночь не удивил бы здешних жителей. Это были обычные вещи.

Еще некоторое время озорники, собираясь кучками, переживали недавнее событие, но постепенно возбуждение улеглось, и происшествие стало забываться. Все разбежались по своим делам: одни вернулись к бумажным змеям, другие к газетным киоскам, чтобы взять пачки «Ени хаят» *.

XI

Радио в кофейне потрещало, похрипело и заговорило на иностранном языке, потом умолкло. Окна кофейни были раскрыты, Зульфю протирала запыленные стекла. За передним столиком сидел староста Джемаль-бей и курил сигару, пуская клубы дыма. Кроме него, посетителей в кофейне не было. Обхватив двумя руками чашку, Джемаль-бей залпом опорожнил ее. Потом, нарушая молчание, произнес:

— Новые жильцы приехали. Вещей-то, вещей!.. Скоро придут ко мне за хлебными карточками. Тогда узнаем, кто они такие. Похоже, что из состоятельных людей...

Зульфю раздумывала, появится ли в кофейне новый посетитель. Надежда была слабая — обладатель таких прекрасных вещей вряд ли переступит порог ее заведения. Этот высокий брюнет, вероятно, крупный чиновник или торговец, приехавший из провинции, чтобы нажить денег. Семья у него изрядная — мать, жена и несколько детишек. Скоро покажутся и они...

Джемаль-бей переменил тему:

---

* «Новая жизнь» — название одной из стамбульских газет.

— Зульфю-ханым, не знаю, слышали вы или нет... Эта улица будет расширяться, здесь пройдет широкий проспект. Поэтому все дома на противоположной стороне снесут.

Зульфю забеспокоилась.

— Я об этом слыхала... Так, значит, это правда? — спросила она.

Вместо ответа Джемаль-бей поднялся и погасил окурок. Он покрутил шляпу, отыскивая, какой стороной надеть ее, потом нахлобучил на голову как попало.

— Да, Зульфю-ханым, твоя улица меняется, да и не одна она...— наконец проговорил староста.— Уходят прежние денечки... Да разве могут оставить посреди города такую улицу? А тебе беспокоиться нечего, сторона, где твой дом, уцелеет. Продашь его за хорошие деньги.— И, выходя, засмеялся и добавил: — Пришли завтра детей, я дам карточки.

Староста Джемаль-бей с гордым видом шагал к своему дому, расположенному сразу за кладбищем, и ликовал в душе. Если эта грязная улица наконец исчезнет, то исчезнет и кладбище. Будет проложен новый проспект, тогда две улицы соединятся и стоимость его дома возрастет. А если ему удастся дешево купить дом на неотчуждаемой стороне, то на этом деле можно будет загрести несколько тысяч лир. «Эти дураки не знают стоимости имущества,— думал Джемаль-бей, проходя мимо домов.— Интересно, который из них я смогу приобрести? Зульфю не продаст. А вот хозяин большого дома стар...» Он вдруг вспомнил о нем. В самом деле, жив ли старик? Уже много лет за ним по пятам ходит смерть и никак не может прибрать его. Как только старик умрет, его сын тотчас продаст дом... Или, может быть, удастся надуть слепого хафыза?.. Есть еще, правда, дом, куда въехали новые жильцы... Эх, если бы купить по дешевке один из них...

Он шел, обуреваемый разными мыслями, глубоко задумавшись, как вдруг услышал голос:

— Здравствуй, Джемаль-бей!

К нему приближался сторож. Смотрите, как величественно, невзирая на маленький рост, он вышагивает... Как будто он ровня ему, старосте. А вместе с тем этот человек словно создан для улицы Чужаков. Если бы не он — здесь все перевернулось бы вверх дном, каждую ночь совершалось бы несколько преступлений.

Сторож был озабочен. Он тоже успел о многом передумать. Джемаль-бей понял это, как только увидел его.

— Слыхал? — сказал сторож, подойдя вплотную.

— О чем это? — спросил Джемаль-бей, раздраженный его чрезмерной бесцеремонностью.

— Как это о чем? Говорят, сюда проведут дорогу от проспекта, здесь пройдет широкая улица...

— Кто тебе сказал? — спокойно спросил староста.

— Осман, швейцар в доме Салих-бея...

Староста не выдержал:

— Ну а тебе-то что за дело?

Сторож растерялся, не зная, что ответить, потом выпалил:

— Как это что за дело? А дом, в котором я живу?.. Первый дом, который снесут, это мой!..

Сторож Сюлейман жил в лачуге между кладбищем и развалившейся мечетью. Он так разукрасил это ветхое строение, что оно бросалось в глаза издали. На окнах висели красивые голубые занавески, над дверью была тщательно прикреплена старая ночная туфля и доска с надписью арабскими буквами: «Не сглазить бы». Днем сторож всегда сидел дома с женой и двумя маленькими сыновьями. Он выходил на улицу днем только тогда, когда где-нибудь возникала драка. Его работа начиналась

с наступлением сумерек. Независимо от погоды, сторож надевал шинель, прицеплял к поясу револьвер, брал фонарь и выходил из дому. Он прохаживался по улице взад и вперед, заходил поболтать в кофейню Зульфю, потом шел в квартал многоэтажных домов, бродил там по тротуарам, свистел для порядка в свисток и снова возвращался на улицу Чужаков. Он получал хорошие деньги от жителей квартала богатых домов. Каждый месяц он обходил их квартиры и собирал обильную жатву, а по праздникам бывали и добавочные пожертвования. В прежние времена, собирая бакшиш, он надевал на шею огромный барабан и с грохотом обходил квартиры, сопровождаемый хохочущими ребятишками. Сейчас этого обычая уже нет.

С ранних сумерек до позднего рассвета сторож обходил улицу за улицей, а утром возвращался в свой дом, где его встречала надпись «Не сглазить бы» на доске, купленной на Вшивом рынке.

Джемаль-бей, заметив, что сторож совсем расстроился, сжалился над ним и сказал, утешая:

— Не тревожься... Мало ли что говорят. Не все же исполняется. Я тоже слышал об этом. Но, по-моему, если даже и свет перевернется, с нашей улицей ничего не случится.

В расчеты старосты не входило, чтобы об этом узнали сразу все. Сюлейман не ответил. Они разошлись в разные стороны.

Староста с удовлетворением думал: значит, дело с дорогой приняло серьезный оборот, если об этом слышал сторож... Проходя мимо его дома, примостившегося среди разбитых могильных плит и зарослей чертополоха, староста невольно пожелал: «Дай бог, чтобы все это исчезло! Не сглазить бы!» Он представил себе на миг, как посреди улицы Чужаков пройдет мощеная благоустроенная дорога и соединится с кварталом богатых домов. Эта грязная улица уйдет в прошлое. Ведь она — как пятно на всем районе. Когда его друзья или родные иногда проезжают по улице Чужаков, они изумляются тому, что он живет вблизи такого места. Поэтому известие о сносе улицы устраивало старосту Джемаль-бея со всех точек зрения.

Сторож дошел до кофейни. Здесь не было ни души. Сюлейман опустился на стул. «Если все это верно,— думал он,— дела плохи». Для него конец улицы Чужаков был равносилен концу света или нашествию Гога и Магога! Как нужен был сторожу в этот миг человек, с которым он мог бы поделиться своими опасениями! Чьи-то уши должны были его выслушать, а язык — произнести именно те слова, которых он так желал. Ему необходимо было услышать, что подобная затея невозможна. Ведь его хибарка с девизом «Не сглазить бы» для него была не только дворцом, но и всем на свете. И этот дом был не просто угловым и соединял не просто две улицы, а два разных мира.

Сюлейман стал вспоминать о том, что он пережил с тех пор, как приехал из Диярбакыра и поселился на этой улице, о том, что и пересказать невозможно. Десять лет назад он приехал сюда как чужестранец. Тогда это место нельзя было даже назвать улицей. Кладбище и развалины занимали почти всю территорию, покойники теснили со всех сторон. Посредине гордо возвышался большой дом. Кроме него, были еще дома Зульфю и слепого хафыза. Сюлейман с женой поселился у Зульфю... Он долго искал работу, наконец нашел место служителя в отделе министерства финансов. Тогда мир был еще добрым миром. Служитель получал в месяц тридцать лир, а с чаевыми и наградными доходило до сорока или даже до пятидесяти. Он мог купить своей красавице жене пальто. Бросив первого мужа, она ушла к Сюлейману. Сколько пересудов это вызвало! Прежний муж орал, что он отомстит. Сюлейман пережил страшные дни и, не вытерпев, уехал в Стамбул в надежде построить новую жизнь. Эта улица, на которой он прожил десять лет, была его старым

другом. Пять лет назад он узнал, что на кладбище продается за двести пятьдесят лир старая лачуга. Он купил ее, отдав все накопленные деньги и взяв еще в долг. Он привел лачугу в божеский вид, оштукатурил и покрасил ее. В квартале не было сторожа. Он занял это место. Прошли годы. Теперь его счастье было полным. Весь квартал знал его. Все жители от семи до семидесяти лет уважали его. С ним советовались, делились печалями, посвящали в свои семейные дела. Он мог накричать на самого задиристого парня в квартале. Мог сделать выговор разбушевавшимся в воскресный вечер гулякам. В начале каждого месяца он обходил дома, собирая, что бог пошлет. Улица Чужаков была для него не только местом работы, она была его ареной, здесь дымилась труба его очага, здесь его голос звучал громко. Неужели все это развеется, как сон?

Сторож поднял голову. Зульфю не было. Никого не было. Он поднялся и пошел к двери. Все перепуталось у него в голове.

На улице сильный ветер поднял пыль. Сторож зашагал, прикрывая глаза рукой. В этот час здесь никого не бывает, он знал об этом, но было грустно, что некому рассказать о своем горе. У большого дома сторож нос к носу столкнулся с мясником, одетым в белую куртку: он направлялся в свою лавку.

— Слышал, Сюлейман-эфенди, про дорогу?— спросил мясник.— Говорят, по нашей улице пройдет новая дорога... Что-то будет?..

Сторож нехотя кивнул. Ему не хотелось подтверждать этот слух, грозивший превратиться в реальность, словно он верил, что если не подтвердит его, то дорога пройдет не здесь, а где-нибудь в другом месте. Он попытался возразить:

— Я тоже слышал об этом, Гани-эфенди, но ведь еще точно не известно... А если слухи и верные, то это дело многих лет. Конечно, государственное дело...

Мясник извлек неведомо откуда носовой платок величиной с покрывало и высморкался так, что чуть не оторвал себе нос. Сторожа чуть не стошнило. «Никогда больше не буду покупать мясо у этого типа, чтоб ему остаться без носа!» Впрочем, и мясо-то он покупал по полкило фарша два раза в месяц.

— В газетах пишут, что цена на барашков упадет на десять курушей,— сказал он.

— Болтовня! Если верить газетам, то можно подумать, что и война давно уже кончилась.— Гани сложил платок и сунул его в карман.

Ветер забивал рот и нос уличной пылью. Гани сильно чихнул, брызгая слюной. Потом, словно извиняясь, проговорил:

— Эх, братец, надоел мне этот насморк, вот уже третий день чихаю с утра до вечера.

Сторож хотел было сказать, что не помнит дня, когда бы у Гани не текло из носу, но сдержался.

Сюлейман собирался дойти до проспекта и купить где-нибудь хлеба без карточек. Им было по пути. Они пошли, каждый думая о своем. Гани мечтал о том, что он займет пустырь на неотчуждаемой стороне улицы и построит там двухэтажный дом, сторож мысленно осыпал проклятьями тех, кому взбрело в голову провести дорогу как раз посередине улицы Чужаков.

XII

По улице идет продавец требухи, а за ним — все кошки квартала. Вот заревел осел продавца, тот что-то крикнул, кошки поддержали дружным мяуканьем. Этот хор прошел, останавливаясь у каждой двери, по всей улице, и исчез за углом. Кошки, впрочем, остановились у пово-

рота, помяукали, подождали и повернули назад. Не успел удалиться продавец требухи, как появился, покачиваясь из стороны в сторону, торговец йогуртом * с тазом на плече. Достигнув середины улицы, он громко закричал: «Йогу-у-урт!» — и стал ждать, когда откроются окна. Вот открылось одно, и чей-то голос окликнул его. Это была молодуха из дома, где жило множество зятьев. Она протянула продавцу оцинкованную миску, и они, как полагается, поторговались. Дети, живущие в доме, выбежали на улицу и окружили таз. Их глаза были устремлены на грязно-белую массу. Торговец ловко отделил черпаком часть круглой массы и переложил ее в миску. Дети, не отрывая глаз, следили за священнодействием продавца. Их забавляло, что йогурт можно резать, как что-то твердое, перекладывать в миску, потом взвешивать на весах. Когда продавец отдал миску, дети обступили молодую женщину. Сумев, наконец, передать ему деньги, она увела всех сорванцов следом за миской йогурта. Ушел и торговец.

Последний луч солнца прошелся по улице и исчез. Сильный ветер взметнул уличную пыль и мощной рукой захлопнул дверь кофейни.

Зульфю смотрела в окно. Она была задумчива. Ей представилось вдруг, что дома напротив взлетели на воздух и на их месте загулял ветер. Перед кофейней протянулась хорошая дорога, мощенная булыжником. Люди, которые ехали по ней, не были жителями этого квартала. На противоположной стороне высились огромные доходные дома, многоэтажные здания со множеством балконов. Улица перестала быть улицей Чужаков. Даже название не сохранилось. Табличка, что болталась на одном гвозде, прибитом на доме слепого хафыза, теперь была прикреплена четырьмя гвоздями к многоэтажному зданию. Кофейня по-прежнему принадлежит ей, но никто не посещает ее заведение. Чужаки покинули квартал. Зульфю почувствовала себя кошкой, упавшей в море. В новом окружении она будет совсем чужой. Лучше всего продать дом и уехать. Она вспомнила, что говорил староста. Когда улица примет новый облик, дом Зульфю вздорожает и она сможет на этом заработать. Она могла бы поселиться, где захочет, построить новый дом где-нибудь подальше, в районе, которого не коснулось дыхание большого города. Но ей будет тяжело покинуть этот клочок земли между двумя кладбищами, где прошла половина ее жизни, где она дважды была замужем, много раз беременела и рожала детей, где она, вырастив их, видела, как их руки держат хлеб, как они, став взрослыми, обзаводятся семьями, где она ждала своего сына в военной одежде,— клочок земли, на котором она дни и ночи дышала, любила, плакала, смеялась, скандалила... После стольких лет эта улица стала ее собственной. Она месяцами не выходила за ее пределы, два конца этой улицы стали границей ее представлений о жизни.

Здесь прошла ее молодость. Битлис, где жила она в детстве, Зульфю помнила смутно. Ее мать, овдовев, приехала с дочерью в Стамбул, купила за небольшую цену в этом, тогда еще тихом, месте участок земли рядом с одиноко торчавшим большим домом и подыскала для дочери жениха. Первый муж Зульфю был извозчик. Прежде чем построить дом, он соорудил конюшню, водворив в нее шикарную прогулочную коляску и пару лошадей. Потом он начал вить гнездо для себя и своей жены. На постройке дома трудилась вся семья: они таскали материалы, подавали кирпич, вколачивали гвозди. Хамди, ее муж, забросив на время свой экипаж, взял в руки лопатку штукатура и усердно помогал мастерам; когда дом был закончен, он выглядел не хуже любого красивого особняка. Наверху было три комнаты, внизу — две. Хамди с женой посели-

* Йогурт — особый вид простокваши из козьего молока.

лись в нижнем этаже. В этот месяц Зульфю родила Фахри. Тихо, без шума появился на свет теперешний пьяница-фруктовщик.

Верхние комнаты довольно долго оставались пустыми. Разразилась первая мировая война. Хамди вместе с коляской и лошадьми забрали в армию. Началась трудная жизнь. Деньги быстро таяли. На руках у Зульфю были ребенок и мать, которая все больше слепла от трахомы. Слава богу, что наконец удалось сдать комнату верхнего этажа. И все-таки в годы войны им пришлось очень тяжело. Муж ее ушел, как только началась война, но вот война кончилась, а он не вернулся. Зульфю поняла, что такое война. Вообще она теперь понимала многое. В двадцать пять лет она осталась вдовой.

Один из ее жильцов был мастер-строитель. Зульфю ему понравилась, и он женился на ней. Вот так и зажила Зульфю после войны — с мужем Зейнелем, маленьким сыном Фахри и слепой матерью.

Никто не знает улицы Чужаков лучше Зульфю. В те далекие времена здесь был пустырь, на котором среди развалин, ям и могил возвышалось всего два дома: большой дом и дом Зульфю.

Большой дом принадлежал престарелому профессору медресе. У профессора был один-единственный сын, но дом кишел кучей нахлебников — двоюродных братцев и сестриц. Зульфю никак не могла их всех запомнить, но стоило ей увидеть самого профессора—почтенного хаджу в чалме, сюртуке и с длинной бородой,— как она, прижав руки к груди, спешила его приветствовать.

Вот эти два дома и положили начало улице Чужаков. Медленно, год за годом, лился в город поток переселенцев из Анатолии и Румелии, и пустые земли постепенно заселялись. Пространство по ту сторону кладбища, ближе к главному проспекту, было замощено. Там строили особняки и доходные дома. Район становился все более многолюдным и богатым. Но улица Зульфю оставалась прежней. Бедняки жили здесь в щелях среди развалин. Это были люди, выброшенные большим городом. Они приезжали из провинции с твердой уверенностью, что за короткое время сумеют заработать много денег и вернуться в деревню. В мечтах они заносились высоко, но большой город быстро сбивал их с толку, они спускали все до гроша, работы не находилось, и различные превратности судьбы затягивали их на дно. Для растущего и процветающего района это погорелое место было как несмываемое пятно. Здесь было опасно ходить не только ночью, но и днем. По ночам отсюда неслись крики, иногда полиция находила трупы неизвестных людей, случалось, что среди развалин мечети какие-нибудь нищие парни пускали в ход ножи из-за женщины.

Большой дом по-прежнему был большим, но в один прекрасный день он перестал быть многолюдным. Профессор медресе умер, и через несколько дней после того, как тело покойного вынесли на плечах, его многочисленные нахлебники расползлись. Дом опустел. Из Анатолии вернулся сын профессора, каймакам, и поселился в отцовском доме. Он был женат и у него был сын. Тот учился в военном училище и появлялся дома только во время каникул.

Муж Зульфю Зейнель расширил дело и хорошо зарабатывал. Взяв себе в помощь несколько человек, он начал с постройки лачуг для бедняков, потом построил три дома, домик на кладбище и дом на углу. Можно сказать, что вся улица Чужаков была построена руками Зейнеля. Тогда-то муниципалитет счел нужным дать улице название, и она была названа улицей Чужаков, потому что ее населяли люди, приехавшие из провинции, очень бедные и чуждые большому городу.

Зейнель строил бы и сейчас, но бог не пожелал этого, закрыв его глаза и сделав недвижными его руки. Зульфю опять осталась вдовой. Что ей было делать одной-одинешенькой на белом свете с тремя детьми

и слепой матерью? Мать советовала ей еще раз выйти замуж, но Зульфю не хотела, она очень горевала по умершему мужу. Чтобы жить, нужно было работать, и она работала. Двое мальчишек и девочка год от года подрастали. Они не ходили в школу, не знали книг. Фахри и Керим научились стрелять из рогатки, получать колотушки, раздавать пинки, воровать сливы и абрикосы в чужих садах. Они малярничали, продавали газеты, помогали фруктовщику. Дочь, Хатидже, играла с тряпичными куклами, пытаясь своим маленьким умом понять мир и людей. Однако, наблюдая соседских женщин, которые каждый год ходили со вздутыми животами и постоянно таскали на руках младенцев, она постигла только одну премудрость: это и есть удел женщины.

Строительство квартала, приостановившееся было со смертью Зейнеля, возобновилось, когда за дело принялся мастер Дурсун, поселившийся здесь. С каждым годом квартал становился все многолюднее — дети рождались и подрастали. Девочки, не успев сформироваться, после нескольких приключений оказывались в объятиях молодого или пожилого мужчины и привыкали каждый год производить на свет новое живое существо. Мальчишки, усвоив разнообразные ругательства и обучившись правилам всех игр, в которые играют в пыли под открытым небом, выталкивались в жизнь.

Квартал вел однообразное существование. Зимой он замыкался в своей скорлупе, все забивались в свои комнаты, улица пустела. Зима всегда проходила тоскливо. По утрам те, кто шел на работу или на службу, слегка приоткрыв дверь, выскакивали на улицу и, вдыхая ледяной воздух, пробирались по камням, проложенным в море грязи. Вечером они шагали торопливо, не обращая внимания на грязь, стремясь поскорее добраться домой. В зимние месяцы скандалы и драки случались редко. Начало ссор возвещало о приходе весны. Каждую весну было заметно, что девушек стало больше, и все же каждую весну оказывалось, что девушек не хватает. Справляли свадьбы, били в бубен и напивались. Летом, в жару, на улице снова устанавливалась тишина.

Времена года мчались одно за другим, никто их не замечал. С тех пор, как создан свет, каждый день сменялся новым. Это никого не удивляло. Но, может быть, людям только казалось, что все дни одинаковы? Для Зульфю и всех жителей улицы Чужаков главное было — жить, а это значит дышать, пить, есть, спать, любить и, наконец, работать.

Рос квартал, но рос и весь район. Богатые, красиво одетые люди сдавили своими особняками улицу Чужаков. Они брезговали чужаками. Сколько раз владельцы высоких гордых домов ходатайствовали перед муниципалитетом о ликвидации квартала. Чужаки устояли. Квартал стал убежищем для низших слоев населения района. Чистая публика старалась избегать этой улицы. Если кому-нибудь случалось попасть сюда, то при виде грязных, сопливых человеческих детенышей он стыдился своего родства с этими несчастными тварями, хоть в душе и сознавал, что они тоже зовутся людьми, и спешил пройти мимо. Дети богатых кварталов постоянно враждовали со своими сверстниками с улицы Чужаков. Стоило какому-нибудь бедняге попасться им в руки, как они начинали колотить его и били до тех пор, пока он с окровавленным носом и разбитым ртом не достигал границ своего квартала. Если же в драке доставалось какому-нибудь сынку богатых родителей, на улицу Чужаков сыпался дождь полицейских угроз. Дети с этой улицы были мастера стрелять из рогаток и орудовать кулаками. Только что отнятые от материнской груди, они быстро отведывали горького хлеба жизни, вкус которого не забывали до самой смерти. Вот так, с этим кисловатым привкусом во рту, они и жили посреди города, будучи ему чужими.

А время все продолжало свой бег. Зульфю постарела. Кофейню она открыла три года назад. Сначала она сдавала ее в аренду, но это

продолжалось недолго. Некоторое время кофейней управлял Фахри, но вскоре он оставил это дело — торговля фруктами давала больше дохода. Кофейню взял на себя младший сын Зульфю — Керим. Девятнадцатилетний юноша, засучив рукава, как следует протер окна, выкрасил ставни в голубой цвет, отмыл стулья, начистил до блеска самовар, нарисовал на окнах две красные розы, а между ними затейливыми буквами вывел: «Кофейня Керима». Внутри на одной из стен он повесил прейскурант, на другой — цветную фотографию, где был изображен Ататюрк с иранским шахом в автомобиле. Керим обзавелся домино и несколькими колодами карт. И дверь кофейни снова открылась для посетителей. Это было в одну из суббот, после обеда. Первый день был отдан женщинам, потому что большинство мужчин было на работе. Зульфю надела на голову новый шитый бисером шарф, на шею повесила золотую монету — подарок первого мужа, руки украсила браслетами и села на табурет у окна. Керим, крепкий парень среднего роста, в грубой фетровой шляпе, с сигаретой в зубах, стал за самовар. Первой в кофейню вошла дочь Зульфю с двумя внуками. Дочь снова была беременна. Следом за ними пришли старые и молодые женщины со своими взрослыми дочерьми. Каждая, войдя, целовалась с Зульфю. В тот день в квартале был праздник, на старом граммофоне с огромной трубой, оставленном вместо платы прежним жильцом, одну за другой проигрывали пластинки. Все танцевали и веселились, шум празднества достиг соседнего квартала. Вечером настала очередь и мужчин. Слушали мелодии Урфы и Кавказа, много раз крутили песню «Нельзя любить красавицу издалека». Вообще-то пластинок было всего девять штук.

Это было весной, в ту весну улица переживала свою золотую пору. А осенью все пошло кувырком. Сначала Керима забрали в солдаты, а вскоре началась вторая мировая война. Улица была охвачена паникой. Посетители кофейни сквозь шум и треск приемника «Телефункен» старались понять, что происходит. Радио говорило о многом, но кто его разберет, о чем. Хорошо, что о событиях им рассказывал мастер Хусню. Немцы схватились с англичанами. Польша была раздавлена. В газетах можно было увидеть истеричную физиономию человека с прядью волос на лбу и поднятой правой рукой. Вот этот субъект с усиками лишил мир покоя. Жители квартала нашли, что Гитлер из-за своей челки похож на извозчика Тахира.

Понемногу все почувствовали трудности военного времени. Многие из жителей квартала повидали войну, и сейчас они вспоминали о ней. Рассказывали о Дарданеллах, Кавказе, о Сакарье. Один вспоминал своего земляка, замерзшего в Эрзеруме, другой — своего старшего брата, погибшего рядом с ним на пути к Измиру. Слово «война» для мужчин и женщин этой улицы имело одинаковый смысл. Для Зульфю война — это был ее первый муж, который в солдатской форме завернул за угол и не вернулся назад. Старшее поколение с оружием в руках дралось за эту землю и победило. Женщины терпеливо ждали своих мужчин и ели хлеб с мякиной. Только молодежи война казалась чем-то интересным, они посмеивались.

Зульфю плакала по ушедшему в солдаты Кериме. Это был ее любимец. Фахри был иным человеком, он думал только о себе, но, когда Фахри тоже взяли в армию, она тосковала и по нем. Она вспомнила, как провожала Керима, как он стоял перед ней в солдатской форме, так же, как некогда ее муж, когда во всем мире шла другая война. Она бросилась на шею Кериму. Юноша просил свою невесту Хюсние ждать его возвращения. Девушка обещала. В последний раз обняв сына, Зульфю смотрела, как он уходит, и тот ушел, оставив выкрашенную в голубой цвет кофейню со своим именем, написанным между двух роз на оконном стекле. У дверей каждого дома он прощался с жителями улицы.

Керим ушел, и Зульфю осталась в кофейне одна. Долгое время кофейня казалась ей кладбищем. Все здесь напоминало Керима. Зульфю закрыла было кофейню, но, уступая просьбам жителей квартала, снова открыла. Помогать ей было некому. Зять, извозчик, был занят своими лошадьми и экипажем. Он отдал к ней в услужение своего брата, приехавшего из деревни. Семнадцатилетний Али стал слугой у Зульфю. Начал ей помогать и восьмилетний сын Фахри Кемаль. Казалось, что вернулись прежние дни. Кофейня Зульфю снова приобрела громкую славу, и сюда часто наведывалась полиция. Имя Зульфю знал весь район. Полиция много раз совершала налеты, но поймать азартных игроков было нелегко...

Зульфю встряхнулась, чтобы прогнать наваждение. Все было на своих обычных местах. Выйдя на улицу, она увидела, что люди возвращаются с работы, ветер утих и пыль улеглась. Из-за угла показались школьники с рваными сумками в руках. Часы в кофейне пробили четыре. По улице носились дети. Кто-то запускал в воздух змея. Ребятишки спорили, кому держать хвост. Внезапно сверху раздался визгливый крик. Зульфю узнала голос своей дочери. Послышался топот ног — на шум сбегались соседи. Честь первой ссоры в сезоне снова принадлежала семейству Зульфю. Эти вопли раньше первых ветров объявляли о начале весны. Зульфю глубоко, всей грудью вздохнула, достала из кармана платья пачку табаку и, взяв большую щепоть, свернула толстую папиросу. Пуская в воздух клубы дыма, она побежала к лестнице, ведущей на верхний этаж. Скандал разрастался, к дому отовсюду сбегались соседи. Слава богу, квартал жил.

XIII

Слух о дороге, которая должна стереть с лица земли половину улицы, переходил из уст в уста до самого вечера. Зульфю сообщила его по секрету своей дочери, и вот он пошел гулять по домам. Все узнали, что их улица скоро исчезнет, и каждый успел обдумать, что принесет ему это событие: одних оно радовало, других огорчало.

Под вечер из школы возвратились ребятишки, не успели они завернуть за угол, как уже знали, что ожидает их улицу. Эта новость вызвала недоумение. Как может измениться улица, которая создана самим богом? С того дня как они впервые увидели свет, квартал всегда оставался таким же, как сейчас. О том, что было до их рождения, они не задумывались, словно эти дома просто упали с неба и стали на свои места. Неужели теперь все это будет разрушено? Впервые они забыли о своих развлечениях, не писали, как обычно, мелом на стенах домов ругательства, а, собираясь кучками у дверей, о чем-то тихо толковали. Когда усталые служащие и рабочие вернулись домой, жены и дети встретили их этой неожиданной новостью. Все погрузились в грустные размышления. Что станется со множеством людей, когда будет снесена половина улицы? Ведь большинство жителей улицы снимает здесь комнаты: куда они денутся при нынешнем жилищном кризисе? Так несколько слов, вырвавшихся из уст старосты, нарушили привычное течение жизни на улице Чужаков.

В тот вечер Салих вернулся домой поздно. Днем он переправился на пароходе через Босфор, чтобы повидать свою любимую. Он бродил вокруг ее дома, сидел неподалеку в казино, слушал радио, смотрел на посетителей, игравших в карты, но так и не смог набраться мужества и позвонить у ее двери. Он прошел мимо своего дома и поглядел издали на его окна. Может быть, мать в это время была дома или в саду, мо-

жет быть, она сейчас думала о своем беспутном сыне. Ему очень хотелось повидаться с матерью, но в конце концов он пересилил себя.

Солнце начало уже клониться к закату, когда он сел на трамвай, чтобы вернуться на улицу Чужаков. Пароходом, снова трамваем он добрался наконец до нее. Письмо, которое лежало у него в кармане, он с замирающим сердцем опустил в почтовый ящик. Немного поел в харчевне.

Улица была безлюдна, словно все покинули ее. Уже стемнело, Салих прошел, отбрасывая длинную тень, под бледным светом фонаря, падавшим на могильные камни и лачугу сторожа. Внезапно он вспомнил черноволосую молодую женщину, которая не раз открывала ему дверь, и вздрогнул. Она почему-то все время попадалась ему навстречу в ситцевом платье с короткими рукавами, с распущенными по плечам волосами. Вот и теперь он наверняка встретит ее. При виде ее у него цепенеет язык и он не знает, что сказать. Поэтому он постарался осторожно, без шума открыть дверь. Войдя в дом, он увидел старую хозяйку. Старуха запричитала:

— Ах, сынок, такая беда с нами произошла, и не спрашивайте! Говорят, наш дом снесут... Правду сказать, я и ума не приложу — что делать!..

Салих в растерянности сказал ей первое, что пришло в голову. Он попытался утешить ее, объясняя, что это дело может тянуться долгие годы, что если это и правда, то она получит хорошие деньги, что это вообще, может быть, только слухи. И тогда, по-прежнему стоя у двери, старая женщина рассказала ему все, что узнала сегодня. Салих терпеливо слушал ее, опершись на перила лестницы, и лишь по временам пытался вставить слова утешения. Увидев, что в приоткрытой двери показалась невестка хозяйки, он, не дослушав старуху, поднялся к себе в комнату.

В доме, где жили многочисленные зятья, в ту ночь долго не могли заснуть. Все совещались, думали. Если слух о том, что половина улицы пойдет на снос, оправдается, что будет с ними? Они останутся без крова, будут выброшены на улицу. Пострадают все — и четыре супружеские пары с детьми и старухами, живущие в этом маленьком кирпичном доме, и жильцы, населяющие лачугу в саду.

Парикмахер Али, столяр Тевфик и швейцар Шевкет усиленно обсуждали эту новость. Парикмахерская находилась в центре района, в десяти минутах ходьбы отсюда. Школа, в которой Шевкет служил швейцаром, тоже была неподалеку. Беззаботней всех отнесся к неожиданному известию столяр Тевфик. Он говорил, посмеиваясь:

— Это, пожалуй, к лучшему: правительство даст нам деньжонок, сколотим капиталец.

Тевфик уже много лет мечтал открыть столярную мастерскую. Ему осточертело работать у чужих людей, выслушивать приказания хозяина, внимать его капризам. В один прекрасный день он не выдержал и ушел с работы. Теперь он работал на дому, устроив верстак в одном из уголков сада, изготовлял столы, шкафы и прочую мебель и продавал их. Если дом перейдет в собственность муниципалитета, на его долю придется несколько сот лир, и тогда он сможет вместе с каким-нибудь приятелем открыть подходящую мастерскую. Как у каждого человека, и у него были мечты, которые он лелеял в течение всей жизни. Теперь его мечтам открылась широкая дверь надежды. Он разговаривал с обоими свояками, а перед его взором была мастерская, полная разноцветных кресел, диванов, шкафов, сверкающих книжных полок...

Парикмахер был грустен. В этот день с самого утра его преследовали неудачи, все шло шиворот-навыворот. Он чуть было не отхватил бритвой ухо одному из клиентов. И вот теперь эта дурная весть... Швей-

цар тоже был в плохом настроении. Ему пришлось сегодня выдержать стычку со школьниками — буянами и лодырями, которые пытались сбежать с уроков. Он даже ходил с жалобой к директору. Поэтому радость столяра возмущала их обоих. Шевкет выругался, и все замолчали.

Жены свояков были заняты с утра в саду важным делом. Уже несколько часов подряд там было многолюдно и оживленно, как на празднике. Перед каждой из молодух стояла широкая лохань с бельем: засучив рукава и подоткнув подолы, они расправлялись с горой белья, возвышавшейся в углу сада. На долю каждой приходилось бесчисленное множество грязных рубах, носков, исподнего. Мыло так и мелькало в руках, слышался плеск воды, в воздухе носились клочья мыльной пены, покрывавшей руки, оседавшей на лицах. Рты ни на минуту не закрывались: таков уж был обычай — во время стирки все без умолку болтали. То голосили песни, то поочередно что-то рассказывали под общий хохот.

В стирке принимали участие и жильцы. Жена и дочь токаря, снимавшего комнату на первом этаже, стояли у своих корыт. Была здесь и самая знаменитая в районе прачка Ханифе, которая уже долгие годы жила в жестяном бараке. Она наблюдала за тем, как работают остальные, вертелась, поучая, выговаривая, указывая. Две взрослые дочери Ханифе — Сабахат и Рахиме — тоже были заняты делом. Несмотря на предупреждения матери, они без толку изводили мыло, делая слишком густую пену. Иногда Ханифе-ханым, грузная, с полными розовыми руками, выхватывала у дочери рубашку, сама намыливала и терла, затем швыряла ей в лицо, приговаривая: «Вот как нужно стирать, лентяйка!» Но дочери по-прежнему расходовали слишком много мыла, она в конце концов не выдерживала и, резко оттолкнув их от лоханей, занимала их место. Впрочем, как бы кто ни старался, угодить прачке Ханифе было невозможно. Она во всем находила недостатки: то мало воды, то много мыла, то нет соды, то плохо постирано, то порвано, то полиняло... Когда она становилась у корыта, все руки прекращали работу, а головы поворачивались в ее сторону. Вытянув левой рукой из кучи белья грязную рубаху, она погружала ее в мыльную воду, быстро стирала, вынимала ее безукоризненно чистой и, отложив правой рукой в сторону, тут же брала следующую, это производило впечатление настоящего колдовства. Пока она работала, язык ее тоже ни минуты не отдыхал. Она не переставала поучать обеих дочерей, приговаривая: «В ваши годы я, бывало, все дома обойду!» Но со временем все стало хуже, без конца повторяла она, нынче и люди, и белье уже не те, что прежде.

Слух о том, что через улицу Чужаков будет проложена дорога, застал женщин в самый разгар стирки. Рахиме ушла ненадолго в лавку, а вернувшись, первым делом выложила перед матерью не хлеб и сыр, а известие о том, что улица будет снесена. Ее лицо раскраснелось, пышная грудь вздымалась от быстрого бега. Едва проговорив это, она ожидала, что все жители дома от волнения упадут в обморок. Никто, однако, в обморок не упал: просто стало тихо и руки у всех замерли. Через некоторое время младшая из невесток, придя в себя, спросила:

— Повтори-ка, что ты сказала?

Тогда Рахиме, поочередно глядя всем в глаза и отчетливо выговаривая каждое слово, рассказала о том, что слышала:

— Лавочник Селим-эфенди говорил, а ему сказал сторож... Вон за тем кладбищем есть мощеная дорога... Так вот она, говорят, будет продолжена до этого места и соединится с той дорогой, что проходит позади другого кладбища. Пол-улицы будет снесено. Так он говорит...

Невестки посмотрели друг на друга. Квартиранты повернули головы к хозяйкам, и дети тоже старались постигнуть смысл разговоров старших. Вскоре все были опять заняты бельем, но уже не смеялись, не пели песен, не хохотали, как прежде. Их руки двигались медленнее, зато

мысли работали быстрее. Каждая из женщин на свой лад строила предположения.

Когда под вечер мужчины вернулись домой, женщины все еще были заняты бельем. На этот раз генеральная стирка затянулась до ночи.

Хюсние, кутаясь в новое пальто, возвратилась домой и застала всех обитателей дома в сильном беспокойстве и волнении. Она принялась расспрашивать их и узнала о случившемся. Сняв пальто, она тщательно почистила его и повесила в шкаф. В глубине души она была рада этой новости. Снимая с ног новые туфли и тонкие чулки, она мечтала. Ей представилось, что улица Чужаков уже снесена, все люди разъехались, ее старшие сестры и зятья уехали кто куда, а сама она поселилась у своей подруги Сюзан. Избавившись от этих несносных людей, она вздохнет спокойно. Перед ее взором возник высокий шатен — молодой человек, провожавший ее до конца проспекта. Тогда она могла бы с ним не расставаться, они ходили бы по разным шикарным местам, и она не торопилась бы пораньше вернуться домой, не боялась бы, что, если он захочет проводить ее до дома, она будет стесняться своей улицы.

Она выглянула из окна в сад. На веревках сплошными рядами висели длинные желтые кальсоны ее зятьев, штанины тихонько шевелились от ветра. На других веревках были рубахи. Они выделялись светлыми пятнами на темном фоне сада. Глядя на дырявое, линялое нищенское белье, Хюсние вспомнила кремовую шелковую сорочку, носовой платок и завязанный тонким узлом галстук своего возлюбленного.

Из-за стены доносились голоса старших сестер. Какими чуждыми были в этой комнате с грязными стенами, заставленной обветшалой мебелью, ее узкое зеленое пальто, туфли из замши, короткое платье...

Чей-то голос со двора позвал ее ужинать. Хюсние не ответила. Сейчас вся семья уселась, скрестив ноги, как обычно, по старшинству на полу или на подушках. Посредине на большом круглом подносе — кастрюли и тарелки. Зятья и старшие сестры, быстро черпая ложками из кастрюли и набивая рты хлебом, будут есть и громко чавкать. А какой длинный стол был в том фильме, который она смотрела позавчера со студентом университета! Перед каждым гостем лежало множество ножей и вилок, лакей разносил блюда на сверкающем подносе. Эти люди не макали в яичницу куски хлеба величиной с ладонь и не набивали себе рты, роняя при этом капли жира.

Услышав снова голос сестры, Хюсние поднялась: делать нечего, нужно идти ужинать. Выходя из комнаты, она подумала, что ее возлюбленный мог бы быть одним из героев того фильма: он ничем не отличается от них — высоких, в шикарных костюмах, с блестящими волосами, умеющих красиво разговаривать и ловко целовать женщин, обняв их за талию. Может быть, и он в один прекрасный день сошел с белого экрана на землю, и судьба привела его к Хюсние.

Ужинали в полном молчании, непривычно тихо. Не торопясь накладывали еду себе на тарелки. Все погрузились в размышления. Каждая ложка этого необычного ужина словно приносила им новую надежду, с каждым куском хлеба они словно отламывали кусочек мечты.

XIV

Всякий раз весна приносила на улицу Чужаков свою песню. Ее поют только один сезон. Это грустная песня подросших за зиму юнцов. Все весенние песни говорят о любви, о любовной тоске. Их слушают со слезами на глазах.

В пору апрельских дождей в сердцах молодых обитателей квартала пускает корни и всходит любовь. Неопытные юноши принимаются сочинять любовные письма. На улице возникают драки из ревности. Весна все больше показывает свое лицо. Из кофейни на улицу выносят стулья, мужчины все чаще возвращаются домой пошатываясь. В эту пору рождаются дети. Жизнь кажется легче, и люди охвачены беспричинной радостью. Весной играют свадьбы. Иногда разводятся — но всегда для того, чтобы вступить в новый брак.

О начале весны улица Чужаков узнает либо по новой песне, либо по первой в году драке.

Весенние месяцы словно созданы для некоторых профессий. Особенно кипучей деятельностью заняты в это время извозчики. Прибавляется работы, растут заработки. Едва установится погода, извозчики выводят из укромных мест свои экипажи, проведшие всю зиму возле маленьких конюшен, и оставляют их на ночь посреди улицы. Каждый вечер они выстраиваются в ряд в начале улицы. Лошади ночуют в конюшнях, а их владельцы — под боком у своих жен, если только где-нибудь не запьянствуют. У покинутых экипажей грустный вид, они словно вспоминают все то, что с ними произошло за день. До самой темноты среди экипажей играют дети. Проходя по улице после полуночи, вы можете услышать внутри какого-нибудь из экипажей глубокое дыхание или громкий храп — это бездомный бедняга проводит здесь ночь. Покинутые хозяевами экипажи готовятся к событиям завтрашнего дня. Как только взойдет солнце, они разъедутся во все стороны и будут катиться взад и вперед по широким и узким улицам, взбираться на холмы, развозя людей и вещи.

Тахир, оставив экипаж на улице, выпряг лошадей и повел их к конюшне, которая находилась в саду за большим домом. Не успел он отойти, как в экипаж мигом набились ребятишки.

Вечерело. Тахир задал лошадям вволю соломы, запер их и вошел через заднюю дверь в дом. В нос ему ударил сильный запах лука. У него даже слюнки потекли. «Какую-то знатную еду готовит старуха!» — подумал он. Впрочем, и его жена не уступала никому по этой части, небось и сейчас наготовила всего, накрыла на стол и ждет мужа. Получать еду и питье, приготовленные женщиной, которая принадлежит только тебе — покорное всем твоим желаниям тело,— пить из ее рук, смеяться для нее, разговаривать с ней — это ни с чем не сравнимое счастье. Разве можно променять все это на попойки за грязным столом в какомнибудь паршивом кабаке, среди отвратительных пьяниц?

Пока Тахир поднимался по лестнице, в его памяти оживали образы прошлого. Ему было сейчас тридцать три года. Он рано осиротел: отец умер, а мать бросила его и куда-то исчезла. Тахир провел всю жизнь на этой улице. Здесь он любил, целовался, здесь женился и развелся, здесь он дрался, нанес удар ножом, скрылся от полиции, но был пойман. Целых три года в тюрьме он думал об этой улице. Он представлял себе, как летит по городу на своем голубом экипаже с кнутом в руке; сколько раз в мечтах он красил свою повозку, подковывал лошадей, перевозил вещи, дрова и уголь, катал детвору.

Три года в тюрьме тянутся не как обычные годы, человеку приходится нелегко. Но Тахир вел себя исправно, и ему снизили срок заключения. Наконец он обрел свободу и мог теперь направить свой экипаж, куда хотел. Выйдя из тюрьмы, он вернулся на улицу Чужаков и снял в большом доме комнаты, выходящие окнами в сад. Вскоре он нашел себе невесту, и в один прекрасный день неизвестно откуда появившийся имам в чалме заключил между ними брак по шариату. В квартале еще долго обсуждали это событие. Здешние девушки недовольно поджимали губы, узнав о его выборе. Такой парень попал в сети к чужой девке. Но Тахир

был счастлив. У него была красивая жена, и он был вполне доволен судьбой. Вчерашний арестант стал самым знаменитым извозчиком во всем районе.

Старые друзья-кутилы не могли сбить его с пути, как ни пытались. Каждый вечер он неизменно направлялся к своему дому. Стоя в экипаже, натянув вожжи и держа в руке кнут, он въезжал на улицу Чужаков. Иногда бывало, что, спрыгнув на землю, он слегка покачивался, но и тогда нельзя было назвать его пьяным, самое большее — он был чуть-чуть навеселе.

Иногда вечером, поужинав, Тахир заходил в кофейню, пил чай, играл в карты или в домино и рассказывал собравшимся о тюрьме, подробно описывая, как он туда попал, что там делал, через какую дверь оттуда вышел и что сказал ему господин начальник.

Сейчас он поднимался по ступенькам лестницы в хорошем настроении. Настал сезон, когда можно хорошо заработать. Апрель и май — это месяцы, которых извозчик ждет всегда с нетерпением. Начинается пора переездов за город. Фургоны, до отказа набитые тяжелой мебелью, покрытой белыми чехлами, выезжают из богатых районов города, спускаются с холмов и, проехав по широким проспектам, переправляются пароходами на другую сторону пролива *. В это время всегда можно зашибить кучу денег...

Дойдя до второго этажа, Тахир увидел, что дверь в квартиру мастера Хусню открыта. Оттуда слышались голоса и доносился запах еды — был час ужина. Этот запах сразу расстроил ход его мыслей, и он заторопился к противоположной двери, которая вела в его комнату.

Мастер Хусню встал из-за стола и подошел к окну. Гёнюль бродила по комнате в распахнутом розовом кимоно, Зехра сидела у стола, а Сельма собирала грязные тарелки. Был уже девятый час вечера. Хусню-эфенди отворил окно, и в комнату ворвался прохладный ветер.

— Холодно, отец, закрой! — закричала Гёнюль.

Мастер захлопнул окно и принялся разглядывать сквозь стекло улицу. В окне верхнего этажа дома на другой стороне горел свет, по занавеске двигалась тень. В доме, где жили многочисленные зятья, лампы еще не зажигали. В дверь кофейни входили и выходили люди. Хусню-эфенди уже знал о том, что улица подлежит сносу. Когда он, усталый, вернулся с фабрики, Сельма встретила его на лестнице и одним духом выпалила эту новость, занимавшую всех с самого утра. Хусню-эфенди усмехнулся: «Детская болтовня! Разве мало носится слухов? Не бывает дня, чтобы не родилась новая сплетня. Здесь все знают друг о друге. Каждый твой шаг, каждое слово порождает сплетню. Попробуй-ка хоть краешком глаза взглянуть на какую-нибудь женщину или, того больше, перекинуться с ней словом!» Года два назад он посреди улицы, у всех на виду, поболтал немного с одной вдовой, которая жила с двумя детьми в доме напротив, да еще как-то раз угостил ее ребятишек лимонадом. Ну и разговоров было после этого! Не всему, что услышишь на этой улице, следует верить! Но Хусню-эфенди все же знал, что в каждом слухе есть доля истины. Нет дыма без огня. Кстати, и те толки, что возникли о нем и той вдове, были не совсем беспочвенны. В то время мастер основательно подумывал жениться на ней, но дочери так решительно воспротивились, что он отказался от этой мысли. А вскоре и вдова уехала. Однако сплетня умерла не сразу, еще несколько месяцев высказывались разные соображения на этот счет. Долгое время он не решался даже войти в кофейню, но потом привык и перестал обращать внимание на разговоры. К тому же, появились другие, более свежие сплетни.

---

* Речь идет о переезде через Босфор в азиатскую часть Стамбула — Ускюдар, где расположены дачные места.

Стоя у окна и вспоминая все это, мастер думал о том, что слух о новой дороге может оказаться верным. Правда, это был не обычный слух о какой-нибудь любовной истории. Речь шла об опасности, которая никому и не снилась.

Как многолюдно сейчас, должно быть, в кофейне. Сидящие за столами бросили игру, и зашел общий разговор, наверно, даже радио умолкло. Нельзя разобрать ни слова, каждый старается вставить свое замечание. Завзятые ораторы квартала спорят друг с другом, окружающие с благоговением ловят каждое слово из их уст. Как хотел бы Хусню-эфенди быть там сейчас. Но дочери решительно против того, чтобы он ходил в кофейню.

Хусню-эфенди задумчиво глядел в окно. Гёнюль и Зехра переговаривались:

— Сегодня вечером в «Мармара» идет новый фильм с Тейлором. Не пойти ли нам?

Все одобрили эту идею. Гёнюль тотчас же сбросила кимоно и, оставшись в одной рубашке, принялась натягивать платье. Затем она надела свое огненное пальто.

— Мы идем в кино,— сказала она отцу.— Если хочешь, пойдем с нами.

В душе, однако, Гёнюль была против этого. Как она будет сидеть там рядом с рабочим? Что скажут молодые люди, которые увидят ее? Зехру не беспокоили подобные соображения, и она настаивала, чтобы отец пошел с ними. Сельма молчала. Но Хусню-эфенди, который мечтал улизнуть в кофейню, радостно воскликнул: «Не-ет! Я не любитель кино, идите сами, а я лягу спать»,— и тут же улегся на кровать.

Девушки причесались, по очереди глядясь в маленькое зеркало. От горячего дыхания зеркало по временам затуманивалось, и Сельма, поправляя кудри, протирала его рукой. Вскоре они втроем спустились по лестнице и вышли на улицу. Хусню-эфенди смотрел им вслед из окна. Потом он тоже подошел к зеркалу и привел себя в порядок. Он приосанился, приняв вид человека медлительного, степенного, чьи слова внимательно слушают и с чьим мнением считаются.

Спускаясь по лестнице, он встретил вагоновожатого Рызу-эфенди. Они пожали друг другу руки.

— Приходи в кофейню,— сказал мастер.— Слыхал новость?

Рыза качнул головой, словно желая сказать: «Что же тут особенного?» — помолчал, а потом ответил:

— Слыхал. Что поделаешь, братец, в наше время нет в городах ничего прочного. Ворочают огромные дома, целехонькие здания сравнивают с землей, пробивают новые улицы, проспекты. Такая теперь, видать, мода...

Вагоновожатый был очень расстроен. На обратном пути от Аксарая к Харбие его вагон столкнулся с армейским грузовиком. В трамвае была повреждена оконная рама. Разве можно разрешать такой огромной машине ездить по узким улицам?

— Боюсь, что мне достанется из-за этой истории. Грузовик военный, так что обвинят меня,— заключил он и двинулся дальше.

Хусню-эфенди спустился по ступенькам крыльца. Свет из окон местами освещал улицу. Окно кофейни было закрыто, оттуда не доносилось ни звука, только слышно было, как то и дело со скрипом открывается и закрывается дверь. Еще не успев войти, Хусню-эфенди ощутил себя среди этой жаркой толпы орущих, возбужденно размахивающих руками людей. Как только он появится в дверях, все встанут, приветствуя его, а потом примутся задавать ему множество вопросов, начиная от слухов о втором фронте и кончая последними новостями. Хусню-эфенди сядет в почетный угол, один из парней поднесет зажженную спичку к его си-

гарете, Зульфю сварит ему самого лучшего пенящегося кофе, все замолчат, игра прекратится. И он, окруженный людьми, которые верят ему и молча слушают все, что он говорит, начнет рассказывать. Сейчас он один на полутемной улице. Там, избавившись от одиночества, он станет самим собой...

XV

Мастер закурил сигарету и вошел в кофейню. Он очутился в шумном и жарком помещении, густой дым поднимался к потолку. За столом у окна сидели сторож, Зульфю и Фахри. Положив на стол шапку, сторож что-то рассказывал, остальные внимательно его слушали. В стороне, за столом с приемником, двое свояков — Али и Тевфик — играли в домино с чиновником финансового управления, который снимал комнату над кофейней. Последний стол занимал шофер Эсад. Он просматривал вечернюю газету, то и дело покачивая головой.

Ветер, ворвавшийся в кофейню вместе с мастером, дохнул в лица присутствовавших, и они повернули головы. Увидев вошедшего, Зульфю одернула платье и встала. Фахри, сторож и все остальные приветствовали его, и только шофер, занятый газетой, не обратил на него внимания.

Теперь за столом у окна сидело четверо. Сторож, казалось, был раздосадован тем, что его рассказ прервали. В этот день он беседовал с чиновником муниципалитета и собрал сведения о дороге. Зульфю увлеченно разговаривала с Хусню-эфенди, они перебрасывались шутками и тихонько посмеивались. Фахри дремал на стуле. Двое молодых людей выбрали пластинку, присели поближе к столу, на котором стоял граммофон, чтобы лучше слышать песню, и закурили. Пластинка сначала зашипела, а потом послышалось: «Мой камень могильный под Урфой...» Стук костяшек домино по мраморному столу то и дело перебивал песню. Голос певца растекался по дымной кофейне. Вскоре игроки, услышав «Могильный камень», стали тише щелкать костяшками. Тевфик подсчитывал в уме сумму очков, сбился со счета и выругался про себя. Оба свояка успели побывать в Урфе, Тевфик — только проездом, зато Али проходил там военную службу и хорошо познакомился с тамошними жителями, скорпионами и жарой. Он провел там целых два года. Сейчас, глядя на костяшки домино, рядами выстроившиеся на столе, он словно опять видел Урфу.

Особенно растрогала песня шофера Эсада. Он читал газету, не обращая внимания ни на скрип двери, ни на стук домино. Песня об Урфе водопадом влилась в его уши и каплями потекла из его глаз. Шофер развернул газету и заслонил ею лицо. Никто еще не видел, чтобы шофер плакал. Не такой народ шоферы! Они всегда смеются и шутят. Они увозят на машине девушек. Случается иногда, что шофер задавит человека, это бывает. Но чтобы шофер плакал!.. Этого никогда не бывает. С фотографии посреди газетного листа, которым прикрывался Эсад, поднеся его почти к самому носу, смотрела и насмешливо улыбалась какая-то особа с распущенными волосами. Если бы люди в кофейне знали, если бы они видели, как плачет шофер... Он слушал, весь захваченный песней. В Урфе осталась могила его первой возлюбленной. В его памяти оживали все печальные подробности их любви.

Зульфю слушала эту песню по восемь раз в день, но и она прервала разговор, и ее глаза наполнились слезами. Мастер вспоминал остров Крит — так бывало всегда, когда он слышал что-нибудь грустное. Там он оставил могилы близких, там он пережил хорошие и плохие дни. Не обращали внимания на песню только Фахри да сторож Сюлейман. Первый дремал и видел привычные сны торговца фруктами — пьянящее

обилие всевозможных плодов, продолговатых и круглых арбузов и дынь. Вот он рассекает одним ударом острого ножа спелые арбузы и оставляет их истекать кровью... А сторож, стиснув зубами мундштук, сидел, окутанный дымом, и непонятно было, слушает он песню или нет. Песня об Урфе должна была бы взволновать его больше других, но сейчас мысли Сюлеймана спутались, и звуки доносились до него словно издалека. Эта новая дорога представлялась ему в виде чудовища, которое, шагая по тротуарам, опрокидывает дома. Первой его жертвой на улице Чужаков падет дом Сюлеймана. Затем перепахается вся улица: дома повалятся наземь, жители высыпят на улицу, вещи погрузят на телеги или на спины людей, и все побегут от этого чудовища в поисках новой жизни, иного пристанища.

Пока каждый, распустив крылья воображения, предавался собственным мыслям, песня окончилась, и все в кофейне опомнились. Оказалось, что они сидят на стульях, видят перед собой давно знакомых людей. Игроки в домино снова распалились, забыв о тревогах сегодняшнего дня. Шофер по-прежнему не отнимал от лица газеты. Он читал, какие предположения высказываются насчет второго фронта в Европе, читал передовую статью, брачные объявления, историю убийства на почве ревности, роман с продолжением о знаменитом гангстере. Он держал перед лицом газету до тех пор, пока не высохли слезы и его глаза не приняли обычного веселого выражения...

Хусню-эфенди коснулся самого важного события.

— Зульфю-ханым, что ты скажешь по поводу этой дороги? — спросил он.

Вместо Зульфю ему ответил сторож. Он давно уже нетерпеливо покусывал губы и теперь сказал:

— От проспекта, что находится по ту сторону кладбища, сюда сворачивает широкая дорога, так вот, говорят, ее продолжат до этого места. Скоро начнутся формальности по отчуждению земельных участков. Теперь ведь повсюду сносят сотни домов, прокладывают новые улицы. То же самое будет и здесь...

Сторож вздохнул. Мастер почувствовал в его словах печаль, но не нашел слов утешения. Он только и мог сказать, что стоимость снесенных домов будет возмещена. Зульфю добавила:

— Да к тому же, говорят, половина улицы останется. Дорога пройдет по противоположной стороне.

Мастер в душе поблагодарил судьбу за то, что кофейня Зульфю и дом, в котором он живет, уцелеют. Теперь, когда люди с трудом находят комнату, не дай бог очутиться на улице. Жаль только, что исчезнут дома на той стороне, на которые он так привык смотреть в окно.

Сторож продолжал:

— За снесенные дома дадут, конечно, соответствующие деньги, я уже справлялся. За мой дом, например, могут заплатить около тысячи лир.

«Неужели эта ветхая лачуга столько стоит?» — подумал мастер. Все молча слушали их разговор. Только игроки продолжали партию, входя во все больший азарт по мере того, как возрастал счет. Сторож был потрясен равнодушием Али и Тевфика, живших в доме, который должен пасть жертвой этой дороги. Матери, жены, дети и квартиранты четверых зятьев лишатся крова и очутятся посреди улицы. Неужели они не думают о будущем? Подобная бесчувственность вывела сторожа из себя, и он сказал одному из них:

— Как ты можешь в такой день со спокойной душой играть? Спохватишься, когда дом снесут, да поздно будет.

Тот оторвал взгляд от костей домино, которые держал на ладони, и взглянул на сторожа:

— Да надоели уже эти разговоры, дорогой Сюлейман-ага. Дома, на улице, в кофейне — одно и то же: дорога, дорога... Чему быть, того не миновать... Дело это государственное, а у нас шея тоньше волоса — разве можем мы не согласиться? К тому же во всем есть свой смысл. Ты грустишь оттого, что твой дом будет разрушен. Плюнь, пускай рушится, ведь в этом мире нет ничего, что не разрушалось бы...

И тут же закричал, обращаясь к партнерам:

— Пиши двадцать пять!

Мастер подошел к шоферу и сказал:

— Добрый день, Эсад-бей, дружище! Что нового пишут?

Шофер выпрямился, сложил газету и, откашлявшись, заговорил:

— Усиленно поговаривают о втором фронте. Это уже стало похоже на анекдот — столько времени тянутся эти разговоры...

В беседу вмешался Тевфик:

— Я так думаю, что не откроют.

— Скоро увидите,— сказал мастер.

И, перечисляя имена виднейших политических деятелей, он стал доказывать свою правоту.

— Этот Черчилль — малый не промах,— говорил он.— Увидите, они высадятся в Европе, приготовления уже начались.

— А как же немецкие укрепления? — возразил Тевфик.

— Ты поменьше верь в эти укрепления. Вспомни-ка линию Мажино... А ведь она была куда мощнее.

Тевфик бросил игру, увлекшись беседой с мастером. За несколько минут они обсудили военные события: положение на восточном и западном фронтах, новое русское наступление, последнюю речь Петэна... Хусню-эфенди стоял за англичан, а Тевфик считал, что на этот раз победят немцы. Этот мудреный спор, в котором щедро перечислялись иностранные имена и фамилии, изрядно всем надоел. Зульфю часто слышала имена Черчилля и Гитлера и знала, что эти люди стоят во главе каких-то государств и враждуют друг с другом, все же остальное было выше ее понимания. Сторож был более осведомленным человеком, когда-то он даже учился грамоте. И теперь он каждое утро читал по слогам в газетной витрине на проспекте заголовки, знакомясь с новостями и рассказывая их потом всему кварталу. При этом он не упускал случая добавить свои соображения. С мастером они расходились во взглядах. Сторож тоже был прежде на стороне немцев, но затем стал испытывать к ним неприязнь. В спорах на политические темы он всегда переходил на крик. Но сегодня вечером он был не в духе.

Спор затянулся, в него вступали все новые участники. Шум усиливался, лица раскраснелись от возбуждения. Зульфю открыла дверь и выбралась в сад.

В кофейню вошли Тахир, вагоновожатый Рыза и еще несколько человек. Рыза выругался и ринулся в спор. Кто выиграет войну? Конечно, тот, у кого мускулы крепче!..

Голоса сливались в разноголосый шум, который сквозь приоткрытую дверь вырывался на улицу. Сторож потихоньку встал, подошел к граммофону и опустил иглу на пластинку. Песня пробилась сквозь гул голосов и заглушила их. Крикуны от неожиданности смолкли и оглянулись. Тогда сторож воскликнул:

— Неужто вам не надоело? Хватит!..

Но спор продолжался. Однако Тахир нашел верный способ положить этому конец. Мотнув головой так, что прядь волос отлетела со лба, он сказал:

— А ну-ка садитесь да перекиньтесь разок в шестьдесят шесть: кто выиграет, тот и прав.

Мастер и его союзник шофер, взявшие на себя защиту демократии, уселись за стол. «Представители держав оси» — чиновник финансового управления и Тевфик — сели напротив. Тахир положил перед ними самую новую, но уже порядком затрепанную колоду. Четыре руки сразу схватились за карты. И пока короли, валеты и десятки переходили из рук на стол и обратно, граммофон играл песню.

В кофейню вошла Зульфю. В открытую дверь пахнуло влажным ветром. Со стола слетела карта, страницы газеты затрепыхались, словно хотели вспорхнуть. Вагоновожатый вспомнил, что завтра в пять утра он должен отправиться к Аксараю. Сторож все размышлял о чудовище-дороге. А Тахир подумал о молодой жене, которая дома ждет его возвращения.

— Ночью будет дождь,— негромко проговорила Зульфю.

Но никто не слышал ее. Ветер подхватил ее слова и унес.

XVI

Дождь не потревожил сна квартала. Он начался тихо. Вода беззвучно полилась на улицу, и среди ночи город сдался дождю. В то время как по стеклам окон непрерывно струились потоки, в темных комнатах не оставалось ничего другого, как спать. Улица, которая до вечера жила своей шумной жизнью, обезлюдела. В тусклом свете фонаря, освещавшего дорогу на углу перед кладбищем, было видно, как льет дождь. На фоне тьмы и дождевых струй фонарь мерцал безжизненным глазом.

Когда загремел гром, из-за угла появились три девушки. Подняв воротники пальто, они шли быстрым шагом. Добравшись до фонаря, Гёнюль перевела дыхание и взглянула на улицу. Она не увидела ничего, кроме сплошной темноты, свет во всех домах был погашен.

— Как мы поздно возвращаемся,— сказала Зехра.

Она тревожно оглядывалась по сторонам, ей все чудилось, что из каждого темного угла на нее сейчас кто-то нападет. Особенно страшными казались поваленные могильные камни. Сельма была все еще под впечатлением фильма, она словно не замечала ни темноты, ни дождя. Она думала о том, что видела в кино: о больших отелях на берегу моря, о юношах и девушках в купальных костюмах, о танцующих парах в вечерних туалетах. Как красиво прекрасный юноша обнял на балконе прекрасную девушку! Сельма повисла на руке у сестры и шла, не обращая внимания на бивший в лицо дождь.

— Какой противный дождик! — проговорила Гёнюль.

Они быстро пересекли кладбище. Издалека послышался свисток сторожа. Гёнюль обернулась и поглядела сквозь мрак на дорогу, но ничего не увидела.

— Эти бездельники, кажется, отстали от нас,— произнесла она.

Двое молодых людей, которые шли за ними от самого кинематографа, по-видимому, действительно отстали. Зехра, довольная этим, тащила младшую сестру. Дойдя до середины улицы, Гёнюль посмотрела на окна домов. Они были закрыты. «Дрыхнут, как куры»,— подумала она. Только из окна верхнего этажа большого дома выглядывала голова их отца. Они узнали его по огоньку сигареты. «Сейчас привяжется»,— подумала опять Гёнюль.

Они поднялись по ступенькам крыльца, открыли дверь и вошли в дом. Семейство мясника спало. Девушки двинулись по лестнице, и Сельме, которая шла, пошатываясь, с полузакрытыми, полными сна и видений глазами, казалось, что она поднимается по мраморным ступеням

того огромного и роскошного отеля. Зехра и Гёнюль, поддерживая Сельму под руки, помогали ей осилить лестницу.

Не успели девушки войти в дом, как на улице показались два парня. Оба шли, подняв воротники пальто: один в шляпе, другой с непокрытой головой. Они прошли половину улицы и остановились у большого дома, тихо переговариваясь:

— Они вошли вот сюда.

— И все три — хорошенькие.

— Особенно старшая: в ней что-то есть.

Молодые люди повернули назад. Дождь вдруг усилился, словно хотел побыстрее прогнать незнакомцев, забредших на улицу Чужаков. Не найдя, где бы укрыться, юноши бросились бежать.

Все окна на улицу были плотно закрыты, все, кроме одного. У окна напротив кофейни, облокотясь на подоконник, стоял Салих и смотрел на улицу под дождем. Он знал, что сейчас вся улица уже погрузилась в сон. Одни храпят, другие тихо дышат, обнимая своих любимых или разглядывая свои сны. Салиху не было скучно смотреть на улицу и на дождь. После того как двое молодых шалопаев скрылись в черноте ночи, улица опять стала пустынной. В ее безлюдии было что-то пугающее. Салих почувствовал, что он постепенно растворяется в этом мраке. Вдали завыла собака, и у него забегали мурашки по телу. Донесся свисток сторожа. Салих закрыл окно и растянулся на кровати. Некоторое время он лежал с открытыми глазами. Чем больше он вглядывался в темноту, тем чернее она становилась, особенно жуткая в углах комнаты. Дождь еще сильнее застучал по стеклам. Комната на мгновение ярко осветилась, раздался гром. В этот миг Салих успел разглядеть всю комнату — шкаф, стол, стул и книги, даже дыры от гвоздей на стенах и мушиные точки на лампочке.

Улица Чужаков под дождем отмывалась от зимней грязи. С крыш вода низвергалась по желобам на улицу. Сверкающие молнии то и дело озаряли улицу. В те мгновения, когда гремел гром и сверкала молния, трудно было поверить, что безмолвная, безлюдная, сдавшаяся дождю улица завтра утром снова заживет своей обычной жизнью, что из домов выйдут на белый свет люди, что здесь снова станут работать, веселиться и грустить. Было так пустынно, словно дождливая ночь вообще смыла с лица земли улицу Чужаков.

XVII

ИЗ ДНЕВНИКА САЛИХА

Дождь, который начался вчера ночью, все еще продолжается. Я до утра не мог сомкнуть глаз. Сначала я долго смотрел на улицу, потом лег и, пытаясь заснуть, стал мечтать. Заснуть не удавалось, мысли разбредались, текли с дождевыми каплями, струившимися по окну. Молния сверкала редко, но достаточно сильно, чтобы рассеять мои грезы. Темная ночь, дождь, льющий чуть ли не со стоном, безмолвный дом, бессонное ожидание утра в одинокой комнате сводили меня с ума. Было трудно дышать, словно дождь не хотел, чтобы кто-то существовал на свете, кроме него. Я не чувствовал, как проходили часы. Мне хотелось встать и зажечь лампу, но я побоялся, будто зажечь свет во тьме ночи этого квартала, где все спят, где торжествует дождь, было кощунством. Я ждал утра, теряя надежду, что оно когда-нибудь наступит, что покажется солнце и разгонит мрак и дождь. Казалось, нет силы, которая могла бы разорвать плотную завесу мрака и остановить этот потоп,

Наконец я ненадолго забылся глубоким сном. Пока я спал, дождь кончился и унес с собой тьму. В окно светило солнце. Я выглянул на улицу: от дождя в грязи образовались озерца, в колеях, проложенных колесами повозок, струились ручьи. Кофейня была закрыта. Дети, ступая по грязи, шли в школу. Открывались и закрывались двери, на улицу выходили не знакомые мне люди. Кашляя и чихая, они вливались в уличный поток, спеша по своим делам. Каждый из них знал, где лежат скрытые сейчас под водой и грязью камни, и люди перепрыгивали с одного камня на другой.

Было довольно холодно, солнце грело слабо, сквозь раскрытое окно комнату наполнял запах прошедшего дождя.

Вдруг дверь нашего дома отворилась, и из нее вышла, держа что-то в руке, невестка хозяйки. На ней было коричневое пальто и новый шарф. Закрывая дверь, она подняла голову и увидела меня. Я хотел было спрятаться. Она улыбнулась мне и пошла, ступая по следам других людей. Не замечая оплеух, которыми награждал меня холодный и сырой ветер, я смотрел ей вслед. Это довольно высокая женщина, у нее стройные ноги и изящная походка... Любит она своего мужа или нет? Дойдя до конца улицы, она обернулась. Я почувствовал, что эта женщина заняла место в моей душе.

Она спит в комнате, которая расположена прямо под моей. Ее кровать, может быть, находится прямо под моей кроватью. В эту дождливую ночь она, наверно, тоже не могла заснуть и, может быть, думала о молодом человеке, который этажом выше, один в холодной комнате и в холодной кровати, боясь темноты, ждет наступления утра. Но мне об этом думать нельзя...

Я закрыл окно, сел и перелистал несколько книг. Какие у меня здесь дела? Тревожная ночь, нищий квартал, молодая невестка хозяйки дома и мои настроения — разве все это имеет значение? Вздор. Я сам отказался от своего будущего, сам обрек себя на скитания, так что же я ищу здесь? Я встал и начал торопливо одеваться. Я сложил бумаги и книги в портфель, взял шляпу, чтобы бежать отсюда — от этой комнаты, от этой черноволосой женщины, от кофейни, от грязной улицы и ее обитателей... В тот миг, когда я собрался выйти из комнаты, кто-то постучал во входную дверь. Я тотчас выглянул в окно. Два глаза смотрели на меня, рот улыбался, пряди волос, выбившиеся из-под шарфа, развевались на ветру. Невестка вернулась из магазина.

Вскоре на лестнице послышался шум шагов. Кто-то поднимался наверх. «Может быть, мой сосед шофер»,— подумал я. Шаги приближались. Раздался стук в дверь моей комнаты, я услышал, как произнесли мое имя. Открыв дверь, я встретился с этими огромными глазами. Она вошла в мою комнату. У нее были длинные до плеч волосы, под платьем совершенно прямо стояли маленькие груди. Я не мог оторвать от нее глаз.

Она попросила меня написать письмо и села на стул. Она хотела ответить мужу и рассказала мне, о чем собиралась ему сообщить. Я узнал историю жизни этой смуглой женщины. В шестнадцать лет ее выдали замуж за столяра. Сейчас ей шел двадцать второй год. Она родила ребенка, но он жил недолго. Теперь ее муж уже семь месяцев в армии, и каждый месяц она получает от него письмо. Я взял ручку и под ее диктовку написал капралу в Элязыг несколько строк о том, что она одинока, что живется ей скучно, и так далее. Глаза наши не раз встречались, и пока она произносила эти слова. Наконец письмо было написано. Мы немного поговорили. Теперь уже она стала выпытывать у меня. Она сказала, что поняла, почему я приехал сюда, что у меня, видимо, какое-то горе. Я сочинил для нее мало-мальски подходящую историю. Наши судьбы сходились в одном: мы оба были одиноки... Она за-

говорила о кинофильмах, которые идут в окрестных кино. Ей понравился египетский музыкальный фильм, где двое влюбленных всю жизнь не могли соединиться: «Все в зале плакали». Она рассказывала об этом так грустно, глаза ее даже как будто наполнились слезами. Она провела пальцами по ресницам, потом поправила волосы. Я едва владел собой. В двух шагах от меня находилась женщина из плоти и нервов, полная желания. Стоит мне протянуть руки, и она упадет в мои объятия. На листке бумаги вместо строк письма я вдруг увидел то, что могло бы случиться в этой холодной, неприбранной комнате. Я вложил листок в конверт и протянул ей письмо. Она поблагодарила, бросив на меня взгляд, который проник мне в сердце, и вышла. Я слышал, как она, весело напевая, спускалась по лестнице.

И вот я опять один. Я открыл портфель и положил книги на прежнее место. Мне показалось, что никогда в жизни я не смогу расстаться с этим домом. Я теперь не чувствовал себя здесь чужим. Очарование этой женщины, ее голос, ее дыхание, ее запах изменили все. Этот шкаф, кровать, стол, стены, окна, которых она коснулась взором своих глубоких глаз, уже не те, что вчера.

Я снова выглянул в окно. В кофейне шла уборка. Зульфю с неизменной сигаретой в зубах протирала мокрой тряпкой табуреты и расставляла их по местам. Она двигала мраморные столики, начищала до блеска оконные стекла. Мне хочется пойти в эту маленькую кофейню, сесть за столик у окна и посмотреть оттуда на свое окно. Я должен отведать их жизни, я должен стать одним из них. Должен стать, но...

XVIII

Было утро, обычное для улицы Чужаков. Деловой люд покинул дома. По улице сначала прошел торговец бубликами, следом за ним — молочник и продавец газет. Грязная улица была сплошь изрыта следами ног и колесами повозок, как будто покрылась сетью морщин. Ненадолго показалось солнце и спряталось за тучу. Запах дождя смешивался с запахом грязи, сырой утренний ветер налетал на людей.

Слепой хафыз, тыкая в землю палкой, повернул за угол. Он шел так быстро, что его трудно было принять за слепого. Он узнавал проходивших мимо людей по голосу и окликал их. Жена накормила его завтраком и отправила в дорогу — он шел в один из доходных домов на главном проспекте читать молитвы. Это был его обычный путь, но сегодня он шел, задумавшись.

Ночью супруги размышляли, что же будет, если их дом снесут. У хафыза было немного денег, он копил их давно, с самой Балканской войны. У жены были золотые монеты. Гадание и сдача комнат давали порядочный доход. Их единственный сын служил в армии, на себя они тратили очень мало. К тому же, хафыз большей частью приносил еду из тех домов, где читал житие пророка, он был очень скуп, и его жене с большим трудом удавалось вырвать у него несколько лир. Она первая услышала о сносе домов и вечером рассказала ему об этом. Хафыз до утра лишился сна. Его жена успела повыспросить о подробностях, и теперь они знали, что если их дом сломают, то они получат деньги. Все это выглядело не так уж страшно — дело могло обернуться выгодой. Тогда, добавив к полученным деньгам еще немного, они смогли бы купить дом побольше.

Вот какие мысли занимали хафыза в то утро. Тем временем его жена гадалка Камер поджидала дома двух богатых дам, еще накануне они прислали служанку предупредить, что придут погадать. И теперь Камер, с утра отправив мужа из дому, принялась за уборку.

Белокурая Азаде, очнувшись от своих запутанных снов, набросила халат и пошла к крану умыться. В это время, протирая глаза, нетвердыми со сна шагами по лестнице спускался Решад. Дойдя до последней ступеньки, он увидел Азаде и застыл на месте, уставившись на нее. Под распахнутым халатом он разглядел бюстгальтер, поддерживающий полную грудь, ее розовое тело, и сон мигом слетел с него. Она умывалась, наклонившись к крану. Одна нога ее была вся на виду, из тапочек торчали голые пятки, волосы беспорядочно рассыпались по плечам. Решад сделал несколько шагов. Сейчас, если протянуть руку, он сможет коснуться ее. И она будет принадлежать ему! В прихожей ни звука. Слепой хафыз ушел, его жена занята в своей комнате. Расим еще спит. Дверь в комнату белокурой Азаде открыта, и постель еще не убрана. Она еще хранит ее тепло, на подушке осталась вмятина от ее головы.

Азаде вытерла полотенцем лицо и обернулась. В тот же миг она оказалась в объятиях юноши. Две руки обвились вокруг ее тела, губы блуждали по ее лицу. Полотенце упало на пол. Из незакрытого крана тонкой струйкой текла вода.

■

В распахнутом окне большого дома виднелась растрепанная голова Сельмы, она терла глаза. Отец и сестры ушли, и дом остался на ее попечении. Заслонившись от солнца рукой, Сельма наблюдала за противоположной стороной улицы. Вот в доме, где много зятьев, моют окна, у дверей одна из жен пытается продать старьевщику старые брюки своего мужа, такие рваные, что негде поставить заплату, а вот у открытого окна стоит молодой человек. Это новый жилец. Сельма встретилась с ним взглядом, но молодой человек тотчас отошел в глубь комнаты.

Палящее солнце старалось до полудня высушить лужи и грязь на улице. Вон идет сторож и возбужденно размахивает руками, разговаривая со старостой. В картине утра, развернувшейся у Сельмы перед глазами, не было ничего необычного. И в солнце, и в дождь люди шли по своим делам. Вдруг приземистые убогие домишки, стоявшие перед ее глазами, словно исчезли. На их месте выстроился ряд огромных домов-небоскребов. Тот молодой человек, которого она недавно видела в фильме, жил на одном из верхних этажей такого дома. Если смотреть из его окна вниз, люди кажутся муравьями. Тот молодой человек ночью у одного из таких окон обнимал свою возлюбленную. А когда они танцевали, как красиво развевалось платье у девушки! Какие замечательные па выделывал тот молодой человек! После того, что Сельма увидела в кино,— огромный зал, красивые люди, изысканные блюда — дождливая ночь, грязная улица, населенная множеством обыкновенных смертных, казались ей совершенно невыносимыми.

Вот из-за угла появился толстый почтальон с неизменной сумкой на спине. В руках у него несколько писем. Он шел, ловко перепрыгивая через грязные лужи. Войдя в дверь большого дома, он поднялся по лестнице. Сельма выбежала из комнаты и крикнула:

— Нам опять нет?

— Нет! — ответил почтальон и пошел к мяснику, а затем к Рызе-эфенди.

Сельма снова подбежала к окну и опять принялась разглядывать улицу.

Зульфю и ее внук вошли через заднюю дверь в кофейню и занялись расстановкой столов и стульев. Они подмели пол, стерли пыль с приемника и граммофона, вымыли грязную посуду и зажгли в очаге огонь.

Закончив уборку, Зульфю села и скрутила папироску. Пока она разыскивала спички, к ней подошли староста и сторож.

— Здравствуй, Зульфю-ханым! — сказал староста.

Он сел на стул, поданный ему мальчиком. Сторож стоял, покусывая губу. Как только Зульфю увидела их вместе, она сразу поняла, что есть новости. Вокруг собрались соседки и дети.

— Сегодня я видел начальника нахие *,— продолжал староста.— Недели через две начнется выкуп домов, а затем будут их сносить. Я хочу поставить в известность об этом жителей квартала, каждый должен позаботиться о себе...

— Да,— вмешался сторож.— Это дело уже окончательно решено. Поэтому я уже сегодня начал подыскивать себе новое местечко и нашел... Скоро переберусь туда. За дом мне дадут около шестисот лир.

Женщины, окружившие их, совершенно растерялись. Что теперь делать? Одна из невесток побежала домой, торопясь рассказать сестрам и жильцам все, что услышала. Всех охватило волнение. Не успели сторож и староста удалиться, как новость уже распространилась по всему кварталу. Домовладельцы и съемщики с той стороны улицы, которая подлежала сносу, начали враждебно поглядывать на другую сторону.

Зульфю созвала всех женщин. В кофейне собрались пожилые и молодые — все, в том числе и гадалка Камер, и жена мясника, и прачка Ханифе. Они закрыли дверь и завели шумный разговор, стараясь перекричать друг друга. Зульфю коротко объяснила, в чем дело.

В самое ближайшее время им, мужчинам и женщинам улицы Чужаков, предстояло покинуть улицу — или поодиночке, чтобы начать новую жизнь, затерявшись в большом городе, или всем вместе,— переселиться на другой участок земли, пока еще не тронутый дыханием города. По мнению Зульфю, владельцы домов, получив за них деньги, должны вместе с другими сообща построить новую улицу. Она сама поступит именно так. Все равно, для таких, как Зульфю, в богатых домах на новых улицах, среди нарядных людей нет места. Все обитатели улицы Чужаков должны отправиться в новый район.

■

Салих закурил сигарету. Он оделся и причесался, глядясь в оконное стекло. Ему тоже придется вместе со всеми покинуть эту улицу. За короткое время он узнал и полюбил этих людей. Он не мог оставить этот своеобразный мирок, не подружившись с ним, не попробовав чаю в кофейне Зульфю, не чокнувшись с капралом Мехмедом, не поболтав со сторожем. Он не мог уехать, так и не коснувшись этой смуглой черноволосой женщины. Он подумал о том, что она сейчас делает. Но, может быть, все будет иначе, и, может быть, он завтра оставит этот дом, в тот момент, когда возы, груженные скарбом этих бедных людей, станут покидать улицу. Он еще ничего не решил.

XIX

До самого вечера улица Чужаков не могла успокоиться. Женщины с еще большим нетерпением, чем обычно, ждали возвращения мужей. Каждый, кто показывался в сумерках среди кладбищенских камней, становился предметом пересудов множества женщин, высунувшихся из окон.

---

* Нахие — административная единица, соответствующая примерно округу.

Зульфю расставила перед кофейней табуреты, и все, кто возвращался в квартал, сначала заходили к ней.

Азаде, пройдя по улице несколько шагов, остановилась. Во всех окнах горел свет, освещая улицу. Перед кофейней собралась кучка людей. В окне дома Камер стоял молодой человек и курил папиросу. «Это Решад»,— подумала Азаде. Вспомнив утреннее приключение, она снова услышала шум льющейся из крана воды, почувствовала на своем лице влажные, горячие губы мужчины. Тогда она чуть было не потеряла власть над собой. Отталкивая юношу, она пыталась вырваться. Но он не отпускал, крепко стиснув ее в объятиях. Услышав на лестнице шаги Расима, Решад прошептал: «Сегодня ночью я приду к тебе»,— и они расстались.

Азаде стояла в темноте, не двигаясь с места. Свет из окна дома падал в нескольких шагах от нее. Юноша не мог ее видеть. Нельзя сказать, чтобы этот провинциальный парень не нравился ей. В нем было что-то такое, чего нет в других... Сегодня ночью он придет к ней.

Азаде еще раз взглянула на Решада, стоящего у окна, потом подошла к дому и постучала. Ей открыла Камер и тут же рассказала все, что произошло. «Через неделю дома будут снесены». Азаде слушала ее, чувствуя, что молодой человек, который курит наверху папиросу, полностью завладел ее мыслями. Она направилась в свою комнату.

■

Гёнюль в сопровождении молодого офицера сошла на проспекте с трамвая, и они двинулись по аллее, тихо разговаривая. Гёнюль была в своем огненном манто, лейтенант с тонкими усиками щеголял блестящими сапогами. Гёнюль была сердита.

Вдруг из боковой улицы вышли изящно одетая девушка и молодой человек. С первого взгляда Гёнюль узнала ее. «Смотри-ка, ай да Хюсние! И она начала!...» — подумала Гёнюль. Ноги в тонких шелковых чулках, новое пальто, а рядом — студент из университета, вот во что превратилась вчерашняя чумазая девчонка в деревянных сандалиях. Гёнюль шла, размышляя. Видимо, как и они, Хюсние возвращалась со своим спутником из кино или какого-нибудь укромного казино. Сухо распрощавшись с лейтенантом, Гёнюль продолжала путь одна. Она знала его еще с той поры, когда он был слушателем военной школы. «Что поделаешь, у меня небольшой чин, нужно еще подождать!» — говорил лейтенант. Они уже и сейчас все равно как муж и жена, и это могло тянуться бесконечно.

Дойдя до кладбища, Гёнюль обернулась и увидела нагонявшую ее Хюсние. Она остановилась и подождала ее. Когда Хюсние приблизилась, Гёнюль спросила:

— Кто это был с тобой?

— Один парень, он влюблен в меня. Мы должны пожениться,— ответила Хюсние.

Гёнюль усмехнулась. Сколько их, этих студентов из университета, а толку от них никакого, одно горе.

— Будь осторожна,— сказала она Хюсние.

Этот студент, подумала Гёнюль, доволен, что вскружил голову такой неопытной девчонке, и строит, конечно, далеко идущие планы. В это время Хюсние рассказывала, как они познакомились и объяснились... Чего только не говорил он ей... Однажды она ходила с ним на факультетскую вечеринку танцевать, в другой раз ездила на остров Хейбели *. Сегодня они встретились в ярко освещенной, украшенной зеркалами

* Остров в Мраморном море, место прогулок жителей Стамбула.

кондитерской и пошли в кино. Сегодня Хюсние даже не ходила на фабрику.

— Если уж эту улицу должны снести, так пусть сносят поскорее!— заключила она свой рассказ.— Когда я возвращаюсь в эту грязную дыру, мне стыдно за себя!..

Гёнюль думала то же, но ее раздражало, что эта сопливая девчонка, которая еще совсем недавно бегала по улице без штанов, смела думать так же, как она. Они молча прошли половину улицы. На траве боролись и возились ребятишки. Экипажи опять стояли в ряд. У стены мочился какой-то человек, откуда-то доносилась брань с упоминанием всех родственников. Эта картина вызвала у девушек отвращение, и они поспешили домой.

■

Уличный фонарь в этот вечер не горел. Слабый свет из окон лачуги сторожа падал на могильные камни. Где-то выла собака. Салих под вечер вышел из дома и направился в знакомое кафе. Его встретили приятели, которых он давно не видел, и засыпали вопросами. На площади Баязид он повстречался с девушкой из Эренкёя *, подругой Невин. Они разговорились. Он узнал, что Невин надоело его бродяжничество. А товарищ-однокурсник, которого он видел в кафе, рассказал, что Невин ходит с каким-то студентом-медиком. Салих задумался.

На улице было холодно, гулять не хотелось. Ему было тоскливо, и он зашел в первое попавшееся кино. Артистка в фильме показалась ему похожей на Невин. Глаза и волосы у нее были в точности такие же, как у девушки из белого особняка в Эренкёе. Потом он вспомнил невестку хозяйки дома. И теперь артистка в фильме походила уже на ту смуглую, черноволосую женщину. Салих ушел, не дождавшись конца фильма.

По пути он пересчитал деньги. Их оставалось немного. Да, так больше продолжаться не может! Он должен возвратиться из своего странствия самым кратчайшим путем.

Салих шел в вечерних сумерках по улице, продуваемой прохладным ветром, и разглядывал рекламы кино. Он представлял себе смуглую женщину. Он мысленно заставлял ее разговаривать и смеяться. Да, так больше продолжаться не может! Он либо должен стиснуть ее в объятиях, почувствовать жар ее тела, либо бежать из этого квартала, вернуться в свой мир. Эта ночь, которую он проведет в холодной комнате, должна быть последней.

XX

Ровно в полночь вся улица была поднята на ноги. Сначала раздался женский крик, затем топот ног и брань. Из кофейни выбежали Зульфю и Фахри. Обитатели большого дома кинулись к окнам. Бросился к окну и Салих. В темноте виднелись люди, выскочившие из дома в нижнем белье. Голоса, пронзительный женский крик и грубый пьяный рев неслись из дома напротив кофейни. Кто-то сказал:

— Дерутся!

Зульфю подбежала к двери, откуда доносились ругань и вопли, и застучала в нее кулаками. Наверху открылось окно, и показалась взлохмаченная голова Хюсние.

---

* Предместье в азиатской части Стамбула.

— Он убьет меня! — закричала она, но чья-то сильная рука тотчас захлопнула окно.

Гёнюль и Сельма тоже выбежали на улицу. А их отец не пожелал расстаться с постелью. Он видел много таких драк, и они ему надоели. На улице Чужаков скандалы и драки были как хлеб насущный. Гёнюль поняла, что Хюсние получила трепку. «Видно, девчонку заметили с этим щеголем». Она протиснулась в толпу, одетая в розовое кимоно и мягкие пушистые туфли.

Зульфю колотила в дверь и кричала:

— Какая подлость... откройте дверь!

Всех мучило любопытство, все лампы были зажжены, все встали с постелей. На улице Чужаков драки обычно происходили на глазах у всех, поэтому таинственность этой раздражала.

Вдруг дверь распахнулась, и Хюсние босиком выскочила на улицу. Следом за ней появился ее свояк Тевфик. Он ругался, распространяя вокруг отвратительный запах водки. Около Тевфика немедленно собралась толпа. Подоспевший в последний момент Тахир схватил его за руку.

— Что тебе нужно от девушки? — сказал он.

Тевфик, тяжело сопя, закричал: «Не лезь не в свое дело, Тахир!» — и рванулся. Тахир удержал его. Все галдели наперебой. Зятья и невестки орали на Тевфика, Тевфик — на них, Зульфю — на всех, остальные — друг на друга. Тевфик попытался броситься на Тахира, но жена и Зульфю оттащили его. Хюсние, скрывшись в кофейне, рассказывала жене Фахри:

— Он бил меня и таскал за волосы... Разорвал все мои платья, грубая скотина, бродяга, бандит!.. Ни на минуту не останусь в этом доме!..

Женщины, окружив Хюсние, старались утешить ее. На улице продолжал бушевать Тевфик. Ярость его еще не прошла. Он рвался из рук Тахира и чиновника финансового управления. Сторожа почему-то не было видно, даже не слышно было его свистка.

Никто не мог понять, что случилось. За что Тевфик избивал Хюсние? Мясник Гани крикнул из окна:

— Наверно, Тевфик хотел изнасиловать свояченицу!

Многие думали то же самое.

Жена слепого хафыза смотрела на толпу издали, стоя у своих дверей. Окна верхнего этажа были закрыты. Расим в эту ночь где-то развлекался. А Решад слушал этот шум из комнаты Азаде. Гул голосов беспрепятственно проникал сквозь окно в комнату, но он не занимал Решада. Белокурая Азаде наконец открыла для него все двери своего великолепного царства. Она стояла перед ним полунагая, с распущенными волосами. Юноша одно мгновение созерцал эту жаркую и неведомую страну, на исследование которой ему предстояло отправиться. Ее руки, длинные пальцы с накрашенными ногтями были протянуты к нему...

Ее волосы рассыпались по подушке, одна нога свисала с кровати. Она молчала. Взгляд ее был погружен в глаза Решада. Оба слышали шум на улице, но не обращали на него внимания. Решад обнимал это горячее тело, вдыхал запах светлых волос, целовал шею, гладил белую ногу, свисавшую с кровати,— сладостное путешествие началось.

Салих по обрывкам разговоров на улице догадался, почему возник скандал. Получилось так: когда Хюсние гуляла со своим молодым человеком, Тевфик заметил ее и пошел за ними следом. В кино он сел неподалеку от них и видел, что, когда на экране проходили затемненные кадры, Хюсние и ее парень прижимались друг к другу и целовались. Он чуть было не бросился на них тут же в кино, но сдержался.

После кино он от огорчения напился в каком-то кабаке и вернулся домой поздно. Он застал Хюсние, когда она уже раздевалась, и с руганью стал колотить ее.

Теперь на улице начался скандал между невестками и их мужьями. Все жители принимали участие в их споре. Но Зульфю сохраняла спокойствие. Наконец появился сторож Сюлейман. С первого взгляда он понял, что произошло, и заявил окружающим:

— Ничего не случилось, а ну-ка, расходитесь!

Хюсние с плачем поднялась в комнату Зульфю. Тевфик с бранью оттолкнул жену и пошел в дом, а та, не переставая причитать, побежала за ним следом. Многие свидетели ночного происшествия, особенно наблюдавшие из окон, сожалели, что все так быстро кончилось, не превратившись в уличную драку. Некоторые вспоминали былые денечки. Раньше все было по-другому, говорили они. Тогда не было войны. Сейчас, как и во всем, нет смака — ни в драках, ни в скандалах. Ругательства стали беднее, кулаки — мягче, а люди — ничтожнее.

Все разошлись по домам. Хусню-эфенди, лежа в постели, услышал, что шум прекратился, и закрыл глаза. Квартал погрузился в безмолвие ночи.

XXI

Первой покинула улицу Чужаков Хюсние. В ранний утренний час тихонько вышла она из дома Зульфю. Без единой слезинки, не оглядываясь, она прошла по улице. Теперь она будет строить жизнь по своему желанию. О том, что она покидает квартал, знала только ее подруга Рахиме, которая ночью принесла ей вещи,— остальные узнали об этом позднее. Сестры Хюсние немного погрустили и скоро утешились. Никто особенно не думал и не горевал о ней. У всех были свои заботы. Каждый думал о себе. В домах начались сборы. Хозяева и жильцы домов, которые шли на слом, принялись упаковывать вещи. Почти все собирались поселиться в одном из тихих кварталов района. Новым пристанищем чужаков станет улица, состоящая из нескольких деревянных домишек возле давно пересохшего фонтана и старого минарета, улица, на которую никогда даже не падала тень высоких зданий, по которой вообще никогда не проходили хорошо одетые люди. Крики, смех и шум, годами оглашавшие улицу Чужаков, перенесутся туда, там начнутся новые скандалы и возникнет новая любовь.

Салих узнал от хозяйки, что она собирается покинуть квартал, как только получит деньги за дом. Но пока не вернется из армии сын, она предполагает поселиться у родственников. Невестка не показывалась. Салиха мучило то, что он покинет дом, так и не повидав ее.

— Я уеду сегодня к вечеру,— сказал он и ушел в свою комнату.

День прошел тихо. С улицы не доносилось ни звука. Окна домов не открывались. Салих с чемоданом в руке, в пальто и шляпе бесшумно спустился по лестнице. Ему было тяжело уезжать, не попрощавшись с молодой женщиной, не увидев ее живых, горячих глаз. Он медленно закрыл за собой дверь.

Салих шел торопливо. Дул холодный ветер. На небе снова появились темные тучи, снова собирался дождь. Салих остановился на мгновение и окинул взглядом улицу Чужаков. Он увидел большой дом, кофейню и другие дома. На него нахлынули воспоминания о тех нескольких неделях, которые он провел здесь, воспоминания о смуглой черноволосой женщине, и у него защемило сердце. Что бы он теперь ни делал, куда бы ни поехал, он никогда не сможет забыть, что однажды и он был одним из чужаков. Салих шагал задумчивый и грустный.

Его нагнала телега, нагруженная вещами, которую тянули две тощие лошади. За телегой шел сторож. Сынишка, которого сторож держал на руках, прижимал к себе кошку. Они шли, не оглядываясь. На скрип колес телеги — единственный звук, нарушавший тишину улицы,— открылось несколько окон. Это была первая телега, покидавшая улицу Чужаков. Увидев грустное лицо Сюлеймана, люди вспомнили об ожидавшей их участи.

Миновав кладбище, Салих подумал о том, что надо выходить на широкую дорогу. Это приключение можно считать сном. Жить нужно как прежде — спокойно и бездумно, не направляя свои мысли по следам этих колес, а расходовать их на нечто более приятное. Издали улица Чужаков показалась Салиху такой маленькой и жалкой, что он даже удивился тому, какие мысли мучали его там. Что ни говори — он был человеком другого мира. Эти два мира — такие разные — никогда не смешаются, пропасть между ними никогда не исчезнет. Следы этих колес не пересекали его пути. Это были следы настоящих хозяев улицы Чужаков — людей, не похожих на него и, может быть, более полезных, чем он. Салих должен идти своим путем. Он стоял и долго смотрел на грустный облик улицы под небом, покрытым грязными тучами.

Скрип телеги уже не был слышен. Салих сделал несколько шагов, у последней могильной плиты улица Чужаков кончалась. Вот уже каменные мостовые, высокие дома, звуки джаза, доносящиеся из раскрытых окон, хорошо одетые прохожие. Перед ним вся поддельная красота, обманчивый облик его мира. Через несколько шагов он опять станет человеком, не ведающим людских мучений, живущим только для себя. Он уставился на глубокие колеи, оставленные в грязи колесами телеги. Это был путь, по которому должны пройти все чужаки. За первой телегой проследует вторая, потом третья, и целый мир уедет на лошадях, чтобы разместиться на другой земле. И там Зульфю продолжит свои великолепные скандалы, кофейня снова будет наполняться людьми и пустеть, по утрам все будут уходить на работу, а вечером возвращаться домой. Там будут снова любить, грустить, смеяться и плакать. Уже сейчас ему казалось, что он видит, как по следу первых колес идут Зульфю, мастер, вагоновожатый, невестки, зятья, слепой хафыз и другие — мужчины, женщины, дети...

И пока первая телега, покинувшая улицу Чужаков под апрельским небом, похожим на грязный носовой платок, направлялась к местам, которых еще не достигло тлетворное дыхание города, Салих тем же путем, что и пришел, не оглядываясь, как вор, уходил с чемоданом в руке.

КАРЛ СЭНДБЕРГ

За многие годы...

Перевод с английского Ивана КАШКИНА

О других и о себе

Есть поэты затворники, замкнувшиеся в своей келье, уютном уголке, зеленых полях или в безмятежности земного существования. Есть поэты улицы и борьбы, пыли и дыма, грубости беспричинной или оправданной обстоятельствами, певцы простой жизни народа и жесткой для него земли, каким был в великой, но полузабытой поэме творец Петра Пахаря. И есть поэты, в творчестве которых переплетаются оба эти подхода. В наши дни Джон Синг сказал об этом достойные внимания слова: «Когда люди теряют поэтическое ощущение повседневной жизни и не могут больше писать о самых обыкновенных вещах, их страстная поэзия все же теряет силу своего накала... Многие из поэтов прошлого, такие как Вийон, Геррик или Бёрнс, использовали для своих стихов материал повседневной жизни, и такого рода стихи читали сильные люди, и воры, и священники, а не только горстка знатоков».

Поэзия и политика, отношение поэтов к обществу, к демократии, монархии, тирании — вот темы, которые еще ожидают своей классики. Кое-что, связанное с этим, я высказал, посвящая свою книгу поэту Стивену Винсенту Бене:

«Он знал различие между чистым искусством и пропагандой как устной, так и письменной. Музыкой своего стиха он мог утешать людей, доставлять им наслаждение. Он мог своими гимнами и псалмами призывать людей к действию. Он — пример писателя, чья честь и вера расширяли зону свободы для всех людей; он понимал, что носители идей погибают первыми вслед за гибелью свободы. Он видел, что молчание писателя о животрепещущих вопросах само по себе пропаганда поведения, ведущего к упадку и смерти свободы. Часто он писал в надежде, что слова его побудят людей действовать. А мог он быть и олимпийцем, прихотливым выдумщиком, выключавшимся из времени под роковой звон колоколов судьбы».

■

Есть поэзия, совершенная только по форме, «приодевшаяся тогда, когда ей некуда идти». Подсчет слогов, строго установленных ударений, а если требуется, и рифм — такие стихи похожи на искусное решение кроссвордов. Но чувства и ассоциации, ими вызываемые, не богаче тех, что возникают при виде «скелета дохлой сельди при луне» — та, хотя бы и запоздало, все-таки напоминает, что некогда это была живая рыба, резвившаяся в открытом море.

Поэт раскрывает свое понимание поэзии тем, что́ дает нам в своих стихах. Живописец определяет свое искусство тем, что́ наносит на полотно его кисть. Актер может воздать лучшую хвалу драматургии тем, как

он исполняет свои роли. Драматург воплощением драматического действия и характеров говорит о своем понимании роли театра. И так далее. Романист раскрывает свою теорию литературы сюжетами и героями своих книг. От этого не уйдешь. В этом запечатлено творчество писателей и писательниц. Мы обращаемся к нему, читаем, смотрим на сцене, может быть, обращаемся неоднократно, и для каждого из нас оно в нашем восприятии. Творец произведения может комментировать его как угодно, но значит оно для вас именно то, что оно вам дает. Он может раскрыть, откуда и как вещь возникла, но сейчас она существует уже помимо него, и с этим ничего не поделаешь.

С характерным для него лаконизмом и категоричностью формулировок сказал об этом Джордж Эйд: «Классична та книга, которой народ не дает умереть».

■

По мере того как годы и жизненный опыт формируют нашу духовную жизнь, мы возвращаемся к произведениям, которые отвергали в прежние дни, и теперь находим в них те ценности, какие тогда проглядели. Труд, любовь, смех, страдания, смерть с годами налагают на нас свой отпечаток, и мы размышляем над тем, что свершилось, моля, чтобы это были размышления, возвышающие душу. Песни и шрамы, тайны внутреннего развития — все это обостряет наш глаз и делает его способным различить намерения, которых мы раньше не видели ни в народе, ни в искусстве, ни в книгах, ни в стихах.

Конечно, бывает и наоборот. То, что мы отмечали в определенный период жизни, что в свое время считали веселым или поучительным, позднее мы находим неинтересным и скучным. Немногие шедевры переживают века. И мы обычно ограничиваем для себя их круг. Немногих шедевров для нас достаточно. И нам не всегда ясно, чем определяется наш выбор. Для каждого приходят свои, новые открытия и уходят в прошлое отвергнутые любимцы.

Может быть, нет ничего плохого и нет нарушения общечеловеческой справедливости в том, что каждый настоящий поэт обладает собственным стилем. Иногда этот стиль настолько своеобразен, что сразу становится ясным, кому поэт подражает. Шекспир, Вийон, Ли Бо, Уитмен — каждый из них выработал свой язык, свой образ мыслей и чувств и направил их по своему руслу. На необозримых путях книг — великих и малых — для каждого поэта допустима своя тропа, которая и приводит его туда, куда он хочет прийти, если, дай ему бог, он способен избрать свою тропу и твердо держаться ее.

■

В шестилетнем возрасте, как только руки мои впервые сложили буквы в алфавит, я решил стать тем, кто пишет. В десять лет я выцарапывал буквы на кусках черепицы, на бумаге, на ящиках и стенах и решил, что непременно буду писать вывески. В двадцать я был солдатом американской армии в Пуэрто-Рико и сочинял письма, которые печатались в газете родного моего городка. В двадцать один я поступил в Уэст-Пойнт и две недели сидел на парте рядом с Дугласом Макартуром и Улиссом С. Грантом третьим, а затем вернулся домой, выдержав испытания по географии, истории и правописанию и провалившись по арифметике и грамматике. В двадцать три я редактировал журнал своего колледжа и сочинял шуточные статейки, которые и теперь, спустя пятьдесят лет, кажутся забавными; то же относится и к студенческому альманаху, который я редактировал четыре года. На протяжении несколь-

ких следующих лет я написал много всяких стихов — две тонкие книжечки, не заслуживающие переиздания. Затем за шесть лет вышло четыре моих книги стихов, страдающих множеством недостатков, и никто лучше меня не сознает как их достоинства, так и недочеты. В двух книгах для детей, выпущенных в те же годы, есть несколько сказок, которые до сих пор имеют хождение, в том числе сказка о том, «Как два небоскреба решили завести ребенка». В пятьдесят я выпустил два тома биографии Линкольна и сборник «Мешок американских песен», породив этим разные суждения о том, кто же я: поэт, или биограф, или бродячий певец с гитарой, Ганс Христиан Андерсен Среднего Запада, или летописец текущих событий, например, автор статей, которые были собраны в книге «Расовые волнения в Чикаго». В пятьдесят один год я впервые написал биографию фотографа. В шестьдесят один вышло еще четыре тома биографии Линкольна, которая принесла мне докторский диплом Гарвардского, Йельского, Нью-Йоркского, Уэслианского, Сиракузского, Роллинского, Дартмутского и Упсальского (Швеция) университетов. Я все еще продолжаю изучать глаголы и тайну того, как они связывают существительные. И я, более чем когда-либо, недоверчиво отношусь к прилагательным. Я успел позабыть смысл двадцати или тридцати моих стихотворений, написанных тридцать или сорок лет назад. Я по-прежнему люблю несколько простых стихотворений, напечатанных очень давно, но все еще ценимых простым народом. Я писал очень по-разному, находясь в очень разных настроениях, меня редко пугала перспектива путешествия по суше и по воде — повсюду, где я мог бы встретить новые впечатления и найти новые песни. Всю свою жизнь я старался учиться читать, видеть, и слышать, и писать. В шестьдесят пять я начал свой первый роман, и работа над ним заняла у меня пять лет без одного месяца. И я продолжал путешествовать, по-прежнему ища впечатлений. Мне хотелось бы думать, что, продолжая писать, я найду действительно живые слова, с трепетными глаголами, с существительными, полными оттенков и подголосков. И если милостью божией мне доведется дожить до восьмидесяти девяти, как дожил до этих лет Хокусай, я, прощаясь с землей, может быть, по-своему перефразирую его слова: «Если бы бог соизволил отпустить мне еще пять лет жизни, может быть, из меня и вышел бы писатель».

(Из «Заметок к предисловию» в книге «Собрание стихов», 1950)

Мэг

Эх! Если бы мне никогда не встречать тебя, Мэг.
Если бы ты ради меня не бросала работу.
Если б нам не покупать тебе подвенечного платья
В тот день, когда мы с тобой побежали к священнику
И сказали, что любим друг друга и всегда будем любить
И заботиться друг о друге всегда и всегда,
Пока есть солнце, и дождь, и небо над нами.
Да, как бы хотел я сейчас не встречаться с тобою тогда,
Быть бродягой, ездить на буферах без цента в кармане.
И чтобы не было наших детишек,
И платы за квартиру, за уголь, за платье,
И счетов каждый день за бобы, за консервы,
И долгов бакалейщику, и судебных повесток.
Если бы мне никогда не встречать тебя, Мэг.
Если бы не было у нас наших детишек.

(Из сборника «Стихи о Чикаго», 1916)

Смерть одергивает гордецов

Смерть сильнее всех правителей, потому что они люди
и все люди умирают, а тогда смерть хохочет:
«Только вы их и видели».
Смерть сильнее всех гордецов, она щелкает их по носу,
бросает на стол кости и говорит: «Сочти и сдавайся».
Смерть что ни день шлет радиограмму: «Понадобишься, я загляну»,—
и в один прекрасный день она приходит с отмычкой,
присаживается и говорит: «Ну что ж, поехали».
Смерть как ласковая мать с заботливыми руками.
«Это же совсем не больно — просто пришел твой черед;
тебе нужно как следует отдохнуть, дитя мое;
а что может быть лучше, чем сон?»

(Из сборника «Дым и сталь», 1920)

Да будет с вами

Мир больших врат да будет с вами.
Ждите, когда раскроются створы.
Ждите, когда повернутся большие их петли.

Мир больших соборов да будет с вами,
Где затерянный в высоте органист
Один заставляет гудеть мощные трубы.

Мир великих книг да будет с вами.
Отпечаток клевера на страницах старых томов
И загар многих лет, опаливших кожу их переплетов.

Мир больших прерий да будет с вами.
Слушайте, как шумит ветер в стеблях кукурузы,
Как ветер поет, вспоминая свой извечный напев.

Мир больших морей да будет с вами.
Ждите его на остром мысу, на скале.
Ждите на песке соленой лагуны.

Мир больших гор да будет с вами.
Глаз неусыпный бессонных орлов.
Клочья тумана и простор горизонта.

Мир больших сердец да будет с вами.
Пульс разлитого в жилах светила.
Напор страстных к свету порывов.

Мир великих призраков да будет с вами,
Тех, что пляшут у вас в крови,
Восклицая: пустите нас, да пустите ж!

Мир больших перемен да будет с вами.
Шепчите, вы, зачинатели нового!
Играйте, дети! Завтрашний день, он для вас.

Мир большой любви да будет с вами.
Дождь, омой ее корни, ветер, сдуй с нее гниль,
Солнца лучи, соки земли ее укрепите.

Мир великих теней да будет с вами.
Тéней ночных, готовых уйти
Из туманной хмари к лучезарным вратам.

Да! Мир великих теней да будет с вами.
Мир железных отцов и бронзовых матерей
И чистый сплав их потомства.

(Из сборника «Дым и сталь», 1920)

Против течения

Что ни день, рождаются сильные люди.
Застрелен, повешен, болен, сломлен —
И нет их.
А другие живут, бьются, поют,
выплывают смеясь.
Сильные матери помогают им жить...
Сильные матери выручают в беде —
из хляби морей, из песчаных пустынь,
из-под горных обвалов.
Пойте им славу, хвалу, благодарность.
Что ни день, рождаются сильные люди.

(Из сборника «Камни прокаленного Запада», 1922)

Морской сундук

Была женщина и любила она мужчину,
а мужчина любил море.
Ее мысли о нем были точно такие,
как его мысли о море.
И старый морской сундук был общим их достояньем.

(Из сборника «Здравствуй, Америка», 1928)

Сонные видения

Темный синий ветер
Налетел с сентябрьского неба
На жнивье под желтой луной.
Я спал, или дремал,
И шепнул, прислушиваясь:
Деревья, ваши листья шуршат, словно дождь,
даже когда нету дождя.

(Из сборника «Новые стихи», 1957)

Двери

Открытая дверь говорит: «Войди».
Закрытая дверь говорит: «Кто там?»
Призраки и тени проходят сквозь запертые двери.
Если дверь заперта, и нарочно,—
зачем отпирать ее?
Если дверь отперта, и нарочно,—
зачем запирать ее?
Двери забывчивы, но только двери знают
то, что ими забыто.

(Из книги «Собрание стихов» 1950)

Народ — да

(Фрагменты поэмы)

Со всех четырех концов земли,
С закраин, овеваемых ветром,
Опаляемых огнем и дождем,
Оттуда, где рождается ветер
И мгла порождает потомство туманов,—
Приходят рослые люди с высоких предгорий
И сонные люди из сонных долин,
С барахлом и поклажей,
С малышами, твердящими: «А теперь куда?
Что же дальше?»

. . . . . .

Народ знает все, что знает земля,
И чет, и нечет, и тайны земли —
Медленный летний зной, и его увяданье,
И наползающий холодный туман,
И то, что не остановить ни того, ни другого,
И ничего другого от них не услышать, кроме:
«Я не спорю с тобой. Я тебе говорю».

. . . . . .

Белый человек начертил на песке маленький круг
И сказал краснокожему: «Вот что знает индеец».
А потом вокруг маленького начертил большой круг
И сказал: «А вот что знает белый человек».
Индеец взял прутик и обвел огромным кругом
Оба круга поменьше: «А вот этого не знает
Ни белый человек, ни краснокожий».

. . . . . .

Море, оно всегда движется, а ветер всегда дует.
Они стремятся, стремятся, и нет конца их стремленью.
То, что они поют, это песни народа.
Человек никогда не дойдет, он вечно будет в пути.
И привалы ему суждены, но лишь ненадолго.
Море и ветер ему говорят: «Будь самим собой,
отвечай на любовь,
всегда будь в борьбе и в стремленье».

. . . . . .

Деньги — могущество, говорит один.
Деньги — кубышка, говорит другой.
В деньгах — корень зла, говорит третий.
В деньгах — свобода, гласит старая поговорка.

Да, деньги — все это, но и больше.
За деньги можно купить все, что вам нужно,
если есть у вас деньги.
За деньги можно купить пищу, одежду, дома,
землю, пушки, бриллианты, женщин, мужчин, праздность
или досуг.
Но за деньги не купишь любовь, свое «я», свободу, бессмертье,
мир и покой.

Поэтому люди дерутся ради денег.
Поэтому люди грабят, режут, плутуют, лицемерят
и лгут.

Поэтому люди за сладкими речами прячут
свои козни, и яд, и оружие, все по реченью:
«На устах твоих мед, а в мыслях война».
Деньги — могущество, свобода, кубышка, корень зла,
Источник благодеяний.

Там, где падаль, там и стервятников стая.
Где сокровища, там и алчность.
Деньги порождают деньги.
Деньги правят миром.
Разговор о деньгах — это не слова о словах.
Любое ухо расслышит звон золота.
Деньги желанны и когда они пахнут.
Деньги — это нерв и любви и войны.
Деньги сокрушают мужчин и губят женщин.
Деньги — твердая опора.
И каждому человеку — своя цена.
Есть мужчины, которых не купишь.
Есть женщины, которых не сторгуешь.
Покупая судью — продаешь справедливость.
Так купить можно все. Только не день и не ночь.

. . . . . .

Народ будет жить.
Прозревая и ошибаясь, народ будет жить.
Его обманут, продадут и опять продадут.
А он приникнет к матери-земле своими корнями.
Народ столько раз возрождался и возвращался.
Не смейтесь над тем, что он на это способен.

Народ так часто бывал сонлив, утомлен, загадочен.
Бывает, что за него кое-кто говорит:
«Я зарабатываю на жизнь.
Мне хватает,
Но отнимает все время.
Будь у меня времени побольше,
Я больше делал бы для себя,
А может быть, и для других.
Я мог бы читать и учиться,
И обсуждать это с другими,
И разбираться в непонятном.
На это нужно время.
Будь только у меня время».

. . . . . .

Народ знает соль океана
И штормовую силу ветров,
Прометающих все концы земли.
Народу земля предстает
Могилой покоя и колыбелью надежд.
Кто еще может говорить от имени человечества?
Народ — он шагает в ногу
С созвездиями всеобщих законов.

. . . . . .

Небо над домной живет.
Белое пламя вздымается
Над темнеющей массой металла.

Человек давно уж в пути.
Человек еще достигнет цели.
Брат еще подаст руку брату.

Старая наковальня смеется над сломанными молотками.
Есть люди, которых не купить.
Рожденные огнем, не боятся огня.
Звезды плывут в тишине.
Ветра никому не унять.
Время великий учитель.
Кто может жить без надежды?

Во тьме, сгибаясь под ношею горя, народ идет.
В ночи, с охапкою звезд над головой, чтобы вечно светили,
Народ идет: «Куда? И что дальше?»

(Из поэмы «Народ — да», 1936)

Как два небоскреба решили завести ребенка

Стояли два небоскреба по обе стороны улицы. При дневном свете, когда на улицах было полно народу, покупающего и продающего, эти два небоскреба переговаривались друг с другом, как переговариваются между собою горы.

А в ночное время, когда все, и покупатели и продавцы, расходились по домам и на улице оставались дежурить только полисмены да шоферы такси, ночью, когда по улицам ползет дымка и окутывает все пурпурово-серым покрывалом, ночью, когда звезды и небо опускают на город пурпурово-серый полог тумана, тогда оба небоскреба наклонялись друг к другу и шептались.

Шептали ли они друг другу какие-то свои секреты или просто шептались о том, что известно и мне, и всему свету,— знали только они. В одном я уверен: многие видели, как они наклонялись друг к другу и шептались ночью, как и горы наклоняются ночью и шепчутся между собой.

На самой маковке одного небоскреба был маленький медный козлик, глядевший поверх прерий на серебристо-голубые озера, блестевшие, как голубая глазурь фарфоровых блюд, и на серебряные змейки рек, извивавшихся под утренним солнцем. А на самой маковке другого небоскреба была маленькая медная гусыня, глядевшая поверх прерий на серебристо-голубые озера, блестевшие, как голубая глазурь фарфоровых блюд, и на серебряные змейки рек, извивавшихся под утренним солнцем.

А Северо-Западный Ветер был другом обоих небоскребов. Прилетая издалека, одолевая за несколько часов пять сотен миль и всегда торопясь к спокойно стоящим небоскребам, всегда-всегда стоящим на том же перекрестке старых улиц, Северо-Западный Ветер всегда приносил новости.

«Ба! Я вижу, город все еще на месте»,— свистел Северо-Западный Ветер в уши небоскребов.

А они отвечали:

«А то как же. Ну, а скажи, Ветер, стоят ли на месте горы там, откуда ты сейчас прилетел?»

«Да, горы стоят там на месте, а за ними лежит море, и поезда по-прежнему идут, бегут по прерии к горам и к морю»,— отвечал им Северо-Западный Ветер.

И Северо-Западный Ветер, случалось, давал небоскребам все то же одно обещание. Часто он трепал маленького медного козлика и маленькую медную гусыню на маковках двух небоскребов.

«Ты что, хочешь сорвать у меня со шпиля моего маленького козлика?» — спрашивал один небоскреб.

«Ты что, хочешь сорвать у меня со шпиля мою маленькую гусыню?» — спрашивал другой.

«Нет,— со смехом отвечал Северо-Западный Ветер и одному небоскребу и другому.— Если мне вздумается сорвать у вас со шпилей и маленького медного козлика и маленькую медную гусыню, это будет в знак моего горя и сочувствия вам в вашей беде, когда случится вам кого-нибудь хоронить».

Долго ли коротко ли стояли небоскребы, и у них под ногами дежурили полисмены и шоферы такси, сновали продавцы и покупатели — с пакетами, свертками и узлами,— а наверху, высоко на их крышах, по-прежнему были козлик и гусыня, и по-прежнему глядели они поверх прерий на серебристо-голубые озера, блестевшие, как голубая глазурь фарфоровых блюд, и на серебряные змейки рек, извивавшихся под утренним солнцем.

Время шло, к ним прилетал Северо-Западный Ветер, приносил новости, давал свое обещание.

Время шло. И небоскребы решили, что надо завести им ребенка.

И они решили, что, если у них будет ребенок, это должно быть свободное дитя.

«У нас должно быть свободное дитя,— говорили они друг другу.— Не хотим, чтобы оно всю жизнь простояло на уличном перекрестке. Если будет у нас ребенок, пусть он свободно бежит по прерии к горам и к синему морю. Да, наше дитя должно быть свободным».

Время шло, у них появился ребенок. Это был железнодорожный поезд, Златорогий Экспресс, самый быстрый из дальних поездов страны Рутабага. Он ходил через прерии к горам и к дальнему морю.

И они были счастливы, оба небоскреба, счастливы, что у них свободное дитя, убегающее из большого города к горам и дальше, к синему морю, к самым дальним горам, к самому дальнему морю, где бывал только Северо-Западный Ветер.

Они были счастливы, оба небоскреба, что дитя их приносит пользу, что оно перевозит тысячу пассажиров за тысячу миль всего за один день, и когда при них говорили о Златорогом Экспрессе, они хвалили и его силу, и красоту.

Время шло. И вот пришел день, когда мальчишки-газетчики завопили словно угорелые. «Йа, йа, бла, бла, йо, йо!» — вот все, что разобрали из их крика небоскребы, которых вовсе не интересовало, о чем там вопят мальчишки-газетчики.

«Йа, йа, бла, бла, йо, йо!» — снова донесся до их шпилей крик мальчишек-газетчиков.

И так громко кричали газетчики, что небоскребы наконец прислушались и разобрали то, что они кричат: «Грандиозное крушение! Катастрофа с Златорогим Экспрессом! Масса человеческих жертв! Масса человеческих жертв!»

Тут налетел Северо-Западный Ветер, и зазвучала его протяжная, грустная песня. А к вечеру толпа полисменов, водителей такси, мальчишек-газетчиков, покупателей с узлами и свертками стояла, переговариваясь и глядя на что-то, лежавшее рядом на самой середине проезда.

Это был маленький медный козлик. И маленькая медная гусыня. И лежали они рядом друг с другом.

(Из книги «Сказки страны Рутабага», 1922)

ЦИПРИАН НОРВИД

Стихи

К 80-летию со дня смерти

■

(1821—1883)

Жизненный и творческий путь Циприана Норвида, одного из талантливейших польских поэтов прошлого века, был тернистым и сложным. Большую часть своей полной лишений жизни Норвид провел в эмиграции.

Молодым человеком в 1842 году он навсегда покинул родину. За границей изучал живопись, скульптуру, философию, эстетику, вначале попал под влияние консервативных кругов польской эмиграции, затем познакомился с выдающимися деятелями культуры того времени — Мицкевичем, Словацким, Герценом, Тургеневым и др. В поэзии Норвида преобладали настроения грусти, пассивного недовольства действительностью. Однако в лучших стихотворениях он выразил мечту о независимости Польши, отдал дань уважения борцам за свободу.

Творчество поэта не было по достоинству оценено современниками. В XX веке поэзия Норвида была открыта заново. Вот что пишет о Норвиде крупнейший современный польский писатель Ярослав Ивашкевич, обращаясь к советским читателям:

«Из веры в силу поэтического слова, в его насущную необходимость каждому человеку родилась необычная, но мощная и великая поэзия, создатель которой, пожалуй, менее других известен в Советском Союзе,— поэзия Норвида.

Облик Норвида трогателен и благороден. Его жизнь и творчество, пройдя сквозь суровое испытание одиночества и всеобщего непонимания, выдержали закалку необычайной трудности. С каждым годом поэзия Норвида все крепче срастается с жизнью народа. Самое существенное в польской действительности прошлого века выразилось в творчестве Норвида едва ли не с наибольшей глубиной».

В связи с восьмидесятилетием со дня смерти Циприана Норвида, исполняющимся в этом году, мы публикуем несколько его стихотворений. Более полно читатель сможет ознакомиться с поэзией Ц. Норвида в сборнике «Польская поэзия», который готовится к выпуску в Государственном издательстве Художественной литературы.

Джон Браун

Как дикие орлы в рассветный час
Вдруг просыпаются в тиши зверинца
И, забывая, что должны смириться,
О клетку бьют крылом, разгорячась,
И каждый раз смиряя их замах,
Железо клетки перья им сбивает,
И птицы грустным оком озирают

Кровавые заплаты на крылах
И вспоминают, замерев от боли,
О том, что на земле они — в неволе.

Вот так и вы! Избранники, борцы,
Орлы свободы, росшие в неволе,
Зачинщики, угасшие в подполье,
Младенцы в старцах, старые юнцы,
Что обветшалый времени закон
Усильем мышц и нервов сокрушают
И словно одержимые решают
Опередить неспешный ход времен,—
Приходите вы в мир не для того ли,
Чтобы понять: вы на земле — в неволе?

И вот как раз не здесь, у нас, а там,
Где сердцу вечно милая свобода
Как будто бы открыта для народа,
Подобная не зданью, а вратам,
Там, в молодой стране, седой старик,
Который по годам ровесник века,
Встал ныне на защиту человека,
У коего с рожденья черный лик,
Воздвигся, как пророк, над временами,
Чтоб жертвовать собою и сынами.

О люди, слушайте, как он, старик,
Беседует, не опуская взора,
С тюремщиком. Ведь на земле не скоро
Столь сдержанный родится бунтовщик.
Не скоро в мир придет такой боец,
Отважный старец, висельник почтенный,
Столь твердый волей, духом неизменный,
Великий вождь и жертвенный отец.
Его простая виселица краше,
Чем выставки диковинные ваши.

Уж скоро судьи пред собой солгут,
Померкнет флаг, где звезд семья мерцала,
И треснет правосудия зерцало,
Когда его на гибель поведут,
И он, сказав: «Аминь»,— и не склоня
Суровой головы перед толпою,
Сам оттолкнется от земли стопою,
Как вскакивает всадник на коня.

И станет он пятном на солнце алом.
И станет он пятном в зрачке усталом.
О тени тех прославленных мужей,
О Вашингтонов и Костюшко тени,
Которые явились в дни смятений,
Чтобы твою свободу звать своей,—
Не проклянут ли, глядя с высоты,
Америка, они твое деянье!
На знамя черное, на злодеянье
Укажут их суровые персты.
И скажут толпам бледного народа,
Что с Брауном повешена свобода!

Кроткую песнь не проси...

(Т. Ленартовичу)

Кроткую песнь не проси у поэта,
Замер во мне ее голос.
Если молчу я — не сетуй на это,
Цветом не сделаешь колос.

Я из отверженных этого мира,
Гордость во мне и мятежность.
Даже любовь в моем сердце двукрыла —
В ней и презренье и нежность.

Пусть же сплетает пурпурную пряжу
В сердце жестокая пряха.
Гордые — и перед господом даже,—
Молча мы терпим, без страха.

Перевод с польского Д. САМОЙЛОВА

Сиротливо

1

Я слышу, что прогресса достиженья
Нас делают богаче век от века.
Добро! Но в этом мне, простому человеку,
нет утешенья.

2

Цивилизация! Их вижу две я:
Одна открытья славные пророчит,
Другая же в нарядную ливрею
одеть все хочет.

3

Так, открывательница к солнцу мчится
И поколениям вещает: — Ждите,
Кой-чем смогу и с вами поделиться,
свершив открытья.

4

А прикрывательница? Та иначе
Нас утешает. Видя слезы жгучи,
Она вещает: — Вздор все ваши плачи,
так, дождь из тучи!

5

Двух опекунш таких благодаря урокам
Влачился б род людской в сиротском
состоянье,
Не будь ему земля объятьем доброй няни,
а солнце — ее оком.

Перевод с польского ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА

Б. РЮРИКОВ

РЕАЛЬНЫЙ ГУМАНИЗМ

В Веймаре, в архиве Шиллера и Гёте, мы как-то с друзьями рассматривали рукописи великих писателей Германии. В студенческие годы я внимательно штудировал знаменитую переписку Гёте и Шиллера — и не предполагал тогда, что мне доведется держать в руках подлинники этих писем. Стопки пожелтевших от времени листков лежали передо мной на столе. Потом нам показали рукопись «Лютеции» — книги гениальных гейневских раздумий о своей стране, о мире и человеке, книги страстного отрицания несправедливости, грязи и темноты, книги рвущейся в светлое будущее.

Работник архива, который показывал рукопись,— коммунист, строитель новой Германии. Он очень заботился о листах, исписанных нервным, стремительным почерком Гейне, раскрывал папки осторожными движениями, следя, чтобы на страницы не падал слишком сильный свет. Он хранил их для настоящего и будущего.

А в «Лютеции» Гейне писал о коммунизме. Поэт стремился всей душой к обществу, где торжествует справедливость и человечность, осуждал злые, темные силы, господствовавшие в современном ему мире. И в то же время его охватывали сомнения. Он боялся, что людям будущего станет не до искусства: «Грубыми руками беспощадно разобьют они все мраморные статуи красоты, столь дорогие моему сердцу; они уничтожат все те фантастические игрушки и безделушки искусства, которые так любил поэт; они опустошат мои лавровые рощи и будут сажать там картофель... Соловьи, эти бесполезные певцы, будут изгнаны, и — увы! — из моей «Книги песен» бакалейный торговец будет делать пакетики, в которые станет насыпать кофе или нюхательный табак для старух будущего... И все же, честно сознаюсь, этот самый коммунизм, столь враждебный моим вкусам и склонностям, держит мою душу во власти своих чар».

Гейне верил, что коммунизм несет народам счастье, благосостояние, возможность мирного, спокойного труда, что он вырвет человечество из-под власти раздирающих общество противоречий, и страстно приветствовал этот новый строй — пусть он даже будет равнодушен к искусству.

Невольно подумалось, как о многом говорит та любовная бережность, с какой человек новой Германии брал в руки рукопись Гейне. Нет, коммунизм не изгоняет соловьев, не сажает картофель на месте цветов, не отворачивается равнодушно от поэзии — он ценит и бережет страницы своего поэта, он ценит все прекрасное так, как не умел ценить ни один общественный строй в прошлом! Он дает всем хлеб насущный, но заботится и о ро-

зах. Книги Гейне действительно не только рвали, но и жгли на кострах — все знают, что это делали гитлеровцы, потерявшие человеческий облик охранники мира капитализма. Новый мир принял в свою духовную сокровищницу все лучшее, что создали умы и таланты прошлых веков.

В Программе нашей партии говорится, что культура коммунизма воплощает в себе все многообразие и богатство духовной жизни общества, гуманизм и высокую идейность нового мира. Это культура, основанная на подлинно научном революционном мировоззрении. Она наполнена новым идейным содержанием, освобождена от уродливого влияния частнособственнических отношений.

Человек социализма активно стремится к богатству духовной жизни. Карл Маркс писал, что в процессе создания социалистического общества в качестве действительной *цели истории* выступает человек, люди в их взаимных связях, он говорил о процессе движения, в котором люди «обновляют самих себя в такой же мере, в какой они обновляют тот мир богатства, который они создают».

Маркс предвидел всестороннее и гармоническое развитие социалистического общества и расцвет обновленной личности в нем. Он подчеркивал, что социалистическое общество производит «богатого и всестороннего, глубокого во всех его чувствах и восприятиях человека» *. Он связывал процесс развития человека с процессом развития производительных сил и общественных отношений. Маркс назвал свой гуманизм *реальным*, тем самым отграничивая его от туманных и расплывчатых понятий, мешающих ясно и точно определить суть подлинной человечности. Маркс и Энгельс вели теоретические бои с буржуазными либералами, «с истинными социалистами», с узкими догматиками за свое боевое и революционное понимание гуманизма. И вот уже более ста лет идет непрекращающаяся борьба за реальный, социалистический гуманизм.

КОЕ-ЧТО О ГУМАНИЗМЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Недавно в ряде крупных буржуазных газет Запада было напечатано «Коммюнике всем коммунистам», исходящее от небезызвестной организации «Моральное перевооружение». Авторы «Коммюнике» посетовали, что «Правда», «Известия» и другие коммунистические газеты не проявили готовности предоставить свои страницы для публикации документа, который должен-де стать достоянием людей во всем мире. По мнению скромных авторов, предложение их представляет «самое большое революционное начинание всех времен».

«Речь идет о революции, которая разрешает главную проблему всеобъемлюще и радикально, в колоссальном масштабе воздействуя на человеческую природу...»

Революция, как оказывается, заключается в том, чтобы перестать заниматься политикой, меньше думать об «изменении экономических условий» и принять «более значительную идеологию», чем марксизм.

Что же это за более значительная идеология?

«Многие говорят: проблема в том, капитализм или коммунизм, решение ее — либо в таком-то классе, либо в такой-то расе; но на самом деле она в человеке.

Это проблема не коммунизма, но характера.

Это проблема не капитализма, но характера.

Это проблема не расы, но характера.

Новые люди, которыми движут новые побудительные мотивы, построят новый мир».

Итак, «новые» побудительные мотивы заключаются в том, чтобы в человеке, а не в экономических, политических или расовых отношениях чайти решение проблем нашего времени. В человеке, стоящем *выше* недостаточно одухотворенных и благородных общественных отношений... Впрочем, любая истина раскрывается в конкретном выражении, в оценке реальных явлений. И вот какая конкретность предлагается нашему вниманию.

Для Африки организация «Моральное перевооружение» подготовила фильм «Свобода». О духе этого фильма можно судить по тому, в каких тонах сообщает о нем «Коммюнике»:

«Дедал Муго, один из руководителей восстания против колонизаторов в Кении, вернулся после 12-летнего тюремного заключения. Муго узнал, что вся его семья убита, дом уничтожен и земли конфискованы. После того как он посмотрел фильм «Свобода»,

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, М., 1956, стр. 594.

В. РЮРИКОВ
РЕАЛЬНЫЙ ГУМАНИЗМ

он сказал: «Я решил простить белым, так как я понял, что только так африканцы, азиаты и европейцы смогут жить в мире».

Авторы «Коммюнике», ратуя за нравственное обновление, ссылаются даже... на XXII съезд КПСС, записавший в Программу партии требование от коммунистов высоких моральных качеств. Они «забыли» только отметить, что в Программе партии сформулированы требования морального кодекса *строителя коммунистического общества.* Такая определенность позиций им настолько не по душе, что они решили о ней умолчать. И они формулируют свой вывод: «...Абсолютные моральные критерии — вот отправная точка для всех людей, критерии, которые нельзя изменить по произволу или во имя интересов отдельных личностей, партий или стран».

Итак — идеи гуманности, добра, всепрощения должны побудить людей забыть все противоречия и объединиться в одном трогательном порыве.

Эту точку зрения можно было бы назвать утопической и сентиментальной, если б не был так отчетливо виден ее вполне земной и конкретный *служебный* характер. Нет, сочиняли все это совсем не утописты, а люди, отлично понимающие, что к чему.

В старательных и неясных разглагольствованиях авторов «коммюнике» с полной отчетливостью раскрывается тактика некоторых «гуманистов» нашего времени, так сказать, схема их усилий, а это по-своему поучительно.

Гуманизм как оправдание примирения непримиримых сил, забвения реальных общественных противоречий — это лживое представление, при всей своей туманности, имеет вполне определенный и отчетливый *общественный смысл.*

Кто только не объявляет себя гуманистом сегодня! За гуманизм распинался Даллес, за гуманизм веры ратует католический патер Веттер, от имени гуманизма вещают экзистенциалисты, американский «специалист» по советской идеологии А. Мейер, растерявшиеся мистики и даже... Вилли Брандт. Идеологи «холодной войны», проповедники человеконенавистничества тоже проповедуют гуманизм.

Невольно вспоминаются строки Фаиза Ахмада Фаиза:

Остался ль в городе, Файз, хотя б один подлец,
Чтоб нам морали не читал, добру нас не учил?..

Конечно, попытки представить «абсолютные моральные критерии» морального перевооружения как «более значительную», чем научный коммунизм, идеологию, вызывают только усмешку. Что уж тут значительного! Но того обстоятельства, что антикоммунизм в своем стремлении влиять на массы использует гуманистическую фразеологию и нападает на «узких» марксистов с «широких» позиций гуманизма, нельзя не учитывать. Ханжеские и фальшивые призывы апостолов «морального перевооружения» — один из примеров того, как наши идейные противники пытаются свои охранительные и консервативные взгляды выдать за нечто прогрессивное, высокогуманное, придать им оттенок благородства. Они не выступают против революции — наоборот, они разглагольствуют о революции «более широкой и всеобъемлющей», чем марксисты... А на поверку вся «широта» сводится к призыву отказаться от осознания современных исторических противоречий, к осуждению борьбы, к рабскому смирению как норме поведения и этическому требованию.

То, что деятели «морального перевооружения» выражают в нехитрой крикливой прокламации, ученые мужи развивают в солидных книгах и статьях, со ссылками на исторические примеры, с цитатами из классиков философии. Прочтешь иной объемистый том вполне научной внешности — убористый шрифт, примечания, марка солидного научного учреждения, а смысла — не больше, чем в зазывно крикливом «коммюнике». Но как хочется всем этим пропагандистам показать себя прогрессивными, смелыми, высокогуманными... Они учат марксистов, как понимать гуманность!

В Вене недавно вышла книга социал-демократического публициста Оскара Поллака «Новый гуманизм». Автор книги — один из тех, кому хочется во что бы то ни стало быть на вершине современного мышления. О чем он только не рассуждает: о машинах и разорванности сознания, о предпринимательстве и об искусстве, о голоде и власти. Поллак хочет показать, что он не какой-нибудь консерватор, отрицающий общественные перемены,— он пишет о нашем мире как об изменяющемся и хочет определить, каким же должен быть в этом мире гуманизм. Он делает экскурс в историю гуманистических учений, чтобы показать, что человек никогда еще не получал полной свободы для развития всех сил,

и только сегодня открываются возможности достижения этой цели.

«Сегодня на повестке дня стоит не учреждение международной республики ученых, о которой мечтали первые гуманисты, а создание первой экономической и политической организации в континентальном и мировом масштабе — гуманисты нашего времени обязаны, несмотря на все национальные преграды, осуществить эту великую идею».

Идея, конечно, великая, но что же означают *реально* все эти туманные фразы? На какой основе думают социал-демократические мыслители создать столь могучую организацию «в континентальном и мировом масштабе»? Как видно из текста — на основе «слияния» с буржуазией, с господствующими классами. Поллак рассуждает о «плюрализме», о движении, объединяющем несколько различных философских течений. Под знаменем «плюрализма» диалектики должны объединиться с позитивистами, атеисты — с церковниками, марксисты — с кантианцами: все-де стремятся к единой цели! Обновленное общество будет создано гуманистами, провозглашает О. Поллак. Ни капитализм (который Поллак деликатно именует консерватизмом), ни коммунизм не смогут решить эту задачу.

«Гуманизм — мировоззрение, противоположное как консерватизму, так и коммунизму; оно противоположно первому, ибо утверждает прогресс, и второму, потому что оно человечно, потому что указывает на путь в будущее без насилия и диктата».

Еще Маркс издевался над попытками «истинных социалистов» рассматривать гуманизм как нечто высшее по отношению к коммунизму и социализму. Маркс писал о литераторах, «воображающих, что они поворачивают рычаг всемирной истории, между тем как на самом деле они лишь прядут бесконечную нить своих собственных фантазий».* Нынешние «истинные социалисты» также отвлекаются от реальных классовых противоречий, от борьбы реакции и прогрессивных сил и призывают к отвлеченной «человечности», к голубой идиллии, при которой никто никого не обижает и все трогательно лобызаются.

Итог высказываний О. Поллака подведен в последней строке его книги. Размышления о «справедливости», «свободе» и «человечности» он завершает словами: «Гуманистический манифест еще будет написан».

* К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2, М., 1955, т. 3, стр. 469.

Мы знаем ряд работ, созданных для опровержения «Коммунистического манифеста», для противопоставления ему, в том числе и «Капиталистический манифест» — незадачливое творение американских апологетов капитализма. Социал-демократический теоретик хочет «Коммунистическому манифесту» противопоставить некий манифест «гуманистический» — без социальной борьбы, без насилия, без преодоления сопротивления реакции, без борьбы идеологических лагерей.

Жизнь подтвердила правоту основоположников научного коммунизма и развеяла дряблую ложь сентиментальных «гуманистических» болтунов. Но снова поднимаются прекраснодушные пустословы и снова вяжут сеть пустых и сладеньких фраз...

Реальное содержание упражнений О. Поллака одно — антикоммунизм. Псевдогуманизм на службе антикоммунизма — таков на деле «новый гуманизм», который нам разъясняют в Вене.

Маркс был величайшим гуманистом, хотя ни у него, ни у Энгельса, ни у Ленина нет выспренних тирад о возвышенной любви к человечеству. Основоположники научного коммунизма обычно встречали такие тирады скептической улыбкой.

«Истинный социализм» 40-х годов прошлого века на место освобождения пролетариата путем экономического преобразования производства ставил «освобождение человечества посредством любви». Это была, как писал Энгельс, «отвратительная беллетристика и любвеобильная болтовня» *. Энгельс показал, как философия Фейербаха теряла свое революционное содержание, когда опускалась до проповеди спасительного значения любви вообще, до «всеобщего примирительного опьянения» **. «Теоретические представители пролетариев должны... покончить со всеми фразами, которые затушевывают эту противоположность и даже позволяют буржуа... приблизиться к коммунистам на почве филантропических мечтаний».***

В *реальном гуманизме,* о котором говорили Маркс и Энгельс, забота о благе людей и стремление создать достойные условия для жизни человека, для развития его лич-

* К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные произведения. М., 1952, т. 2, стр. 349.
** Там же, стр. 365.
*** К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, Изд. 2, М., 1955, т. 3, стр. 472.

Б. РЮРИКОВ
РЕАЛЬНЫЙ ГУМАНИЗМ

ности, утверждения его достоинства связываются с глубоким пониманием реальных отношений классовых сил, с революционной освободительной и преобразовательной деятельностью народных масс, с признанием ведущей роли рабочего класса и его партии.

Социалистическое движение имеет общечеловеческое значение, хотя оно не игнорирует конкретные социальные силы, не думает подняться «выше их»,— наоборот, именно воплощая стремления и энергию рабочего класса, народных масс, идущих с ним, значительной части средних слоев, присоединившихся к борьбе против капитализма, социализм воплощает интересы и стремления огромного, подавляющего большинства человечества. Вот почему уже в 1845 году Энгельс констатировал: «Коммунизм... является делом не одних только рабочих, а всего человечества» *.

Реальный гуманизм научного коммунизма — это не туманные фразы о счастье человечества — довольно их было сказано,— а исследование верных путей преобразования общества, которое принесло бы человечеству избавление от несправедливости антагонистического строя.

Марксизм разоблачал антигуманность эксплуататорского общества, он очистил гуманизм от всего, что ослабляло его, лишало его принципы действенности, делало их отвлеченными,— он придал гуманизму новую боевую и творческую силу.

Этот реальный гуманизм — высшая форма всех исторически существовавших форм гуманизма. В нем преодолевается ограниченность гуманистических движений прошлых веков. Это не значит, что наш гуманизм свысока смотрит на все предшествовавшие ему гуманистические теории. Подлинная научная теория умеет ценить по достоинству все, в чем находит свое выражение устремленная к социальному прогрессу человеческая мысль,— но все явления прошлого и настоящего должны быть оценены с учетом их сильных и слабых сторон, конкретно-исторически.

Превосходство идей реального социалистического гуманизма подтвердила практика, опыт революционных преобразований и борьбы за интересы трудящихся. Опыт обогатил и теорию гуманизма. Ленинизм показал, как в новых условиях сторонники научного коммунизма ведут борьбу, отвечая на новые потребности времени, он учит понимать новые уловки врагов гуманизма.

Да, враги гуманизма в новом веке тоже выглядят иначе. Наивно было бы думать, что наши противники десятилетие за десятилетием повторяют одни и те же фразы. Опыт победоносного строительства социализма, разгрома гитлеризма кое-чему научил их — сейчас не так уж многие осмелятся повторять кровожадные разрушительные призывы, кричать о необходимости покорения и уничтожения целых народов, обращаться к жестоким образам средневековья. Есть, разумеется, и такие — капитализм остался на человеконенавистнических позициях,— но они вынуждены их более тщательно маскировать. Поэтому его идеологи говорят больше о «сдерживании» освободительных движений, называют «оборонительными» свои союзы и планы. Агрессивная направленность и злая античеловеческая воля эксплуататорских классов не изменились. Но в новых условиях, когда в мире есть могучий социалистический лагерь, а роль народных масс в историческом развитии все возрастает, антикоммунизм все больше вынужден хитрить, маневрировать, лицемерить, скрывать свою разрушительную сущность. Возросло значение «прикрывающих мер», всякого рода дымовых завес.

ГУМАНИЗМ «ВООБЩЕ» И РЕАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

Расплывчатый, туманный «гуманизм вообще», приверженность к которому ни к чему не обязывает, «гуманизм», позволяющий уйти от реальной борьбы с реальными врагами интересов человечества, «гуманизм», облеченный в шелуху фраз о «современности», «атомном веке», «трагедии нашей эпохи» и т. д.,— это опасное оружие, силу которого наши идейные противники стремятся направить против нас.

Мы давали отпор — и должны делать это еще энергичнее — всем враждебным представлениям о гуманизме. Очень важно поэтому, чтобы в среде советских литературоведов была достигнута полная четкость в этих вопросах, чтоб никакая неясность не могла ослабить силу борьбы со взглядами противника.

Глубоко ошибочно представление о каком-то «едином» гуманизме. Такие взгляды находили свое выражение и в отдельных работах советских литературоведов. В книге

* К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2. М., 1955, т. 2, стр. 516.

Л. Копелева «Сердце всегда слева» немало интересных наблюдений и характеристик произведений современной зарубежной литературы. Но Л. Копелев взял на себя неблагодарную задачу показать, что существует какой-то «единый» гуманизм. Мы читаем у него:

«В острые кризисные периоды истории на принципы гуманизма и человечности охотно ссылались и ссылаются самые разнообразные либералы и оппортунисты, противники революционной борьбы. В полемике с ними некоторые революционеры стали различать понятия буржуазного или даже мелкобуржуазного и пролетарского или социалистического гуманизма... В действительности существует только один гуманизм — одно человеколюбие. Но зато возможно немало разных степеней приближения к ним...

Нет, не существует разных гуманизмов и разных человеколюбий, как не существует разных исторических правд и разных таблиц умножения...

Наш гуманизм неправильно отмечать каким-либо особым, пусть даже очень звучным прилагательным, ведь его главное отличительное свойство именно в том, что это и есть настоящий, последовательный гуманизм.

Нет разных гуманизмов. Есть один — настоящий, полное торжество которого возможно только в коммунистическом обществе».

Но можно ли к гуманизму подходить с той же меркой, что к таблице умножения? Дважды два — четыре и для ивановской ткачихи, и для Нельсона Рокфеллера, а вот представления о счастье, о достоинстве человека, об общественных отношениях у них разные. Да и гуманизм прошлого, о котором пишет Л. Копелев, был разным на разных этапах истории общества. И что означают «разные степени приближения» к подлинному гуманизму, которые согласен признать Л. Копелев? Не зависят ли они от исторических условий, от классовых сил, стоящих за данным выражением гуманизма? Но если так — теория «единого» гуманизма взрывается, разрушаемая неумолимо действующим зарядом историзма и диалектической конкретности.

Точка зрения «единого» гуманизма вредна потому, что она отделяет гуманизм от народности и партийности, от того, что дает *качественную определенность* социалистическому гуманизму, как части революционного мировоззрения. Основой всего содержания гуманизма с точки зрения партийности являются не расплывчатые антропологические представления, а научные и революционные критерии коренных *народных интересов,* которые выражает коммунистическая партия. Сторонники единого гуманизма так же, скажем, как сторонники «единого художественного стиля эпохи», тянут нас назад от ясных и точных представлений, выработанных марксистской наукой.

Путаники нашего времени любят рассуждать о современности и прогрессе. Тем не менее они остаются путаниками. Стирание граней между своим и чужим, стремление создать сомнительный «синтез» прогрессивных и реакционных взглядов объективно ведет, хотят этого или не хотят сторонники таких взглядов, к разоружению в идейной борьбе нашего времени.

Стоит вспомнить, что в первом издании коллективного труда «Основы марксистско-ленинской эстетики» вопрос об идейной классовой борьбе в искусстве оказался освещен в духе этой межеумочности. «Поскольку в СССР антагонистических классов нет, у нас не может быть различных классовых тенденций в искусстве». Да, наше искусство отражает морально-политическое единство народа, строителя коммунизма. Но разве уже покончено с еще сильным и опасным миром капитализма, разве уже можно забыть о пережитках прошлого в сознании людей? Или идейная борьба перестала быть классовой по своему содержанию? Можно напомнить и о том, сколько расплывчатых, обтекаемых, туманных характеристик рассыпано по страницам «Краткой литературной энциклопедии», некоторые из авторов которой решили, в порядке преодоления вульгарного социологизма, удариться во вкусовщину и всяческую неопределенность.

Делать гуманизм бессодержательной категорией, неопределенным качеством, которое в равной степени должно быть присуще всем — от бизнесмена до рикши — значит лишить само это понятие какого бы то ни было значения и потерять ориентировку в общественной жизни нашего времени.

Ясность понятий нужна не для того, чтобы отталкивать тех, кто не достиг еще высоты научных представлений, а, наоборот, чтобы целеустремленнее, с пониманием всей сложности общественных отношений привлекать их на свою сторону, использовать

все близкое нам духовное достояние гуманистов прошлого и настоящего. В подходе к таким явлениям, как гуманизм, особенно недопустимы догматическая одеревенелость и сектантская узость.

Есть узколобые сектанты, которые считают не правильным говорить об общечеловеческих целях нашего движения. Они предлагают изгнать из разговорного языка такие слова, как «общечеловеческое», «правда», «прогресс», «народ», «счастье» и т. д. Они не видят, что борьба за социализм и коммунизм наполнила эти понятия новым содержанием, связала их с жизнью трудовых масс, со строительством нового мира. В сущности догматики приписывают миру социализма те же позиции классового субъективизма, на которых стоит мир собственников. И эта узость выдается за революционность! Люди, рассуждающие так, могут достичь только одного — самоизоляции от прогрессивных сил современности.

Научный коммунизм при самом своем зарождении указал на значение общественных идей и сознательной активной деятельности для формирования личности. Для него неприемлемы пассивность, отъединенность личности от мира, эгоистическая замкнутость ее, равнодушие к жизни общества. Вместе с тем коммунизм выступил против идей грубого, уравнительного коммунизма — «справедливого строя», который якобы может быть осуществлен слепым послушанием, уравнением, нивелировкой людей. Полемизируя с Бакуниным, осудив наивно-утопическую регламентацию воспитания, работы, кормления детей и т. д., Маркс заметил: «Какой прекрасный образчик казарменного коммунизма!» *

Марксизм разработал широкое, ясное представление о коммунизме как общественном строе, высокоорганизованном, основанном на самой передовой науке и технике. Его непрерывно движет по пути прогресса активная творческая деятельность людей, свободно развивающих все свои силы и способности. В этом обществе без активности человека, без доверия к человеку нельзя идти вперед.

Гуманизм пролетариата, говорил М. Горький,— это «гуманизм силы, призванной историей освободить весь мир трудящихся от зависти, жадности, пошлости, глупости — от всех уродств, которые на протяжении веков искажали людей труда. Мы — враги собственности, страшной и подлой богини буржуазного мира, враги зоологического индивидуализма, утверждаемого религией этой богини».

Социалистический гуманизм — сила боевая, освобождающая и творческая, созидательная и объединяющая по самой своей сути. Но как только теряется определенность и ясность позиций, теряются и боевой дух и действенная сила гуманизма.

Искусство показывает мир и человека в свете идеалов художника. Но идеал для нас — не отвлеченная и умозрительная категория долженствования. Идеал формируется на основе глубочайшего проникновения в объективную действительность с ее закономерностями, ее ведущими тенденциями. Ленин говорил: «Идеалы» должны заключаться не в построении лучших и ближайших путей... Самым высоким идеалам цена — медный грош, покуда вы не сумели слить их неразрывно с интересами самих участвующих в экономической борьбе, слить с... «узкими» и мелкими житейскими вопросами данного класса».*

Сила наших идеалов в их жизненности, в их опоре на понимание реальных отношений, закономерностей развития общества. Это идеал не отвлеченно-мечтательный, а близкий к действительности, верный ей и помогающий перестраивать ее. Реалистическое искусство позволяет понять человека во всей сложности его духовной жизни, во всей реальности его отношений, оно воплощает глубокое и творческое понимание идеала в искусстве.

Литература говорит обществу о новых явлениях действительности, о новых типах, новых характерах. Чем богаче и значительнее эпоха, тем большее значение имеет обращение литературы к проблемам духовной жизни.

В своей знаменитой статье о Толстом Чернышевский раскрыл своеобразие творчества Толстого в связи с общественными потребностями той эпохи. «Никогда общественная нравственность не достигала такого высокого уровня, как в наше благородное время,— благородное и прекрасное, несмотря на все остатки ветхой грязи, потому что все силы напрягает оно, чтобы омыться и очиститься от наследных грехов».

---

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. М., 1940, т. XIII, ч. 2, стр. 622.

* В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Изд. 5, т. I, стр. 407.

В обстановке, когда революционные силы готовились к борьбе с феодально-самодержавной реакцией за преобразование общества, Чернышевский сказал о великом общественном значении этической темы. Обращение к проблемам нравственности — не уход от общественной жизни, а, напротив, активное вторжение в эту жизнь.

Чернышевский назвал описание психологического процесса внутренним монологом. Сейчас это одно из широко распространенных выражений в критической и литературоведческой практике. Проникновение во внутренний мир человека помогает углублению представлений о характере, развитии внутреннего действия, связи духовной жизни героя с деятельностью его. Об этом полезно вспомнить и в наше время — есть теоретики, которые, рассуждая о значении личности и о важности постижения духовного мира человека, готовы оторвать эту личность от общественной жизни, рассматривать сознание как нечто изолированное, отдельное от человеческой практики.

Любой объективный человек, следящий за зарубежным литературоведением наших дней, не может не обратить внимания на настойчивые попытки отгородить того или другого великого художника от общества, представить его одиночкой — самым талантливым, гениальным, но одиночкой, эдакой беззаконной кометой в кругу расчисленных светил.

Югославский литературовед Мирослав Бабович в своей работе «Концепция человеческой личности в творчестве Достоевского» писал так. «Эпоха, народ, класс — это поверхностные слои осознания бытия. В этих границах творят те, у кого не хватает дыхания для глубины. Достоевский под всеми этими наслоениями открыл общечеловеческое родство инстинктов, эмоций, реакций, одинаковых для всех, подобно тому как у всех нас, живущих на разных меридианах и параллелях, одинаковы кровь и дыхание».

Раскольникова мучит, по словам Бабовича, «жажда человека познать себя, жажда, которая не определяется ни временем, ни национальностью, ни классовой принадлежностью».

Французский критик Клод Руа сообщил в своей статье «Достоевский, или соль на раны», что творчество Достоевского легко объяснить, если подойти к нему с позиций... фрейдистской философии. Руа считает, что Достоевский был... бо́льшим фрейдистом, чем сам Фрейд; из своих наблюдений над человеческой психологией, над двойственным характером любви и т. д. Достоевский выводил политические и философские взгляды.

Но Достоевский — гениальный художник, а не регистратор психиатрической клиники. Многое в решении Достоевским социальных проблем ошибочно, но мы видим в логике обстоятельств, в самой глубине характеров, созданных писателем, отражение серьезных общественных процессов жизни страны.

В ряде работ о Гоголе, вышедших в Западной Германии, доказывалось, что герой «Шинели» — своеобразный, сугубо индивидуальный характер, не имеющий никакого социального значения, психологический тип, но не жертва определенного общественного строя, как говорила-де русская критика вслед за «увлекающимся» Белинским...

Максимилиан Браун, автор работы «Гоголь как сатирик», пишет, например, что сатиры Гоголя имеют свою психологическую тему, которая «развивается вне зависимости от социальных обстоятельств».

Так, тема «Ревизора» — «собственная его проблема»: «нечистая совесть и как ее выражение — последняя немая сцена». Для Гоголя, делает автор вывод, «общественный строй не является источником критикуемых неполадок».

Речь идет не об отношении к наследию того или иного писателя прошлого,— спор затрагивает более глубокие пласты. Надо видеть принципиальный и методологический, остросовременный характер подобных споров. Речь идет, в конце концов, о понимании связи творчества с реальной жизнью, с ее социальными противоречиями.

В этой проповеди вневременного и внесоциального психологизма находит выражение тенденция *разобществления* литературы, с которой так решительно боролся Горький.

Большое искусство всегда глубоко уходило корнями в жизнь. Характеры отвлеченные, расплывчатые, художественно бедные, лишенные деятельности теряют в своих эстетических качествах.

Этот вопрос имеет отнюдь не отвлеченный характер. В журнале «Франкфуртер хефте» недавно была напечатана статья Ф. Фейге «Партия и ее поэты», в которой автор выражает надежду, что советская литература вступает в период, «где индивидуум сбрасывает ставшее невыносимым иго общественного и реагирует на коллективизм то

фаустовским взлетом, то культом интимного и даже интимнейшего». Таким образом, если верить автору статьи, и взлеты мыслей и чувств, и углубление в сферу интимного противоположны *общественному* сознанию.

Года два назад в Гааге вышла книга Д. Белла «Конец идеологии», имеющая характерный подзаголовок: «Об истощении политических идей в 50-е годы». Автор книги утверждает, что в жизни современного человека значение политических идей резко падает, люди уходят от политики и общественной жизни, все больше погружаясь в свои личные проблемы, углубляясь в «самопознание», в глубины индивидуалистического отношения к миру. «Политический человек» принадлежит прошлому, а в современном обществе выдвигается «свободный человек».

«Свободный человек», далекий от политики, от общественной жизни,— таково «новое слово» буржуазной философии и социологии. Нетрудно видеть, что это «новое» есть перепев старых и давно разоблаченных передовой научной мыслью индивидуалистических и субъективистских положений.

Но в искусстве, проникнутом духом «автомобильной цивилизации», духом наживы и комфорта, культом сексуального опьянения, примитивного наслажденчества, личность принижена. Она становится маленькой, узенькой. Декадентство принижает личность и тогда, когда поет ей хвалу — провозглашает ее «независимой», отдельной и т. д.,— принижает уже тем, что отделяет ее от общества и лишает реальных сил, которые общество ей дает.

Реальная жизнь нашей эпохи, недавние социальные конфликты в Западной Германии, во Франции, Италии показывают, что против индивидуалистической мещанской философии все определеннее выдвигается стремление народных масс, их передовых сил к совместной, коллективной борьбе за свои права и интересы. Именно поэтому так и стараются пропагандисты индивидуализма.

Развертывание гуманистического содержания социалистической культуры происходит в неустанной идейной борьбе против антигуманистической лжекультуры старого мира.

ЧЕЛОВЕК, РАЗУМ И БЕЗУМИЕ

Подлинная культура связана с созиданием, она проникнута творческим духом, духом разума, утверждения и действия. Большая культура всегда была связана с нравственным здоровьем.

Французский искусствовед Рене Юиг писал в еженедельнике «Ар», что наше время ознаменовано как в науке, так и в искусстве и литературе «все более мощной иррационалистической тенденцией». Зримый мир утрачивает всякий престиж и неприкосновенность. Разум развенчивается, торжествует абсурд. Абстракционизм в искусстве, который Юиг называет «аванпостом современного идейного движения», находится «в той сфере, где разум вообще не играет никакой роли — даже в качестве противника».

Статья Р. Юига была помещена под рубрикой «Ведущие идеи века». Значит, «идея века» — представление об искусстве, чуждом реальности, «свободном» от разума, отданном во власть темных и мутных иррационалистических начал. Юиг сравнивает человека то со слепцом, который может передвигаться в пространстве, но не может видеть того, что его окружает, то с... межпланетной ракетой, которая отклонилась от расчетной траектории и несется в мировом пространстве по воле случая, без ориентиров, без всякого направления, «в абсолютном равнодушии бесконечности».

Пессимизм и растерянность принимают здесь почти космические масштабы. Но у космической трагедии, придуманной буржуазным эстетиком, вполне земные корни. В философско-эстетических терминах Р. Юиг выражает тот исторический тупик, в который зашло реакционное мировоззрение и классовые силы эксплуататорского общества, его породившие. С этой растерянностью, боязнью жизни связан и тот поход против реалистического искусства, который давно уже ведут буржуазно-идеалистические эстетики. Когда мы говорим о реализме, как наиболее плодотворном направлении в искусстве, речь идет не о стиле в узком смысле слова, не о выборе суммы приемов — речь идет о взгляде на жизнь. Реализм завоевал себе славное место в истории культуры и духовной жизни общества тем, что позволил глубже познать действительность, развитие классовых сил и судеб личности. Социалистический реализм — самая высокая ступень реализма, открывающая перед искусством возможности постигнуть всю многогранность и сложность жизни в свете самых высоких в истории человечества идей — идей социализма. Реализм нашего искусства неотделим от реального гуманизма. Это искусство вдохновляющее,

возвышающее человека, помогающее яснее видеть путь борьбы и созидания.

Самое большое преступление против живого и творческого духа искусства — изолировать себя от действительности, оказаться равнодушным к обществу, к человеку. У поэта-новатора и революционера Пабло Неруды есть такие строки:

Я знал художника из Никарагуа. Там
стремительны деревья и цветы свои
выбрасывают, как зеленые вулканы.
Потоки топят встречные потоки,
несущие лавину мотыльков.
А тюрьмы стонами и ранами полны.
Художник тот в Париж приехал,
и точку бледной охры написал
на белом, белом, белом полотне,
и в раму осторожно вставил.
И мне принес. И стало мне так грустно:
ведь за спиною человечка с точкой
льет слезы Никарагуа, но никто не
слышит.
И боль, и кровь, и мертвых Никарагуа
в тропическом лесу без слов хоронит.

«Человечек с точкой»... Человечки с точками, запятыми, косыми и ломаными линиями, грязными пятнами выдают плоды бедной, отрешенной от жизни мысли, а то и шарлатанскую мазню — за искусство. Но ведь искусство — сгусток передовой мысли и боевого чувства, творчество по законам истины и красоты, средство познания действительности.

«Какая революционная диалектика в его поэтическом правосудии!» * — писал о Бальзаке в одном из писем Энгельс.

В наше время для искусства, творящего поэтическое правосудие, особенно много дела: есть что утверждать, есть что карать. Но какое дело до правосудия мелким людям, ставящим перед собою мелкие цели?

Разобществление, ослабление идейного начала и нравственной значительности губят искусство, ведут к оскудению таланта, к его вырождению. Стремление к разобщению, к разрыву общественных связей реакционно, оно на деле служит силам классового и национального угнетения.

Создание социалистической культуры — процесс новаторского творчества. По-новому осмысливается наследие старого. Художник смелым взором проникает в современную жизнь, раскрывая ее самое глубинное содержание, ищет форму, соответствующую этому содержанию. «Человечек с точкой» робко смотрит на жизнь, растерянно отстраняется от нее. Он может симулировать внешнюю смелость, изображать самое лихое молодечество в отрицании опыта предшествующего развития, высказывать высокомерие в отношении к «будничной» деятельности и борьбе людей, но именно робость перед жизнью является определяющим началом его лихости. Подлинная смелость революционного новатора состоит в том, чтобы сорвать все и всяческие маски со старого мира и раскрыть во всей красоте и сложности новый, созидаемый миллионами мир. В этом — непреходящее значение произведений Горького, Маяковского, Шолохова, Арагона, Бехера, Брехта.

Года два назад мне пришлось беседовать с Ренато Гуттузо. Художник работал тогда в своей мастерской в уединенном домике на севере Италии над иллюстрациями к «Божественной комедии» Данте. Вдали синели хребты Альпийских гор, недалеко от домика, в котором мы встретились, раскинулось чудесное зелено-голубое озеро. Покой и красота царили вокруг. Тем сильнее воспринималась революционная острота произведений Гуттузо. Один за другим показывал художник свои рисунки — страстные, гневные, язвительные, обличающие. Главное место среди иллюстраций занимали сцены ада и чистилища. Гуттузо говорил, что райское блаженство меньше его интересует, в рисунках не было спокойствия небесных сфер. Вместе с Данте художник обрушился на злобу, подлость, жадность, зависть, лицемерие — на все то, от чего страдает человек. В адских муках извивались, расплачиваясь за свои грехи, себялюбцы и корыстные правители, лжецы и развратники. Злобные и лживые люди творческой волей поэта обречены были вечно ползать по грязи на брюхе. Среди фигур, созданных художником, был современный итальянский политический делец и некая личность с бородкой, в пенсне — художник поместил сюда одного из злейших врагов ленинизма. Я обратил внимание еще на одно лицо, на котором злоба боролась с болью и страхом. Ренато Гуттузо сказал, усмехаясь:

— А это художественный критик, который постоянно ругает прогрессивных художников.

Не академично? Возможно! Но вспомним, что Данте поместил в ад... папу римского, что на картине Страшного суда в Сикстинской капелле Микеланджело изобразил в виде злого судьи Миноса папского придворного Биаджио де Чезяну, нападавшего на художника за то, что тот осмелился рисо-

* Приводится по тексту журнала «Новый мир», 1957 г., № 8, стр. 216.

вать на фресках, изображающих Страшный суд, обнаженные тела.

Подлинное искусство никогда не боялось быть современным и воинственным, оно знало, как и на кого нападать. Ленин видел заслугу Герцена в том, что робкие и малодушные узнавали себя в его колючих характеристиках, он советовал Луначарскому «пригвоздить и заклеймить» ложь противников, сделать из них тип.

«Человечек с точкой» ратует за искусство вне идей и вне общественной борьбы. Это называется смелостью, это называется исканием! Истинно современное искусство непримиримо к индивидуалистической косности и ограниченности. В борьбе за великое общее дело проявляются смелость, талант, разум художника, раскрывается подлинное новаторство.

ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Не в одиночку мы движемся к цели, а вместе с любимыми,
Понимать научившись любимых, мы научимся всех понимать.
Люди полюбят друг друга. Наши дети будут смеяться
Над черной легендой о человеке, который был одинок.

Так Поль Элюар раскрывает горизонты гуманизма, горизонты любви к человеку, преодоления разобщенности людей. Но нечеловеческие отношения не исчезнут сами собой. Гуманизм требует, чтобы добро было показано в соприкосновении, в борьбе с противником. Возможности гуманизма раскрываются в разоблачении и преодолении бесчеловечности.

Герой романа английского писателя Алана Силлитоу «Ключ от двери» — молодой рабочий. Выросший в рабочей среде, он воспитал в себе *самостоятельность мысли,* и, когда судьба закинула его, солдата, в Малайю, он понял, что колониальная война — не его война, что желтолицые люди, к которым он должен относиться как к врагам,— на самом деле не враги ему. Силлитоу интересует духовный рост героя, укрепление его самосознания. Писатель понимает, что это не умозрительный процесс, это — результат восприятия и осмысления жизненного опыта: жизнь приучает видеть шире и глубже.

Человек общественный, деятельный, широко смотрящий на жизнь,— замечательное достижение нашей эпохи. Нет, современного человека не удалось запереть в клетку мелких и частных интересов, отъединить от мира. Образ такого человека все полнее воплощается передовым искусством. В творчестве Бехера, Арагона, Неруды, Олдриджа, Стиля, Незвала, Зегерс и многих других нашли свое развитие идеи реального гуманизма.

Идеи гуманизма отстаивает широкий круг борцов, их ряды все пополняются. Бесчеловечность мира капитализма, подъем освободительной борьбы народов, вдохновляющий пример социалистических стран — все это заставляет честных людей задуматься, и они дают гуманистические ответы на вопросы, которые ставит сегодняшний и завтрашний день. Они выражают тревогу за судьбу человека в буржуазном обществе, отвергая фальшивую безмятежность идиллических описаний. Они не скрывают беспокойства за судьбы культуры, за направление развития духовной жизни.

В романе Альберто Моравиа «Презрение» действует узкая группа людей — киносценарист, его жена, продюсер, режиссер и т. д., разговоры ведутся на профессиональные или семейные темы. Но роман сразу же захватывает чувством горькой тревоги, скептического раздумья: речь идет не об удаче или неудаче очередного фильма, а об общественной и нравственной среде, окружающей людей. Моравиа внимательно изучает моральный климат общества, в котором господствует денежный расчет. Любовь без любви, творчество без творчества, сотрудничество без уважения — и так вся жизнь: «без божества, без вдохновенья».

Киноделец Баттиста носится с идеей поставить фильм о странствиях Одиссея. И вот возникают три точки зрения на то, каким должен быть фильм.

Старый писатель Рейнгольд, немец, тяготеющий к философии, излагает свой замысел, подчеркивая его оригинальность. Действительно, куда уж оригинальнее: Одиссей не возвращается домой потому, что... в глубине души он не хочет возвращаться к Пенелопе. Вместо истории героических странствий — болезненная история семейного разлада. В древний, красочный, полный жизни и драматизма эпос вкрался мрачный психоанализ, внимание с реального мира переключилось на область патологически бессознательного, и краски эпопеи сразу поблекли.

Рейнгольд хочет превратить этот столь красочный и яркий мир, овеянный свежими ветрами, щедро залитый солнцем, населенный остроумными и жизнерадостными созданиями, в какой-то бесцветный, бесформенный, лишенный солнца и воздуха мир —

тайники души Одиссея. Значит, «Одиссея»— это уже не рассказ о замечательных приключениях, сопутствовавших открытию Средиземноморья в легендарном детстве человечества, а описание внутренней драмы современного человека, запутавшегося в противоречиях, близких к психозу.

Что касается кинодельца Баттисты, его точка зрения предельно проста:

«Чего хотел Гомер в своей «Одиссее»? Он хотел рассказать приключенческую историю, которая все время держала бы читателя в напряжении».

Баттисту не интересуют ни поэзия, ни романтика, ни пафос открытия новых миров — ему важен завлекательный сюжетец, который привлек бы зрителей и позволил бы заработать на пышной постановке.

Сценаристу, молодому писателю Рикардо, хочется выразить пафос Гомера, человеческое величие его героев, преодолевающих суровые испытания. Он наиболее близок к духу великого эпоса. Но он бессилен и беден. Не от него зависит направление работы. Гуманистическая гармония героического мира античности не сможет воплотиться на экране — против нее выступает пошлый расчет, господствующий в буржуазном обществе.

Обращаясь к участникам прошлогодней дискуссии советских литературоведов по проблемам гуманизма, английский писатель Чарльз Сноу писал: «Терпимость хороша, но в том случае, если она не ведет к пассивности в отношении надвигающейся опасной ситуации. Активный гуманизм должен понимать людей и сочувствовать людям, несущим ответственность перед лицом этой опасности, не уменьшая собственной обязанности уменьшить опасность. Великодушие — вещь хорошая, когда оно, однако, не подтачивает воли. Временами необходима ненависть. Но необходима и осмотрительность в том случае, если нет достаточной терпимости и великодушия...

Жизнь не столь проста, как иногда нас пытаются убедить в этом. Мы жили и живем в величайшей исторической буре, и вас это касается больше, чем какого-либо другого народа на земле»*.

Сноу сослался на свой последний роман «Дело», сказав, что эта книга, по его мнению, «вносит вклад в дело активного гуманизма». Писатель прав, его роман дает серьезный материал для размышлений о человеке, значении убеждений для его жизни, о гуманизме его повседневного поведения.

Это очень *английский* роман, он развертывается спокойно, неторопливо, но в его традиционности скрывается напряженное ощущение нового, пришедшего в духовную жизнь общества. «Дело» можно было бы назвать романом нравов — это роман нравов английской научной интеллигенции. Здесь все сложившееся, устоявшееся. Случай, которому посвящен роман, действительно из ряда вон выходящий. Молодого ученого Дональда Говарда обвинили в нечестности, исключили из совета колледжа, так как в его диссертации оказалась поддельная фотография. Казалось бы, все ясно. Но Чарльз Сноу подробнейшим образом рассказывает, как распутывалось это дело и как стали очевидными предвзятость и недоброжелательность ученого совета в отношении к Говарду, человеку левых убеждений. Выяснилось, что фотографию ему дал профессор, руководивший его работой. Скандал раздули люди, настроенные антикоммунистически, обрадовавшиеся возможности избавиться от марксиста, нежелательного человека.

Сноу прослеживает, как разные люди определяли свое отношение к делу. Многим пришлось преодолеть соблазн неучастия. «Решив остаться в стороне, человек всегда может оправдать свое решение здоровыми, человечными, возвышенными побуждениями. В роли стороннего наблюдателя очень много достоинства, но, если оставаться сторонним наблюдателем слишком долго, можно утратить все человеческие чувства»,— размышляет герой романа.

В замкнутом кругу ученых, нарушая привычный ритм их жизни, закипели страсти, разгорелись столкновения враждебных мнений. К тому же, приближались очередные выборы ректора, поляризация сил позволила пристальнее взглянуть на разных людей,— и оказалось, что добродушный рассказчик анекдотов является хитрым и расчетливым интриганом, а аккуратный казначей — яростным антикоммунистом, способным раздавить человека и спокойно пройти дальше. Но выяснилось и другое — ученые, занятые своими научными опытами, обычно державшиеся в стороне, выступили в защиту справедливости, против предвзятости консерваторов. «Мелкое» и «будничное» дело раскрыло сложность и противоре-

* «Вопросы литературы» № 11 за 1962 г., стр. 8.

чивость отношений в среде английской интеллигенции. Для честных людей со словом «гуманность» связана *ответственность*—активная борьба с силами влиятельных реакционеров. Человек *может* и *должен* на деле утвердить гуманизм.

Роман Вольфганга Кёппена «Смерть в Риме» принадлежит к знаменательным произведениям западногерманской литературы последних лет. Готлиб Юдеян, один из видных деятелей гитлеровской империи, вдруг появляется в Риме. Осужденный заочно Нюрнбергским судом, Юдеян укрылся в одном из арабских государств. Он — военный советник, готовит молодых солдат для смерти. Жестокий, грубый, наглый, он не научился ничему за годы, которые прошли после разгрома гитлеризма. Он еще мечтает снова завоевать Германию. Авантюрист, услужающий правителям арабского государства, он имеет в виду свои цели. Он по-прежнему грезит о войне, о разрушениях, о покорении народов. Он возмущен своим племянником, избравшим путь не солдата, а музыканта, он негодует на сына, которого духовный разброд привел в ряды служителей католической церкви. Его раздражает тихий, спокойно живущий, спокойно спящий Рим:

«...Рим спал без его разрешения, он дерзал даже видеть сны, дерзал чувствовать себя в безопасности. То, что Рим спит,— это саботаж, саботаж войны, которая не кончена... Будь это в его власти, Юдеян разбудил бы город, пусть бы даже трубами иерихонскими, трубами, от звуков которых рассыпаются каменные стены; пусть бы город разбудили трубы Страшного суда...»

Юдеян думает о возвращении в Федеративную Республику Германии, и обер-бургомистр его родного города Фридрих Вильгельм Пфаффрат даже видит во сне Юдеяна на коне, развертывающего знамя со свастикой,— сон, как говорится, реальный. А его сын, молодой Дитрих Пфаффрат, будущий юрист, твердо решил стать видным чиновником, он хочет властвовать, быть в числе господ.

Юдеян «верит в войну, во что же еще можно верить?» Антигуманистическая гитлеровская пропаганда — достояние не только прошлого, как старательно доказывают деятели Западной Германии, нет, это явление и сегодняшнее. Авантюрист Юдеян, респектабельный обер-бургомистр Пфаффрат, жена Юдеяна Ева, исступленная нацистская фурия, представляют силы, стремящиеся к возрождению фашизма. Действует инерция старых, человеконенавистнических идей гитлеризма, и это В. Кёппен талантливо и зло показал. Но черная сила сталкивается у Кёппена только со слабостью и растерянностью честных людей. Ищущий молодой композитор, молодой католический священнослужитель, талантливый дирижер, живущий своей музыкой,— вот силы, противостоящие в романе Юдеяну. Мельком упоминает писатель о девушке из Федерации коммунистической молодежи, о рабочих, готовых на борьбу с реакцией,— это действительно враги Юдеянов, но они только упомянуты. Кто же отстаивает гуманизм и культуру? Композитор Зигфрид вспоминает слова мыслителя о значении музыки: выдающиеся люди после дня забот слушают музыку, чтоб обновить свои души. Но кому нужна его музыка, он не знает.

Кёппен ненавидит Юдеяна, ненавидит до отвращения. Что же с ним, однако, сделать? Пустить в боннскую Германию, страну Аденауэров и Пфаффратов? Или отправить обратно в ту же арабскую страну готовить маленькую войну в ожидании большой? Но Кёппену хочется покарать палача сейчас, здесь, на улицах Рима. Он наказывает его безумием — исступленный, потерявший рассудок мечется Юдеян по городу, попадает в музей, ему, обезумевшему, все видится в кровавом тумане, он думает, что попал в газовую камеру, а белеющие статуи — это голые люди, которых будут уничтожать. Юдеяна окружают призраки его собственных зверств. Он падает в сердечном припадке и, истребивший столько живого и прекрасного, умирает на полу музея, в окружении шедевров ненавистной ему человеческой красоты.

Кёппен осудил уродливый и бесчеловечный фашизм, показал, насколько он враждебен гуманизму и культуре. Талантливый роман его — книга страстного отрицания. Но как усилилось бы гуманистическое звучание книги, если бы писатель показал силы, которые активно выступают против Юдеянов и Пфаффратов. В этом ограниченность и слабость его гуманизма, в котором ненависть к бесчеловечию еще не перековалась в активное и сознательное устремление вперед.

■

Гуманизм стремится к гармонии, к свободному и всестороннему развитию лично-

сти на основе единства общественных и личных интересов. Новый человек, строитель коммунизма, гармонически сочетает в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Но к этой высокой цели приходится идти, преодолевая сопротивление антигуманистических сил. Гармония в отношениях человека и общества, в развитии личности, о которой говорится в Программе КПСС, призывает не к примирению, а к борьбе против всего, стоящего на пути к счастью человека.

Мы знаем многих зарубежных писателей, далеких от марксистских взглядов на жизнь, но остро чувствующих неблагополучие мира, в котором они живут. Их честное, правдивое свидетельство помогает разрушать декорации фальшивого благополучия, которые строят охранители и пропагандисты старого строя. В мире, где нацистские палачи рассчитывают силы для новых прыжков, где преследуют передовых ученых, где мертвечина калечит живую душу искусства, где человек труда принижен эксплуатацией, не может быть примирения, не может быть успокоения.

Высшим проявлением гуманизма является сознательное участие коммунистов и передовых сил общества в борьбе за его революционное переустройство. Они отстаивают самую большую правду нашей эпохи, основное содержание которой составляет переход от капитализма к социализму, борьба двух противоположных общественных систем.

У Николы Вапцарова есть замечательное стихотворение «История». С какой страстью, какой силой мысли и чувства воспел поэт человека труда! Человек — вот сила, движущая историю. В полных взрывчатого пафоса строках этого стихотворения — динамизм и поэзия нашей эпохи:

О чем поведаешь, история,
нам на страницах запыленных?
Мы — неизвестные, которых
в цехах, в конторах — миллионы.

. . . . . .

Мы, дом отцовский покидая,
шли на простор нетерпеливо,
с надеждой жаркою мечтая
о жизни светлой и красивой.

. . . . . .

Наград за муки нам не надо,
и наших снимков за станками
не помещай в томов громаду,
что накопила ты веками.

Но расскажи простою речью
бойцам, идущим нам на смену,
что мы за счастье человечье
боролись стойко, неизменно!

М. ГОРДЫШЕВСКАЯ

КРУГ ЗАМЫКАЕТСЯ

(Заметки о современном колониальном романе)

Крушение колониальной системы империализма под натиском национально-освободительных революций меняет картину мировой литературы 50—60-х годов. Бурно растет и крепнет литература освобождающихся и борющихся народов стран Азии и Африки, выдвинувшая ряд ярких и самобытных талантов. Немало значительных и глубоко правдивых произведений, направленных против колониализма, в защиту справедливой борьбы угнетенных народов за свободу и независимость, появилось и в европейских странах. Ведущая роль здесь принадлежит сознательным борцам против империализма, художественно убедительно раскрывающим сущность исторических событий. Существенный вклад в разоблачение колониализма внесли те честные писатели, которые долгое время жили в колониальных странах и наблюдали колониализм и расизм в действии. Необходимость и справедливость борьбы против колониализма открылись в последние годы и некоторым крупным буржуазным художникам, далеким от передовых общественных идей, но искренне стремящимся разобраться в происходящем. Образование такого широкого фронта антиколониальной литературы свидетельствует о нарастающем протесте демократических масс стран-метрополий против колониальных войн и колониальной политики правящих кругов.

Этому направлению противопоставляет себя проколониалистская литература, и в первую очередь — колониальный роман, который развивается в скрытой, а иногда и явной полемике с прогрессивной литературой наших дней Всем своим строем колониальный роман тщится опровергнуть правду — правду о преступности колониального режима, правду о героической борьбе народов колоний против империалистического рабства. Некоторые из авторов этих книг попросту называют белое черным, а черное — белым, другие прибегают к более тонким методам лжи и клеветы. Но в любом случае характеры и ситуации, лживые по своей сути, оказываются искусственными, внутренне пустыми. Поучительный образец такой полемики — «Некрасивый американец» Бэрдика и Ледерера, написанный «в опровержение» известного романа Грэхема Грина «Тихий американец».

Колониальный роман — часть современной реакционно-апологетической литературы буржуазного Запада. Он примыкает к таким ее течениям, как, например, «деловой роман» в литературе США, ставящий своей целью героизацию бизнесмена, или западногерманский реваншистский роман. У этих течений единая цель — защита современного капитализма с помощью демагогических подделок под искусство. Колониальный роман нередко оказывается за пределами художественной литературы. И все же его нельзя просто игнорировать. Эти книги выходят в громадном количестве, они

оказывают влияние на читателей, играют определенную роль в пропаганде реакционных идей антикоммунизма, расизма, неоколониализма.

В колониальном романе наших дней отчасти продолжаются, отчасти трансформируются основные черты этого жанра, сложившиеся в конце XIX — начале XX века. Остается в силе главная демагогическая идея «необходимости и благодетельности» колониализма для народов колониальных стран. Сохраняются связанные с мифом о «цивилизаторской миссии» колонизаторов мотивы долга и жертвенности, героизация колониального чиновника, солдата, колониста-фермера. Но многое и меняется.

Отступая под натиском национально-освободительных революций, империалисты вносят значительные изменения в формы колониальной эксплуатации: прямое политическое господство заменяется экономическим закабалением, тактикой сделки с реакционными кругами местной буржуазии, используются и другие способы «модернизации» колониализма. В то же время империалисты не отказываются и от политики прямого насилия, от военного подавления национально-освободительных движений.

Новое время, время крушения и развала колониальной системы, заставляет вносить поправки и в колониальный роман. Центральным героем большого числа книг становится официальное лицо высокого ранга, государственный деятель, на практике осуществляющий новую тактику империалистических государств. Такому герою не нужна физическая выносливость и храбрость, меткий глаз и твердая рука, как не нужны стек и колониальный шлем. Его задача — улыбаться и пожимать руку «цветным» представителям бывших колоний, навязывая им искусно и хитро составленные конституции, договоры, соглашения и союзы. Герой этот, конечно, весьма условен и нередко приближается к некоему аллегорическому воплощению Долга — как его трактует автор. Не случайны и многочисленные попытки создать «положительный образ» местного политического деятеля проимпериалистического толка. Попытки эти остаются безуспешными: несмотря на старание разрекламировать друзей-колонизаторов, здесь то и дело прорывается расистское высокомерие авторов, что ведет к фальши вдвойне.

Примечательна и непосредственно политическая основа сюжета многих колониальных романов сегодня. Это — история перехода какой-либо колонии к независимости или автономии, история крушения или видоизменения колониальных порядков. В большинстве своем колониальный роман последних лет приобрел открыто пропагандистский характер: реакционной авторской тенденции подчинены сюжет и характеры, реакционные политические лозунги выпирают со всех сторон.

Оправдание и утверждение колониализма в его современном варианте — такова цель колониального романа нашего времени. Идейным фундаментом этого романа является антикоммунизм. Клевета на социалистические страны, на демократические, прогрессивные движения, на освобождающиеся от колониального рабства народы Азии и Африки — непременная его черта. Стремление империалистических держав удержать бывшие колонии и полуколонии в системе капитализма прославляется и возвеличивается в колониальном романе как героическая, благородная цель. Использование территорий зависимых стран в военных целях обосновывается необходимостью «обороны свободного мира». Экономические же интересы монополий — еще один важнейший фактор, притягивающий бывшие метрополии и США к странам Азии, Африки, Латинской Америки,— колониальный роман начисто отрицает. Так создается некий единый реакционно-демагогический идейный комплекс.

В колониальном романе можно найти чуть ли не все разновидности современной колониалистской идеологии — от «либеральных» до крайне реакционных, от проповеди неоколониального «компромисса» до призывов к расистскому террору и «реколонизации».

Примером различных способов защиты колониализма в современном колониальном романе могут послужить несколько книг английских и американских авторов, о которых ниже пойдет речь.

НЕОКОЛОНИАЛИСТСКИЙ КОМПРОМИСС, ИЛИ ХОРОШАЯ МИНА ПРИ ПЛОХОЙ ИГРЕ

Джеральд Бриджнорт, герой романа Алана Томаса «Губернатор» (1961),— убежденный и непоколебимый приверженец либеральной политики компромисса. Принцип

компромисса для него — единственная разумная основа частной и общественной жизни. Поэтому, принимая назначение на пост губернатора английской колонии Кхем (название вымышленное), Бриджнорт заявляет министру по делам колоний, что он либерал и верит исключительно в либеральные методы. Министр считает его «идеалистом», но Бриджнорт доказывает твердость своих убеждений и свою правоту. И как доказывает! Еще при предшественнике Бриджнорта в результате «интриг и происков красных» в колонии началась борьба за полную и немедленную независимость от Англии. И вот эти «экстремисты», «смутьяны» и «безответственные элементы» совершают покушение на Бриджнорта, нагромождают одно злодеяние на другое и, наконец, убивают его единственного сына. Но Бриджнорт по-прежнему настаивает на выполнении английским правительством его обещания о предоставлении Кхему автономии. В итоге «великий компромисс» достигнут: «народ» Кхема сообщает английскому правительству о своем согласии на создание «полунезависимого конституционного государства в системе Британского содружества» при условии, что «первым генерал-губернатором Кхема будет назначен сэр Джеральд Бриджнорт». Добродетель торжествует. А порок, разумеется, наказан: глава «экстремистов» Дракон падает жертвой собственного злодейского замысла.

Читателю остается только пролить слезы умиления — так благородны и великодушны английские колонизаторы в изображении Алана Томаса. А лицемерно-слащавые речи и рассуждения сэра Джеральда Бриджнорта так и просятся в хрестоматию неоколониалистской демагогии:

«Британская колониальная политика в наши дни означает переход от колониального статуса к самоуправлению в рамках Британского содружества».

И даже: «Я не заинтересован в том, чтобы управлять полицейским государством».

Из этой же хрестоматии, конечно, пришла на страницы романа клевета на руководителей народно-освободительного движения. Трудно переносимую фальшь своей книги Томас разбавляет небольшими дозами правды или полуправды. В одном месте автор разрешает своему «либеральному» герою признаться, что он, вообще говоря, не критикует старые колониальные методы, «но если один метод оказался неэффективным, то нужно попробовать другой». В приступе откровенности Бриджнорт рекомендует одному из своих сотрудников «делать хорошую мину при плохой игре». Но эта откровенность тонет в потоке патетических речей и благородных поступков губернатора.

Ну, а если читатель задастся вопросом: почему, собственно, англичане не хотят уходить из Кхема? Прежде всего, оказывается, потому, что это в интересах самого народа Кхема: «Коренные интересы населения Кхема требуют сохранения его вековых связей с Великобританией». К тому же, «жители Кхема испытывают чувства любви и привязанности к Англии. Не каждый этому поверит, но это так»,— говорит один из героев романа, редактор проанглийской газеты «Кхем таймс» Киприан Чадри. Да, этому трудно поверить... А вот объяснение министра по делам колоний звучит уже более правдоподобно: «Мы не можем рисковать... Мы не можем позволить, чтобы эта территория оказалась в руках сил, в политическом или каком-либо ином отношении враждебных нам». Но это еще не все. Кхем занимает важное место в «системе обороны Запада». «Проект В» — строительство военного предприятия особо секретного назначения «являлось одной из главных причин, в силу которых правительство должно было удерживать эту территорию». В сущности, уверяет нас автор, Англия старается сохранить свои колонии «ради общего блага». Об экономических интересах «самоотверженных» колониалистов он, разумеется, умалчивает.

И, наконец, самое главное: что же представляет собой «либеральный компромисс», ради которого герой романа приносит такие жертвы? Губернатору удается расколоть силы национально-освободительного движения и заключить соглашение с религиозным главой страны, «его святейшеством» Балу, который отказывается от требования независимости и соглашается на «конституционное развитие» страны под властью английского генерал-губернатора. Ситуация вполне правдоподобная. Подкупать реакционную верхушку колониальных стран какой-то долей власти английские империалисты умели издавна. Теперь эта тактика применяется гораздо шире и под новыми вывесками — «конституционное развитие», «самоуправление», «автономия» и даже «независимость». Это и есть пресловутый «неоколониальный компромисс» — сделка с реакционными кругами местных эксплуататор-

ских классов в интересах империалистов, минимальные уступки ради сохранения максимальных выгод. Как показывает история, и на эти уступки колониальные державы идут только под напором национально-освободительного движения, только в случае крайней необходимости. Алан Томас пытается представить этот «компромисс» как результат великодушия, бескорыстия, гуманности британских колонизаторов. Короче говоря, перед читателем почти классический образец «хорошей мины при плохой игре».

СПАСАЙТЕ, ЧТО МОЖНО!

Морис Эдельман в романе «Министр» (1961) отстаивает политику «неоколониального компромисса» более последовательно и на более «высоком уровне». Его герой, министр по делам стран Британского содружества и колоний Джефри Мелвилл, умелыми и хорошо рассчитанными ходами добивается «умиротворения» народно-освободительного движения в Кадове (название также вымышленное), одной из бывших африканских колоний Англии. В результате его усилий там создается «независимое государство в системе Британского содружества наций». После выполнения этой нелегкой задачи Мелвилл становится премьер-министром.

Надо отдать должное автору — он, как и его герои, расчетлив и осторожен и не грешит примитивным ханжеством Алана Томаса. Эдельман — сторонник решительных преобразований в формах колониальной политики. В программу действий его героя входит отказ от полицейско-террористических методов, предоставление политической независимости бывшим колониям, отмена расовой дискриминации, так называемая «экономическая помощь» и всяческое «сотрудничество». Единственное, чего не хочет автор,— это подлинной независимости африканских государств, действительного отказа от колониализма. В романе выдвигаются проекты использования ООН в интересах «группового» или «коллективного» колониализма, поддерживаются модные неоколониалистские лозунги «многорасового общества», «экономического единства», «континентальных федераций». «Экономические объединения» Запада, эксплуатирующие разного рода «союзы», «объединения» и «федерации» в Азии и Африке — таково последнее слово неоколониализма.

В чем же причина антиколониального движения, охватившего Кадову? Эдельман уклоняется от прямого и ясного ответа. Он остерегается высказать какое бы то ни было суждение о национально-освободительной борьбе. Он констатирует факт ее существования — и только. Правда, автор с отвращением описывает кровавую «технику» разгона демонстрации в колониях. Но он тут же насмешливо и раздраженно говорит о членах «Комитета в защиту Африки», которые пришли с протестом в парламент.

Непосредственным поводом для антианглийских демонстраций и выступлений в Кадове послужили «неофициальные» расистские высказывания Мелвилла, случайно попавшие в печать. «Я не лишен предрассудков,— оправдывается Мелвилл в откровенном разговоре с премьер-министром Коллардом,— но я стараюсь подавлять их». «Это характерная черта цивилизованного общества — держать в узде свои предрассудки»,— подтверждает Коллард. Почему же нужно держать в узде расовые предрассудки? А вот почему. «Мы потеряли империю и приобрели Содружество наций. Это куда более беспокойно»,— замечает Мелвилл в беседе с итальянским премьер-министром Карпино. Звучит это весьма хлестко, так же как и высказывание другого персонажа, министра финансов Ормстона: «Это ужасно старомодно — расстреливать толпы туземцев». Тот же Ормстон утверждает, что «английская публика не против политики силы», если эта сила действует быстро и эффективно; вот когда эта политика становится затяжной и дорогостоящей, тогда вспыхивает «моральное негодование против насилия». Если, как известно, лицемерие — дань, которую порок платит добродетели, то цинизм в данном случае — дань, которую лицемерие платит здравому смыслу.

Не приходится, конечно, спорить против авторитетного признания, что Содружество наций — своего рода эрзац-империя. Но почему «потеряна империя»? Почему стали «старомодными» репрессии и расстрелы? Почему слишком «дорого обходится» теперь политика силы в Африке и Азии? Вот о том, что империализм отступает и лавирует под напором национально-освободительных революций, защитники неоколониалистских «компромиссов» предпочитают

М. ГОРДЫШЕВСКАЯ
КРУГ ЗАМЫКАЕТСЯ

молчать. В сущности Эдельман призывает спасти, что можно, задержать окончательное крушение колониализма. И не удивительно, что роман завершается напыщенной речью героя, выдержанной в духе классической демагогии колониализма: «Нуждающиеся и голодные земли остались главным образом в Азии и Африке. Наши обязательства и наши интересы на обоих великих континентах требуют, чтобы мы подняли жизненный уровень наших африканских и азиатских братьев и могли бы, сидя за нашим столом, не испытывать чувства вины и стыда». Перемежая ханжество бравадой, изгнанный колонизатор милостиво улыбается. В конечном счете это все та же «хорошая мина при плохой игре».

КОЛОНИЗАТОР СКОРБЯЩИЙ, ИЛИ ПЛАЧ ПО ЭКЗОТИКЕ

Существует и такой способ сохранения видимости оптимизма — сведение существенного к пустякам. Действие множества романов происходит в каком-нибудь «модном» месте, в странах и городах, названия которых не сходят с газетных страниц. Но политические события упоминаются в такой дозе и таким образом, чтобы читателю стало абсолютно ясно: крушение колониализма и борьба народов за свободу — сущие пустяки по сравнению с любовными приключениями мистера X и супружескими изменами миссис Y. Словом, не придавайте значения политике, любуйтесь игрой страстей на фоне «синевы тропика Козерога», пальм, лиан, обезьян и прочих чудес экзотики. Реакционная направленность такой дешевки очевидна.

Но современным защитникам колониализма редко удается улыбаться — чаще они скорбят. О чем же сокрушается колониалист скорбящий? О потере владений и доходов? Ни в коем случае! Его огорчает судьба колониальных народов, которые без него пропадут, его огорчает неблагодарность народов, выставивших его за дверь, и, наконец, больше всего его огорчает гибель экзотики.

Запевалой модного «плача по экзотике» можно считать известную английскую писательницу Роз Маколей. Еще в 1956 году она написала примечательную во многих отношениях книгу «Башни Трапезунда». Это собрание путевых очерков, эссе и сатирических сценок, нанизанных на весьма расплывчатый сюжет. Размышления автора касаются религии, искусства, истории, современной цивилизации вообще и отношений Востока и Запада в частности. Роз Маколей призывает к стоическому примирению с крахом Британской империи. Никаких планов «спасения» и сохранения остатков былого могущества она не предлагает.

«Не надо было...» — вот к чему по существу сводятся горестные размышления Роз Маколей о британском империализме. Почему же не надо было завоевывать колонии, создавать и расширять империю? Может быть, запоздалое раскаяние относится к кровавым преступлениям империализма? О нет, об этом респектабельные английские либералы ничего не помнят и не знают. Может быть, автор прямо или косвенно признает, что предприятие стало убыточным? Нет-нет, о такой прозе люди с хорошим вкусом не говорят «Не надо было» потому, что жаль экзотику. «Исконную» красоту Востока, разрушаемую «вульгарными» и «безобразными» фабриками, плотинами, асфальтированными шоссе, оплакивает Роз Маколей.

Оплакивание исчезающей экзотики стало штампом колониального романа. Даже самые откровенные расисты, приписывающие народам Азии и Африки неискоренимую дикость и варварство, тут же не моргнув глазом восхваляют «хорошего дикаря с копьем», противопоставляя его «испорченному цивилизацией» негру — члену парламента.

В романах, идеализирующих патриархальную экзотику, речь идет обычно не о тех «красотах», которые рекламируют туристские агентства, «коммерческое» кино или модные песенки. Каждый претендующий на серьезность автор считает своим долгом вступить в полемику с рекламной экзотикой. Но замена глянцевитой дешевки «натурными съемками» не меняет демагогической сущности этого направления.

ГЕРОЙ «ГРЯЗНЫХ ВОЙН» И КУЛЬТ НАПРАСНОЙ ЖЕРТВЫ

В современном военно-колониальном романе речь идет чаще всего о французской армии и бывших французских колониях — ведь Франция после второй мировой войны более пятнадцати лет вела «грязные» колониальные войны. Но воспевают разбитых защитников второй великой колониальной империи не только французские реакционеры. Американский журналист Говард

Симпсон посвящает свой роман «В тихой долине» (1961) «парашютистам Индокитая». Сюжетная основа романа — одна из проигранных кампаний французской армии во Вьетнаме.

Операция, намеченная французским командованием, заранее обречена на неудачу. Это с самого начала понимают герои романа — генерал Гоголэн, командир особого отряда парашютистов капитан Бертран и другие опытные офицеры. Но все — и офицеры и солдаты — мужественно выполняют свой долг, героически сражаясь и погибая в «тихой долине» Лао Банг.

В книге Симпсона развивается и утверждается модная реакционная идея героизма «напрасной жертвы».

Говард Симпсон не отказывается от термина «грязная война». Но в его изображении солдаты и офицеры, парашютисты и легионеры непричастны к этой грязи. Они чисты в своей доблести и самоотверженности. Особенно чистым, сияющим светом озарены наемники иностранного легиона, которые на страницах книги погибают (с «Марсельезой» на устах!), но не сдаются. По Симпсону, войну во Вьетнаме делает «грязной» не то, что это несправедливая, грабительская война, а то, что по вине бездарного высшего командования напрасно гибнут «геройские парни». В одном месте, правда, автор упоминает о сожженных деревнях и согнанных с земли крестьянах, но этим его сочувствие вьетнамскому народу исчерпывается (если не считать еще «положительного» образа вьетнамки Мармн, шпионки и «королевы шлюх»). О народно-освободительной армии Вьетнама Симпсон говорит со злобным раздражением. Если он признает мужество и стойкость бойцов народной армии, то тут же стремится опорочить мотивы их героизма, повторяя стандартные клеветнические измышления колонизаторов о народах Азии.

Проигранная битва в «тихой долине», по мысли Говарда Симпсона,— символ всей войны в Индокитае, войны заведомо бесперспективной. Почему Симпсон считает эту войну безнадежной? В романе встречаются здравые суждения о том, что воевать против людей, борющихся за свою землю на своей земле,— безнадежно. Несмотря на это, Симпсон всецело на стороне французской армии. Бессмыслица? Бессмыслица, в которой есть свой смысл. Если раскрыть «фигуры умолчания», то выяснится, что ответственность за войну во Вьетнаме Симпсон возлагает на... коммунистов. Оправдание колониального грабежа антикоммунизмом — вот что скрывается за недомолвками автора. Как ни бранят персонажи романа «разжиревших политиканов» в Париже, у них общая цель. Французская армия, по Симпсону, бескорыстно и самоотверженно защищает Вьетнам от коммунизма, но вьетнамцы этого не ценят: крестьяне, «обманутые коммунистической пропагандой», видят в иноземцах армию захватчиков, а местная буржуазия ведет двойную игру, наживаясь на войне; все это и предопределило неизбежное поражение французов в войне против Вьет-Мина.

Вот таким образом война во Вьетнаме становится в ловких руках Симпсона одновременно и бессмысленной и оправданной, и «грязной» и чистой, и напрасные жертвы оказываются не напрасными. Прославление солдата проигранной войны для воспитания солдата будущей войны — в этом суть книги Симпсона.

Роман Симпсона своей демагогией удивительно напоминает реваншистский западногерманский роман, оплакивающий «безвинную» гибель и страдания «доблестных» немецких солдат в степях России. Дело здесь, конечно, не в заимствованиях, дело в идейной близости. Оправдание и возвеличение мелких соучастников больших преступлений — непосредственная задача военно-колониального (как и реваншистского) романа; пропаганда захватнических войн и неофашизма — его конечная цель.

КЛЕВЕТА КАК ПРИНЦИП И МЕТОД

Без клеветы на освободительную борьбу народов колоний и зависимых стран не обходится ни один колониальный роман. Но есть специалисты этого дела, есть книги, целиком заполненные клеветническим изображением борьбы народов Азии и Африки за независимость. Один из таких «трудов» — «Прах вэджингов» (1959) Дениса Робертса. Действие происходит в вымышленной английской колонии в Африке — Вэджингаленде. Сатирическое изображение сконструировано по ходовой схеме: а) всякое национально-освободительное движение инспирируется извне, а сам народ в нем совершенно не заинтересован; б) руково-

---

М. ГОРДЫШЕВСКАЯ
КРУГ ЗАМЫКАЕТСЯ

дители движения — скопище всех пороков; в) они становятся жертвой собственных козней и терпят полное поражение. Роман кончается восстановлением колониальной «идиллии». Концентрация глупости в книжонке Робертса явно превышает переносимую дозу.

Но не всегда соединения злобы и глупости так легко «саморазлагаются». Страницы романа Дональда Мура «Суматра» (1959) пропитаны куда более стойким ядом. Книга Мура — почти хрестоматийный образец антикоммунизма. Прокоммунистическими объявляются любые демократические организации, любые прогрессивные движения («орудием коммунистов» оказывается даже Организация Объединенных Наций). Против народов колониальных стран, борющихся за свободу и независимость, автор направляет массированный огонь грубой лжи и клеветы. Традиционное предупреждение автора, что им описаны «вымышленные люди и события в несуществующей стране», пожалуй, единственные правдивые слова во всей книге.

Действие происходит в некой обобщенной Колонии *. Центральный персонаж романа — евразиец (то есть человек смешанного происхождения) Филипп Мета. Вернувшись из Англии, где он получил образование, доктор Мета с энтузиазмом включается в антиколониальное движение, но, как уверяет автор, убедившись в своекорыстии руководителей и бессмысленной жестокости «толпы», разочаровывается в нем. История «прозрения» Филиппа Мета и составляет сюжет романа. О метрополии автор упоминает только мельком; Дональд Мур как бы обращается к местной буржуазии и интеллигенции, доказывая, что им следует бояться национально-освободительных революций и искать защиты у британских колонизаторов. Так и поступает один из ведущих персонажей книги, премьер-министр Колонии миллионер Ли Лэй Сенг. До поры до времени он ведет двойственную политику, поддерживая Гражданскую партию, добивающуюся независимости страны, но в конце концов прибегает к помощи английского губернатора.

Английская буржуазная пресса называет Дональда Мура «человеком твердых взглядов», ясно сознающим, чего он хочет. А хочет он утвердить политику сделки с национальной буржуазией для совместной эксплуатации народа и подавления народно-освободительного движения. Дональд Мур подчеркивает, что он не расист. Он даже одобряет смешанные браки. Он согласен уважать и малайцев, и индийцев, и китайцев, если они богатые. Вот бедняки — те отвратительны и опасны!

Мур упрекает голодных, гибнущих в беспросветной нужде людей в том, что в основе их возмущения лежат экономические, материальные интересы. С презрением, смешанным с тревогой, он замечает, что политическая независимость интересует их не как самоцель, а как средство достижения лучшей жизни. Лидеры, разъясняет автор, злонамеренно убедили массы бедняков, будто бы в их нищете повинен колониализм, в действительности же их положение было бы еще хуже, если бы не «рука помощи» белого человека. Кто же в таком случае повинен в бедственном положении народных масс? Они сами, нагло утверждает Мур.

Но если изображение страдающего народа в романе уникально по своему цинизму, то с поистине кипящей ненавистью говорит Мур о народе борющемся. Здесь Мур выступает как профессиональный мастер провокаций. Он не только приписывает восставшему народу бессмысленную жестокость. Фальсифицированные описания забастовки, мирной демонстрации и митинга смонтированы с таким расчетом, чтобы доказать «абсолютную необходимость» подавлять и разгонять их силой оружия. Газетные сообщения о том, что «полиция обстреляла безоружную толпу», автор цитирует с подчеркнутой иронией. Еще бы — ведь даже отдаленный шум шагов демонстрантов вызывает у него «выворачивающий внутренности» ужас. Автор все время говорит об «инстинкте разрушения», якобы присущем народным массам, он постоянно твердит, что «они» готовы «убивать людей голыми руками», «рвать их на части» и т. д. В злобной книге Мура явственно видна сущность любого колониального романа — его антинародность.

«НАСТУПАЕТ НОЧЬ»

Неоколониальная политика компромисса включает в себя официальный отказ от расовой дискриминации. Поэтому авторы, ратующие за новые формы колониализма, как правило, открещиваются от расизма.

* Хотя роман озаглавлен «Суматра», речь идет не о Суматре. Если уж назвать конкретное место действия, вернее, непосредственный объект клеветы, то это Сингапур.

Но старый, «классический» колониализм далеко еще не ушел со сцены, и немалое число книг и по сей день культивирует и распространяет расизм. Никого не удивит, разумеется, что образцы этого рода литературы появляются в ЮАР. В 1959 году католический священник Лоренс Джеймс Маккаули (псевдоним — Юджин О'Доннел) написал роман под многозначительным названием «Наступает ночь». Ненависть, страх и отчаяние — на этих трех нотах держится роман О'Доннела. Борьбу угнетенных народов Африки против колонизаторов О'Доннел переводит в конфликт расовый, в войну «цветных» против «белых».

Центральный герой книги доктор Мануэль Эрисп — незаконнорожденный сын белого и цветной. Преследования, обиды и унижения настолько озлобили и ожесточили Мануэля Эриспа, что ненависть к белым и жажда мести стали единственным содержанием его жизни. Однако он слишком эгоистичен и труслив, чтобы принимать участие в активной борьбе. Он только мечтает о том времени, когда восставшие негры «перережут глотку белым» и отомстят за него. Признавая, что характер Мануэля Эриспа сложился в условиях расовой дискриминации, автор приписывает ему отталкивающие, низменные черты. Он стремится создать впечатление, что его герой вполне заслуживает презрение и ненависть, травлю и преследования. Таким образом, вина перекладывается с общества на личность, а затем с отдельной личности на расу.

В предисловии О'Доннел лицемерно сокрушается о том, что «политический климат» страны неблагоприятен для тех, кто стремится к «созданию многорасового общества», в котором представители различных рас «могли бы мирно жить и трудиться в целях общего счастья и преуспеяния». Он даже осуждает «опасные крайности» расовой политики реакционной правящей националистической партии. Но это в предисловии. А в самом романе О'Доннел доказывает, что всякие попытки преодоления расового барьера ведут к катастрофе. Об этом свидетельствует, по мысли автора, судьба американской миссионерки Анны Халворсен. Анна стремится проникнуть в самую гущу цветного населения Кейптауна, жить «среди цветных как одна из них». Но в конце концов она признается доктору Эриспу, что не может преодолеть отвращение к африканцам. И тогда автор заставляет героя книги дать выход своей ненависти в том преступлении, которое давно уже стало стандартом расистской клеветы и провокаций,— в насилии над белой женщиной. «Когда-нибудь все они, униженные и сломленные, будут вот так выть, валяясь у ног цветных, которых они презирали»,— упивается своей местью Мануэль Эрисп. Что должен делать читатель, поверивший автору? Ему остается только схватиться за оружие и ринуться защищать «честь белых».

Как и большинство современных расистов, О'Доннел не забывает для равновесия похвалить «хорошего негра», вроде священника Джона Брукнера, призывающего свою паству к смирению и терпению. Христианнейший автор ничего не имеет против африканцев, безропотно подчиняющихся колонизаторам. Он решительно против тех, кто борется.

О'Доннелл повторяет традиционную ложь колонизаторов: народы Азии и Африки еще не созрели для свободы и независимости, задача белого человека — задержать «преждевременное» освобождение Африки. Но в выполнимость этой задачи О'Доннел уже не верит. Отсюда апокалиптические прогнозы автора: «Африка станет местом рождения новых средних веков, новой варварской цивилизации, которая уничтожит все следы белой культуры». И так далее, и так далее... Неизбежность освобождения Африки, неизбежность крушения колониализма вызывает у «чуткого» О'Доннела гнетущий страх и безнадежное отчаяние — для колонизаторов «наступает ночь».

РОБЕРТ РУАРК — ТРУБАДУР РЕКОЛОНИЗАЦИИ

От страха и отчаяния решительно отмежевывается Роберт Руарк, своего рода мэтр современного колониального романа, реакционный американский журналист и писатель, претендующий на роль нового Киплинга. Не они нас, а «мы будем их убивать. Мы будем убивать их днем и ночью. Мы убьем, может быть, сотни тысяч...» — оптимистически обещают любимые герои Руарка, колонизаторы старого закала.

Роберт Руарк написал два романа о Кении, которые пользовались шумным успехом и долго числились в списках бестселлеров,—

М. ГОРДЫШЕВСКАЯ
КРУГ ЗАМЫКАЕТСЯ

«Эквивалент» (1955) и «Ухуру» (1962). «Эквивалент» — это дифирамб английским империалистам, подавившим антиколониальное движение в Кении в 1952 — 1954 годах. Действие «Ухуру» происходит в 1960 году, за несколько месяцев до выборов 1961 года в Законодательный совет. (Эти выборы, которые впервые проводились по «общему списку», единому для африканцев и европейцев, должны были стать важным шагом на пути к независимости Кении.) Романы эти огромны по объему, и сам Руарк, иронизируя, называет их «монстрами». С гораздо большим основанием этим словом можно было бы определить их содержание. Еще в первом романе Руарк проявил себя мастером клеветы геббельсовской школы. Достаточно вспомнить, что в «Эквиваленте» «русский, приехавший из Аддис-Абебы», организует сеть тайных террористических обществ «Мау-мау»... Вторую книгу Руарк демонстративно назвал «Ухуру» — «Свобода». Уже в предисловии автора начинается клеветническая дискредитация этого всенародного призывного клича борющейся Африки. «У каждого туземца,— заявляет Руарк,— свое представление об «ухуру». У одних— это утопия «пьяных лентяев, мечта о сказочной стране, где деньги растут на деревьях», другие — зарятся на тучные, «тщательно возделанные земли белого человека»; для третьих «ухуру» — это свобода «безнаказанно грабить, воровать и убивать». Таков зачин этой длинной расистской песни о благородных белых, «подлых черномазых», ужасах «Мау-мау» и «проклятых политиках», отдающих Кению, «Страну Белого Человека», «в лапы дикарей».

Действие этого «монстра» начинается в тот знаменательный для истории Кении день, когда впервые европеец был предан смертной казни за убийство негра. Автор против таких «нововведений». Он считает это решение английских властей позорной трусостью и непростительной ошибкой. Роберт Руарк предлагает другое решение. Роман кончается оправданием — и моральным и юридическим — такого же, вернее, еще более наглого белого убийцы, главного героя романа Брайена Дермота. Право белых — право убивать, вокруг этой оси вертится книга Руарка.

Автор «Ухуру» претендует на создание историко-психологического романа. Он намерен показать «разрушительное действие» крушения колониализма в Африке на судьбу и характер белого человека. Руарк стремится представить колонизатора трагическим героем, «выжать» у читателя сочувствие и сострадание к нему. Это первая демагогическая линия романа. С ней сплетается вторая — настойчивая, упорная, многообразная клевета на африканцев вообще и руководителей национально-освободительного движения в особенности. Роман переполнен вызывающими ужас и отвращение сценами кровавых преступлений и обрядов, которые Руарк приписывает африканским «террористам». В романе фигурируют и либеральные сторонники политики компромисса, попытки которых обречены на провал, так как африканцы, по утверждению Руарка, на либеральное обращение отвечают звериной жестокостью.

Помимо неизбежной у такого автора брани по адресу «красных», достается и Организации Объединенных Наций и английскому правительству, которые «плохо защищают» интересы белых и «потакают» африканцам.

528 страниц грязной клеветы — это очень мягкая и незаслуженно вежливая характеристика книги Руарка. Но дело не в эпитетах. В чем цель и суть выступления Руарка?

Руарк объявляет войну «ухуру», войну народам Африки, борющимся за свободу и независимость. Его герой Дональд Брус, возвращаясь из Англии в Кению, так и говорит: «Считай, что я ушел на войну...» «Мертвецам «ухуру» не понадобится»,— нагло заявляет он лидеру африканцев Ндегва. Он угрожает, что отряды белых будут убивать «тысячу африканцев за каждого убитого белого», убивать женщин и детей, уничтожать деревни, сжигать урожай на корню, отравлять колодцы и снова убивать, убивать и убивать.

Как обычно у Руарка, зловещий цинизм разбавляется некоторой дозой лицемерия. Кровавая оргия, к которой зовут европейских поселенцев герои романа Руарка, объявляется необходимой мерой самозащиты. Кроме того, убивать африканцев необходимо для их собственного блага: «Если вам, политическим клоунам, дать волю, вы за один год вернете страну к временам кровавого варварства и межплеменных войн!» На стол выкладываются и крапленые карты антикоммунизма: «...вы отдадите или продадите страну коммунистам, которые будут обращаться с вами похуже, чем мы. Этого мы не допустим». Но в конце концов прорываются и действительные мо-

тивы: «Если вы, получив большинство в Законодательном совете, посмеете сделать хоть один шаг к экспроприации нашей земли, мы меньше чем за неделю перебьем тысячи из вас и разорим вашу землю».

КРУГ ЗАМЫКАЕТСЯ

Какой же вывод из всего этого? Какова цель войны против «ухуру»? «Мы реколонизируем эту проклятую страну!..» — кричит Брайен Дермот. «Мы реколонизируем Кению»,— вторит ему Дональд Брус. Реколонизация... Верит ли автор в то, что сегодня возможна прямая и открытая реколонизация? Вряд ли. Недаром он в предисловии оговаривается, что не предлагает никаких рецептов, а только констатирует факты. Призыв героев Руарка к реколонизации — это шантаж. Даже террористическими методами современные колониалисты не рассчитывают сохранить свое господство в прежних формах Характерно, что излюбленные герои Руарка все-таки не могут обойтись без помощи африканского политического деятеля, сторонника «сотрудничества» и т. д. Это весьма многозначительная деталь. Более того, несмотря на всю свою наглость и расистское высокомерие даже самые твердолобые из колонизаторов в конце концов готовы принять «ухуру» при том условии, что свобода и независимость превратились бы в фикцию. Но ведь этого же добиваются и сторонники новых методов, сторонники неоколониального «компромисса»!

Круг замыкается. При всех спорах, разногласиях и конкуренции современные империалисты объединены общностью главной цели — сохранить колониальную эксплуатацию стран Азии и Африки.

Отчаянные призывы Руарка к террору и реколонизации встретили сдержанно-осуждающее отношение части буржуазной печати. «Нью-Йорк трибюн бук ревью» назвала эти планы «мальчишеской фантазией», а концепцию романа «явно старомодной». Однако идея «жесткого курса» все же оказалась в духе времени. Английское правительство на долгий срок оттянуло провозглашение независимости Кении, а губернатор Кении Ренисон, которого Руарк косвенно обвинял в чрезмерном либерализме, был смещен с должности.

На вопрос: «Компромисс или реколонизация?» — современные колониалисты отвечают: «И компромисс и реколонизация». Любыми средствами помешать подлинной свободе и независимости стран Азии и Африки, остановить, задержать ход истории — вот в чем смысл всех демагогических хитросплетений, искусной лжи, грубой клеветы, сентиментальных воздыханий, патетических речей и утопических проектов колониального романа. Не выйдет! Колониализм еще не уничтожен полностью и причиняет неисчислимые страдания миллионам людей, но колониализм обречен — ни старыми, ни новыми методами ему не удержаться.

ВОЛЬФГАНГ НЕЙХАУЗ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — СОВРЕМЕННОСТЬ

(Письмо из Берлина)

Шестой съезд Социалистической единой партии Германии, состоявшийся в январе 1963 года, уделил проблемам идеологии и искусства так много внимания, как ни один из предыдущих партийных съездов. Это вполне естественно. В Германской Демократической Республике начался период развернутого строительства социализма. Всеобщий интерес к литературе и искусству повысился сегодня как никогда, и вопрос о социалистической немецкой литературе выдвинулся на первый план. Еще перед съездом проблемы литературы широко обсуждались в печати, и в ходе этого обсуждения была показана ошибочность позиции некоторых писателей, отошедших от социалистического реализма и выдающих за новое направление в искусстве формалистические и схематические произведения. Шестой съезд СЕПГ сделал вывод, что со времени пятого партийного съезда в области культуры достигнуты значительные успехи. «Художники и писатели,— сказано в докладе Вальтера Ульбрихта,— обращаются в своих произведениях к новым темам и проблемам... Подавляющее большинство деятелей культуры показало себя верными помощниками партии».

Одна из актуальных тем, разрабатываемых нашей литературой,— это тема преодоления фашистского прошлого в душах людей. Ею заняты прежде всего писатели того поколения, которое испытало ужасы войны в детстве или в юности. К этому поколению принадлежит и Франц Фюман; ему сейчас 41 год, он сын судетского аптекаря, вырос в мелкобуржуазной среде, которая оказалась наиболее восприимчивой к нацистской идеологии. Еще будучи школьником, Фюман добровольно пошел в армию и был в войну бортрадистом. Его путь к антифашизму и затем к марксизму начался в лагере военнопленных в Советском Союзе. В опубликованной несколько лет назад поэме «Поездка в Сталинград» Фюман описал перемены, происшедшие в его собственном сознании и в сознании его поколения. В повести «Однополчане» (известной советскому читателю), по которой был сделан фильм «Обманутые до скончания века», Фюман вскрывает сущность фашистского вермахта, вытравлявшего в солдатах все человеческое.

Примерно такова же главная мысль новой книги писателя — «Еврейский автомобиль». Книга лишена единой фабулы. Фюман стремится воплотить в четырнадцати рассказах то, что он сам пережил в дни решающих исторических событий — таких, как мировой кризис 1929 года, начало второй мировой войны, битва на Волге, капитуляция гитлеровских войск, Потсдамская конференция. Автор беспощадно разоблачает мифы нацистской пропаганды, в плену которой находился и он сам. Книга названа по первому рассказу, в котором Фюман пытается показать, как возникает в его герое фашистская психология: мальчик слышал от кого-то о желтом автомобиле, в котором евреи с ножами якобы охотятся за детьми, поверил в его существование и оскорблен тем, что ему не верят. В нем вспыхивает ненависть к евреям, хотя ни одного из них он не встречал в своей жизни. Таков строй мыслей ущемленных в своем тщеславии мещан, которых фашистский миф о превосходстве германской расы вдруг превратил во властелинов, призванных господствовать над всем человечеством. Книга Фюмана — это серьезный расчет со

своим прошлым человека, который когда-то верил нацистам и который неизбежно должен был прийти к новому осмыслению своего долга по отношению к Германии, решительно отбросив все понятия, внушенные ему фашистским строем. Исторически благоприятные условия позволили Фюману сблизиться с рабочим классом, как ни сложен был этот процесс; в Германской Демократической Республике он нашел новую, подлинную Германию, которая открыла перед ним новую перспективу.

Аналогична тема и первого романа Макса Вальтера Шульца «Мы не пыль на ветру». Автор — воспитанник Литературного института им. Иоганнеса Р. Бехера в Лейпциге, того же возраста, что и Фюман, схожи и их жизненные пути. В главном герое романа, двадцатичетырехлетнем унтер-офицере гитлеровского вермахта Руди Хагедорне, немало автобиографического — в 1945 году, к концу войны, он, опытный ландскнехт, глух ко всему окружающему, полон равнодушия, которое вытеснило из его сердца даже отчаяние и безнадежность. Он представитель того поколения, которое вернулось домой с фашистской войны лишенным веры и человеческого достоинства. Для немногих антифашистов и коммунистов, избежавших фашистского ада, спасти это поколение от полной духовной и моральной гибели, значило спасти целый народ, ибо в конце концов с этим поколением предстояло строить новую Германию. Вальтер Шульц выразил эту мысль, дав своей книге подзаголовок: «Роман о непотерянном поколении».

Действие его происходит в течение шести месяцев — с весны до августа 1945 года. Хагедорн, прибывающий со своей частью на новую позицию, под влиянием друга дезертирует из гитлеровского вермахта. Познакомившись с девушкой Хильдой, он после окончания войны возвращается вместе с нею в свой родной город. Но подлинную любовь он надеется найти у Леа, которая провела долгое время в концлагере. Леа, сломленная муками и лишениями, отталкивает его. Нерешительность Хагедорна приводит в конце концов к тому, что он теряет и Хильду.

Такова в самом общем виде фабула первого тома; за ним должен последовать второй, над которым автор сейчас работает. Композиция романа своеобразна. Действие первой части — история дезертирства Хагедорна и знакомство с Хильдой — продолжается 48 часов; действие второй части — в родном городе — занимает день, ночь и еще один день. При этом Шульц отказывается от сюжетной концентрации действия, он прибегает к ретроспекциям, воспоминаниям, монологам, углубляющим его материал. В книге много философских рассуждений. Шульц пользуется спокойным, широким стилем, напоминающим стиль больших немецких писателей начала двадцатого века. Так он стремится охарактеризовать сложность отношения своего героя к народу.

Макс Вальтер Шульц несомненно одаренный писатель, серьезно относящийся к своей работе, цель которой — показать возрождение целого поколения. Роман «Мы не пыль на ветру» был хорошо принят прессой и читателем — об этом свидетельствует быстрая распродажа всего тиража, что случается у нас далеко не со всеми книгами. Тем не менее, отдавая должное достоинствам книги, критики усматривают противоречие между композицией романа и повествовательной манерой автора. Так, Криста Вольф пишет в еженедельнике «Зонntаг»: «Большое преимущество книги в том, что она имеет литературную родословную, автор пишет, зная то, что было до него; но это большое преимущество таит в себе также опасность, и прежде всего опасность того, что автор не сумеет свободно, самостоятельно пробиться к жизненному материалу и образам». А Вольфганг Йохо так высказался в журнале «Нейе дейче литератур»: «В книге встречаешься со странным или — если поискать примеры — совсем не таким уж странным соединением двух различных, даже противоречащих друг другу стилей и повествовательных манер: то слышишь речь сорокалетнего Макса Вальтера Шульца, нашего современника, то наталкиваешься на обстоятельную, почти старинную манеру повествования, примененную отнюдь не случайно, а сознательно, и, если сравнить ее с первой, она не убеждает, а скорее даже удивляет, потому что она — пусть автор простит нас — кажется манерной, архаизированной».

Мне тоже кажется, что стремление Макса Вальтера Шульца во что бы то ни стало достичь языковой оригинальности может отрицательно сказаться на втором томе.

За интересную проблему взялась Ирмтраут Моргнер в своем недавно опубликованном романе «Дом на окраине». Моргнер принадлежит к поколению тех, которым сейчас тридцать лет; она поступила работать в бригаду каменщиков, чтобы лучше узнать жизнь рабочих-строителей. Главный герой ее романа — «активист поневоле», бригадир каменщиков Курт Майер, прозванный своими коллегами «Майер-Дом», принцип жизни которого выражен в словах: «каждый ищет, где лучше». Цель Курта Майера — иметь собственный дом. Эту цель вдолбил ему в голову отец, сам не достигший ее; и ради этого дома каменщик Курт Майер более тридцати лет тянул лямку, работал из последних сил, экономил, изнурял себя, не думая о тех, кто занимается политикой. Таким образом, главный герой Ирмтраут Моргнер один из тех немецких квалифицированных рабочих, которые не очистили еще свое сознание от шлака прошлого и чьи мелкобуржуазные предрассудки и представления, питаемые капитализмом, живучи еще и сегодня. В нашей республике этот тип рабочего не столь уж редок, в особенности

среди старшего поколения. Всю свою жизнь эти люди трудились ради собственного маленького счастья, ради того, чтобы жить для самих себя и не пускать на порог своего дома политику и других непрошеных гостей. Вместе с тем они хорошие, трудолюбивые люди, они участвуют — сознавая это или нет—в строительстве социализма, но работают они только ради денег, которые они копят, чтобы осуществить свой мещанский идеал.

Курт Майер воплощает собою именно такой тип рабочего. Он диктатор в бригаде, тиран дома. Он достигает своей заветной цели и строит себе дом. Но затем все же убеждается, что, хотя и стал домовладельцем, политику он не может выставить за дверь. Политика входит в дом, хочет он того или нет. Его дочь Бритт любит Иохена, молодого партийца из его бригады, которого он не выносит, а его жена Хильда, чьи дни до сих пор однообразно протекали в хлопотах по дому, восстает против него, уходит на производство, и ее пустая до тех пор жизнь обретает в сознательном труде новый смысл. Бригада тоже не хочет больше мириться с диктаторским поведением мастера. Дом, который должен был составить все счастье его жизни, похоронил под собой это счастье. Никто не может жить вне общества. Майер должен научиться думать по-новому.

Критика справедливо отмечала, что Курт Майер является «типичным образом, взятым из жизни». Так писала в «Нейес Дейчланд» Марианна Шмидт. Вместе с тем Марианна Шмидт приходит к выводу: «В памяти остаются проблемы... Важные, очень интересные — но проблемы, а не люди!» И в другом месте: «Отказываясь от того, чтобы заострить взятые конфликты, довести их до логического конца, до подлинного разрешения, автор не сумел увлечь читателей». Я согласен с этой критикой. Роман Ирмтраут Морднер «Дом на окраине» интересен прежде всего постановкой проблемы.

Заметным явлением — я думаю, уже сейчас можно сказать это — станет роман «След камней» Эрика Нейча, который недавно опубликован в журнале «Форум». Нейч, ранее редактор одной районной газеты, тридцати лет выступил с повестью «История о дожде» и сборником рассказов «Биттерфельдские истории». Материал для этих книг он нашел, работая репортером в газете на крупных стройках, химических предприятиях и в сельскохозяйственных кооперативах. Знание экономических проблем помогло ему написать роман «След камней», действие которого разворачивается в трех сферах, и всюду автор чувствует себя как дома: деревня, химический завод, крупная стройка. Нейч рассказывает о борьбе за повышение производительности труда, возникающих здесь конфликтах и о том, как они сказываются на судьбах отдельных людей.

Все эти произведения показывают, что молодое поколение немецких писателей занимается прежде всего проблемами нашей современности. Многие из этих писателей открывают новые поэтические области, и им по плечу эта нелегкая задача; они являются — как констатировал Шестой съезд СЕПГ — верными помощниками партии.

М. ПУЙМАНОВА

ВСЕ МЫ — ТРУЖЕНИКИ ЭПОХИ

Составление и перевод И. Бернштейн

Марии Пуймановой в июне этого года исполнилось бы 70 лет. Трудно говорить в прошедшем времени об этом бесконечно талантливом художнике, светлом и мудром человеке.

Книги Пуймановой читают во всем мире. Трилогия — «Люди на перепутье», «Игра с огнем», «Жизнь против смерти» — принадлежит к высшим достижениям чешской литературы, является ее гордостью, ее вкладом в развитие подлинно современного искусства, классикой реалистической литературы двадцатого века.

Советский читатель хорошо знает и любит романы и повести Марии Пуймановой. Меньше известны у нас ее статьи о литературе. А между тем писательница в течение почти всей творческой жизни выступала в прессе с критическими статьями и принимала участие во многих литературных боях. В ее наследии много интересных и глубоких размышлений о путях современной литературы. Они принадлежат к тем живым свидетельствам мастеров социалистического искусства, которые составляют нашу великую традицию, обогащают и углубляют наши представления о социалистическом реализме. Искренность, честность, сознание ответственности коммуниста и любовь к культуре помогали Пуймановой занять глубоко принципиальную позицию в самые острые моменты идейной борьбы. До самой смерти сохраняла она бескомпромиссность и ясность взглядов. Когда в 1956 году в среде чехословацких писателей прозвучал ряд ошибочных выступлений, она страстно возражала против попыток зачеркнуть достижения литературы народно-демократической Чехословакии. «Я думаю, нам нечего стыдиться за нашу литературу последних одиннадцати лет, за литературу Народной Республики»,— с гордостью говорила она. «В опытах этих писателей было много неуклюжего... но гораздо больше отваги завоевателей, и эту историческую заслугу никто у них не отнимет»,— пишет она о пионерах новой литературы.

Мы предлагаем вниманию читателей статью Марии Пуймановой «Писатель и эпоха» (опубликована в 1938 году в студенческом журнале «Студентски часопис»). Это яркое выражение литературных взглядов писательницы в годы идейного перелома, когда она находит новые творческие пути. Статья интересна также авторским комментарием к одному из лучших произведений Пуймановой — роману «Люди на перепутье». Статьи «Юлиус Фучик», опубликованная впервые в журнале «Творба» (1945, № 4), и «Воспитание воображения», представляющая собой текст доклада на первом конгрессе чешских писателей в 1946 году, взяты из книги статей Марии Пуймановой, составленной чешским исследователем З. Айсом. Заметка «Оптимизм в литературе была посмертно опубликована в газете «Литерарни новины» (1958, № 21). Все эти статьи появляются на русском языке впервые. (Статья «Юлиус Фучик» была частично приведена в работе М. Грыгара «По следам героической жизни» — «Иностранная литература», 1960, № 2.) Статьи «Писатель и эпоха» и «Воспитание воображения» печатаются с небольшими сокращениями.

ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА

Автор романов — обыкновенный человек с обычными человеческими чувствами, и делает он то же самое, что и любой работник физического или умственного труда,— честно трудится в своей области. Его область — это искусство. В чем же сущность труда художника? В процессе создания образов. Писатель придает сырому жизненному материалу пластическую форму и, создавая систему образов, объективирует в своем произведении то, что иначе осталось бы в области субъективного переживания; он воплощает то, что переживаем мы все. Для творчества писателя вредно, если сам он — исключительная личность; в таком случае он оторван от людей, и его произведение оказывается в безвоздушном пространстве. Современный писатель вовсе не хочет быть исключением, напротив, он стремится ухватить, вытащить на свет божий и показать в своих книгах то, что характерно для жизни всех людей. Каждый из нас живет сейчас вдвойне: во-первых, своей личной жизнью, а во-вторых, жизнью эпохи. Конечно, перед мировой войной так же шло время, так же убывали листки в отрывном календаре, так же сменяли друг друга четыре времени года и так же прибавлялись новые даты в летоисчислении; разумеется, и перед мировой войной происходили политические события, которые, как говорится, волновали гладь общественной жизни. Но потом все снова успокаивалось, и средний человек в императорской Австрии влачил свое существование вдали от общественных бурь. Тот, кто не был политиком по профессии, спокойно мог повернуться спиной к эпохе, укрыться в четырех стенах, не заботясь о том, что делается на свете. И это сказалось на нашей предвоенной прозе: она занималась исключительно мещанскими проблемами, сердечными драмами. Это была камерная литература.

Сегодня, независимо от твоей воли, эпоха, полная экономических потрясений, общественного брожения и политического драматизма, найдет тебя, придет за тобой и, рано или поздно, вынудит тебя стать под то или другое знамя. Никто от нее не скроется, бесполезно запираться — она проникнет даже сквозь запертые двери. Символом нашего времени можно считать радио. Вы сидите дома вокруг семейного стола, а в вашей комнате невидимый человек произносит на чужом языке угрожающие речи, и если вы сами не включили приемник, голос проникает через стену от соседей, он доносится отовсюду. Самый воздух насыщен приметами эпохи. Мы слышим время, вы видим время. Вот перед нами на экране проходит кинохроника, а в ней снова вооружающийся, строящийся, трудящийся мир, огромность которого сильно «сузилась» после появления самолетов, радио и кино. Я не хочу сказать, конечно, что все мы только кинозрители или радиослушатели эпохи. Нет, все мы участники той драмы, которая разыгрывается между силами войны и силами мира, между лагерем капитала и лагерем рабочих. Никогда еще человек не ощущал так, как сегодня,— буквально своей кожей,— что в его присутствии, с его участием творится история, что он работает на историю и отвечает за нее вместе со всеми другими людьми. Каждый из нас — труженик эпохи, одна из бесчисленных частиц в едином движении.

Сейчас, при республике, мы объединены в большей степени, чем в довоенные годы. Все мужчины и женщины не только имеют право, но и обязаны участвовать в выборах, и это заставляет их развиваться политически. Люди объединяются в группы, связанные общими интересами, классовой солидарностью. Все растущая социалистическая сознательность и тяжелые материальные условия привели к сближению интеллигенции с революционным пролетариатом; пробудилось живое чувство солидарности, более сильное, чем семейные узы и даже чем национальные связи,— солидарность трудящихся всего мира.

Современному романисту стало ясно, что одной только любовной истории для романа недостаточно, как недостаточно и сугубо камерного сюжета. Романист должен открыть глаза на современную жизнь, увидеть ее во всей ее огромности, во всем многообразии, духовном и техническом, или же он увязнет в первой попавшейся канавке, а жизнь уйдет, улетит вперед. Наши дни — великолепное и в то же время трудное время для романиста. Великолепное потому, что к его услугам богатый, еще не добытый и не обработанный жизненный материал, темы лежат прямо на улице — только подбирай. А трудное оно потому, что этот жизненный материал слишком велик. Он грозит затопить писателя. Перед нами обширная область труда, который сам по себе является

эпической темой и все еще ждет современного Гомера. Какой вид человеческой деятельности был эпически восславлен? Война, послужившая темой для старинной богатырской песни; пастуший труд и землепашество, воспетые во многих произведениях — от Библии, буколик и георгик до современных руралистов *.

Фабричное производство, появившееся сравнительно недавно, поздно попало в литературу; но каждому ясно, что сейчас мы живем в промышленном веке и что современный романист не может обойти в своем творчестве рабочий коллектив, фабрику. Сколько чешских писателей заинтересовались углем, этим черным золотом республики. (...)

В своем романе «Люди на перепутье» я избрала текстильную промышленность, область чрезвычайно для нас важную. Текстильная промышленность — это пряхи, ткачи, красильщики, швеи и портные — все люди, работающие на современном текстильном комбинате. Человек, ежедневно надевающий свое пальто, не имеет понятия, сколько машин, сколько рабочих рук сделало его. А вспомните об изобретателях, которые сконструировали и усовершенствовали машины, о заморских странах, о плантациях и фермах, о пристанях, откуда отчаливают корабли с сырьем,— и перед вами откроются экзотические дали, и вместе с тем вам станет очевидна простейшая истина: все в сегодняшнем мире взаимосвязано. Самые обычные вещи, окружающие нас, не мертвы: за ними стоят люди и человеческие судьбы. Пусть меня никто не уверяет, будто промышленная тема скучна и не подходит для беллетристики, будто ее место только в статье по народному хозяйству. Все зависит от того, как романист возьмется за эту тему и как ее разовьет. Промышленная тема вовсе не скучна, но зато очень трудна и обременительна для автора. Действительно, приходится много гоняться за материалом и порой нарываешься на неприятности. На одной фабрике тебя принимают за какого-то шпика, который хочет выкрасть производственные секреты, на другой — за политического агитатора и всюду — за немножко свихнувшуюся женщину. Но это не важно — лишь бы у писателя была твердая почва под ногами. Потому что ему необходимо хорошо разбираться в той области труда, о которой он пишет, чтобы не делать ошибок, чтобы чувствовать себя как дома,— словом, как говорится, надо на этом «собаку съесть». Писателю следует знать больше, чем удается потом использовать,— ведь он не может превратить свой роман в репортаж обо всем увиденном. Искусство — это отбор; современный реалистический роман — не реферат и не фотография; собранные факты надо сначала забыть, а потом воссоздать вновь, так, чтобы в романе возникла новая действительность. Чтобы движение сюжета стало кровообращением в живом организме.

Когда я говорю о рабочем коллективе, я, естественно, не предполагаю, что всякая личная жизнь должна отойти на задний план и что романист может пренебречь ее изображением. Нет, конечно. Существуют инстинкты, страсти и чувства, которые исчезнут только вместе с последним человеком,— жажда жизни, страх смерти, любовь мужчины и женщины, материнская любовь, чувство соперничества, всегда служащее почвой для соревнования, воля к победе, стремление человека пережить свое земное существование, стремление к любой форме бессмертия— религиозного, национального, творческого и т. д. Познать человека только как статистическую единицу в коллективе — это однобокая правда. Нет, не было и не будет двух одинаковых людей, каждый человек самобытен и неповторим. Уловить его неповторимость, его душевный облик и в то же время включить его в более широкие закономерности — вот задача романиста наших дней. Я попыталась создать современный социальный роман. Автор такого романа прежде всего обязан быть честным свидетелем. (...) Мы были свидетелями общественных сдвигов, видели, как беднеют старинные буржуазные семейства, как вместе с состоянием они утрачивают сословные предрассудки и, покидая среду собственников, находят путь к народу. Такова в моем романе судьба семейства Гамзы. Вместе с тем мы видели своими глазами внезапное наступление способных, энергичных и лишенных совести людей, которые выбились из низов и стали магнатами промышленности. В романе это — предприниматель Казмар, построивший текстильный городок Улы. Мы пережили времена хозяйственного подъема, когда поспешно восстанавливалось все, что было уничтожено войной, и когда спрос не-

* Руралист — литературное течение в буржуазной Чехословакии, в центре внимания которого была деревенская жизнь, изображенная с реакционных позиций.

обычайно вопрос. А потом мы были свидетелями страшных времен безработицы и мирового экономического кризиса, от которого пострадал и герой романа — рабочий-текстильщик Ондржей Урбан. Я попыталась изобразить нашу бурлящую современность, в которой ни индивидуумы, ни классы ни на минуту не остаются в покое и неподвижности. Название «Люди на перепутье» выражает ту напряженность общественной жизни и постоянное движение, которыми ознаменована наша эпоха; оно подразумевает также и те изменения общественной позиции, которые происходят в буржуазной семье адвоката Гамзы и пролетарской семье Урбанов,— перемены, заставляющие их пути пересекаться. Буржуа Гамзы пролетаризируются, сближаются с народом, и я вижу в этом не упадок, а возрождение старинной семьи. Напротив, дочь дворничихи Ружа Урбан поднимается по общественной лестнице — это типичная выскочка. Главный же герой романа, рабочий Ондржей Урбан, с трудом познает сложную социальную действительность и находит свой собственный путь. Итак, название «Люди на перепутье» подразумевает еще и другой перекресток. Каждый из героев переживает момент, когда ему приходится выбирать, каким путем идти. Герои — только люди, и порой они ошибаются, могут сбиться с дороги и сбиться с ног, пока выйдут на правильный путь; есть в книге и такие, которые вконец растеряются и заблудятся. Но читатель не может заблудиться; автор не смеет бросить его на перепутье, читатель должен узнать, на чьей же стороне автор.

Я уже сказала, что романист обязан быть объективным свидетелем, поэтому я старалась верно распределить свет и тень. Как только откровенная тенденция высовывает свои рожки, читателю становится скучно и противно. Но в то же время автор современного романа не смеет отказаться от права моральной критики. Я не объявляю приговора, но он ясен из самого повествования, из того, как поданы события. Я на стороне Ондржея Урбана и тех молодых людей, которые серьезно относятся к жизни и противопоставляют тяжелой действительности честную и активную товарищескую солидарность.

Правда, сейчас, когда я так это разъясняю, все звучит слишком сухо, по-ученому. Очень трудно разбирать свою собственную книгу. Пусть никто не воображает, будто автор сначала придумывает название книги, затем садится, заполняет титульный лист, а уже потом выбирает персонажей, которые бы иллюстрировали его основную мысль, и принуждает их всех по очереди выполнять его программу. Ничего подобного! События разворачиваются как раз в обратном порядке — по крайней мере у меня. Все, абсолютно все: тема, сюжет, драматическое напряжение и сама атмосфера книги — все зависит от персонажей; название появляется в самом конце работы, когда книга готова,— только тогда оно может воплотить основную мысль романа. Персонаж, со всеми его физическими и духовными особенностями,— это первое, что возникает в моем воображении. Персонажи советуют мне, ведут меня, им я могу прежде всего довериться. Люди в романе действуют каждый по-своему, реагируют на события каждый в соответствии со своим характером, каждый идет навстречу своей судьбе. В ходе работы я так хорошо узнаю своих героев, что мне становится ясно, как бы они повели себя и за границами сюжета романа — они перерастают рамки книги. Тут я позволю себе одно замечание. Когда выходит новая книга, у нас обычно прежде всего интересуются, не вставил ли туда автор кого-нибудь из знакомых, людей, с которыми он вместе пьет чай. Нет, в «Людях на перепутье» нет ни фотографий, ни портретов с натуры. И все же я надеюсь, что герои типичны для нашего времени и для нашей страны. Как я уже сказала, мне внушают ужас лозунги и схемы: они могут убить любое искусство. Я создала рабочего Ондржея вовсе не по тенденциозным рецептам, согласно которым заранее известно, что он, принципиальный бунтарь, всегда и во всем прав, ибо выступает против «злых» капиталистов. Я вижу в нем обычного живого человека, у него свои печали и радости, своя любовь, его облик формируют не лозунги, а жизненный опыт. Я изображала людей, различных по характеру, по возрасту и общественному положению, каждого в его особой среде... По-своему видит мир серьезный, немного неуклюжий, честный и честолюбивый Ондржей Урбан; а его сестра Ружена, бедная деревенская девушка, попавшая в столицу и развращенная ее соблазнами, погубившая свою жизнь браком по расчету с богатым стариком, видит мир по-иному. Чувствительный студент Станислав, энергичная Еленка, радикал и защитник угнетенных Гамза, его сентиментальная жена, промышленный магнат Казмар, актриса Власта Тихая и другие — каждый из них воспринимает жизнь по-своему. Можно не

сомневаться, что всякий персонаж потребует для себя особого способа изображения. И дело тут не только в прямой речи, в том, что́ и как персонажи говорят, но и в том, как сам автор о них рассказывает. Широко известно, что прямая речь — прекрасный способ характеристики. Конечно, каждый из моих персонажей говорит так, как того требует его характер и социальное положение. Какое наслаждение изучать разговорную речь разных классов, разных социальных групп, различных слоев общества! Стоит только немного натренировать слух, и вы угадаете с закрытыми глазами, только по манере говорить, что за человек перед вами. Так, например, житель Праги может сказать в шутку: «Такая жажда, что выпил бы крокодила». В деревне, где еще сохранились пословицы и где их употребляют в повседневной речи, бабушка, уговаривая внучку не мучиться из-за несчастной любви, скажет: «Свет клином на нем не сошелся». А в городе девица из парикмахерской выразит эту же мысль так: «Вместо одного лохматого найдется десять причесанных».

Фабричный поселок Улы в «Людях на перепутье» быстро вырос на месте заброшенной горной деревушки; и когда я рассказываю о жизни в Улах, то прибегаю к народной деревенской речи, уже «подпорченной» фабричными словечками (например, когда описываю первомайский праздник в Улах).

Как я уже говорила, среда и персонажи сами продиктуют ту манеру, в которой должен быть изображен их внутренний мир. Например, пани Гамза, единственная дочь в чиновничьей семье, чувствительная, хрупкая женщина,— характер, богатый оттенками. Она написана пастелью (надо соблюдать осторожность, чтобы краски не размазались)) и немного романтически приподнято — потому что так она чувствует. Достаточно вспомнить, например, сцену, когда она бродит по ботаническому саду и думает о том, что надо сохранить семью ради детей, что она не может развестись с мужем, хотя он изменяет ей.

А вот Ружа Урбан, девушка из парикмахерской, очарованная большим городом и влюбленная, по ее словам, в «господина из высшего общества», написана очень четко и по-плакатному броско. В ней должны преобладать лень, тривиальность и сентиментальность. Или, например, садовница Франтишка Поланская, уроженка горной деревушки, происходящая из старинной семьи кружевниц,— это народный образ, во всей его чистоте, и я старалась рассказать о ней просто и ясно.

Я не могу пересказывать здесь книгу, да и вряд ли вы меня поблагодарили бы за это, но хочу добавить одно: чешский язык — замечательный материал для писателя. Это язык, будто специально созданный для эпической прозы, его глаголы энергичны, предельно емки и удивительно упруго, с юношеской энергией несут действие. Писать на современном чешском языке — необычайно увлекательное, но в то же время трудное и ответственное дело. Почему? А вот почему: так же как и общественные отношения, современный язык находится в движении и не устоялся. Война, технический прогресс, появление промышленной темы и вступление предместий в литературу принесли множество новых выражений; мы столкнулись с языковой инфляцией, как говорят лингвисты. Закрыть двери перед этими новыми выражениями значило бы закостенеть в академизме; нам нужен живой, современный язык, пышущий жаром актуальности; но вместе с тем мы должны хранить его чистоту, своим художественным отбором ограждать его от вульгаризации. Проза накладывает на автора такие же серьезные обязательства, как и стихи; и роман со множеством тематических линий — такое же художественное, строго продуманное целое, как и оркестровое музыкальное произведение.

В заключение скажу: и все же наш труд превратился бы в пустую игру, если бы у писателя не было вдохновляющей его веры. А я верю в справедливое общественное устройство, в то, что человек станет лучше, а человечество — счастливее.

1938 г.

ЮЛИУС ФУЧИК

Мы стыдимся мертвых. Между ними и нами лежит нечто непостижимое — смерть. Мы могли слышать о ней тысячу раз, сто раз встречаться с ней и все же ничего о ней не знаем, не знаем просто ничего, пока не приблизимся к ней сами. Нас охватывает стыд перед мертвыми за то, что мы живем, а они умерли. И будто в утешение, мы карабкаем-

ся, спотыкаясь о ступеньки, на трибуны и, захлебываясь, воздаем мертвым преувеличенную, небывалую хвалу. Нет, не так, только не так! Не надо отделываться общими словами, перечисляя героев и мучеников. Покажем, как люди стали ими. Ведь прежде чем превратиться в символы, это были обычные люди — живые, горячие, полные силы, и каждый из них неповторим. Но вот они оказались на экране славы, где им, вероятно, тоскливо. Юлиусу Фучику безусловно тоскливо. Уж очень он любил жизнь.

Я вижу его как сейчас — смелый поворот головы, беспокойные фиалковые глаза. Живой, как ртуть, умный, как черт, вспыхивающий, словно искра. Склонность к риску, любовь к приключениям, презрение к опасности и благородное юношеское стремление броситься в огонь за торжество идеи. Так и случилось. Это был пламенный человек, один из тех, кто сохранил во внешности, в быстрой реакции мальчишеское очарование героя пьесы Чапека «Разбойник». Фучик был удивительно искренен, когда речь шла о борьбе за идею. В существе каждого человека есть свой стержень, на который нанизывается все, что он чувствует, думает, делает, переживает. У Юлиуса Фучика таким стержнем была коммунистическая убежденность. Ради нее он дышал и за нее умер.

Я познакомилась с ним десять лет тому назад, во время поездки в Мост к бастующим шахтерам. Он хорошо знал не только их общественное и материальное положение, но и их образ мыслей, их жизнь, великолепно разбирался в процессе добычи угля и, объясняя, почему возникла и разрослась стачка, рассказывал мне обо всем этом так живо, так интересно, что мне казалось, будто я читаю роман.

Такую же способность наблюдать, тонко чувствовать и ярко выражать свои мысли проявлял Юлиус Фучик в литературных рецензиях, опубликованных в «Руде право», и интересных статьях в журнале «Творба», который он редактировал уверенной и твердой рукой. Юлиус Фучик был блестящим импровизатором, беспощадным оппонентом всех, кто нападал на марксизм, и — когда у него оставалось время от политической работы,— способнейшим беллетристом.

Он написал о своем пребывании в Советском Союзе большую книгу — «В стране, где наше завтра стало вчерашним днем». Написал с воодушевлением; но этого мало — написал ее, хорошо зная жизнь; но и этого мало — благодаря свежести мыслей и таланту рассказчика книга перерастает рамки репортажа. Это сама прекрасная, волнующая действительность. Книга становится еще прекрасней, когда мы вместе с Фучиком проникаем в глубь страны, в Азию. Он все видит, он заворожен необычностью природы, человеческих отношений, он потрясен тем, как в этом полуэкзотическом крае растет вера в равноправие рас. Там не выступает одна раса против другой, нет — разные расы объединяются там против стихий, против сил природы, прячущей от человека свои богатства, объединяются в усилии создать счастливую жизнь. Жаль, что у меня нет под рукой книги Фучика! Но я помню великолепную главу о монгольском инженере, который упорно, применяя научные методы и опыт практика, ищет руду; он чувствует, что она здесь, где-то рядом, и в конце концов он находит ее. Эта глава — зародыш нового эпоса, эпоса будущего. Я тогда же написала об этом Фучику. И я удивилась, что этот буревестник, овеянный всеми ветрами, так по-детски радовался моему письму. В тот год, когда на нас обрушилась немецкая оккупация, он послал мне книгу «Борющаяся Божена Немцова», снабдив книгу надписью: «За огромную радость, которую Вы мне когда-то доставили».

Одно воспоминание о Юлиусе Фучике преследует меня. Я знаю, что это бессмысленно — скорбь всегда бессмысленна. То было еще во время Первой республики. Начиналось собрание, все искали Фучика, но его нигде не было. Куда вдруг пропал Юла? А он пошел на хоккейный матч — приехали канадцы, и канадский хоккей его совершенно очаровал. Фучик решил написать о нем в рубрике «Искусство»; он говорил, что такое спортивное зрелище — тоже частица нового мира (и был прав). Эту статью мне не удалось прочесть, но когда я впервые услышала о смерти Фучика, передо мной возникла вдруг феерия льда и огней хоккейного поля, которое он никогда уже не увидит. Убили не только героя, убили влюбленного в жизнь паренька.

А талант! Юлиус Фучик никогда об этом не говорил, но я хорошо знаю, как ему хотелось писать книги, создавать литературу нового мира — когда-нибудь, когда остановится время и ему не нужно будет присутствовать в пяти местах одновременно.

И вот он пал, как рядовой солдат, отдав своей идее всю жизнь, лучшие годы, радость творчества и то признание, которое по праву принадлежало ему — такому чут-

кому и воспламеняющемуся, признание, которое доставляло ему бесконечную радость. Когда дисциплине покоряется огонь, это заслуживает еще большего восхищения, чем, когда ей подчиняется гранит! *

1945 г.

ВОСПИТАНИЕ ВООБРАЖЕНИЯ

Я часто думаю о том, что у нас в школах не хватает одного предмета, который я бы назвала «воспитанием воображения». Фантазия — одна из самых драгоценных способностей человека, но у большинства людей она лежит под спудом, не развита, не используется или используется плохо, заходит в тупик эротики или «пускается во все тяжкие». Правда, люди умеют выдумывать «диковинные истории — типа «одна женщина рассказывала...» — и действительно фантастические сплетни. Но в большинстве случаев воображение остается непробужденным, ему не хватает тонкости, восприимчивости для того, чтобы живо представить себе близкого — и даже самого близкого — человека. Сколько происходит из-за этого супружеских и семейных ссор, сколько появляется поводов для непонимания между поколениями. Если бы у человека было хоть немного фантазии, если бы в нем воспитали способность вживаться в другого человека, перевоплощаться, сколько недоразумений можно было бы предотвратить! (...)

У нас в школе преподают физкультуру, тренируют тело, но постоянной тренировки воображения почему-то нет, и воспитание фантазии доверено поэтам и писателям.

Это прекрасная цель и очень ответственная задача, потому что человеческая фантазия может быть и источником плохого и огромным арсеналом животворных сил — в зависимости от того, что привьет читателю поэт: губительные бактерии или противоядие... Чем интереснее вы пишите, чем сильнее воздействуете на воображение людей, чем чаще вас читают — тем бóльшая ответственность на вас ложится. Вы могли бы навести порчу на душу нации, если бы поддерживали эгоизм, тщеславие, жестокость, трусость, пораженчество, но вы можете вызвать к жизни все светлые силы — это зависит от вас. Литература — это вопрос национальной гигиены...

Нравственная атмосфера, возникшая после первой и после второй мировых войн, различна. Во время последней войны подвергались угрозе самые элементарные права как индивидуума, так и наций, поэтому люди знали, за что воевали. Во всяком случае, мы в Чехословакии знали.

Теперь не Швейк чешский национальный герой; теперь чешский национальный герой — Юлиус Фучик. Думаю, что литература сегодня готовится к тому, чтобы создать героический характер. Не того героя, которого хотел видеть когда-то в чешских романах полковник Моравец *, — человека, посылающего пресловутым жестом Муссолини воздушный поцелуй. Нет. Наш герой — герой скромный, герой «подземный», «подпольный» и в том символическом смысле, в каком употреблялось это определение во времена Сопротивления, и в буквальном, сегодняшнем, ибо под землей добывают уголь и роют котлованы для фундаментов... Огромное большинство хороших писателей сегодня принадлежит к той политической партии, члены которой приветствуют друг друга знаменательными словами: «Честь труду!» А человеческий труд писатель может уважать тогда, когда сам знает, что это такое, знает так, как пионеры пролетарского романа времен Первой республики: как Анна Мария Тильшова, написавшая «Груды», как Войтах Мартинек — автор трилогии «Черная земля», как Мария Майерова, перу которой принадлежат «Плотина» и «Сирена», как Петер Илемницкий в «Куске сахара» или Карел Чапек в «Первой спасательной». Современная промышленность раскрывает нам огромные богатства, ранее не использованные. Труд рабочих, его пафос дают нам замечательные эпические сюжеты.

Я вовсе не хочу сказать, что нужно писать только о рабочих, совсем нет. Тогда возникали бы одинаковые, похожие друг на друга книги, вызывающие скуку, как в свое время пуралистическая литература.

---

* Моравец — член марионеточного чешского правительства в годы фашистского протектората.

---

* Опубликовано в «Творбе» со следующим примечанием: «Писательница написала свою статью прежде, чем прочитала в «Руде право» героическое завещание Фучика».

М. ПУИМАНОВА
ВСЕ МЫ — ТРУЖЕНИКИ ЭПОХИ

Нет ничего противнее, чем снобизм в выборе материала. Описывайте приключения, романтику научных изысканий, создавайте эпос исследовательских лабораторий или эпос архивов — весь вопрос в том, насколько глубоко вы сумели заглянуть в действительность, сумели ли вы ее интересно описать. Одно писатели должны понять — у нас появился опасный конкурент. Каждый узник, чудом вернувшийся из концлагеря, каждый, кому удалось в годы оккупации эмигрировать за границу, каждый солдат, побывавший за рубежом, и каждый партизан расскажет вам не фантастические, а подлинные истории, которые с ним произошли. Историческое богатство пережитого огромно и недосягаемо, и было бы бессмысленно, прихрамывая, тащиться за ним в надежде написать какой-нибудь натуралистический репортаж. Художник — не фотограф; если же ему необходим снимок, то это должен быть рентген, выясняющий причины происходящего, а не видовая открытка. Недостаточно простого сходства — нужно, я бы сказала, видеть «первооснову» этого сходства. Потому что мы пережили Апокалипсис и Илиаду, хотя сами не понимаем этого — слишком близки от нас все события. И прежде чем появится Гомер нашей эпохи, нам ничего не остается, как чутко в нее вслушиваться, хранить добытую свободу, защищать ее, если ей угрожают, оберегать читателя, чтобы его не сбили с пути, писать как можно лучше и учиться, учиться и учиться — хотя бы на старости лет. Посмотрите: если у человека открылся музыкальный или певческий талант — он едет учиться в консерваторию; люди рисующие идут в академию художеств; но начинающий писатель, да и все мы, по сути дела, самоучки. Как говорится, кому талант не дан от бога, тот не купит его в аптеке, но кому талант дан, тот отвечает за него, отвечает перед собой и читателями. Об этом никогда не следует забывать.

1946 г.

ОПТИМИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ

Признаюсь сразу, что я боюсь громких слов, а «оптимизм» — одно из них. Я не считаю этот мир самым лучшим из всех возможных. Но я с радостью живу в нем и верю, что деяния человеческие совершенствуются.

Утверждать оптимизм ради оптимизма — значит бессмысленно сотрясать воздух, воскрешать пустое хвастовство, скончавшееся вместе с Муссолини и Гитлером. Их оптимизм опирался на пустоту, и пустота его поглотила. Мы же серьезно размышляем о том, что необходимо писателю и что необходимо читателю.

Писателю необходимо, прежде всего, владеть своим искусством. Владеть настолько, чтобы в нужный момент он мог запретить себе всевозможные выкрутасы и прийти к простоте — настоящей, классической простоте. Мы пишем не для посвященных, а для обычных людей: рабочих, студентов, продавщиц, матерей — для всех; и мы ничуть от них не отличаемся. Что нужно читателю? Понаблюдайте за кинозрителями — они вас многому научат. В них детская жажда «хэппи энда», эта старая, как мир, потребность поэтической справедливости.

Человеку нужна вера, надежда и любовь. Если, когда вы пишете, у вас за спиной не стоит ни одна из этих божественных добродетелей — значит, вы осиротели. Возможно, вы выполнили замечательную лабораторную работу, интересную для специалистов, но ваше произведение не будет обращено к людям, а это главное. Того, кто сегодня исключает себя из человеческого общества, я считаю дезертиром.

Оптимизм в литературе? Для него нет рецептов. Пишите как можно лучше, интереснее, художественнее. Если вы приобщили человека, перенесшего страдания, к прекрасной мечте — вы сделали гораздо больше для утверждения в нем оптимизма, чем если бы вы громко кричали: «Жизнь прекрасна».

1958 г.

ПОЛЕМИКА

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ

(Заметки на полях одной рецензии)

В прошлом году нью-йоркское издательство «Даблдей» выпустило в переводе на английский язык мой роман «Живые и мертвые». Благодаря любезности издательства, регулярно присылающего мне вырезки из американских газет и журналов, я имел возможность познакомиться с довольно широким кругом статей и рецензий, появившихся в американской печати.

Я не собираюсь заниматься обзором их — вряд ли это дело автора. Не собираюсь и пускаться в обсуждение художественных достоинств и недостатков моего романа. Я удовлетворен тем, что издательство «Даблдей» выпустило мою книгу в полном и добросовестном переводе, и таким образом американские читатели имеют возможность сами судить о моей книге — такой, какая она есть.

Есть рецензии, в которых художественная сторона романа оценивается довольно высоко. В большинстве рецензий в разных пропорциях содержатся и похвалы и упреки. Попадаются и такие, как рецензия в «Нью-Йорк геральд трибюн букс», согласно которой художественная ценность романа равна нулю.

Если бы меня интересовала эта сторона дела, очевидно, мне бы предстояло полемизировать с автором именно этой рецензии. Но в данном случае эта сторона дела меня мало интересует, не говоря уже о том, что автор, стремящийся доказать, что он талантливее, чем кажется рецензенту, ставит себя в смешное положение.

Я взялся за перо потому, что меня интересует другая сторона дела, а именно — политическая. И с этой точки зрения мне хотелось бы остановиться на напечатанной в «Нью-Йорк таймс бук ревью» рецензии известного американского журналиста Гаррисона Солсбери, которая называется «Народ все вынес».

Тон рецензии господина Солсбери по отношению ко мне как писателю, в узкопрофессиональном смысле, пожалуй, можно назвать вполне лояльным.

Но более широкий, главный, политический смысл этой рецензии (а эта рецензия прежде всего — политическая) заставляет меня кое-что сказать на тему о том, чем была та война, которую вела моя страна против фашизма, и как, кем и почему она была выиграна.

В сущности, моя книга и есть ответ именно на эти вопросы. Избрав для ответа форму романа, я отвечал на них как участник войны, как офицер нашей армии, как коммунист — отвечал, исходя из своего жизненного опыта и своих взглядов на жизнь.

Для меня, писавшего свою книгу с совершенно определенных идейных позиций — с позиций человека, уверенного в правильности оценки, данной XX съездом партии этому периоду нашей истории,— отнюдь не безразлично, когда находящийся по ту сторону океана критик моей книги, исходя из своих идейных позиций, прямо противоположных моим, пробует прочесть в ней не то, что в ней написано, а то, что ему хотелось бы в ней прочесть. Мне это тем более не безразлично, что упорные попытки подставить вместо авторской свою собственную, прямо противоположную концепцию в последнее время характерны для многих зарубежных статей о советских военных книгах.

Гаррисон Солсбери назвал свою рецензию «Народ все вынес». Если взять этот заголовок сам по себе, оторванно от содержания рецензии, то полемизировать с ним, казалось бы, не приходится. Наш народ в годы фашистского нашествия действительно все вынес. Вынес и победил, на полях войны сломав хребет германскому фашизму еще до того момента, когда союзники высадились в Нормандии.

Я не хочу приуменьшать ни значения нашего союза против фашизма в годы войны, ни доблести американских, английских, французских солдат армии вторжения, ни их жертв или готовности к жертвам. Я просто комментирую заголовок рецензии госпо-

дина Солсбери — «Народ все вынес». Ибо сами эти слова «Народ все вынес» включают тот факт, что к лету 1944 года он уже вынес на своих плечах всю основную тяжесть вооруженной борьбы с фашизмом в Европе.

В целом ряде статей в американской печати, связанных с моим романом, с полным уважением сказано о том, что было сделано нашим народом во время войны. В одной из рецензий сказано, что «если бы нам больше не за что было благодарить советский народ, его защита родины от фашистских захватчиков все равно оставила бы нас в тысячелетнем долгу перед ним. Потому что именно его борьба сломала шею фашизму». В другой сказано, что читатель, «закрывая книгу, понимает, что, хотя основные битвы еще были впереди, победа немцев немыслима».

Есть близкие к этому высказывания и в других рецензиях, и я не вижу причин скрывать, что каждое такое высказывание американцев о нашем народе доставляет мне моральное удовлетворение.

Однако если сопоставить название статьи Гаррисона Солсбери «Народ все вынес» с ее основным смыслом, то нетрудно убедиться, что название это в данном случае — полемическое. А смысл статьи состоит в том, чтобы противопоставить советский народ коммунистической партии и попытаться доказать, что Россия победила в этой войне не благодаря тому, что у руководства страной стояла коммунистическая партия, а «вопреки» этому.

Господин Солсбери и не скрывает основного пафоса своей статьи; он прямо так и пишет: «Переворачивая последнюю страницу этой гневной и красноречивой книги, читатель ясно понимает, что Россия была спасена не благодаря своей коммунистической системе, а вопреки ей. Ее спасли русские мужчины и женщины, которые во все исторические периоды отличались терпением, патриотизмом, выносливостью. Потоки их добровольно проливаемой крови и остановили, в конце концов, нацистское чудовище».

Итак, на первый план в статье господина Солсбери выплывает далеко не новая антикоммунистическая идея противопоставления партии и народа.

Народ наделяется всевозможными сочувственными эпитетами: он и патриотический, и выносливый, и терпеливый. Далее отмечается, что таков он был во все периоды своей истории, а затем читателям статьи предлагается сделать вывод, что не будь в России к 22 июня 1941 года коммунистической системы, то, очевидно, этот патриотический, выносливый и терпеливый народ гораздо легче справился бы с немецким фашизмом.

Враждебная коммунизму направленность этой концепции не вызывает сомнений. Вызывает сомнения логика автора.

Согласно этой логике, чтобы не ходить далеко, скажем, в такой исторический период, как первая мировая война, «русские мужчины и женщины» отличались таким же патриотизмом, терпением и выносливостью, как и во вторую мировую войну. Но хотя предпосылка остается та же — результаты что-то не сходятся. Патриотизм, выносливость и терпение в 1914 году были. Коммунистической системы, «вопреки» которой они проявляются, не было. У руководства страной стояли помещики и капиталисты. И, однако, Россия, начав войну вторжением в Восточную Пруссию, закончила ее плачевно и накануне русской революции оказалась на грани военного разгрома. А в 1941 году страна, у руководства которой стояли коммунисты, начав войну с поражений, закончила ее в 1945 разгромом германского фашизма в Берлине.

Таковы исторические факты, в свете которых от концепции господина Солсбери остаются рожки да ножки.

К сказанному можно прибавить еще кое-что, а именно, что с сорок первого до сорок четвертого года советская армия практически одна противостояла на всем европейском континенте войскам Германии, Австрии, Венгрии, Румынии, Финляндии, Италии, плюс различные военные легионы еще десятка европейских стран. И тем не менее, руководимая коммунистами Россия выстояла и победила.

А в 1914—1918 годах французы и англичане с первого дня всерьез воевали на европейском континенте, была Марна, была Сомма, был Верден; против России ни в один период войны не действовало более половины сил Германии и Австро-Венгрии, и, однако, руководимая помещиками и капиталистами, Россия к семнадцатому году пришла на грань военного краха.

Так, спрашивается, где же тут «благодаря» и где «вопреки»? Что-то у рецензента моего романа явно не сходятся концы с концами.

Да, русские мужчины и женщины всегда любили свою родину, всегда умели проявлять и терпение, и выносливость, и, добавлю,— мужество перед лицом военной опасности. Однако я склонен думать, что все эти качества проявлялись в своей полной силе в 1941—1945 годах не «вопреки», а *благодаря* тому, что народ верил стоящей у власти коммунистической партии, а сама партия была партией, не имевшей других интересов, кроме интересов общенародных, и неизменно требовала от всех своих членов — сверху донизу, без исключений — быть первыми в бою. Невзирая на лица, она не допускала никаких уклонений от этого требования, и ни одному коммунисту не было дано права первым отступать, и каждому было дано право первым подняться в атаку. Это право было одновременно его обязанностью, и советские коммунисты во время войны выполнили эту обязанность. Поэтому народ уважал их и уважал партию, членами которой они были, и пополнял собой ряды этой партии. И к концу войны она стала больше, чем была до войны, хотя миллионы коммунистов сложили головы на полях сражений.

Такой была на деле коммунистическая система, знающая, чего она хочет — а она хотела сломить шею фашизму,— и сумевшая

это сделать благодаря своей воле, твердости, организованности, благодаря единству своих целей с целями народа.

Так обстояло дело в действительности, и эту действительность — на самом трагическом для нас, первом отрезке войны — я и стремился показать в своем романе «Живые и мертвые».

У меня есть личные причины для того, чтобы стремиться показать в своих книгах силу коммунистической системы, проявившуюся в таком тягчайшем испытании, как вторая мировая война. Я принадлежу к числу людей, вступивших в партию во время войны, в ее первый, самый тяжелый период, исходя из твердого убеждения, что мы победим не «вопреки», а благодаря коммунистической системе. Я знал, что во время войны принадлежность к коммунистической партии не освобождает человека ни от каких обязанностей, а, наоборот, увеличивает его обязанности перед родиной, и пошел в партию так же, как пошли в нее миллионы других людей, веривших, что только советский строй и коммунистическая система дадут нам возможность сломить фашизм, к этому времени уже завоевавший почти всю капиталистическую Европу.

Я русский человек, и мне дороги национальные черты моего народа. Но я далек от мысли, что, скажем, молниеносный разгром Франции в 1940 году произошел оттого, что у простых людей Франции не хватало любви к родине, или выносливости, или терпения. Наоборот, я уверен, что если бы Народный фронт Франции, душой которого были коммунисты, не был задушен реакцией еще до войны, если бы к началу войны во Франции у власти стоял он, а не те, кто стоял тогда у власти, то и там, даже при самых тяжких поражениях, в конечном счете картина оказалась бы не такой, какой она оказалась.

То, что я скажу дальше, лишь умозрительное предположение, но я все же скажу то, что думаю. При моем глубоком уважении к силе и мужеству американского народа, я все же не знаю, что произошло бы с Соединенными Штатами, если бы фашистская Германия была не за океаном, а рядом с ними и если бы 170 вооруженных до зубов фашистских дивизий в одно страшное летнее утро 1941 года внезапно перешли на всем протяжении сухопутную границу Соединенных Штатов и вторглись в страну.

Предполагаю, что картина была бы страшной, а последствия — далеко идущими, и не убежден, что капиталистическая система Соединенных Штатов вышла бы из этого аналогичного испытания с менее страшными потерями, чем мы. Думаю, что наоборот.

А чего нам стоила обусловленная рядом причин недостаточная готовность к войне, лежавшая на ответственности Сталина, и с какими страшными вещами все это было связано, я написал в своей книге. И, насколько я понял, читая десятки рецензий, мои американские рецензенты, как правило, не склонны дискутировать со мною относительно меры правдивости книги в изображении трудностей, выпавших на долю нашего народа, в том числе и трудностей не только внешнего, но и внутреннего характера, которые, разумеется, тоже существовали в 1941 году.

Кстати сказать, всю несостоятельность стремления Гаррисона Солсбери в угоду своей антикоммунистической концепции выдать желаемое за действительное заметили и некоторые американские читатели романа. Это настолько любопытное явление, что я не поленюсь полностью привести опубликованное в «Нью-Йорк таймс бук ревью» весьма характерное в этом смысле письмо в редакцию:

«В своей рецензии на роман К. Симонова «Живые и мертвые» Гаррисон Солсбери упустил очень важную деталь. Книга вовсе не «простой рассказ об офицере, пытающемся присоединиться к своему полку, который к началу войны находился на западной границе». Это история «политрука», партийного работника в армии, оказавшегося в потоке отступающих войск летом 1941 года. Утеря документов имеет в его случае особое значение, так как, будучи «комиссаром», он в немецком плену подлежал немедленному уничтожению, поэтому свои могли заподозрить его в трусости. Это делает его положение особенно трагическим, и автор хорошо это показывает. Никто не собирается приуменьшить доблесть русских солдат, и коммунистов и некоммунистов, нельзя также отрицать, что книга Симонова дает реалистическую и даже страшную картину поражения и смятения первых дней войны, из которой Советский Союз все-таки вышел победителем, но при этом мы не должны закрывать глаза на политические и пропагандистские аспекты романа. Эманьюэл Солгэллер, Питтсбург, Пенсильвания».

Вот именно — не стоит закрывать на это глаза. Совершенно с этим согласен!

Возможно, прочитав то, что я здесь пишу, господин Солсбери все равно останется при собственном мнении, что Россия выиграла войну «вопреки» своей коммунистической системе. Люди, любящие выдавать желаемое за действительное, обычно упрямы.

Сейчас я дописываю роман о разгроме немцев под Сталинградом и не скрою, что, если впоследствии господин Солсбери обратит внимание и на этот мой роман, мне любопытно будет прочесть его мнение о том, как Россия, «вопреки своей коммунистической системе», остановив фашистов под Москвой, в дальнейшем — опять-таки «вопреки своей коммунистической системе» — разгромила их под Сталинградом.

Заранее предвкушаю, какие новые чудеса логики придется проявить господину Солсбери для того, чтобы, не отступая от своей концепции, объяснить «чудо под Сталинградом».

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

О НОВАТОРСТВЕ ПОДЛИННОМ И ЛОЖНОМ

«Новаторство и традиции, авангардизм, интеллектуализм, ассоциативная образность (противопоставляемая жизненной), художественный язык прошлого и художественный язык современности, искусство национальное и искусство общечеловеческое — все эти понятия как будто наперегонки галопируют по страницам литературной прессы и в творческих спорах. От них отлетают горящие искры дискуссионных столкновений. Действительно, по какому пути пойдет искусство? Кого считать «новаторами» и кого «традиционалистами»? Чье поэтическое мышление является «новым», а чье «старым»? Каковы требования жизни к обновлению современного художественного творчества?» — все эти вопросы, которыми открывается статья **Пантелея Зарева «Дискуссии и здоровые пути»**, напечатанная в болгарской газете **«Работническо дело»**, как подчеркивает автор, могут правильно ставиться и решаться только в свете общих задач и перспектив социалистического искусства, в свете непримиримой идейной борьбы с силами старого мира. «Заново измерить параметры», определить, что в искусстве является действительно новым, свежим, прекрасным, а что — беспочвенным, ненужным и неоправданным, можно, лишь отвергнув с порога лживую теорию мирного сосуществования идеологий.

«Вопрос о новых художественных открытиях никогда не переставал волновать художников, особенно в периоды большого творческого подъема,— пишет Зарев.— Этот вопрос неизбежно возникает и для искусства социалистического реализма. В различных своих воплощениях — романтическом, монументально-героическом или реалистически-жизненном, близком к нашей повседневности, оно, утверждаясь как художественная исповедь человека, вступившего в эпоху новых общественных отношений, неудержимо стремится к открытиям, к постижению новых истин и потому не может развиваться без опытов, без творческих поисков».

Напомнив об огромном значении художественных открытий в истории искусства, о той громадной роли, которую сыграло в развитии мировой литературы новаторство Бальзака, Флобера, Чехова, Томаса Манна и других больших писателей, Зарев замечает, что этот плодотворный процесс «открывательства» тем более закономерен в искусстве социалистического общества, где вступают в действие могучие факторы, которые вносят новый смысл в творческие искания художников.

«Творческое обновление литературы неизбежно. Невозможно, чтобы у нас не наступил процесс усиленных поисков новых художественных форм и средств, процесс сверки часов с новыми явлениями, особенно после того, как наше искусство так долго пытались втиснуть в прокрустово ложе тезисности и лакировки».

Но если верно, что искусство социалистического реализма не может развиваться в узкопровинциальных рамках, не может быть оторвано от больших художественных открытий прошлого и настоящего, пишет Зарев, если верно, что творческие поиски закономерны и необходимы,— не менее верно и то, что они оправданы лишь тогда, когда действительно ведут к художественным завоеваниям, вытекают из значительных художественных целей и, главное, не вступают в противоречие с общественной функцией литературы и прежде всего с ее нравственно-воспитательной функцией.

В этой связи Пантелей Зарев останавливается на вопросе, занимающем многих молодых болгарских писателей, так называемых «авангардистов»,— вопросе о мироощущении современного человека, о чертах, отличающих его от человека вчерашнего дня. В решении этого вопроса они исходят из того, что развитие техники, динамика жизни, изменение объективных условий жизни меняют и «видение мира».

«Быстрый темп современной жизни делает нас другими,— говорят они.— В извилинах нашего сознания создаются новые формы восприятия и реакции. Человек раскрывается в глубину не через жест и внешние проявления, а через поток сознания. Следовательно, необходимыми становятся и новые средства художественного выражения, новый поэтический язык. Не такие, которые замедляют восприятие, а такие, которые его облегчают, переходя и в структуру сюжета, и в стихотворную технику, и в поэтический словарь. Они призваны передать новый душевный склад, новое единство человека со временем, возникающее благодаря технике, благодаря новым ощущениям, рожденным самолетом, космическими полетами, общением континентов».

Здесь Зарев подходит к разъяснению того, какая опасность кроется в таком понимании новаторства, в поверхностном представлении о молниеносном, кинематографическом изменении психологии человека.

«С поисками нового «мироощущения», идущего от революционных изменений в технике и в характере материальной среды, начинают исчезать границы между нами и теми, кто находится по ту сторону баррикад, на другой стороне классового фронта. Если психологию людей определять только материальными условиями, новыми средствами техники, радио, космическими полетами, кибернетикой, то исчезает различие между человеком у нас и человеком при капитализме. Понятия «мировоззрение», «этика», «гуманизм» вытесняются понятием «мироощущение», зачеркивающим классовые различия... И открываются тропинки для нездоровых влияний, для зауми, якобы выражающей «новую», «сложную» психологию, свидетельствующую о зависимости «новых» поэтических средств от нового динамичного («телеграфного» или «абстрактно-синтетического») восприятия мира».

В поисках новых форм некоторые молодые болгарские писатели идут как раз по такому неправильному пути. Зарев называет в этой связи имена молодых поэтов Димитра Дублева и Васила Попова. Первый из них печатает свои стихотворения без знаков препинания, считая, что этим выражает «новое» в психологии человека, хотя от отсутствия знаков препинания и заглавных букв динамика и экспрессия стихов не нарастают, а смысл их затемняется. Второй разбивает человеческое сознание на мелкие осколки, не открывая этим «тайны» современной человеческой психологии, а возвращая читателя к «алогизму» и «ассоциативности», которые были введены в болгарскую литературу еще 35—40 лет назад Николаем Райновым и, к счастью, не пустили в ней корни.

В руках таких литераторов, по словам Зарева, «художественный эксперимент начинает превращаться в дешевую моду». С другой стороны, он «рискует приблизиться к провинциализму и мещанству в литературе».

Пантелей Зарев с сожалением отмечает, что такие явления имели место и на болгарской Общей художественной выставке, где наряду со стремлением к творческому многообразию форм давали себя чувствовать и некоторые нездоровые тенденции, выражавшиеся в «манерных стилизациях» (неоправданное увлечение геометризацией форм у Аны Далчевой и т. п.).

«Подобные явления, порожденные неправильным пониманием функции художественного творчества,— пишет Зарев,— вызвали в Советском Союзе большой разговор партии и общественности с деятелями искусства».

Зарев резко выступает против тех, кто в выступлениях руководителей Коммунистической партии Советского Союза по вопросам искусства не замечает стремления партии направить советское искусство по тем здоровым путям, которые связывают его с достижениями искусства прошлого и обеспечивают его активную воспитательную роль. В то же время Зарев предостерегает и против другого рода извращений смысла последних событий в культурной жизни Советского Союза.

«Доклады Ильичева,— замечает он,— вызвали радостное волнение среди догматиков и сектантов. Вот, мол, подтверждаются их «пророческие» предвидения, что еще будет возврат назад в искусстве. Какое жестокое заблуждение, какое непонимание процессов, происходящих в советской культуре именно после периода культа личности! Какая недооценка активной и руководящей роли партии в этих процессах!»

Зарев надеется, что молодые болгарские писатели, которые внесли в болгарскую литературу творческое оживление и новые художественные формы, откроют «здоровые, чистые воды большого искусства, откуда все мы стремимся пить». Он не сомневается, что они придут к правильному пониманию различия между истинно новаторскими исканиями и преходящей дешевой модой.

«Наше общество в последнее десятилетие борется за освобождение от тяжелых последствий культа личности. И нельзя допускать, чтобы при создавшихся условиях художественного расцве-

та взяли верх, хотя бы и временно, нездоровые тенденции. Нельзя допускать, чтобы под прикрытием теории общего в «мироощущении» человека нашей эпохи к нам проникали аполитичность, антинародность и отрицание классовости искусства. В этой области мирное сосуществование невозможно».

В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ — ПОЖАР

Известный американский поэт и драматург **Арчибалд Маклиш** в статье **«Должны ли мы ненавидеть?»**, опубликованной в журнале **«Атлантик»**, спрашивает:

«Почему мы проводили дни и ночи у телевизоров, вглядываясь в лица студентов, собирающихся группами в университетском дворе, следя за фигурой человека, оказавшегося в центре событий, который медленно шел по коридорам университета в сопровождении судебных исполнителей и вслед которому кричали, плевали, свистели? Почему это зрелище не может изгладиться из памяти, почему к нему возвращаешься снова и снова, и сердце сжимается, и становится горько, как никогда? Мне кажется, что меня больше всего потряс черный колодец общественной ненависти, в который я заглянул».

Имя Джеймса Мередита, негра, который захотел воспользоваться своим гражданским правом и поступить учиться в университет города Оксфорда в штате Миссисипи, стало известно всем. События в Оксфорде прогремели на весь мир так же, как и события в Литтл-Роке. Они, эти события, произвели тягостное впечатление и на самих американцев, о них не смогли умолчать многие американские писатели. Об этом свидетельствует взволнованная статья Маклиша. Об этом свидетельствуют и несколько выступлений писательницы-южанки **Лилиан Смит.**

«В городе Оксфорде все жители переживают духовный кризис,— пишет она в журнале **«Лайф».**— И важно не то, что произойдет с Джеймсом Мередитом, а то, что будет с каждым жителем штата Миссисипи...»

В другой статье, напечатанной в **«Сатердей ревью»**, Лилиан Смит говорит:

«Наши моральные представления смешались, наш душевный покой нарушен, мы оказались недостойными того серьезного морального испытания, которое выпало на нашу долю...»

Расовая дискриминация во всех ее формах появилась в Америке не вчера. Недаром Твен назвал однажды свою родину «Соединенные Линчующие Штаты».

Конечно, такие люди, как Маклиш или Смит, знали и раньше о расовой дискриминации. Знали, но не понимали глубины национальной трагедии. Так, Маклиш признается, что ему было известно о существовании расистов, о ненависти к неграм,

«но,— добавляет он,— я всегда думал, что ненависть есть нечто преходящее, что она исчезнет, когда исчезнут неграмотность и бедность, порождающие ненависть».

О непонимании реального положения вещей говорит и Смит:

«Трагедия Юга заключается не только в том, что мы сделали с неграми, но и в том, что мы сделали с самими собой. Заговор молчания и цензуры, навязанный самим себе, надолго отгородил нас не только от критики извне, но и от нашего собственного народа».

Ту же мысль развивает и **Джон Гриффин:**

«Из-за строгой сегрегации, из-за отсутствия связей между неграми и белыми мы, южане, оказались в плену одной из самых распространенных в истории иллюзий, будто наша система приносит благо тем, кого угнетают».

О том, как рухнули его иллюзии, об истинном положении негров на Юге Гриффин рассказал в репортаже «Черен, как я», известном советским читателям.

Огромную роль в разрушении этих иллюзий сыграло движение самих американских негров в последние годы, движение без всяких преувеличений историческое. Это движение принесло и конкретные завоевания: впервые за всю историю США, хотя и в немногих школах, негритянские дети учатся вместе с белыми. Хотя и в немногих университетах, черные студенты слушают лекции вместе с белыми. В десятках закусочных и ресторанов Юга сняты надписи «Только для белых».

В многочисленных статьях о возросшей политической активности американской молодежи, особенно студенчества, все время упоминаются и «сидячие демонстрации протеста», и «рейды свободы». И американские писатели, даже далекие от освободительного движения, по своим взглядам буржуазные либералы, поняли, что речь идет на этот раз не о частных несправедливостях, пусть вопиющих, а о самом главном.

«В Оксфорде,— пишет Маклиш, — имело место столкновение между самой республикой, или великой идеей, на которой зиждется республика, и той идеей, которая может в один прекрасный день уничтожить республику... Прежде чем закончилась ночь, народ США и других стран, но прежде всего США, узнал, что немалое число американцев отвергает, решительно отвергает американскую идею...»

То, что произошло в Оксфорде, представляет собой, по его словам, «антитезис Америки».

Гриффин подчеркивает социальный характер расовой дискриминации, он говорит о «кризисе в обществе, где голоса людей порядочных слышны редко и где крики толпы

представляют массу в таком виде, что мы должны были бы сгореть со стыда».

Почему же именно события в Оксфорде произвели такое впечатление?

> «Еще до событий в Оксфорде,— отвечает Маклиш,— мы знали, что наши поступки как нации не всегда совпадают с нашими словами. Мы говорили о себе как о демократическом обществе, как о свободном мире, как об оплоте свободы. Наши же действия порою доказывали, что есть много американцев, для которых наше общество не демократично, много американцев, для которых наш мир не вполне свободен, много американцев, чья свобода ограничена».

Но, продолжает он, несмотря на это американцы считали себя людьми честными и цельными.

Америка стоит на распутье, перед решающим выбором. После расовых беспорядков в штате Миссисипи даже такое непрочное равновесие уже трудно сохранять. «В следующий раз — пожар» — так назвал свой новый очерк о расовой дискриминации писатель-негр Джеймс Болдуин.

Где же выход? Все больше американцев начинает понимать, что его надо искать в подлинной демократизации всей общественно-политической жизни Америки.

> «Люди не могут выйти из этого лабиринта,— пишет Лилиан Смит,— если они потеряли нить Ариадны, которую ни один зрелый народ не имеет права терять или позволять, чтобы ее перерезали. Эта нить — свобода, свобода слушать и говорить, свобода задавать новые вопросы или по-новому ставить старые, свобода принадлежать времени, в которое мы живем, и принадлежать своей совести».

В статьях Маклиша и Лилиан Смит выражено чувство горького стыда, стыда за невольное соучастие в преступлении, ощущение своей вины за происшедшее в штате Миссисипи, потому что толпы белых погромщиков из Миссисипи — это тоже американцы. Ведь страна неделима, и писатель не сидит в башне из слоновой кости.

Этим чувством продиктованы за последнее время разные книги: гневные главы Стейнбека «Путешествие с Чарли в поисках Америки», трагические страницы романа Джеймса Болдуина «В иной стране» и очерк «В следующий раз — пожар», горько-насмешливые романы Колдуэлла «Дженни» и «Вблизи от дома», репортаж Гриффина «Черен, как я», документальные книги «Сердце, в котором нет сегрегации» Сары Бойл и «Длинная тень Литтл-Рока» Дейси Бейтс, книги либералов и коммунистов, книги безбожников и верующих, книги людей, убежденных в справедливости слов: «все люди рождаются на свет с определенными неотъемлемыми правами: жизнь, свобода, стремление к счастью». Все — люди, и белые и черные Так было записано в «Декларации прав». За превращение этих слов в реальность в сегодняшней Америке еще предстоит острая борьба. Борьба не только с линчевателями по убеждению, но и с опасными предрассудками, которые неустанно культивирует реакционная пропаганда и от которых не свободны и многие из тех, у кого не умерла совесть, как об этом свидетельствуют, между прочим, даже выступления Маклиша и Лилиан Смит. Эти писатели хорошо знают, что не коммунисты кидали гнилые яблоки в Джеймса Мередита, не коммунисты превратили Америку в посмешище для мира, разыграв в Миссисипи фарс, который был бы смешным, если бы не память о потоках крови, пролитых после таких же фарсов и тоже в защиту «чистоты расы». И что отнюдь не одни коммунисты, не только коммунисты сражаются сегодня в США против расовой дискриминации. Маклиш справедливо замечает, что «штат, где решение верховного суда США всерьез квалифицируется, как «коммунистический заговор»,— это штат, который давно уже потерял контакт с живой историей», что «антикоммунизм как великий американский лозунг не ведет к торжеству Америки». Но это не помешало ему, как и Лилиан Смит, забыв свои собственные слова, в конце той же статьи, отдать дань антикоммунизму. Однако вряд ли стрелы в мир коммунизма смогут отвлечь обыкновенных американцев от того главного, что они прочли у писателей, широко известных отнюдь не как критики «американского образа жизни». Того, от чего было горько и стыдно и Маклишу, и Смит, и Гриффину, и многим их соотечественникам.

ЖЕРТВЫ ОПАСНЫХ ИЛЛЮЗИЙ

Отшумело дело «Шпигеля» в правительственных инстанциях и на газетных полосах ФРГ; один за другим вернулись к своим занятиям дерзкие журналисты, причинившие столько хлопот боннским властям и бундесверу своими неуместными разоблачениями; обремененный еще и этим скандалом, расстался с постом военного министра Штраус; сотрудники западногерманских редакций высказали все, что они могли сказать по поводу свободы печати в ФРГ, и, довольные уходом Штрауса и освобождением Аугштайна ищут теперь новых сенсаций. Скандал стал достоянием истории. Из истории проще извлекать уроки. Тем более что она продолжает свой ход — и продолжает самым неприятным образом для многих участников миновавших событий.

В самый разгар дела «Шпигеля» было много разных заявлений в адрес «зарвавшихся» властей, но одному из этих заявлений суждено было вобрать в себя всю энергию политических и публицистических страстей и разрастись в особое дело, эхо которого оказалось значительно долговечней, чем отголоски дела «Шпигеля».

Все началось с того, что писатели «Груп-

пы 47» во главе с Гансом Вернером Рихтером опубликовали коллективный протест против полицейской расправы с редакцией «Шпигеля». Это само по себе было бы не страшно: власти, которые не моргнув глазом арестовали полредакции отнюдь не левого журнала, уж как-нибудь снесли бы еще один протест. Пускай и столь внушительный. Пускай даже коллективный. Но писатели «Группы 47» позволили себе аргументировать свой протест самым непозволительным образом. Представляете, что было с начальником бундесвера, когда он раскрыл утреннюю газету и прочитал: «В момент, когда война доказала свою непригодность как средство политики, мы считаем осведомление общественности о так называемых военных тайнах моральным долгом прессы, который она всегда будет выполнять»?

Тут уж не до шуток. Кому-кому, а начальнику бундесвера хорошо известно, что нацистские преступления Фёрча, о которых напомнил «Шпигель»,— это цветочки по сравнению с ягодками, укрывшимися на бундесверовских грядках. Тут надо было действовать. И дело «Шпигеля» отошло на второй план.

События развивались бурно. Против «Группы 47» было возбуждено следствие по подозрению в подстрекательстве к государственной измене. Официальной травле аккомпанировала официозная публицистика. Первым солировал журналист с писательскими амбициями **Рудольф Кремер-Бадони.** У него с писателями «Группы 47» старые счеты, если судить по его статьям — политические: еще в мае прошлого года он изошел ядом иронии на страницах гамбургской газеты «Вельт», издеваясь над «нашими милыми левыми литераторами», которые «хотят усесться за один стол с тоталитарными коллегами, чтобы болтать и заниматься схоластикой». Тогда Кремер-Бадони пришел прямо-таки в бешенство от идеи контактов между ГДР и ФРГ даже в области культуры и категорически объявил: «Или мы продолжаем и выигрываем «холодную войну», или мы теряем нашу свободу».

Впрочем, вернемся к делу «Шпигеля» и «Группы 47» — кстати, и речь зашла о свободе. Теперь Кремер-Бадони уже вовсе не сдерживает перо и попросту называет свою статью: **«Шуты нашей нации».** Он не язвит — он гремит:

> «Человек, отказывающийся от военной службы, отказывает своему народу в помощи в случае необходимости военной самозащиты. Это уже слишком. Эти «сорокаседьмовцы», готовые к государственной измене и призывающие к ней, хотят лишить весь народ возможности прибегнуть к военной обороне, если это потребуется. Они, конечно, дети. Они играют в изменников родины. Они знают, что они ничего не сделают. Им просто нужна реклама. Читайте и дальше их книги. Читайте. Только знайте теперь, что вы имеете дело с шутами. С ребячливыми национальными шутами».

Но оставим Кремера-Бадони. Тем более что суть дела не в этом, и то, что «они ничего не сделают», прекрасно знает не только Кремер-Бадони, но и сами писатели «Группы 47», которые, кстати, как выяснилось, отнюдь и не собирались посягать на сейфы с секретными документами бундесвера. В ответном письме в редакцию «Вельт» Рихтер пояснил, что писатели «Группы 47» имели в виду всего лишь «так называемые» военные секреты, что они хотели предостеречь от возможного «злоупотребления» этим понятием, которое «может помешать осведомлению общественности об опасностях политической и военной ситуации».

> «Неужели мы уже не имеем права высказаться? — растерянно спрашивает Рихтер.— Неужели мы уже не имеем права предположить, что «Шпигель» в своей статье о Фёрче обнародовал лишь так называемые, а не действительные военно-технические секреты?»

И оказалось, что не имеют. Не только на такие предположения, но и на многое другое. Об этом сообщил публично на торжественном открытии франкфуртской книжной ярмарки господин **Вернер Шютц,** член ХДС, министр культуры земли Северный Рейн — Вестфалия:

> «Ныне пришел конец прекрасной **«писательской невинности»,** которая позволила писателям быть слева, где сердце, и одновременно иметь чистую совесть. Даже самый наивный добряк не гарантирован ныне от того, что его служение революционным социалистическим идеям марксистско-ленинского происхождения может обернуться конкретным случаем государственной измены».

Позвольте, спросят нас, а при чем тут «революционные социалистические идеи марксистско-ленинского происхождения»? Не знаем. И писатели «Группы 47» вряд ли знают. Спросите у министра культуры Северного Рейна — Вестфалии. Но суть дела от этого становится значительно ясней. Обратимся к статье прогрессивного западногерманского журналиста **Гейнца Брюдигама,** процитировавшего на страницах газеты **«Ди андере цейтунг»** эти установки из вестфальского министерства.

> «Как бы ни кончилось это дело,— пишет Брюдигам,— Гансу Вернеру Рихтеру и его друзьям должно быть ясно одно: упрек в подстрекательстве к государственной измене еще долго будет им вменяться в вину. Им не поможет и то, что они публиковали заявления против берлинской стены,— антикоммунизм еще ни разу не предохранял оппозиционные силы от обвинения в преследовании тех же целей, которые ставят перед собой Хрущев или Ульбрихт. Опыт «Группы 47» показал, что сейчас достаточно не то что «революционных социалистических идей марксистско-ленинского происхождения»,

а просто демократических высказываний, чтобы поднять на ноги государственного прокурора. И тем самым проясняется вопрос об антикоммунизме, как бы ни старались некоторые писатели рассматривать его как алиби для своих критических высказываний о политике Бонна. Антикоммунизм не пригоден теперь даже в качестве алиби. Потому что демократия и мир неразделимы и в равной мере поставлены под угрозу политикой Бонна».

И еще один голос, на этот раз из социалистического лагеря. Еженедельник **«Зонн-таг»** (ГДР) опубликовал в номере от 20 января 1963 года открытое письмо заместителя главного редактора венгерской газеты «Непсабадшаг» **Петера Рени** редактору «Шпигеля» Хансу Шмельцу. Шмельц тоже был под арестом по делу «Шпигеля». Его арестовали, когда он пересек границу ФРГ, возвращаясь из социалистической Венгрии, где он спорил с представителями венгерской печати о свободе слова. Вот что пишет Петер Рени в своем письме Шмельцу:

«Вам казалось возможным все, кроме того, что произошло на самом деле; например, Вы считали возможным, что Вас могут арестовать в Венгрии; однако за Вами охотились не наши власти, а Ваши.

Вы заверяли нас во время наших бесед в Будапеште: Федеративная Республика является сейчас демократическим государством. Возможно, Вы и сейчас мне ответите — да, но все-таки человек, который позволил себе такую акцию насилия, как расправа над редакцией «Шпигеля», должен был покинуть министерское кресло. Но что это на самом деле доказывает? Штрауса устранили с поста министра своими протестами как раз те люди, которые думают иначе, чежели Вы, которые, в отличие от Вас, глубоко обеспокоены судьбой демократии в стране боннских «экономических чудес» и поэтому не хотят передоверять борьбу одной лишь парламентской оппозиции...

Вы попали в странное положение, господин Шмельц. Ваша собственная судьба, Ваше освобождение из тюрьмы зависит от того, чтобы в Федеративной Республике как можно скорее нашлось как можно больше людей, которые освободились от Ваших представлений о демократии и свободе и не тешат себя иллюзиями, в реальности которых Вы недавно хотели убедить нас в Будапеште. Я глубоко сочувствую Вам, когда я думаю о том, что Вас лишили свободы, я ощущаю даже известный трагизм положения, когда думаю о том, что с Вами обращаются как с врагом Федеративной Республики. Поистине трагическое недоразумение! Но при всем сочувствии и человеческом понимании я не хотел бы скрывать от Вас своего мнения. Вы не только жертва грубого режима насилия, не допускающего критики опасной реваншистской политики, но Вы и жертва самого себя, и те, кто борется за Ваше освобождение, борются и против Вас, против Ваших представлений о боннской империи».

К этому трудно что-нибудь добавить. А дело «Группы 47»? Коллегия адвокатов ФРГ добилась прекращения следствия. Однако при этом генеральному прокурору западногерманского суда было предложено исследовать заявление «Группы 47» с целью выяснения, нет ли в нем нарушения параграфов 110 и 111 уголовного кодекса ФРГ (подстрекательство к неповиновению и к наказуемым действиям).

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

ИРЖИ ЧУТКА

ВО ИМЯ ЖИЗНИ

«...потрясти мир может не только ураган и землетрясение, но и хорошая песня, тихое слово».

И. Р. Бехер

С незапамятных времен, с самого своего возникновения искусство помогало человеку жить, обогащало его духовно. До наших дней большое искусство сохранило свою первоначальную магическую силу, которая заставляет человека переживать, чувствовать и постигать судьбы других людей. Их воля и храбрость делает и его волевым и храбрым. Но большое искусство влияет не только силой примера — оно порождает в душе всю гамму ощущений, настроений и впечатлений, которые так или иначе могут обогатить, воздействовать не на одно лишь сознание, но и на чувства. Все это, разумеется, прописные истины, но не мешало бы время от времени вспоминать о них. Еще совсем недавно мы, как правило, односторонне истолковывали силу примера художественной литературы, обедняя тем самым себя и искусство. Однако искусство вновь и вновь показывает нам человека во всем его величии.

Обратимся к рассказу М. Шолохова «Судьба человека». Как много сумел показать советский писатель в этом небольшом произведении: и глубокое унижение, и невыносимое страдание, и огромную моральную силу человека, его гордость и героизм, несломленную волю к жизни, его жажду любви, дружбы. Такое художественное произведение пробуждает, поддерживает в человеке самые светлые стороны натуры, вливает в него жизненные силы, укрепляет веру в жизнь. Но рассказ Шолохова покоряет нас не только силой примера советского человека — он буквально захлестывает богатством впечатлений, эмоциональной насыщенностью.

Надо сказать, что такой волшебной силой обладает не только оптимистическая трагедия, способная вызвать слезы сострадания, но и произведение, вселяющее в сердца радость: простая мелодия, песня о счастье, произведение, которое рождает всепобеждающий смех, как, например, «Похождения бравого солдата Швейка» Я. Гашека. Нам известно немало примеров, когда стихотворение, песня, запавшие в сердце отрывки из «Бравого солдата Швейка», как и радостные известия с родины или фронта, вливали в узников фашистских концентрационных лагерей новые силы.

Советская Армия — армия-освободительница пришла к нам в 1945 году с песней, которую ныне знает вся Европа. Для многих наших людей «Катюша» была первым шагом на пути к нерушимой дружбе с Советским Союзом. Такую же роль для моего поколения сыграла советская литература. Поэтому я решительно не могу согласиться с теми, кто с высокомерием эстетов отвергает сегодня все, что создано нами на культурном фронте в годы после освобождения. Советская литература пришла к нам со всемирно известными произведениями Горького, Шолохова, А. Толстого, Фурманова, Гладкова и других писателей. Эти произведения навсегда покорили сердца наших читателей. Я убежден, что нам удастся преодолеть ошибки и заблуждения, вызванные влиянием культа личности, удастся устранить односторонний, догматический подход к вопросам искусства. Но мы не должны ни на шаг отступать от коммунистической принципиальности в наших дискуссиях и полемике. Давая сегодня оценку произведениям, созданным в нашей стране в прошедшем десятилетии, мы должны объективно оценивать не только их художественные достоинства, но и их значение для того периода.

В последнее время у нас разгорелись споры и зазвучали страстные голоса, призывающие к новому расцвету искусства. Некоторым это кажется странным. Они думают, что вопросы экономики, новых форм хозяйственного управления, подготовки семилетнего плана и т. д. оттеснили на задний план все остальное. В действительности же дело обстоит не так.

Наше общество, в сознание которого глубоко проникли здоровые, животворные струи ленинского творческого мышления, рассматривает явления экономики и искусства в их взаимной связи. И не случайно именно на страницах наших литературно-художественных газет и журналов расширяются рубрики материалов по вопросам экономики и политики, философии и истории в тесной связи с проблемами культуры и искусства. Все это имеет большое значение для преодоления элементов застоя в нашей культурной жизни и в развитии некоторых отраслей науки. Такое сотрудничество на основе верной марксистской оценки прошлого совершенно необходимо и для дальнейшего движения вперед. Вместе с тем, это — свидетельство нового размаха творческого мышления.

Говорят, что от раздумий болит голова. Да, у нас еще часто будет болеть голова, прежде чем мы привыкнем мыслить по-новому. Нередко вместо творческого мышления мы ради удобства предпочитали так называемые «вечные истины», ожидая авторитетного слова «сверху». Но такая позиция порождает скуку, а скука — непримиримый враг искусства.

Сегодня — конец подобному «удобству», скуке нет места в нашей жизни и в искусстве. Жизнь наша стала сложнее. На смену пустым похвалам и панегирикам пришло здоровое, творческое мышление. Наш революционный оптимизм сегодня больше чем когда-либо зиждется на реальной основе действительности. Если этот оптимизм самый трезвый, стало быть, он и самый подлинный. Ищите верные пути, и в искусстве снова раскроется его настоящая красота, пусть грубоватая, но зато правдивая, как сама жизнь. Но для того, чтобы наше социалистическое искусство действительно могло расцвести, быть достойным отражением и вместе с тем творцом великой исторической эпохи, в которую мы живем, нужно еще немало поработать.

Дискуссии и споры последних месяцев решили ряд серьезных проблем; они показали, что именно препятствует быстрому расцвету искусства; частично они указали и пути, по которым оно должно двигаться вперед. Неоценимым источником вдохновения для работников нашего культурного фронта является бурное развитие советского искусства после XX съезда КПСС.

Перед нашими деятелями искусств стоят действительно огромные задачи. «Нам нужны произведения,— говорится в решении XII съезда нашей партии,— которые с художественной убедительностью изображают динамику современной жизни, духовно обогащают человека, чтобы он всем своим существом чувствовал современность и активно боролся за коммунистическое будущее. Такое искусство исключает схематизм, посредственность и консерватизм. В этом смысле деятели искусств должны искать и находить новые пути и творческие решения».

В нашей истории искусство всегда шло в авангарде борьбы за прогресс. Это стало уже традицией, которой мы с полным правом можем гордиться. Мы могли бы назвать много имен тех, кто своим огромным талантом служил общественному прогрессу. Большинство крупных художников были тесно связаны с коммунистической партией в период между двумя войнами; по-настоящему прочно было единство деятелей искусств и народа в период наступления фашизма и защиты республики. Все это служило предпосылкой для той ситуации, которая дважды возникала после 1945 и 1948 годов, когда подавляющее большинство деятелей искусств пошло вместе с народом, с коммунистической партией. Не может быть иначе и сегодня. Ныне наши художники идут с народом так же, как и в прошлом. Они доказывают это своим трудом на благо социализма. И порукой тому является доверие, которым их облекают наш народ, наша партия.

Именно о таком доверии больше всего и говорят художники на дискуссиях. В этот вопрос необходимо внести ясность. Когда читаешь речь товарища А. Новотного, произнесенную на XII съезде КПЧ, а также решения этого съезда, ни у кого не возникает сомнения в том, что партия верит деятелям искусств. В обоих документах твердо и решительно сказано, что необходимо покончить с остатками методов эпохи культа личности, методов, которые сеяли недоверие между народом и художниками, искусственно создавали преграду между ними.

Существенно изменились кадры нашего фронта искусства. Возьмем, например, молодое поколение писателей. Среди них много бывших рабочих и крестьян, партийных и общественных деятелей, и число таких людей в рядах художников непрерывно возрастает. Было бы очень нежелательно, чтобы они столкнулись с некоторыми методами руководства работой художников, которые по инерции несут еще в себе что-то из прошлого. Хуже всего, что и нынешние «наследники» старых методов прячутся за народ. Следует сказать, что понятием «народ» в истории злоупотребляли не раз. С этим также необходимо покончить. С полным правом от имени народа у нас может говорить прежде всего коммунистическая партия, так как ее политика объективно выражает, проводит и защищает интересы народа во всех областях нашей жизни, включая и искусство. Партия от имени народа не только оказала работникам искусств доверие и оценила их труд, осудила пренебрежительное отношение к творческой работе, но также с полным правом от имени народа предъявила деятелям искусств серьезные требования.

Иными словами, речь идет вот о чем: кого народ облекает доверием, на того возлагает и большую ответственность. Это, конечно, касается не только деятелей искусств. Но доверие каждый должен заслужить или, вернее, заработать тем, как он трудится се-

---

ИРЖИ ЧУТКА
ВО ИМЯ ЖИЗНИ

годня и какую пользу приносит его труд обществу. За минувшие заслуги — честь и слава, но «время новое ждет новых деяний», повторяем мы слова Яна Неруды.

Это хорошо, что деятели искусств вступают в открытые дискуссии. Дискуссии необходимы для выяснения позиций, разрешения проблем, для обмена взглядами. Неверные точки зрения мы не устраним тем, что умолчим о них, сделаем вид, будто их не было. Мы убеждены в нашей правде, в правде коммунистических идей, и знаем, что она победит. Но сама собой она в человеческий разум не проникнет. За эту правду нужно бороться на международной арене так же, как и на родине, за нее нужно бороться среди рабочих и крестьян так же, как и среди деятелей искусств. Поэтому мы должны приветствовать обмен взглядами, ибо он помогает двигать мышление вперед. Величайшие труды В. И. Ленина почти все родились в полемике. Мне думается, будет правильным, если наша печать расширит отдел публицистики для обмена взглядами и полезной полемики, где, разумеется, найдет место не только эффективное словесное фехтование, но и настойчивое желание добраться до истины.

В таких дискуссиях значительная роль и ответственность приходится на долю художников-коммунистов, особенно на тех, чьи произведения нашли признание в народе. Долг таких художников — сказать свое слово на страницах печати. Художники-коммунисты должны быть истинными хранителями и пропагандистами социалистического реализма. Партийная печать должна активнее, нежели до сих пор, вмешаться в эту дискуссию. Между тем, есть такие художники-коммунисты, которые недооценивают роль партийной печати, а есть и такие, которые уклоняются от открытого, принципиального выступления.

Нам необходимо также более глубокое изучение споров и обсуждений, проходящих в СССР и в других социалистических странах, да и на Западе, где тоже есть люди, которые борются за социалистическое искусство, а мы зачастую знаем об их борьбе непростительно мало. И все же, несмотря на все сказанное о пользе дискуссий, бесспорным остается одно: решающим в искусстве есть и будет творчество. Только творчество поможет художнику получить мандат на доверие народа. Путь для нового, социалистического искусства никто заранее не вымостит. Его нужно прокладывать. В этом отношении деятели искусств находятся в таком положении, как и научные работники, и изобретатели, и новаторы. Вспомним о тех примерах борьбы за новое, которые приводил товарищ Хрущев, говоря о новых формах руководства и роли советской общественности. А разве у боевой, творческой, подлинно ленинской по духу советской литературы была поначалу «зеленая улица»? Впрочем, таких примеров достаточно и у нас. С немалыми трудностями встретился наш молодой театр, и все же он завоевал себе право на существование. Чем же? Своей жизненностью, своей бесспорной современностью. Сегодня у этого театра есть все предпосылки к тому, чтобы стать политическим театром в лучшем смысле этого слова.

Говоря о молодых, я хочу сказать, что так называемая проблема поколений — не более чем измышление. Мы знаем, например, что создателями советской литературы были люди разных поколений. У нас также было бы неправильно противопоставлять старшему поколению молодое. Носителями «молодых» идей могут быть и люди пожилого возраста (так, например, речь Зденека Неедлы на конференции критиков в 1961 году по своему духу была самой молодой). Возраст автора никогда не будет мерилом для оценки его творчества, им будет идейный уровень и художественное качество его произведений. Ведь мы знаем, что молодые писатели только отыскивают свою настоящую дорогу. Их творчество нуждается в хорошем, внимательном партийно-идеологическом руководстве, в партийной критике.

Пробивать новые пути в искусстве можно только подлинно художественными, полнокровными произведениями. А таких произведений у нас, к сожалению, и в кинематографии и в издательских портфелях еще мало.

Художник, хорошо представляющий себе роль искусства в жизни общества, знающий его огромную силу, стремится к тому, чтобы его произведение сказало людям о жизни как можно больше, чтобы оно помогло человеку жить, понять мир, людей и самого себя. Художник, убежденный в том, что ему есть о чем сказать людям, будет за свое произведение бороться, ибо каждый честный художник хочет быть услышан. Ведь художественное произведение, которое покоится в ящике стола или в мастерской, будь оно самым совершенным, не имеет ценности. Академичны и бесплодны все дискуссии на тему, можно ли считать произведение великим, если его никто, кроме художника, не знает, не понимает. Только у зрителя или читателя произведение становится произведением, только у него оно начинает жить. Зритель или читатель, преломляя его в своем сознании, придает ему окончательную форму. Поэтому писать в ящик и ждать, «авось придет время, которое меня оценит»,— трусость. Не всякое произведение находит путь к массам, но хорошее произведение рано или поздно станет их достоянием, будет ими оценено.

Если художник твердо убежден в подлинной ценности своего произведения и борется за него, стало быть, он обладает большой зрелостью, прежде всего в мировоззрении. Именно политическая зрелость поможет художнику понять действительность, понять запросы общества. И чем лучше художник поймет эти запросы, тем легче ему будет не только творить, но и добиваться признания своего произведения. Это не узкая, утилитарная точка зрения, сводящаяся к так называемым «заказам» общества, свидетелями чего мы иногда бываем. (Министерство или учреждение объявляет конкурс на литературное произведение с определенной те-

матикой, а затем, как правило, первой премии никого не удостаивает, поскольку такой заказ не имеет ничего общего с действительным, объективным запросом общества. Эти утилитарные заказы принесли много вреда литературе.) Художник, который не понимает, что такое заявка общества в самом широком смысле этого слова, или недооценивает ее,— такой художник дает плохую рекомендацию самому себе, своей политической зрелости, своему мировоззрению. Такие деятели искусств создают произведения, чуждые народу, чуждые нашему обществу, произведения, искажающие нашу действительность, нашу жизнь.

Понять объективные потребности общества — дело нелегкое. Для этого художник должен опираться на подлинное, объективное знание жизни. Если художник идейно не растет, он может десять раз в году ездить в сельхозкооперативы или на заводы — и все равно он не поймет жизни, хотя, возможно, такая поездка может кое-что подсказать ему.

Забота об идейном росте художников в значительной степени ложится на плечи творческих организаций. Но, к сожалению, зачастую они проявляют интерес к чему угодно, кроме идейного воспитания художников. Творческие организации (а это признавали сами деятели литературы и искусств перед XII съездом КПЧ) тратят энергию на бесконечные организационные вопросы, в результате чего на идеологическую работу у них не остается ни времени, ни сил. В аппаратах союзов разрастается бюрократизм. Пришло время заменить организационную суматоху идейным воспитанием творческой интеллигенции, созданием настоящей творческой атмосферы, и за это в первую очередь ответственны коммунисты, работающие в союзах.

Искусство, так же как и наука, не обходится без поисков и без проверки этих поисков на публике. Главное, чтобы художник не отдавался эксперименту как самоцели и чтобы эксперимент не вскрыл одну лишь художественную несостоятельность автора. Эксперимент должен быть подготовкой к созданию произведения, которое необходимо обществу.

Мы восхищаемся успехами нашей техники, нам очень нравятся предметы домашнего обихода, над созданием которых трудились художники, где максимально использованы изобретательность и гармония красок. Но нужно не забывать, что, прежде чем возникла прекрасная форма нового самолета, прежде чем родился новый ковер, создатель исчертил сотни листов бумаги и полотен, а свои эксперименты, до того как реализовать их в промышленности, представил на суд критики.

Говоря о поисках, которые можно было бы назвать анализом действительности, и о синтезе, который должен возникнуть в результате творческого вмешательства в жизнь, я хотел бы сказать несколько слов о выборе темы. Совершенно очевидно, что никто не будет предписывать художникам тематику. Выбор ее зависит от многих обстоятельств. Но оставаться равнодушным к своему долгу создавать произведения на актуальные, значительные темы художник не имеет права. Современная литературная действительность показывает, что большая тема может быть вдохновляющим источником большого искусства. Вот пример. Словацкие прозаики задумали показать широкую картину Словацкого народного восстания как веху в истории народа, вступившего в новую эпоху своего развития. Этот удачный выбор темы дал возможность создать в Словакии произведения, стоящие на гораздо более высоком уровне, чем многие произведения чешской прозы последних лет.

Талант — это только предпосылка для творчества. Само творчество — это труд, долголетний, упорный, полный сомнений и кризисов, вознаграждаемый радостью осуществления задуманного, счастьем от сознания того, что люди поняли замысел художника. Если его произведение становится духовным достоянием народа, для художника нет большей награды.

Естественно, я исчерпал далеко не все проблемы, касающиеся современного искусства. Да и не ставил перед собой такой задачи. Мне хотелось поделиться с читателями кое-какими мыслями, которые имеют отношение к современности и искусству. Я убежден, что пришло время, когда у нас начинается подлинное возрождение искусства. Нам придется еще не раз вступать в схватку, прежде чем мы устраним все, что мешает развитию нашего искусства. Важно то, что фронт искусства сдвинулся с места.

Если мы ожидаем от трудящихся чуткого, внимательного отношения к художникам и их труду, то от художников мы вправе ожидать произведений, которые оказали бы существенную помощь в деле воспитания трудящихся в духе коммунистических идей, их интеллектуального и эмоционального развития. Мы требуем хороших песен и таких слов, которые помогли бы нам, как говорил Бехер, встряхнуть все старое в нашей жизни, потрясти весь старый мир во имя многовековой мечты человечества о справедливом обществе, во имя коммунистического завтра.

ПУБЛИЦИСТИКА

ВИКТОР ПЕРЛО

ДУХОВНАЯ НИЩЕТА И БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ

Капитализм утвердился как общественный строй в ходе антифеодальных сражений народных масс. В результате ведущей политической формой власти стала буржуазная демократия, концепции прав человека и благосостояния народа стали формально признанными моральными нормами. Предполагалось, что капиталистическая конкуренция будет действовать согласно правилам «честной игры». Но, конечно, капитализм никогда не придерживался своего формального кодекса чести. Лишение человека прав и минимального благосостояния, издевательство над демократическими формами, обман и взяточничество всегда характеризовали это общество, опирающееся на эксплуатацию.

В XX веке, веке владычества монополий и империалистической экспансии, парадные одежды морали, в которые обряжают современный капитализм в Америке, становились все более замысловатыми и помпезными. Опасаясь растущего рабочего, социалистического и антиимпериалистического движения, американские биржевые магнаты декларировали, что их цель не прибыли, а служение интересам большинства. Школьников учили и все еще учат, что капиталист — это слуга общества, поставленный во главе корпорации, которая благодаря наличию «народного капитализма» не может больше рассматриваться как орудие эксплуатации.

В последние годы многочисленные сторонники мира, равенства народов и социализма одерживают серьезные победы на севере и юге, на востоке и западе. Американский империализм делает все, чтобы положить конец этому движению эпохи. Он пытается уничтожить последние остатки демократии и прав трудящихся, превратить страну в военно-полицейское государство. Он подавляет народы за океаном при помощи своих пушек, военных баз и военных союзов.

Государство управляется по законам, но это — только законы Уолл-стрита и игорных казино в Лас-Вегас. Но и эти законы действуют, лишь пока хозяева Уолл-стрита — в выигрыше. Когда же они проигрывают, то, подобно злодеям из ковбойских фильмов, хватаются за пистолет — водородную бомбу. Биржевые акции, игорные фишки, человеческие жизни — для них все это не более чем бирюльки.

И хотя эта великая безнравственность в конечном итоге вырастает до масштабов, затрагивающих интересы всего человечества, корни ее — в эксплуатации труда и в спекуляции на нуждах и бедах населения. Начнем с рассмотрения некоторых фактов такого рода в повседневной жизни населения Соединенных Штатов.

ОБМАН И ОТРАВЛЕНИЕ НАРОДА

Апологеты статус-кво говорят, что Маркс описывал условия жизни в Англии более столетия назад и что современный американский капитализм, с его богатством, его социальным законодательством, его государственным регулированием бизнеса, не имеет ничего общего с этим описанием. Педагоги учат школьников, что марксизм —

ошибочная доктрина, потому что Маркс не «предвидел» замечательных достижений американского капитализма.

В своем описании условий жизни рабочего класса Англии Маркс подробно останавливается на систематической порче хлеба, продаваемого рабочим. Сейчас у нас в Америке есть закон, запрещающий всякого рода примеси и фальсификацию хлеба и медикаментов, таким образом, предполагается, что подобная практика исключена. Кроме того, общественность должна исходить из предположения, что современные корпорации пользуются народным доверием и не станут портить хлеб.

Как известно, хлеб начинается с пшеницы, и одной из разновидностей крупного жульнического бизнеса в Америке является хранение излишков пшеницы в качестве резервного фонда правительства США. Вот пример: У. У. Гарвей, капиталист из Канзаса, «заработал» 95 миллионов долларов на этом деле. Ежегодно затрачиваются сотни миллионов долларов, прежде чем зерно поступает на рынок для американских и иностранных потребителей. Владельцев зернохранилищ не интересует, что происходит с зерном во время хранения. Они часто смешивают его с фуражом для скота, чтобы увеличить вес и получить за бо́льшее количество, чем они хранили. Крысы и долгоносик имеют более чем достаточно времени, чтобы размножаться и жиреть в зерне. Капиталисты ничего не теряют на этом, поскольку количество зерна, потребляемого животными, по весу примерно равно их экскрементам.

Когда протесты против загрязнения зерна крысиными экскрементами усилились, было принято постановление, ограничивающее (а не запрещающее) такое загрязнение. Но дельцы, наживающиеся на зерне, подняли вой против вмешательства в свободу действий (их собственную и крысиную). Они были достаточно влиятельны, чтобы постановление аннулировали. И только годы спустя было вновь установлено еще более мягкое ограничение. Публика может не волноваться: ее хлеб официально «чист» и содержит «всего» два шарика крысиного помета на каждую пинту пшеницы и «только» на 2% заражен паразитами.

Практически почти не предпринимается попыток к тому, чтобы усилить эти ограничения. Комиссия, которой поручено контролировать осуществление закона, запрещающего всякого рода примеси к хлебу и медикаментам, не облечена эффективными полномочиями карать нарушителей и располагает очень скудными средствами. В 1961 году ей было отпущено 11 миллионов долларов для производства работ по очистке от ядов пищевых продуктов и медикаментов, предназначенных для потребления населением, в то время как сумма в 10 раз большая — 106 миллионов долларов — была выделена Федеральному бюро расследований (ФБР) для того, чтобы выведать, какие прогрессивные идеи запали в голову американцам.

Рубленые говяжьи котлеты — популярное блюдо среди рабочих в Америке. Изготовленные из более дешевых частей говяжьей туши, они были доступны семьям с низким заработком. Двадцать лет назад у всех на виду домашняя хозяйка выбирала кусок мяса, мясник пропускал его через мясорубку и завертывал в бумагу. Теперь у нас имеются оснащенные современной техникой универсальные магазины и расфасованные товары, но до какой же степени капиталисты используют их во зло! Мясорубки на виду у всех больше нет. Фарш заранее упаковывается в целлофан и часто стоит довольно дорого. Хуже того, в сети магазинов одной из компаний при переработке щедро примешивают к говядине большие куски грошового, плохо усваиваемого жира. В некоторых штатах мясники имеют право добавлять «только» 30% такого жира. В Нью-Йорке таких ограничений нет совсем. Часто фарш состоит на 90% из жира, пропущенного через мясорубку, и бычьей крови, налитой в это месиво, чтобы придать ему цвет и запах говядины.

Потребовались бы целые книги, чтобы описать все способы, к которым прибегают магазины — особенно магазины, принадлежащие какой-то одной крупной корпорации, для того чтобы систематически обманывать своих покупателей. Многие кассиры овощных лавок регулярно прибавляют 5—10% к скалькулированной цене. Без свидетелей они признаются, что делают это по приказу своих хозяев. При предварительной расфасовке количество продуктов уменьшается по сравнению с обозначенным весом.

Система самообслуживания имеет свои достоинства, но случается и так, что покупателю приходится подождать полчаса в очереди на контроле. И вот тут-то рука оказывается быстрее глаза. Когда пальцы кассира летают по клавишам кассы, мало кто из потребителей может заметить, что одна и та же цифра была набрана дважды или что вместо 29 центов было поставлено 1 доллар 29 центов. А если покупатель и заметил «ошибку», он едва ли услышит извинения, скорее наткнется на наглый отказ исправить счет. Иногда устраиваются официальные «инспекции», за ними следуют газетные отчеты, в которых описываются тысячи обнаруженных нарушений. И это все. В лучшем случае лавочника, который обворовывал своих покупателей на тысячи долларов в год, оштрафуют на 25 долларов — мелочь по сравнению с регулярными взятками, которые он дает полиции, инспекторам и другим сторожевым псам американского образа жизни. Рабочий может попасть в тюрьму, если он украдет буханку хлеба. Но капиталисты описанными выше методами обворовывают рабочих на несколько миллиардов долларов в год, и ни один из них еще не попал за это в тюрьму.

Конечно, народ ожесточен и возмущен всем этим, так же как и систематическим взяточничеством на всех уровнях — от мелких дельцов, которым приходится подкупать

полицию, издателей газет, выплачивающих гангстерам тысячи долларов ежемесячно, чтобы сохранить свою монополию по продаже газет, до плутократов, тратящих десятки миллионов долларов ежегодно, чтобы получать военные контракты и покупать места на выборах. Но эти явления больше не считают аморальными, не существует никакого законодательного акта или морального кодекса, их запрещающего.

Поразмыслите об этих фактах, педагоги!

Выходит, то, о чем писал Маркс, остается правильным на протяжении более чем ста лет. Он только не предусмотрел в деталях того, как американские капиталисты превзойдут своих английских предшественников в воровстве, но предвидел загнивание капитализма на том этапе развития, когда он превратился в монополистический капитализм.

ПРИБЫЛИ ЗА СЧЕТ ЗДОРОВЬЯ

Одной из наиболее жестоких черт американского образа жизни является увеличение цен на медикаменты и врачебную помощь. По официальным данным средняя семья в 1961 году расходовала на медикаменты 100 долларов. Однако в действительности миллионы семей не могли себе этого позволить, миллионы других фактически вынуждены были израсходовать по 200 и больше долларов. Таблетки себестоимостью в одно пенни продаются по 50 центов. Цены в 5—10 раз выше, чем в ряде европейских капиталистических стран, где существует государственная монополия на медикаменты, не говоря уже о Советском Союзе,— там я платил за лекарства во много раз меньше, чем они стоят в Америке. Одна американская компания, действующая в Колумбии, построила фабрику по производству медикаментов и вытеснила своих конкурентов из США на 80%, захватив большую часть рынка. По низким ценам она продает небольшое количество своей продукции и в США, но не индивидуальным потребителям, а только больницам.

Почему? Компания эта, «Маккессон и Роббинс», занимается преимущественно оптовой торговлей, а не производством. Оптовик — это дополнительный посредник в той или иной отрасли, обремененной нередко огромным количеством паразитов, которые иной раз превосходят число рабочих. В последнее время некоторые промышленники стали продавать свою продукцию непосредственно розничным торговцам, оставляя себе комиссионные, ранее доставававшиеся оптовикам. Комиссионные эти велики. Куш оптовиков достигает одной пятой или одной шестой розничной цены и в несколько раз превосходит себестоимость продукции.

«Маккессон и Роббинс», крупнейшая оптовая фирма, пытается нейтрализовать это наступление на свои позиции паразита, наживающегося на чужом труде. Для пробы фирма остановилась на Колумбии, потому что недавно избранный там президент обещал установить низкие цены на лекарства. Фирма построила свою фабрику в Колумбии и пробный завод в США для шантажирования уже существующих промышленников.

Вот как повествует нам об этом журнал «Форчюн», специализирующийся на прославлении американских корпораций. Нолен, президент фирмы «Маккессон и Роббинс», «руководствовался в большей степени деловыми соображениями, чем социальными. По существу, он хотел иметь какой-то выход на случай, если североамериканские промышленники пойдут на то, чтобы еще больше урезать долю оптовиков или... предпринять другие меры, неблагоприятные для нас». Если бы с их стороны последовал какой-то еще более сильный нажим, «мы могли бы приступить к производству медикаментов в больших масштабах чертовски быстро. Мы не хотим полностью переключаться на производство медикаментов, но, если бы нас принудили, мы могли бы сделать это практически в течение 24 часов». Производить медикаменты дешево и в больших количествах было бы нежелательно потому, что «вся система цен рухнула бы, похоронив нас самих, как посредников». В заключение мистер Нолен с радостью отметил, что шантаж, очевидно, сработал: фирмы, производящие медикаменты и ранее вытеснившие его с рынка, сейчас восстанавливают свои каналы по оптовой торговле. Возникшая было опасность, что население придется снабжать лекарствами по разумным ценам, постепенно миновала.

Еще до того, как конфликт был улажен, один конкурент-промышленник, «почти обезумевший от ярости», накинулся на Нолена: «Вы — антиамериканец. Я не могу назвать вас коммунистом, но вы социалист!» Таким образом, всякая попытка препятствовать вздуванию монополиями цен рассматривается как нечто «антиамериканское, коммунистическое или социалистическое». Но мистер Нолен заверил своих коллег, что он такой же антикоммунист, как и они. Он просто хотел сохранить свою долю в добыче монополий.

БИРЖЕВЫЕ МАХИНАЦИИ

Есть одно место, где финансовые короли до сих пор хотят рядиться в маску добродетели, это — фондовая биржа. Биржу расписывают как символ всего, что есть лучшего в американском капитализме. На галерею, окружающую зал биржи, приводят

в качестве гостей глав стран, недавно получивших независимость, и дипломатов из социалистических государств. Внизу под ними кромешный ад. Толпы «биржевых маклеров», «консультантов» и «посредников» — все они в своей традиционной одежде — торопятся, снуют в разные стороны, проталкиваются сквозь массы людей и время от времени сбиваются в кучу: идет купля-продажа акций. На освещенных табло сверкают кабалистические символы. Из общего гама и гула голосов выделяются особо громкие выкрики. А тем временем экскурсовод на галерее с гордостью объясняет потрясенным посетителям, как растут и увеличиваются состояния миллионов рядовых американцев, «народных капиталистов», при помощи цирка, который они видят внизу. Экскурсовод говорит далее, что биржа сама «регулирует» свою деятельность и с помощью Комиссии по наблюдению за ценными бумагами и биржей проводит все операции со скрупулезной честностью и охраняет мелких держателей акций от мошеннических операций.

Чем объясняются эти попытки обелить и реабилитировать биржу, где, как в фокусе, сконцентрированы пороки капитализма? После краха 1929 года были раскрыты мошенничества чудовищных масштабов. Выяснилось, что крупнейшие магнаты финансового капитала, дома Моргана, Диллона, Куна Леба, выкачали из населения десятки миллиардов долларов. Эти разоблачения, усугубленные страданиями народа в период кризиса, вызвали рост антикапиталистических настроений. Чтобы успокоить общественное мнение, заправилы финансовой олигархии поклялись, что никогда не будут больше грешить, и чтобы залучить новых «простаков», вырядили сладкозвучную сирену Уолл-стрита в одежды монахини.

Конгресс принял законы, регулирующие биржевые операции, и назначил комиссию для наблюдения за деятельностью биржи. Первым председателем этой комиссии был не кто иной, как Джозеф Кеннеди, отец теперешнего президента США. Он составил свое состояние именно посредством разнообразнейших биржевых махинаций. Назначая Джозефа Кеннеди на этот пост, президент Рузвельт надеялся, что тот, будучи хорошо знаком со всеми биржевыми трюками и махинациями, сумеет разоблачить мошенников. В этой связи возник — и до сих пор возникает — вопрос, в состоянии ли Кеннеди или любой другой представитель того же класса, который сменит его на этом посту, по-настоящему заняться выкорчевыванием коррупции, если она лежит в основе накопления всех больших состояний. Более того, коррупция приобрела в наши дни еще больший размах. Налоговые законы подогнаны таким образом, что налог, который вносит капиталист с биржевых прибылей, составляет лишь одну треть налоговых отчислений с доходов, полученных от прямой эксплуатации наемного труда.

К середине 50-х годов среди населения США уже насчитывалось достаточное количество граждан из числа мелкой буржуазии, интеллигенции и чиновников, завороженных шумной рекламой о якобы реформированной бирже и готовых броситься со своими сбережениями в новую волну биржевых спекуляций. Бум на бирже по своим масштабам превзошел бум 20-х годов. Еще не все факты известны, но мы на основании предшествующего опыта можем сделать предварительный вывод: в той же степени возросли и масштабы мошенничества. После крупного биржевого краха 1962 года, когда за три месяца мелкие держатели акций потеряли, по официальным данным, 100 миллиардов долларов, выплывают все новые подробности.

В 1961 году президент Американской фондовой биржи, изобличенный в участии в мошенничестве, был вынужден уйти со своего поста. В 1962 году председателю правления нью-йоркской фондовой биржи Дж. Трумену Бидуэллу было предъявлено обвинение в неуплате 56 000 долларов подоходного налога. Вероятно, речь шла о незаконных доходах. Сколько иностранцев принимал этот Бидуэлл, показывая им биржу? Почти вслед за тем председатель Совета директоров Горной биржи в Сан-Франциско был изобличен в мошеннической афере, а председатель фондовой биржи с Солт-Лейк-Сити признал себя виновным в надувательстве и подлоге.

Некоторые из афер 50-х годов в точности повторяли аферы 30-х годов. В 1938 году известный биржевой маклер Ричард Уитни, брат одного из влиятельных партнеров Моргана, был осужден за присвоение акций своих клиентов, изгнан из биржи и отсидел небольшой срок в тюрьме. В 1960 году Энтони Хомсей, родственник которого женился на представительнице семьи Дюпонов и на их деньги основал фирму «Дюпон, Хомсей и К°», был осужден за подобное же преступление и получил аналогичное наказание. В порядке утешения Хомсей продал свое место маклера на бирже, заработав на этом 85 000 долларов.

В том же году фирма «Рейнольдс и К°», одна из крупнейших маклерских фирм, принадлежащая владельцам гигантского алюминиевого треста с многочисленными филиалами и дочерними предприятиями, была признана виновной в обмане и надувательстве клиентов. Покойный Артур Уайнинг Дэвис, соратник Меллона, был одним из самых богатых людей в стране. В 1958 году он работал совместно с фирмами «Карл М. Леб, Роудс и К°» и «Доминик и Доминик». Эти три весьма респектабельные фирмы Уолл-стрита распродали своим ничего не подозревающим согражданам участки почти бросовой земли во Флориде на сумму в 30 миллионов долларов. Годом раньше Д. Чивер Коудин, крупный финансист, вложивший свои капиталы в авиационную промышленность, был разоблачен в спекуляции фондами компании «Кэртисс Райт корпорейшен», одним из директоров которой он состоял.

Только за один 1961 год в связи с крупными правонарушениями на фирмы, представляющие 10% промышленности страны и входящие в нью-йоркскую фондовую биржу, было подано 486 жалоб.

До сих пор мы рассматривали аферы правящей элиты Уолл-стрита. Но ведь рядом с ними крадут спекулянты из числа нуворишей и выходцы из преступного мира. Эти жулики помельче за последние десять лет вытянули из карманов доверчивой публики приблизительно полмиллиарда долларов. Некоторые из них специализируются на работе в так называемых «котельных». Весьма напористые и красноречивые маклеры по 12 часов в день ведут междугородные телефонные разговоры, «нагнетая давление в котле» и убеждая вдов и провинциальных врачей вкладывать свои сбережения в уже исчерпанные «урановые рудники» или обанкротившиеся акционерные общества.

Побочным продуктом лихорадочной кампании, которую в 50-е годы проводило правительство США по расширению производства водородных бомб, явилась бешеная погоня за ураном. Повсюду, где счетчик Гейгера хоть что-то регистрировал, столбились заявки, образовывались синдикаты и выпускались акции. Больше всего акций было выпущено Морганом, что создало ореол надежности и вокруг компаний мелких спекулянтов.

Не столь удачно сложились дела менее влиятельных коммерсантов, которые шли в кильватере большого бизнеса. Королем дельцов, манипулировавших урановыми акциями, стал Уолтер Ф. Тельер. Он распродал акции ничего не стоящих урановых рудников на миллионы долларов. В конце концов Тельер попал за это в тюрьму, но прежде он успел объявить «розовыми» — то есть почти коммунистами — тех, кто предъявил ему обвинение в мошенничестве.

В результате устроенных властями облав в так называемых «котельных» было арестовано много профессиональных преступников, которые переключили свой «талант» карманников и наемных убийц на «рэкет народного капитализма». Как и периодические рейды по заведениям, где процветает проституция и наркотики, эти финансовые «чистки» дают лишь пищу для газетных заголовков: проходит немного времени, и бизнес продолжается в прежнем стиле, хотя немало крупных спекулянтов и создателей финансовых империй было в конце концов разоблачено, причем раскрывались связи с преступным миром, с местными политическими воротилами, звездами «индустрии развлечений» и т. д. Надо сказать, что редко можно провести границу между ними и мошенниками, принадлежащими к «избранному обществу». Адвокат Лоуэлл Бирелл был нанят сверхреспектабельной фирмой «Уикершэм, Кэдуолейдер и Тафт». Он представлял «Дюпон корпорейшен», различные компании и отдельных лиц группы «Рокфеллер-чейз-бэнк». Бирелл и сам захотел стать Дюпоном или Рокфеллером, но его прежние клиенты не пожелали иметь такого рода конкурента, и его попытки в конце концов потерпели полный крах. Естественно, для достижения своей цели он пустился во всякие аферы и мошенничества, как это делали целые поколения основателей огромных состояний. В США, когда воровство приносит хорошие деньги, вор становится столпом общества; когда оно не удается — его осуждают как преступника. Поэтому, когда империя Бирелла рухнула, он сбежал в Бразилию, дабы скрыться от судебного преследования и начать охоту за новыми жертвами в более молодой капиталистической стране.

ДЕЛА ВНУТРЕННИЕ

Помимо разоблачения биржевых афер, были и другие крупные скандалы, в которых оказывались замешанными главы самых известных корпораций. Был разоблачен Томас И. Паркинсон, президент «Эквитэбл», третьей по величине страховой компании в США, а вскоре вслед за ним Каррол М. Шэнкс, президент гигантской, второй по величине, страховой компании «Прюденшиал» (что, кстати, означает «благоразумный») с активом на сумму 18 миллиардов долларов. Шэнкс был известен своими речами, в которых восхвалял капиталистический образ жизни и распространялся о «высоких моральных принципах». Но одна из его афер получила огласку. Он устроил так, что общество «Прюденшиал» предоставило денежную ссуду крупнейшей лесопромышленной фирме «Джорджиа-Пасифик». В благодарность он получил контроль над лесопромышленной компанией с капиталом в 8 400 000 долларов и контракт на поставку леса фирме «Джорджиа-Пасифик». В результате сделки ежегодный доход Шэнкса увеличился на несколько сот тысяч долларов, притом не подлежащих обложению подоходным налогом, что экономило ему еще сотни тысяч долларов.

В 1960 году президент фирмы «Крайслер» Уильям С. Ньюберг был вынужден уйти со своего поста, после того как выяснилось, что он заработал 455000 долларов, будучи негласным владельцем нескольких компаний, поставляющих оборудование фирме «Крайслер»; эти компании получали контракты на поставки благодаря положению Ньюберга в этой крупной автомобильной фирме. Вместе с Ньюбергом была разоблачена и изгнана из фирмы «Крайслер» почти вся ее высшая администрация.

В обоих случаях обвиняемые настаивали на своей невиновности, а Ньюберг даже возбудил судебное дело с целью аннулировать данное ранее обещание возместить

фирме «Крайслер» убытки. Вся защита строилась на том, что подобного рода сделки приняты между руководящими промышленниками и банкирами. Почему же он, Ньюберг, не должен пользоваться теми же «правами», что и его коллеги? И, бесспорно, в этом доказательстве есть своего рода воровская логика, признаваемая кругами Уолл-стрита. Еще многие месяцы после того, как адвокат из Детройта разоблачил Ньюберга, банки, юридические и учетные конторы Уолл-стрита, связанные с фирмой «Крайслер», старались замять дело и обелить виновных. Но в конце концов слишком многое получило общественную огласку, и пришлось пожертвовать оскандалившимися бизнесменами.

Суть проступков Шэнкса и Ньюберга в том, что кроме причитающегося им жалованья и дивидендов они отправляли себе в карманы крупные суммы из прибылей корпораций, выплачивая их другим корпорациям, учрежденным их сообщниками или родственниками. Подобная практика противоречит общественному представлению о корпорации как о своего рода «поверенном» мелких вкладчиков, где руководящие лица являются всего лишь оплачиваемыми слугами треста. Но, как заявляли Шэнкс и Ньюберг, такова в действительности общепринятая практика. Цель всей внутренней борьбы за руководство в корпорациях сводится к захвату положения или должности, дающей возможность выкачивать крупные суммы «на сторону», или, говоря прямо, грабить денежные фонды корпорации.

Эта «нормальная» практика кончается скандалом, только если возникают трения между членами клики при разделе добычи или в случае утраты теми или иными компаниями своего положения среди конкурирующих монополий. Обе эти причины предопределили разоблачение «дела Крайслера». Виновные не нарушали никаких правил морального кодекса правящего класса. Они расплачивались за то, что уступили позиции компании «Дженерал моторс» и Форду и позволили соперникам, стремящимся захватить контроль над фирмой «Крайслер», узнать подробности своих махинаций.

Обычно разоблаченным капиталистам не грозит ни тюрьма, ни нищета. Кое-какими должностями и связями приходится поступиться, но финансовые воротилы, увольняющие виновных, заботливо пристраивают их где-нибудь в другом месте, и за ними остаются все прочие должности, занимаемые ими по праву владения собственностью. В 1962 году, спустя год с небольшим после своего «позора», Шэнкс стал директором компаний «Джорджиа-Пасифик», «Нэшнл-бискит» и двух других корпораций, а также попечителем университета Джона Гопкинса, университета Ратжерса и института, готовящего научных работников.

«НАЛОГОМ НЕ ОБЛАГАЕТСЯ»

Этот девиз относится к длинному списку расходов, обеспечивающих капиталистам роскошную жизнь, расходов, которые они вычитают из сумм, облагаемых налогом, таким образом как бы передавая счет на оплату налогоплательщикам из рабочего класса. Десять лет назад американские миллионеры, претендуя на роль лидеров, любили поучать «декадентствующих» французских капиталистов, что надо платить налоги. Силу Французской коммунистической партии и слабость французской экономики они объясняли в своих хвастливых речах разложением французов, которым противопоставляли энергичность американцев. Доказательство: французские капиталисты не утруждали себя даже мыслью об уплате налогов, а дисциплинированные американские капиталисты их платили.

Больше не слышно подобного рода поучений. Весь мир уже знает, что возможность надувательства при уплате налогов — прерогатива, которую американские финансовые магнаты ценят больше всего. Кроме того, сегодня в экономике США не меньше признаков разложения, чем в экономике Франции.

В результате долголетних требований общественности в налоговой системе США существуют подоходный налог (налог с прибылей), который был первоначально введен с целью регулирования прибылей капиталистов и их компаний, и косвенные налоги, всей своей тяжестью ложащиеся на трудящихся. Вот уже много лет реакция держит в руках политическую власть. Она не могла сразу отменить ненавистный подоходный налог из-за того, что ее политическое господство не было абсолютным, и это, при нынешнем колоссальном военном бюджете, создало бы в стране финансовый хаос. Поэтому проводилась политика постепенного снижения налогов на прибыли путем внесения ряда поправок к законодательству при одновременном повышении налогов с неимущих слоев.

Почти все расчеты по федеральным налогам контролируются самим капиталистом. Он высчитывает причитающийся с него налог и платит его. Он также рассчитывает налоги со «своих» рабочих и платит их, вычитая эти суммы из заработка рабочих. Такая феодальная практика предусмотрена законом, и она обеспечивает удержание у рабочих всей суммы подоходного налога до последнего цента, а иногда сверх того. Машины, рассчитывающие налоги с рабочих, учитывают только минимальные льготы, предоставляемые законом, и совсем не берут в расчет того, что общегодовая сумма, с которой берется налог, сокращается в случае временной безработицы в течение года. Однако 20—25% рабочих сидят без работы по меньшей мере часть года, а у многих траты на

лечение и другие расходы, которые по закону исключаются из облагаемой налогом суммы, намного превышают этот минимум.

Теоретически рабочий может получить переплаченные деньги в следующем году, представив соответствующие расчеты и документацию. Но у рабочих часто не хватает ни документов, ни умения обосновать свои требования. Более того, каждый год сотни миллионов долларов, отчисленные у рабочих в качестве налоговых сборов, **не вносятся** государству, а просто присваиваются предпринимателями. Очень редко несут они наказание за подобное преступление. Часто они объявляют себя банкротами, ссылаясь на отсутствие наличных денег. А в следующем году эти банкроты, «таинственным образом» добыв деньги, открывают новые предприятия с новыми фирменными названиями, и все начинается сначала. Таково мелкое жульничество среди капиталистов.

Финансовые тузы — это столпы всей системы увиливания от налогов. Здесь не место перечислять многочисленные «лазейки», благодаря которым они умудряются экономить на уплате налогов около 20 миллиардов долларов ежегодно. В американской терминологии существуют два термина, характеризующие основные виды налогового обмана: избежать уплаты и уклониться от налога. Избежать уплаты налогов — значит действовать в обход закона, но таким образом, чтобы это не вызвало неприятных юридических последствий. Уклониться от уплаты налога — это не платить налоги вообще и без достаточных юридических оснований, за что можно подвергнуться денежному штрафу или тюремному заключению. Но оба способа обмана строятся на одном и том же общем принципе: использовать все уловки, чтобы превратить действительный доход в то, что юридически именуется «доходом необлагаемым».

Рассмотрим, какова этика американского капитализма в этом вопросе. Я не буду приводить выдержки из многочисленных уолл-стритовских рекламных брошюрок, предлагающих за скромную сумму научить любого искусству надувательства при уплате налогов. Не буду также приводить в пример письма из университетов, где бывших питомцев настоятельно просят сделать пожертвования в пользу доброй старой alma mater за счет Дяди Сэма, то есть утаивая эти деньги из налоговых сумм. Цитирую Сильвию Портер, либерального «народного» финансового обозревателя «Нью-Йорк пост» и других журналов:

«Нет ничего плохого в том, чтобы избегать уплаты налогов. Каждый, у кого есть такая возможность — в том числе, спешу вас заверить и я сама,— старается делать именно так. Техника увиливания от налогов официально признана и полностью юридически обоснована, она совершенствуется до степени высокого искусства в Соединенных Штатах... Это факт сегодняшней жизни, и в нем нет ничего дурного».

В высказываниях крупнейших банкиров за последнее время признается то же самое. Представитель банка Моргана «Гаранти траст компани» упоминает об искусстве «налогоувиливания», как о термине, применимом к самым изощренным формам уклонения от уплаты налогов.

Система «налогоувиливания» поглощает массу времени и нерационально затраченного труда и тем самым тормозит развитие нашей экономики. Общее число налоговых специалистов в США, работающих на штатных должностях, весьма внушительно и составляет около 100 000 человек — в большей своей части это юристы и счетные работники. В эту цифру не включены тысячи служащих и административных лиц в частных фирмах, которые отдают все свое рабочее время или часть его проблемам налогообложения.

Это — «заслуживающая сожаления» трата времени и сил, заканчивает свою статью Портер.

По подсчетам «Ферст нэшнл сити бэнк» число работников, занятых вопросами уклонения от уплаты налогов, еще больше: «освобождение от налогов, вычеты, фальсификация доходов, льготы подорвали основы подоходного налога, превратили в налоговых бухгалтеров миллионы граждан, одаренных способностями и умением зарабатывать деньги».

Естественно, в понимании Уолл-стрита владение капиталом, «умение зарабатывать деньги» и способности — одно и то же. Банкиры не собираются менять это «достойное сожаления» положение. Они пишут о нем только с целью оправдать его. Ведь это положение, видите ли, «навязано» капиталистам, так как налоговые обложения «слишком высоки», поэтому, чтобы снять с капиталистов «необходимость» заниматься воровством, правительство обязано вновь снизить налоги с обеспеченных слоев и повысить налоги с неимущих. Поскольку правительство в настоящее время старается именно так и поступать, публичные высказывания уолл-стритовских банкиров становятся частью усилий официальной пропаганды в связи с новой стадией в поисках методов финансового ограбления населения.

Одна из удобнейших лазеек, куда можно ускользнуть от уплаты налогов, это использование графы «подотчетные суммы». Капиталисты вносят в статью «деловые расходы из подотчетных сумм» значительную часть своих личных расходов, оплачивая таким образом свой роскошный образ жизни. Обычно эти статьи фигурируют в отчетах дважды: как расходы компании и как деловые представительские расходы отдельных капиталистов. Таким образом, указанная сумма исключается из облагаемых доходов дважды. Вот примеры расходов, не включенных в облагаемые налогом суммы согласно решениям американских судов:

16 643 доллара на охоту на львов в Африке (сумма, втрое превосходящая годовой заработок среднего рабочего); 10 481 доллар на текущие расходы по содержанию яхты (весьма распространенная статья); 9 500 долларов на ремонт и меблировку дома; 71 205 долларов на содержание охотничьего домика для членов правления компании; 269 666 долларов на содержание роскошного курорта на острове в тропиках.

Это — строго классовые привилегии. Рабочим категорически запрещается вычитать из налоговых обложений расходы на питание во время работы или издержки на дорогу, не говоря уже о расходах на ремонт и содержание дома и на отпуск. Капиталисты почти всегда вычитают из облагаемых сумм расходы на питание в часы работы (по статье «расходы на приемы») и на многочисленные междугородные поездки.

За счет государства и налогоплательщиков из рабочего класса капиталисты покрывают расходы на отпуска, на театры, на приемы друзей и питание семьи. Об одной респектабельной компании даже писали, что она поставляла проституток своим клиентам и вычитала соответствующие расходы из сумм, подлежащих налоговому обложению.

Учитывая рост массового возмущения подобными махинациями, президент Кеннеди обратился в конгресс, но не с предложением отменить или значительно сократить статью, позволяющую жить на подотчетные суммы, а лишь установить контроль над ней — нечто вроде идеи контроля над вооружением вместо действительного разоружения.

Были приняты кое-какие куцые законы, и начальник департамента внутренних доходов Мортимер Кэплин пытается провести их в жизнь. В результате Кэплин стал в Вашингтоне самым ненавистным человеком для капиталистов. Одни заявляют, что заставят его уйти со своего поста, другие говорят, что это не обязательно, так как он все равно не сможет собрать налоги.

В ноябре 1962 года Кэплин опубликовал проект нового Положения по улучшению контроля над отчетами в расходах. Буря протестов заставила его отступить, и в результате Положение в окончательной редакции довольно туманно. Кэплин считает, что соберет с его помощью налогов только на 100 миллионов долларов больше, чем обычно, то есть лишь несколько процентов от утаиваемой суммы. Можно предполагать, что «налоговые бухгалтеры» уже вырабатывают новые хитроумные уловки, чтобы свести на нет это Положение.

Рассмотрим пример лазеек другого рода.

Журнал «Форчюн» рассказывает о быстром росте после войны состояния Джозефа П. Кеннеди, который переключился с акций на недвижимость и нефть. Журнал оценивает его состояние в 300 миллионов долларов. «Стратегический план всех операций Кеннеди... сводится к максимальному использованию возможностей, предоставляемых налоговыми законами». В журнале цитируется высказывание одного из крупных служащих нефтяной компании: «Он (Кеннеди) нашел пару небольших крепких компаний по бурению нефти и договорился с ними о сделке за счет налогов».

Журнал затем приводит высказывания Джеймса Фейна, одного из главных помощников Кеннеди: «Для человека с таким состоянием было бы преступлением не воспользоваться системой налоговых законов». Вот какова нравственность современного капитализма на самом высшем уровне богатства и власти.

КОРРУПЦИЯ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Примером для подражания в безнравственности служат в США верхи общества — мультимиллионеры и миллиардеры, орудующие с помощью своих компаний. Это современные грабители с большой дороги. Все моральные принципы отброшены и в высших политических сферах в Вашингтоне.

Когда Никсон впервые баллотировался в вице-президенты, всплыл инцидент с «фондом на подмазку». Речь шла о сумме в размере нескольких десятков тысяч долларов, собранной лос-анжелесскими капиталистами для личного обогащения Никсона, когда он был сенатором, и являвшейся по сути дела не очень тонко замаскированной взяткой. Никсон выступал по национальному телевидению и отрицал все обвинения, играя — в рекламном стиле — на симпатиях к своей хорошенькой жене и умной собачке.

Вскоре после этого брат Никсона получил 200000 долларов от авиационного магната Говарда Хьюза, который нажил миллиарды долларов на военных поставках. Никсон получил очень ценные подарки от шаха Ирана, от Чан Кай-ши, от нескольких латиноамериканских диктаторов. Президента Эйзенхауэра одаривали техасские нефтяники и другие капиталисты, а также иностранные монархи. Общая сумма подарков составляет приблизительно 300000 долларов. Закон запрещает официальным лицам Соединенных Штатов принимать дары от иностранцев, но закон этот применяется только по отношению к мелким чиновникам.

Немалую роль в жизни страны играет еще одна форма коррупции ультрабогачей — покупка политических постов. Джозеф Кеннеди начал покупать политические посты для своих детей в 1946 году. Сначала старший сын, Джозеф-младший, был выдвинут кандидатом в конгресс, но он погиб на войне и его заменил Джон. Джо Кейн,

двоюродный брат Джозефа Кеннеди, занялся организацией избирательной кампании. Когда его спросили, почему он израсходовал такие огромные суммы, чтобы получить всего лишь место в нижней палате, Кейн ответил: «Чтобы победить на выборах, нужны три вещи: во-первых, деньги, во-вторых, деньги и, в-третьих, деньги».

Новые и новые миллионы поглотили последующие кампании — выборы в сенат, в вице-президенты в 1956 году (окончившиеся неудачей: Кеннеди не прошел), наконец, президентские выборы в 1960 году. Кампания по выборам президента по неофициальным данным обошлась обеим сторонам в сумму от 100 до 150 миллионов долларов. Конечно, вместе с Джозефом Кеннеди в этих расходах на поддержку демократической партии принимали участие и другие капиталисты.

Затем в 1962 году самому младшему брату, Эдварду Кеннеди, было куплено место в сенате от штата Массачусетс. За два года до этого, когда еще только намечались планы операции, Джозеф Кеннеди сказал Джону и Роберту: «У вас, мальчики, есть все, что нужно, и все мы не жалели сил, чтобы вы достигли этого. Теперь наступила очередь Тедди. И я намерен позаботиться о том, чтобы и он получил то, что нужно».

Американский народ знает об этом, так же как он знает, что Рокфеллер купил себе пост губернатора штата Нью-Йорк и что он готовится двинуть миллиарды своей семьи против сотен миллионов семьи Кеннеди на президентских выборах 1964 года. Подобным же образом покупаются политические должности по всей иерархической лестнице сверху донизу, причем существуют более или менее стабильные цены в зависимости от выгодности поста — то есть от объема правительственных контрактов, от количества отраслей хозяйства, которые контролируются данной должностью, а для судей — от размеров капитала предприятий, дела которых приходится разбирать.

НАЖИВА НА ВОЕННЫХ ПОСТАВКАХ

Ведя подготовку к термоядерной войне, американские фабриканты оружия превосходят все, что известно истории в области коррупции и грабежа. Капитал, вкладываемый в производство вооружений, как правило, приносит 50—100% прибыли без учета налогов.

В своей последней книге «Милитаризм и промышленность» я привожу такие данные: из 30 миллиардов долларов, затраченных в 1960 году военными ведомствами на вооружение, снабжение и материально-техническое обслуживание, после вычета налогов 5,4 миллиарда долларов было положено капиталистами в карман в качестве чистой прибыли.

Однако после того, как моя книга пошла в печать, появились новые данные, увеличивающие общий итог на несколько миллиардов долларов. Кроме того, президент Кеннеди увеличил объем военных заказов на одну треть. Таким образом, прибыли от гонки вооружений, вероятно, достигают после вычета налогов почти 10 миллиардов долларов ежегодно.

Военные расходы США — 58 миллиардов долларов — составляют более двух пятых всех расходов на вооружение всех остальных стран вместе взятых. США превосходят все остальные государства и по абсолютному объему своего военного бюджета, и по проценту от национального дохода, идущему на военные цели, и — что особенно разительно — по масштабам военных прибылей.

Пентагон и фабриканты оружия действуют в тесном контакте при разделе добычи. Генералы заключают контракты на закупку военных материалов на любых условиях, навязываемых компаниями, часто заведомо превышая в 5—10 раз нормальные рыночные цены. В свою очередь корпорации выплачивают миллионы на «развлечения и приемы» генералов и адмиралов и тысячами нанимают на службу отставных офицеров, предоставляя им огромные ставки и возможность бесконтрольно тратить казенные деньги.

Хотя производство вооружений в настоящее время и не достигло высшего уровня периода второй мировой войны, военные прибыли гораздо выше, чем в те годы. Возьмем, к примеру, фирму «Локхид», производящую шпионские самолеты «У-2» и ракеты «Поларис». На предприятиях этой фирмы занято меньше рабочих, чем в период второй мировой войны, но она получает в пять раз больше прибылей.

До последнего времени было принято делать вид, что коррупция в военных заказах — явление ненормальное, и осуждать ее. Эйзенхауэр говорил о ней несколько раз и, уходя с поста президента, сделал свое известное, не раз цитировавшееся с тех пор предупреждение о сращивании военных и промышленных кругов. Однако его преемник Кеннеди с характерной для него энергией стремится, с одной стороны, увеличить военные прибыли и, с другой,— обелить этот процесс в глазах официального Вашингтона. За годы его пребывания на посту президента прибыли выросли как в силу увеличения объема заказов, так и благодаря изменениям в законодательстве, облегчившим их получение.

Вместо ответа на вопрос о сращивании военной и промышленной верхушки Кеннеди разглагольствует о так называемой заинтересованности рабочих в военной промышленности, где они якобы получают проценты с прибылей, об организации торговли в центрах военной промышленности. Недавно он утверждал, что теперь гораздо меньше

оснований для обвинения военного ведомства в сращивании с промышленниками, чем при Эйзенхауэре, и что «давление», оказываемое на правительство милитаристами и фабрикантами оружия, «не чрезмерно велико».

В конце 1962 года Кеннеди и Макнамара решили приостановить работы над ракетой «Скайболт». После этого фирма «Дуглас эйркрафт», производившая работы, начала дорогостоящую рекламную кампанию в ведущих журналах. Оперируя данными, которые полностью противоречили официальным заявлениям о тактико-технических характеристиках ракеты, она стремилась заставить правительство пересмотреть свое решение. Стоимость рекламной кампании отнесена за счет американского народа, поскольку она оплачивалась министерством военно-воздушных сил из денег налогоплательщиков. Рекламная кампания была одобрена министерством военно-воздушных сил несмотря на то, что она шла вразрез с политикой министерства обороны.

Ранее даже по американским капиталистическим стандартам считалось неэтичным, чтобы фирмы и корпорации рекламировали достоинства производимого ими вооружения. Однако теперь, когда Кеннеди спросили об этом, он признал, что фирма «Дуглас» пытается воздействовать на его решения посредством подобной рекламы, и сказал: «Я не вижу в этом ничего предосудительного». Очевидно, Кеннеди проявляет меньше беспокойства о сращивании военных и промышленных кругов, чем его предшественник, поскольку он одобряет деятельность, которая ставит получение военных прибылей выше интересов американского государственного бюджета и боеготовности страны, не говоря уже о более насущных интересах народа, стремящегося к миру.

НАСИЛИЕ — МЕЛКОЕ И КРУПНОЕ

Узаконенная жестокость и систематическое стимулирование преступных наклонностей тревожно возрастают. Ежегодно число зарегистрированных преступлений увеличивается на 10—12%. Около 4% населения в течение года подвергается аресту, а многие из арестованных — и традиционному в полиции избиению, даже если суд и не осуждает их за какое-либо преступление. Число подростков в возрасте до 18 лет, арестованных в 1945 году, составляло 50 000, а в 1960 году возросло до 600 000. Многие юноши — негры и пуэрто-риканцы — подвергаются травле и запугиванию со стороны полиции не за какие-нибудь преступления, а просто потому, что не имеют работы и постоянного местожительства.

Время от времени в Центральном парке Нью-Йорка избивают наивного иностранного дипломата. Жители Нью-Йорка твердо усвоили правило: после наступления темноты держись подальше от парка. Городские власти запретили находиться в парках после полуночи. Но фактически запрет начинает действовать после захода солнца. Парки давно уже стали ночными заповедниками преступных банд. Пагубное пристрастие к наркотикам причиняет страдания сотням тысяч людей, поскольку потребление марихуаны и более сильных наркотиков вошло в привычку у жителей целых трущобных кварталов. Число заболевших сифилисом возросло втрое за пятилетие с 1956 по 1961 год.

Эти страшные симптомы разложения общества — естественное следствие примера, преподанного правителями страны. Никогда раньше правители не были столь бессердечно безразличны к благосостоянию и самой жизни людей как внутри страны, так и за ее пределами, никогда раньше не были они столь бесстыдны в достижении своих узкоклассовых интересов, никогда не были готовы идти на такие крупные преступления ради своих эксплуататорских целей.

Во всех угрозах США Кубе поражает преднамеренное безразличие к судьбе кубинского народа. Официальные круги и пресса открыто радуются, когда диверсанты, поддерживаемые Америкой, взрывают здания и сжигают урожаи на полях и когда убийцы, поддерживаемые Америкой, расправляются из-за угла с безоружными кубинцами. Правительство откровенно надеется, что ему удастся подчинить себе кубинский народ голодом, и дало ясно понять, что готово без колебаний подвергнуть остров безжалостному уничтожению всеми имеющимися в его распоряжении военными средствами,— только страх перед более сильным ответным ударом заставил его воздержаться от приведения в исполнение этой страшной угрозы.

Американские летчики и солдаты сжигают вьетнамские деревни напалмом, убивают мирных крестьян на полях, грабят гражданское население, отбирая все, от цыплят до швейных машин, сгоняют сотни тысяч женщин, детей и стариков в концентрационные лагеря, издевательски называемые «солнечными поселками». Многие гражданские лица в Германии после второй мировой войны пытались утверждать, что не знали о существовании концентрационных лагерей, да мало кто верит этим утверждениям. Американцы даже не могут делать вид, будто им не известны зверства, чинимые во Вьетнаме. Американская пресса описывает их постоянно без всякого стыда — наоборот, даже хвастая ими, как великими подвигами.

Мне кажется особенно очевидной разница между огромным вниманием, уделяемым премьером Хрущевым вопросам жизненного уровня народа, и пренебрежением к этой проблеме со стороны Кеннеди. В своем часовом выступлении по телевидению Кеннеди, подводя итоги двухлетнему пребыванию на посту президента, не упомянул

ни о благосостоянии, ни о жизненном уровне американского народа, сказав лишь об огорчительных недостатках в системе образования, которые наносят ущерб престижу Соединенных Штатов на международной арене. Он не пытался утверждать, что способствовал повышению жизненного уровня, и не обещал повысить его в будущем.

И это типично. Почти в каждом послании президента подчеркивается необходимость усиления влияния Соединенных Штатов за границей, но при этом не выдвигается никакой значительной цели, кроме разжигания антикоммунистических настроений. Политика силы и первенство в состязании с социалистическим миром объявляются конечной целью, которой подчинено все остальное.

В тех редких случаях, когда предпринимается какой-либо конструктивный шаг, он объясняется скорее формальными, чем моральными соображениями. Когда Кеннеди послал войска, чтобы защитить негритянского студента Мередита в университете Миссисипи, он ссылался на решение суда допустить Мередита к занятиям как на единственную причину своих действий. Президент обязан-де выполнять решения суда. В его заявлении не было ни осуждения расистских толп, жаждущих суда Линча, ни слова в поддержку права негритянского народа на равное и совместное с белыми образование, ни похвалы героическому поведению Мередита. А следовательно, не было ничего, что могло бы отбить охоту подвергать Мередита и других студентов, поддерживающих его, систематическим издевательствам и мучениям. К моменту, когда пишутся эти строки, Вашингтон не предпринял ничего, что сделало бы реальным допуск Мередита к занятиям или дало бы ему возможность остаться в университете, несмотря на страшный нажим и угрозы ему и его семье.

СПИСОК НА ВЕРТОЛЕТЫ

В Вашингтоне поднялся большой ажиотаж вокруг списка на вертолеты для спасения «нужных людей» в случае термоядерной войны. Если будет принято решение о массовом уничтожении людей, только очень ограниченное число лиц будет эвакуировано в секретную пещеру, расположенную в горах. На это отводится всего 15 минут, а потому, учитывая также скорость современных управляемых снарядов, очередность эвакуации и само право на включение в список оспариваются в ожесточенной борьбе.

Бесспорно, обеспечить безопасность военным и политическим лидерам страны необходимо. Но в Соединенных Штатах составляют для этого какие-то чудовищные планы. Пресса считает нормальным, что горстка избранных будет быстро доставлена в относительно безопасное место и оттуда нажмет кнопки, обрекая на ужасную смерть или увечье остальную часть населения своего города и округи, а также и большой процент населения других частей своей и многих соседних стран.

Как стало известно, председателю верховного суда Эрлу Уорречу сообщили, что он и другие члены суда включены в список на вертолеты, однако без жен. Тогда судья и некоторые его коллеги попросили вычеркнуть их фамилии из списка, объяснив, что они предпочитают остаться в Вашингтоне и сгореть заживо, но вместе с женами. Нельзя не воздать должное гуманности председателя верховного суда и не разделить его возмущения отсутствием этого чувства у составителей списка. Но именно они-то и отражают позицию правителей страны.

Огромное число людей состоит на жалованье у федерального правительства, администрации штатов, а также промышленных корпораций и занимается проблемой сохранения имущественных документов и денег на случай термоядерной войны. В то же время лишь маленькая горстка людей занята проблемой разработки соглашения о разоружении, которое по признанию полуофициальных комментаторов на самом деле вовсе и нежелательно.

Эта подготовка к массовому убийству и увечью нынешнего и грядущего поколений человечества в результате термоядерной войны — величайшее преступление американского империализма. Это все та же политика гитлеровского геноцида, направленная против «низших» рас, и она не становится менее преступной оттого, что кнопку будут нажимать в пещере в горах Блю-Ридж, а не в бомбоубежище под Берлином.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Карл Маркс писал: «С развитием капиталистического производства в течение мануфактурного периода общественное мнение Европы освободилось от последних остатков стыда и совести. Нации цинично хвастались всякой гнусностью, раз она являлась средством для накопления капитала».

Все это полностью относится к современным американским империалистам, к их органам «общественного мнения», к их международным отношениям.

За тысячелетия своей истории человечество разработало кодекс моральных норм. Он обусловливается производственными отношениями людей и их отношением к средствам производства, особенностями исторического развития различных частей мира, классовым соотношением сил внутри каждой страны. Все же в моральном кодексе есть общие принципы, которые уже приняты огромным большинством человечества и

за которые еще борются десятки и сотни миллионов людей. К ним относятся право людей на труд, на землю и хлеб, право на существование в условиях уважения человеческого достоинства, без зверской эксплуатации со стороны эксплуатирующих классов и оккупирующих держав. А в наш век, по существу в последние его десятилетия, в сердцах людей возникло, как самый важный новый моральный принцип, убеждение в праве человека на жизнь, на предотвращение ужасной катастрофы термоядерной войны.

Американские империалисты не могут избежать ответственности по этому кодексу морали. На глазах у всего мира они грубо нарушают его, поэтому они аморальны, и эта их аморальность затрагивает само существование и судьбы человечества. Но миллионеры и миллиардеры США просчитались: они не могут отменить законы нравственности. Они не могут купить совесть трех миллиардов людей.

Что только ни предпринималось для того, чтобы заставить весь американский народ участвовать в осуществлении бесчеловечной политики правителей страны! Но все эти действия в основном оказались безуспешными. Американский народ не раз доказывал, что остается верен законам морали. Это тормозит попытки ввергнуть Америку в пучину войны и фашизма. Это положило конец карьере Маккарти, обуздывает бесчинства расистов. Верность народа Америки принципам морали способствовала мирному разрешению нескольких тяжелейших международных кризисов, хотя главную роль здесь играли более мощные силы мира.

Когда возникла угроза вторжения на Кубу, американцев охватил не энтузиазм, а страх или безразличие. Проведенный опрос показал, что только 10% опрошенных стояли за вторжение, подавляющее же большинство высказалось против.

Большинство из тех, кто были против,— молчали. Но десятки тысяч людей, особенно студенты, представители женских организаций и интеллигенции, высказали свой протест против вторжения, требуя мирного разрешения конфликта. В прессе об этом писали мало. О многих случаях протеста, в которых принимали участие тысячи людей, известно лишь по рассказам очевидцев.

Однако десятков тысяч активных сторонников мира недостаточно, чтобы предотвратить кризис. Главный вопрос сейчас стоит так: поймут ли миллионы американцев — и при этом достаточно быстро,— что во имя их совести, во имя их благоденствия, во имя самой их жизни они должны действовать.

ЖОРЖИ АМАДУ

РАЗГОВОР С БУАНГА ФЕЛЕ,

известным также под именем Марио де Андраде, вождем борющейся Анголы.

Когда девушка кончила танцевать и вышла, чтобы стать в круг иаво *, я спросил ее: — Сестричка, из какого ты народа? — потому что танец ее был полон неожиданного, она смело изменяла его, не соблюдая установленного ритуала племени иоруба **. Ее Иансан *** походила на метиску, как будто в ней смешались леса Африки с бразильской сельвой. Она улыбнулась мне, сверкнув ослепительно-белыми зубами, и сказала гордо:

— Я из ангольского народа, мой Отец. Все мы здесь ангольцы, ритм наших танцев — ангольский, но у нас с тобой те же боги. И мы умеем танцевать под барабаны наго, и сегодня мы приняли их обычай, потому что ты здесь, а ты послан Шанго **** в этот храм.— Произнося имя Шанго, она коснулась бедных глиняных стен капища кончиками пальцев и поднесла руку к голове. Ее улыбка сопровождала танец и песню, потому что она исполняла обряд гостеприимства и приветствовала нас по обычаю наго — она, девушка народа Анголы, танцующая на ангольском кандомбле, гордая своим родом.

Это случилось, Марио, несколько дней назад в одном капище в Сан-Гонсало, в городе Сальвадоре-де-Баия, недалеко от места кандомбле Опо Афонжа. Я пришел туда впервые. Как они узнали или догадались, что я и Карибе ***** выбраны старейшинами в Опо Афонжа, не могу тебе сказать. Глубокой тайной окружены негритянские

---

* Иаво — молодые девушки, недавно допущенные на кандомбле (у негров Баии — радение, где исполняются ритуальные танцы и песни).

** Иоруба (или наго), кету — негритянские племена суданской группы, к которым принадлежит большая часть бразильских негров.

*** Иансан — богиня грозы и бури.

**** Шанго — высшее божество у многих негритянских племен.

***** Карибе — бразильский художник, иллюстрировавший несколько книг негритянского фольклора.

культы в Баие, и кто осмелится оспаривать мудрость какой-нибудь жрицы или какого-нибудь жреца? Не я, во всяком случае. Я знаю только, что потом барабаны выбивали ритм наго, звучали песни на языке иоруба, а танцы воскрешали строгие ритуальные обряды самых ревностных племен кету. Мы поблагодарили их за приветствие, но попросили вернуться к обычаям своего народа и исполнить свои, созданные тут же танцы, и они это сделали, женщины Анголы, среди которых были почти столетние старухи.

Ангола... Ночью в Баие после праздничной макумбы, после поклонения богам, после того, как мы ели каруру и пили алуа, твое магическое имя со мной на узких и тесных улицах. Ангола... Наша земля Ангола, по ту сторону моря, откуда столько пришло к нам людей, чья черная кровь бежит у нас, бразильских метисов, в венах. Наша земля Ангола, туда уходили мы корнями. «Сестричка, из какого ты народа?» — «Я из народа Анголы, мой Отец». Что делаем мы, бразильцы, чтобы помочь народу Анголы, нашему брату по крови, в его борьбе за свободу, в борьбе, которую возглавляешь ты и твои товарищи, Буанга Феле, названный именем белых — Марио де Андраде, как Ошала был назван Христом, а Омулу — святым Лазарем? Чем помогли мы вам, как выразили нашу солидарность, чтобы поддержать вас? Отчего таким молчанием окружена ваша героическая борьба; отчего мы не произносим ни слова, будто нас не касается трагическая участь наших ангольских братьев?

Ни одно движение солидарности не может быть более неотложным и необходимым, чем это, ни одному народу, борющемуся за независимость, мы не должны оказывать бóльшую помощь, потому что никому другому мы не обязаны стольким.

Я вижу себя у окна дома на площади Ларго Пелуриньо, и старый человек, лет за семьдесят, маленький и по-кошачьему юркий, стоит рядом и разговаривает со мной. Мы старые друзья, я даже не помню, когда мы познакомились и с каких пор я слежу за его славой. Он один из мастеров народной культуры Баии, этот негр с мягким голосом и веселым лицом. Он состарился в своей школе ангольской капоэйры *, но танцует и борется лучше любого юноши с крепкими молодыми мускулами. Я говорю о мастере Пастинье, одном из лучших капоэйристов, какие только рождались в Баие. Он только что кончил танцевать ангольскую самбу и готовится к борьбе.

— Здесь,— говорит он мне,— я показываю настоящую ангольскую капоэйру, и здесь мужчины учатся быть честными и справедливыми. Закон Анголы, который я унаследовал от дедов,— это закон честности.

Беримбау ** заиграли ритуальную мелодию, вызывая борцов. Мастер Пастинья, казалось, летал по залу, ловкий, неуловимый. Ангольская капоэйра — любимая бразильская борьба.

Всюду в этом городе я встречаю Анголу. Ем ангольские пряные блюда, слушаю ангольскую музыку, смотрю на ангольские танцы и ангольскую борьбу. Столько всего пришло к нам из Анголы и стало сегодня нашей кровью и нашей плотью!

Я хочу остановиться здесь, на ступенях негритянской церкви святого Антония, напротив Ларго Пелуриньо, где когда-то бичами наказывали рабов, и отсюда произнести, Марио де Андраде, мою речь, крикнуть всем бразильцам:

— Мы с народом Анголы в его борьбе, мы солидарны с ним, и не только потому, что справедливо его дело, его борьба против колониализма, за право определять судьбу своей земли, но и потому, что эта справедливая борьба — борьба наших братьев, людей нашей крови, народа, который основал нашу родину, подарил нам сокровища песни и танца, стойкость в несчастье и веселый смех.

Пуповина соединяет нас с Африкой, я уже говорил об этом, там наши самые древние корни, ростки которых глубже всего проникли в бразильскую землю, и прекрасные цветы, которые мы сравниваем сегодня, окрашены пролитой здесь черной кровью рабов.

Я повторяю это сейчас, когда колониалисты, прикидывающиеся сентиментальными, утверждают, что мы не можем выступить рядом с вами в вашей борьбе против Португалии, ибо у нас деды португальцы. Этот сентиментальный шантаж повторяется все время, в каждом уголке Бразилии, вместе с экономическим и политическим шантажом, когда заходит речь о борьбе ангольского народа и нашей солидарности с ним. Этот шантаж принимает самые разные формы — от простого умолчания, за которым пытаются спрятать проблему Анголы, до громкозвучного «Лузитано-Бразильского сообщества», под предлогом которого нас хотят сделать сообщниками португальского колониализма, своего рода компаньонами с обязанностями, но без прав. Есть и такие хитрецы, что говорят о нашей миссии — возглавить возрождение мистической Империи Святого Духа, объединяющей Бразилию, Португалию, африканские и азиатские колонии, включая освобожденное Гоа. Они хотят поступить, как поступают некоторые капиталисты накануне банкротства, помещая свои деньги на имя друзей, чтобы те сохранили их капитал до лучших времен. И в самом деле, Марио, всем этим шантажом они кое-чего достигли, воспрепятствовали росту и расширению движения солидарности с ангольским народом. Особенно часто выдвигается сейчас странный тезис, будто мы должны подождать, пока Португалия избавится от салазаровского режима, и тогда

---

* Капоэйра — негритянская народная ритмическая борьба, сопровождающаяся музыкой и пением хора.

** Беримбау — народный музыкальный инструмент.

только обсудить проблему Анголы. Обсуждать же ее сейчас, дескать, означает ослаблять борьбу португальского народа против салазаровской диктатуры; ангольский кризис будет разрешен только после падения Салазара. Следовательно, мы не говорим сейчас об Анголе, чтобы не создавать трудностей для либеральной оппозиции в Португалии, которая, победив, найдет решение проблемы.

Но, ради бога, скажите мне, как можем мы, бразильцы, ждать, скрестив руки, пока оппозиционеры свергнут Салазара, чтобы только тогда проявить интерес к борьбе ангольского народа — борьбе столь тяжелой и драматической? Либеральная оппозиция в Португалии не понимает одной простой и ясной вещи: Салазара свергнет Ангола, ангольский народ покончит со страданиями португальского народа, угнетенного диктатурой, когда в праздничный день своего полного освобождения сбросит Салазара и его клику. Не оппозиция поднесет в подарок Анголе ее независимость. Это ангольский народ, освобождая себя, окажет решающую помощь португальскому народу в его борьбе против режима Салазара. Другими словами, уже сейчас партизаны в ангольских лесах поколебали самые основы этого режима.

Что же до пресловутого «Лузитано-Бразильского сообщества», выдумки гробокопателей, воскрешающих гербы, морские путешествия и бенефиции, то наш народ не имеет ничего общего с этим уродцем. Наша нация ведет начало от португальцев, так же как и от африканцев, а сейчас в нашей крови и нашей культуре смешалась кровь самых разных народов — от индийцев до голландцев, от арабов до славян, от евреев до немцев, от итальянцев до японцев. Так неужели только потому, что мы когда-то были колонией Португалии, мы должны сегодня тащить груз ее отсталости и ее колониализма, мы должны поддерживать и оплачивать дорогой ценой международного позора ее зловещее положение государства, угнетающего далекие народы?

Нет, не такова наша судьба. Мы — народ, борющийся против отсталости, и борьба всех колониальных и слаборазвитых народов против тех, кто угнетает и эксплуатирует их,— это наша борьба. Мы не верим в легенду о лузитанской культуре, якобы распространившейся на все четыре стороны света — повсюду, где португалец прошел во времена славы и завоеваний, оставляя потомков и рабов. Мы не можем согласиться с тем, что наша культура — простое продолжение лузитанской культуры. В национальной культуре Бразилии есть черты и качества, унаследованные от Португалии. Но они смешались с негритянскими чертами, а потом и с чертами самых разных культур, самых отдаленных стран, самых непохожих нравов, чтобы из этой волшебной амальгамы родилась наша новая культура, сегодня такая далекая и такая отличная от португальской. Мы отвергаем это «Сообщество», куда нас пускают как простаков, которых заставят заплатить за разбитую посуду.

И если наши деды были португальцами, как твердят сентиментальные люди, то мы должны им ответить, что наши бабки были африканками, а многие из них анголками, и эти бабки с нежностью делили молоко между белыми и черными сыновьями, передав нам с этим молоком любовь к красоте, к справедливости и к свободе. Если уж мы должны быть сентиментальными, то наше сердце должно биться в ритме сердца Анголы, потому что оттуда пришли прекрасные и добрые женщины, родившие нас, чье лоно вскормило нас сердечностью и светлым гуманизмом.

Я иду ночью по Баие, и аромат Анголы веет в воздухе, и над таинственным городом гремят барабаны и обрядовые песни. «Я негр из Анголы, родился в Баие, да, дружище, да!» Песня могуче вырывается из старинных домов. Я иду с тобой, Буанга Феле, ночью по Баие, дурманящей и волшебной. Мое сердце далеко, в лесах и деревнях Анголы. Твоя борьба — это наша борьба. Недалеко то время, когда подымет свой голос бразильский народ, и ты почувствуешь силу нашей солидарности. Мы очень любим португальцев — мужественный и исстрадавшийся лузитанский народ. Но эта любовь не примирит нас с несправедливостью и с преступлениями угнетателей. Мы с ангольским народом в его битве за свободу, за независимость. Чтобы он создал свою черную родину, облик своей нации, свою культуру. Чтобы завтра бразильские ангольцы смогли приветствовать своих братьев по ту сторону моря как людей, свободных от всякого угнетения — политического, экономического или культурного.

Вот письмо, которое посылает тебе девушка с макумбы, танцующая под ангольские ритмы на ангольском кандомбле. Это письмо посылает тебе и бразилец, в котором смешалась кровь португальцев и голландцев, негров и индийцев, двоюродный брат европейца, родной брат африканца, бразилец, чье сердце трепещет, когда он узнает о подвигах партизан в ангольской сельве.

МАХМУД САБРИ

ХУДОЖНИК И РЕАЛЬНЫЙ МИР

Несколько слов к читателям

Художник — это прежде всего его картины. Впервые встречаясь на этих страницах с советскими читателями, я предоставляю им самим судить о недостатках и достоинствах моих произведений.

В своих фрагментарных заметках, не претендующих на законченность и никак не исчерпывающих тему, я хочу сказать о том, что определяет мою творческую практику,— о моих взглядах на место и роль художника в обществе.

Каждый художник опирается в своем творчестве на философию искусства. Его взгляды оказывают влияние на характер и направление его художественной деятельности, которая в свою очередь влияет на эти взгляды. Я лично исхожу в своей работе из следующего убеждения: художественное произведение отображает реальность, искусство воспитывает своими средствами, художник — социальный мыслитель.

■

Природа, как говорит Станиславский, это крупнейший художник и величайший учитель. Чему же учит нас природа? Тому, что она прекрасна и впечатляюща, поскольку составляющие ее элементы тем или иным образом полезны человеку, и эти элементы находятся друг с другом в определенных отношениях, диктуемых твердыми законами.

Что же это означает для работы художника? Произведение художника, для того чтобы быть выразительным и прекрасным, должно быть, во-первых, полезным и, во-вторых, его композиция должна подчиняться определенному порядку.

Тот или иной пейзаж производит впечатление не только потому, что нас привлекают его элементы, но и потому, что они заставляют нас почувствовать как бы всю природу, и мы ощущаем прочные связи между нею и самим собой. Относительное смешивается с абсолютным. Конкретное зрелище становится образцом всей природы и выражает ее.

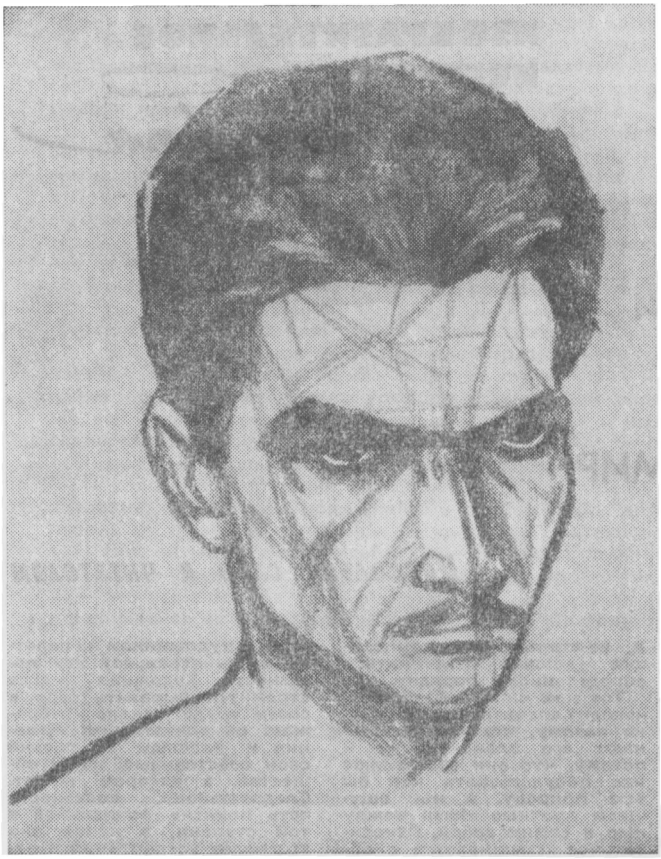
Когда художнику удается превратить свой личный опыт в образец опыта общества и, в то же время, всего человечества, когда его личные воззрения становятся символом, выражая общие воззрения, его художественная деятельность становится выражением духа общества. Только в этом случае эта деятельность, по словам американского искусствоведа-марксиста Сиднея Финкельстайна, представляет собой «шаг... к осознанию связей между людьми», ибо главное в искусстве — это человек. Наше восхищение старыми произведениями искусства не противоречит этой истине: они художественными средствами вызывают в нас сознание общности нашего опыта с опытом предшествующих эпох.

Полезность в художественном произведении отлична от полезности в природе тем, что в последнем случае она материальна и осязаема, а в первом — духовна и неосязаема. В природе сами составные части пейзажа могут тем или иным образом оказаться полезными. В художественном же произведении элементы, расположенные художником на полотне, лишь отражают эту полезность. Художник всегда стремится выразить себя в своем труде, однако изображает он впечатления, желания и надежды не только свои собственные, но и общества, в котором живет. Следовательно, полезность есть понятие социальное в той степени, в какой она выражает устремления и надежды общества, питает и развивает их.

■

Природа, как известно, приняла свою форму после долгого развития, давшего каждому ее элементу, в свою очередь, подходящую форму в соответствии с законами, определяющими связи отдельных элементов друг с другом. В этой гармонии, которую мы называем природой, нет форм или связей, не подчиняющихся этим общим законам.

Что же это означает для художественного произведения? Части, из которых состоит художественное произведение, должны иметь форму, соответствующую их содержанию, и входить в связь друг с другом в соответствии с законами, способными создать гармоничность этого художественного произведения. Логика этих законов опирается на природу содержания художественного произведения и на необходимость выражения этого содержания в наиболее адекватной форме. С одной стороны, имеется группа мыслей и чувств (содержание), которые художник хочет выразить, а с другой — подходящие для этого форма и композиция. Эти две составные части вы-



Портрет первого секретаря ЦК Иракской компартии товарища Хусейна ар-Рады (Салям Адиля), павшего от рук иракских реакционеров.

являются и приходят в соответствие друг с другом в течение времени, необходимого для создания художественного произведения.

■

Возможно, слова «пропаганда» или «воспитание» в применении к искусству некоторым не нравятся, и они предпочтут заменить их выражением «направляющая сила». Однако я думаю, что они хорошо определяют роль, которую играло искусство в разные эпохи. Все художественные произведения прошлого являлись пропагандой в пользу той или иной части общества своего времени. Европейское искусство в течение средних веков и Возрождения было явной пропагандой церковных понятий и господствующих порядков. Реалистические гуманистические направления в различные эпохи тоже были пропагандой в пользу угнетенных классов. Даже архитектура содержит в себе явную пропаганду: церкви, мечети, храмы, роскошные дворцы имеют целью определенным образом воздействовать на людей. Воспитательная роль искусства возникла вместе с возникновением в обществе классов и исчезнет с их уничтожением.

Эта истина, очевидная в прошлые эпохи, когда художник был непосредственно связан с социальными институтами, такими как государство, церковь, оказалась несколько завуалированной, когда капитализм уничтожил эти прямые связи и художник стал «свободен» в рыночном понимании этого слова. Он, как и любой другой человек, стал продавать в той или иной форме свою рабочую силу. Однако сущность осталась.

Традиции искусства, имеющие более чем 5000-летнюю давность, ясно показывают, что художественное произведение прежде всего содержит основную характерную черту — оно имеет социальную ценность. Другими словами, оно полезно в той мере, в какой питает и развивает стремления человечества к созданию совершенного общества. Однако эти стремления не абсолютны. Произведение отображает требования жизни, изменяющиеся с развитием общества. Художник играл свою роль как социальный мыслитель и воспитатель в той степени, в какой он осознавал устремления своего общества, выражал и развивал их.

Постепенно в буржуазном обществе художник терял эту роль и в конце концов скатился в абстракционизм. Абстракционистское искусство исходит не из фактов жизни, отражающих социальные устремления человека, а из абсолютных абстрагированных понятий, обусловливающих абстрактные формы. Поэтому такое искусство, теряя свои связи с эпохой, становится чуждым пониманию современного человека и, следовательно, теряет свою способность обобщать и питать его социальные устремления. Своеобразие форм в ассирийском, египетском, китайском искусстве опиралось на мифологию этих народов и выражало их понимание жизни и мира. В эпоху мусульманской цивилизации было запрещено изображать людей по религиозным соображениям. Это привело к тому, что мусульманский художник в общем пошел по пути абстрактной и декоративной выразительности. В наши дни же монополии создали такие экономические и идейные условия, которые заставили современного художника воздержаться от изображения фактов жизни и пойти по пути абстракционизма в качестве формы выражения в искусстве. Монополии создали новую мифологию через посредство абстрактного искусства.

Итак, художник — это прежде всего его картины. Что касается моих работ, которые я сегодня осмеливаюсь показать советским людям, то они, я надеюсь, говорят о том, как мне удается воплощать в своем творчестве высказанные взгляды на искусство, на роль и место художника в жизни, какую тему я считаю для себя самой важной, наиболее ответственной, главной. Эта тема — мой родной иракский народ, его жизнь, страдания, радости, его борьба за лучшее будущее.

ПОХОРОНЫ РЕВОЛЮЦИОНЕРА.
Фрагмент (масло)

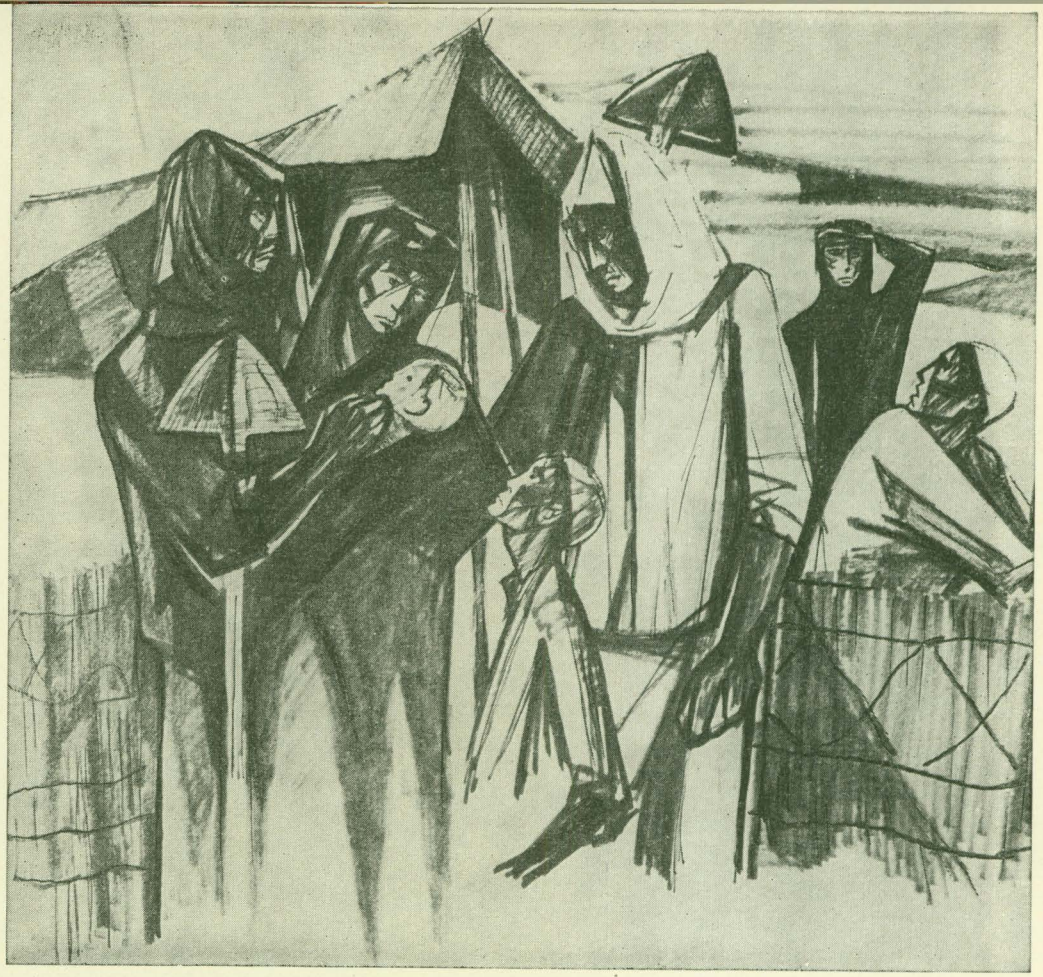
ПОХОРОНЫ РЕВОЛЮЦИОНЕРА.
Фрагмент

СЕМЬЯ КРЕСТЬЯНИНА (акварель)

ЭСКИЗ

ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ (масло)

МАТЬ И РЕБЕНОК (масло)



Эскиз картины «СМЕРТЬ РЕБЕНКА»

СМЕРТЬ РЕБЕНКА (масло)

ОЧЕРКИ

ЭРНЕ УРБАН

ПО ТРАССЕ ВЕНГЕРО-МОНГОЛЬСКОЙ ДРУЖБЫ

Мечтать, тешить себя немыслимыми надеждами — это легче всего. Можно и притворно огорчаться, что мы теперь не путешествуем, а просто передвигаемся. Особенно легко думать об этом, погрузившись в мягкое кресло, откинув одним нажатием кнопки спинку, когда ТУ-104 режет воздух так плавно, что чай в широком пластмассовом стаканчике совершенно неподвижен, ни одна капля не прольется на поднос.

Примерно такие мысли проносились у меня в голове, когда мы переезжали через ледяной ручей, направляясь в глубь Монголии. После короткого знакомства с достопримечательностями Улан-Батора мне очень захотелось получить хоть небольшое представление о «настоящей» Монголии, и мы направились на шахты Налайхи.

В поселке рядом с современными домами стоят юрты и высятся чудесные здания начальной и средней школы, скорее похожие на немыслимую наяву театральную декорацию. Мы приехали сюда вместе с Ласло Кадаром; это венгерский монголовед, проходящий практику в Монголии, который согласился сопровождать меня в качестве переводчика в моей поездке по стране. На площади перед школьными зданиями, стараясь перекричать завывание сильного северо-западного ветра, от которого слезились глаза, Ласло предложил мне:

— Где-то неподалеку находится памятник Тонъюкука: несколько камней с надписями, относящимися к восьмому веку нашей эры. Хотите посмотреть?

— Конечно хочу!

Над нами раскинулось ослепительно-синее монгольское небо, вокруг, на сколько хватает глаз, коричневатая, покрытая полынью степь. С северной стороны на самом горизонте километрах в тридцати-сорока от нас протянулся кружевной хребет Чингизских гор, огромная масса диких скал, массивов и пиков, казавшаяся, несмотря на дальность расстояния, совсем близкой. Сзади виднелись здания шахтерского поселка, такие близкие, что думалось — крикни погромче, обязательно услышат, а в действительности были они от нас в полутора или двух часах ходьбы, если не больше.

Мы мчались то по каменистой степи, то пересекали овраги и речки, и все это с такой скоростью, что было совершенно непонятно, как выдерживают покрышки и ось машины, но едва попадался сравнительно гладкий кусок «дороги», шофер немедленно включал меньшую скорость. Почему же? Да потому, что шоферская мудрость в Монголии подсказывает: надо наслаждаться хорошей дорогой и мчаться сломя голову по плохой. Дул ветер, вокруг расстилалась пустыня, обрамленная по горизонту снежными горами, и все казалось нереальным. А перед нами несколько грубо отесанных столбов, обломков статуи и чудесно выгравированная каменная плита. Что было здесь более тысячи лет назад? Жертвенник? Надгробная молельня? Жилище степного владыки? Тончайшие письмена, густо покрывавшие камни, не давали на эти вопросы точного ответа, а раскопками и сколько-нибудь серьезной исследовательской работой здесь еще никогда никто не занимался. Но почему меня охватило волнение? И почему звучание и ритм неизвестных слов показались мне такими знакомыми, когда Ласло Кадар принялся читать надпись на главном камне?

Тысяча лет! В степи вырастала и желтела трава. Ветер дул и дул, а если останавливался на миг, то лишь для того, чтобы повернуть в другую сторону. Небо было ослепительно-синим. По долине проходили отары и табуны, армии и караваны. И только теперь, при жизни уже нашего поколения, вокруг Улан-Батора и некоторых других зна-

чительных населенных пунктов началось наступление на дикую романтическую степь: то там, то здесь видны прекрасные следы работы человека.

Поездка к камню Тонъюкука была лишь небольшой экскурсией — туда и обратно не более 130—140 километров — по сравнению с огромными расстояниями монгольских степей (по диагонали ширина Монголии 2368 километров). Но уже поездка из Улан-Батора через Худжирт в Хархорин и обратно была, даже учитывая монгольские расстояния, большим достижением. Эта поездка дала нам все то, о чем я мечтал в самолете,— знакомство с «настоящей» Монголией, приключения, массу впечатлений....

Шестьсот километров даже по хорошей бетонированной дороге отнюдь не пустяк, если их надо проехать за один день. А представьте себе, что эти шестьсот километров надо проехать по дороге, которая существует только на карте, а в действительности шофер ведет машину прямиком по степи, руководствуясь какими-то ему одному известными приметами да запутанными следами ранее проезжавших автомобилей.

Иногда перед нашей машиной взмывал орел, подымался тяжело, неловко, как будто его огромное тело тяжелого бомбардировщика двигалось не напряжением мышц, а силой ветра.

Солнце вспыхнуло, необыкновенно увеличилось в объеме, превратилось в пурпурно-красную, готовую вот-вот взорваться бомбу. Ближние горы потемнели, стали черными, словно нежная бархатистая копоть смоляных факелов, а дальние еще сверкали, как жемчужина или капля рассветной росы в лепестке цветка. И наконец, огромные горные массивы там, на самом горизонте, запылали темно-красным пожаром. В довершение ко всему степь вокруг запенилась. Откуда-то из глубины вырвались кверху белоснежные гейзеры, столбы пушистого белого пара. Температура с заходом солнца так резко падает, что нагревшаяся за день вода, как кипяток, выбрасывает из себя пар. Мгновение — и темная завеса ночи скрыла все это от наших глаз. Видения исчезли, погрузились в густую, как смола, темноту, а на небосводе засверкали огромные звезды, непривычно жуткие и пугающие.

Наша машина неслась все дальше и дальше, подпрыгивала, карабкалась, скользила, куда-то взбиралась, петляла. Свет фар выхватывал из темноты то кочку, то куст саксаула на склоне оврага, они казались в этом фантастическом освещении сказочными чудовищами. Мы снова перебрались через какую-то реку, с трудом вскарабкались на отвесный берег и ехали, ехали, ехали, пока часов в одиннадцать вечера не наткнулись на приземистую башню и столб с надписью, которая заботливо сообщила нам, что впереди предстоит крутой поворот. Это было, пожалуй, самое удивительное из всего нами виденного: за целый день пути мне не попалось на глаза ни одного дорожного знака, ни одного указателя, хотя бы в виде обыкновенной стрелы, а ведь Худжирт, при въезде в который мы обнаружили международный знак поворота, не что иное, как небольшое курортное местечко в глубине долины.

■

Шагдар-багши, иначе говоря, учитель Шагдар, председатель эрдэньского сельскохозяйственного объединения имени Венгеро-монгольской дружбы, угощал нас кумысом, соленым чаем с молоком, шоколадными конфетами, брынзой и папиросами марки «Казбек». Первую огромную пиалу с чаем (по меньшей мере, литровую) он протянул мне в знак радости и уважения обеими руками и с глубоким поклоном. Потом он подождал подтверждения, что чай мне понравился, выпил сам, закурил папироску и с длинной указкой подошел к большой настенной карте. Речь его течет плавно и красиво, я бы сказал, по-профессорски: Шагдар читает нам лекцию о сельскохозяйственном объединении, которое он возглавляет.

Данные, приводимые председателем, совершенно потрясающи, по крайней мере для нас, венгров. В нашей стране, если сельскохозяйственный производственный кооператив имеет десять-двенадцать тысяч хольдов земли, это уже большая редкость, а это эрдэньское объединение располагает площадью в пятьсот сорок шесть тысяч гектаров, занимая, таким образом, пространство, равное двум венгерским комитатам. И на этой огромной территории, именуемой Дзун Баян, живет всего восемьсот семей, а в объединении работает постоянно тысяча двести человек и две тысячи пятьсот — сезонно. Даже если учесть, что большую часть территории Дзун Баян занимает тайга, начинавшаяся невдалеке от центрального поселка, население здесь малочисленно.

Цифры, которые называет наш лектор, удивительны, да и сам он, в черном монгольском кафтане, с серьезной торжественностью стоящий перед большой картой, явление незаурядное, но проходит всего четверть часа, и мы начинаем чувствовать себя как дома, ощущение уюта и домашнего тепла усиливается с каждой минутой, и через некоторое время мне уже кажется, что я сижу в помещении одного из венгерских сельскохозяйственных производственных кооперативов и беседую со своим старым приятелем, хотя бы с тем же Шандором Бартфаи, только слегка помолодевшим.

Откуда это? Почему возникло в нас это чувство домашнего тепла? Может быть, оно навеяно прикрепленным к стене венгерским флагом, оставленным здесь правительственной делегацией ВНР в 1959 году? Или присутствие старого монгола с ниспадающими усами, который снует туда и сюда, угощает кумысом и чаем, вызывает воспоминания детства, и кажется, что это не монгол, а венгр, и прислали его сюда из далеких

венгерских степей для обмена опытом по коневодству? Все это, конечно, так, но лишь отчасти, в действительности же родственное чувство возникло, когда Шагдар-багши поведал нам историю основания этого сельскохозяйственного объединения. Их было тогда семеро, и начали они с лесоразработок, а общественного имущества набралось всего одна переносная юрта, одна лошадь и две старые телеги.

Председатель рассказывает, что теперь у них пятьдесят тысяч голов скота, сорок зимних помещений, вырыт колодец, своя электрическая станция и даже четыре тысячи гектаров пахотной земли, отвоеванной у степи. А я думаю о том, что вот и в Венгрии какой-нибудь председатель сельскохозяйственного кооператива, рассказывая о трудном начале, когда все пришлось строить буквально на пустом месте, хочет показать, какой огромной работы и борьбы стоили теперешние результаты. Может быть, сделано и не так уж много, но это немногое — ступенька к лучшему будущему.

Мы уже не удивляемся, когда узнаем, что объединение занимается еще и охотой. В лесах много всякого зверя — косули, олени, кабаны, волки, рысь и даже медведи. Охотиться люди часто бывают вынуждены: недавно, например, за один только месяц убили пятьдесят медведей, которые повадились ходить на берег речки Толы прямо через населенный пункт. Лето было очень засушливое, так что иссякли даже лесные ключи, и медведи ходили на водопой к реке.

Идем осматривать поля, и тут мне снова приходится удивляться. Вспахана огромная, с трех сторон защищенная от ветра котловина. Шагдар-багши показывает нам, где и как подняли они целину, пшеница дает урожай в шестнадцать центнеров с гектара, на огородах выращивают двадцать видов овощей. Председатель рассказывает об этом не только с чувством законной гордости, но и желая сделать нам приятное: семена получены из Венгрии, бурением колодцев и устройством оросительной системы тоже занимались венгерские специалисты. Капусту здесь выращивают такую, что некоторые кочаны весят до четырех килограммов. В будущем ожидаются еще более замечательные результаты; работают они не покладая рук, а из братских сельскохозяйственных кооперативов Венгрии им обещали прислать на летний сезон опытных овощеводов.

Мы бродим по осенним пустынным полям, урожай с которых давно собран, стараемся разобраться в лабиринте оросительных каналов, проведенных по болгарской системе, а издали поглядывают на нас три невозмутимо спокойных верблюда, появившиеся откуда-то из-за холмов. Верблюды пасутся, но совершенно непонятно, что находят они на этой высохшей земле. Разве что сухие стебли, репей, полынь и саксаул. А что это за серебряные цветы с бархатистыми лепестками? Цветы ковром покрывают огромные пространства, я присматриваюсь к ним и вскрикиваю от удивления — эдельвейсы! Вот уж никогда бы не мог себе представить, что существуют места, где эти чудесные цветы растут в таком количестве, будто сорняки.

— На какой же мы здесь высоте? — спрашиваю я у Шагдар-багши.

— В среднем тысяча пятьсот — тысяча шестьсот метров над уровнем моря.

Только теперь я понимаю все значение полученных здесь результатов. Шагдар-багши был очень скромен и ни словом не упомянул о том, какое чудо эти шестнадцать центнеров пшеницы с гектара и двадцать различных видов овощей, выращенные здесь, в Эрдэне. Я говорю ему об этом, но он отклоняет мои похвалы: земледелию и огородничеству они только еще учатся, по-настоящему хороших результатов они достигли в животноводстве, система выведения скота у них модернизирована, и достижения в этой области прочные. Он предлагает нам поехать к заслуженной доярке, и мы мчимся на его машине в самый дальний угол котловины, где и знакомимся с «хашаном», то есть с постоянной зимней стоянкой.

Юрта доярки Бадамханд стоит у подножия холмов в довольно защищенном от ветра месте. Рядом с ней — еще три юрты, протекает небольшой ручей, на берегу которого раскинулся открытый загон для скота с изгородью, сплетенной из свежих еловых ветвей, и стоит стог неспелой ржи. Мужа нет дома, уехал на какие-то курсы, поэтому гостей встречает сама хозяйка, хотя это и противоречит прежним обычаям и понятиям о приличиях. Она здоровается с нами за руку и, вежливо улыбаясь, проводит на почетное место в юрте. Угощает нас соленым чаем с молоком и домашним печеньем, одновременно отвечая на мои вопросы о семье, жизни, работе. Она смущается и опускает взгляд в тот момент, когда председатель принимается перечислять ее достижения. В смущенной улыбке во рту у нее поблескивает золотой зуб. Для Монголии, а особенно для Эрдэня тысяча литров молока с коровы в год — огромное достижение. Недавно объединение взяло на себя обязательство: будет поставлять в Улан-Батор все необходимое городу молоко — семьсот тысяч литров в год.

Я записываю, ведь все это — составные части большого процесса, свидетельство происходящего в Монголии перехода от кочевого скотоводства к скотоводству оседлому, связанному с определенным местом и частично с заготовлением кормов. Слушая доярку, я рассматриваю убранство юрты, в котором тоже отражается переход от кочевой к оседлой жизни. От прежней кочевой жизни здесь остались сундуки, ковры, шкуры и бурдюки. Несколько более «современно» выглядит железная печка с коленчатой трубой и стол на низких ножках. Еще ближе к нашему обиходу — комод с зеркалом, швейная машина и никелированная кровать. Самые последние достижения — огромный термос, величиной с газовый баллон, раздвижной диван-кровать и аккумуляторный радиоприемник.

Те же стадии развития запечатлены на семейных фотографиях, прикрепленных — как знаком мне этот обычай! — к зеркальной рамке. Первая в серии — открытка с изображением Сухе-Батора на коне, затем — фотографии родственников в военной форме, очевидно воевавших, кто в революционной армии, кто у Халхин-Гола, против японцев. Последние десять лет представлены карточками членов семьи и групповыми снимками где-нибудь на курсах или на курорте. А вот и фотографии студента у входа в университет, картонки новобрачных, неподвижно застывших перед объективом фотографа, ну точь-в-точь, как снимаются в таких случаях у нас.

По всему можно судить, что семья Бадамханд живет хорошо и зажиточно. То же самое говорит и председатель объединения, да и сама хозяйка юрты. Она вместе с мужем зарабатывает в среднем тысячу тугриков * в месяц, даже немного больше.

Хашан представляет собой деревянную постройку, открывающуюся на юг. В этом помещении одна многочисленная семья ухаживает за тремястами коров, корм для них припасается еще задолго до наступления зимы — нечто совершенно новое в монгольских условиях.

Не надо, конечно, забывать, что степные растения очень богаты белками, а монгольские пастухи — опытные скотоводы, и за лето их стада хорошо откармливаются: к началу октября овцы еле таскают тяжелые курдюки, а горбы у верблюдов выглядят так, будто бы их накачали автомобильным насосом. Но приходит зима с жесточайшими морозами и пронизывающими до костей ветрами, когда даже верблюжья колючка становится недосягаемым лакомством, так трудно выкопать ее из-под твердого наста, и к весне от животных остается лишь кожа да кости, а горбы у верблюдов мотаются, как пустые кожаные мешки.

За последние два года в Эрдэне построено сорок хашанов, это большое достижение, а через несколько лет их число будет доведено до 120—130, и тем самым скотоводство, рассчитанное на милости природы, будет здесь заменено оседлым скотоводством на основе заготовки кормов.

Но в Монголии в общей сложности более двадцати миллионов голов скота, построить для всего поголовья деревянные хашаны при скудности лесных угодий и трудностях перевозки леса отнюдь не пустяк. Поэтому, даже при самом большом старании и наличии необходимых средств, пройдет еще немало лет, прежде чем по всей стране будут построены хашаны в нужном количестве, как это уже сделано в Эрдэне, то есть в общей сложности сто десять — сто двадцать тысяч помещений, а обработанные целинные земли обеспечат необходимые запасы кормов.

После обеда мы осматриваем разнообразное хозяйство поселка. Есть здесь промтоварный магазин, радиостанция, телефонный коммутатор, аптека, ветеринарная лечебница, семилетняя школа, ясли, гостиница и даже крохотная электростанция. Ни одно из этих зданий не может похвастаться архитектурной изысканностью, все они расположены в гличяных или в бревенчатых домах, таких, как в сельской местности в Сибири. Но они вполне отвечают цели, а помещения школы-семилетки и интерната просто блещут чистотой, порядок в них — идеальный.

С ранней осени до поздней весны четыреста мальчиков и девочек в соответствующем обязательному обучению возрасте собираются сюда со всего Дзун Баяна, живут здесь и учатся за счет сельскохозяйственного объединения, то есть совершенно бесплатно. Но самое замечательное то, что такие школы-интернаты, куда собираются дети со всех концов огромной территории и получают там пищу и для ума, и для тела, отнюдь не являются особенностью Эрдэна. Так же учатся дети по всей Монголии.

Этим и объясняется невероятный на первый взгляд факт, что в Монголии, стране, где большинство жителей пока занимается кочевым животноводством, уже ликвидирована неграмотность. И что в стране с населением в один миллион человек произведения монгольских писателей издаются десятитысячными тиражами. Стоят книги не так уж дешево, но не залеживаются на складах.

На прощанье мы получили от Шагдар-багши удивительный подарок — тарелку брюссельской капусты, которая оказалась по странному стечению обстоятельств рядом с собранным нами букетом эдельвейсов. Шагдар-багши подарил нам редкостные овощи, желая доставить удовольствие: найдется, мол, в венгерской колонии Улан-Батора добросердечная хозяйка, которая приготовит нам это лакомство надлежащим образом. А собранные нами эдельвейсы были для Шагдар-багши просто луговой травой.

На обратном пути у меня было достаточно времени, чтобы подумать и о брюссельской капусте и об эдельвейсах, найти в сочетании этих двух растений многозначительный символ прошлого и социалистического будущего. И так приятно было думать, что семена брюссельской капусты, выращенной объединением имени Венгеро-монгольской дружбы, были присланы из Венгрии.

---

* 100 тугриков равны 22 рублям.

ВИКТОР БОЖОВИЧ

В ЧЕМ ПРИЧИНА КРИЗИСА?

(По страницам французской прессы)

«ИНТЕГРАЦИЯ» КИНОИСКУССТВА

Вот уже много лет французское кинопроизводство переживает затяжной и скрытый кризис. Это стало настолько привычным, что к кино во Франции начали относиться как к хронически больному родственнику, который способен пережить всех здоровых членов семьи. Но в последние месяцы болезнь катастрофически обострилась. Дело дошло до того, что Союз французских кинопродюсеров принял решение о прекращении запуска в производство новых фильмов.

«Мы не можем взять на себя ответственность за производство новых фильмов,— говорится в заявлении продюсеров,— до тех пор, пока не будут обеспечены необходимые условия для существования французского кино: «Закон о субсидиях», равноценный аналогичному закону, действующему в Италии; уменьшение налогового бремени; упорядочение отношений между кино и телевидением; реорганизация кинопромышленности».

«За строчками этого лаконичного заявления,— пишет «Юманите-диманш»,— скрываются все беды, от которых страдает наше кино, кроме одной: цензуры. Цензура в очень большой степени повинна в выхолащивании французского кино и в растущем охлаждении зрителей».

Но все эти трудности возникли не вчера. Почему же именно сейчас они приняли столь угрожающий характер? Дело в том, что корни экономического кризиса французского кино уходят в область политики и идеологии. Французское кино начинает пожинать горькие плоды вступления в европейский «Общий рынок». В соответствии с соглашениями об «Общем рынке» во Франции отменяется «Закон о субсидиях», который был своего рода «кислородной подушкой», помогавшей выжить французскому кино. Закон этот упраздняется не сразу, а по этапам, ассигнования уменьшаются из года в год. Таким образом, удушение французского кино ведется медленно и постепенно.

Последовательная ликвидация «Закона о субсидиях» вызывает тем большее возмущение французской общественности, что речь идет не о правительственной помощи, а о своеобразной форме «самофинансирования» из «Фонда развития», который образуется за счет наценки на стоимость билетов.

Что касается французского правительства, то оно смотрит на кино, лишь как на источник доходов, проявляя поразительное равнодушие к судьбам национальной кинематографии. Даже обычно сдержанный орган французских кинопредпринимателей «Синематографи франсез» раздраженно заметил, что «государство рассматривает кино как овцу, которую можно стричь снова и снова». Французское кино обременено непомерными налогами, тяжесть которых лишь отчасти компенсировал «Закон о субсидиях». Объявляя своеобразную «забастовку», французские кинопредприниматели стремятся оказать давление на правительство, вынудить его к уступкам.

Однако и французское правительство не свободно в своих действиях: оно не может сохранить «Закон о субсидиях» без согласия своих партнеров по «Общему рынку». Судьба французского кино решается не в Париже, а в Брюсселе, где заседает Комиссия «Общего рынка». Таковы первые результаты «интеграции» для важнейшей отрасли французской промышленности и французской культуры.

Удушение национального киноискусства прикрывается громкими словами о «европейских фильмах». Так называются дорогостоящие коммерческие поделки, которые

будут создаваться совместными усилиями всех стран — участниц «Общего рынка». «Рассматривать фильм как товар, с которым можно производить такие же экономические манипуляции, как с углем или пшеницей, значит надеть на кино смирительную рубашку,— пишет еженедельник «Леттр франсез».—...Это означает гибель французского кино как подлинно национального искусства».

«РЕЦЕПТ УСПЕХА»

В 1962 году французское кинопроизводство сократилось до 88 полнометражных фильмов (по сравнению со 124 в 1960 году). Причем лишь половина из них являются чисто французскими, остальные — фильмы совместного производства. Киностудии закрываются или передаются в ведение телевидения. Из каждых трех технических специалистов двое сидят без работы. Приводя эти факты, «Леттр франсез» пишет: «Не первый раз мы слышим, что французское кино в критическом положении... Из всех отраслей промышленности (приходится все-таки употребить именно это слово) французское кино ближе всего к банкротству».

Допустим, однако, что вопрос об ассигнованиях будет все-таки урегулирован и французское кино вновь получит свою «кислородную подушку». Болезнь будет загнана внутрь, но она не перестанет подтачивать организм. Самый тревожный симптом — неуклонное сокращение посещаемости кинотеатров. За пять лет французское кино потеряло около одной четверти своих зрителей! Во многих городах крупнейшие кинотеатры превращаются в гаражи или универмаги.

Буржуазная печать объясняет охлаждение кинозрителей многими причинами: тут и конкуренция телевидения, и туризм, и увлечение спортом, и устаревшее оборудование кинотеатров... Только одна (но едва ли не самая главная!) причина игнорируется: отрыв подавляющего большинства фильмов от реальной действительности и тех вопросов, которые волнуют миллионы французов.

Увеличение количества телевизоров имело один несомненный и, если вдуматься, глубоко положительный для киноискусства результат. «Домашний экран» отвлек из кинотеатров ту часть зрителей, которые не искали в кино ничего, кроме развлечения. Как справедливо отмечает в «Юманите» Самюэль Лашиз, «в кино больше не ходят по привычке. Теперь зритель **выбирает** фильм».

Из кинотеатров постепенно исчезает тот контингент зрителей, который рассматривал фильм только как традиционный способ «убить время». Как же реагируют на этот важнейший процесс продюсеры и прокатчики? Они делают ставку на супербоевики, которые должны, по их расчетам, иметь равный успех и во Франции, и в Италии, и в ФРГ, и, если возможно, в США. Стремясь угодить всем, создают пышные картины на исторические и библейские темы. За последнее время несколько таких картин, рассчитанных на «международный успех», блистательно провалились. А вот скромный, лишенный всяких претензий фильм «Война пуговиц» о жизни французской детворы прошел по экранам страны с невиданным успехом. Характерно, что ни один продюсер не согласился финансировать этот фильм, режиссеру Иву Роберу и сценаристке Сильвии Монфор пришлось осуществлять постановку за собственный счет. Теперь «деловым людям» остается только руками разводить: ведь вот фильм не цветной, на обычном экране, без «звезд», без захватывающего сюжета, без тысячных массовок, без эротических сцен — а выдерживает конкуренцию телевидения и постановочных боевиков.

«Война пуговиц» не является выдающимся произведением искусства, но успех этой картины показывает, куда направлены симпатии французских зрителей. Фильм привлекает простотой и естественностью тона, чувством непосредственной жизненной правды, добрым отношением к человеку.

Обаяние художественного произведения — в его неповторимости. А кинопредприниматели одержимы мечтой найти «рецепт успеха». Теперь они попытаются извлечь из внешних особенностей «Войны пуговиц» некую «коммерческую формулу». И можно заранее сказать, что их будет ожидать очередной провал.

Позицию французских деловых кругов перед лицом кризиса выразил А. Реможе в статье, опубликованной в журнале «Ревю де дё монд»: «Необходимость поразить клиентов, которых все больше соблазняют другие формы бегства от повседневности, стремление отвлечь зрителей от семейных вечеров перед маленькими экранами телевизоров заставляют продюсеров во все больших масштабах применять постановочную технику, добиваться все большей завершенности, роскоши и блеска экранного зрелища». В другом месте автор статьи говорит, что кино приходится выдерживать конкуренцию мотоспорта и электрических «игральных машин».

Для Реможе кино — одно из средств развлечения. Может ли кино быть чем-то другим? Например, искусством? Реможе не отрицает такой возможности. «Одни фильмы делаются для массового успеха, другие — с художественными целями,— пишет он и добавляет: — Если фильм преследует чисто эстетические цели, то, каковы бы ни были его достоинства, он не может рассчитывать на широкий круг зрителей».

В основе этих рассуждений лежит презрение и к искусству, и к зрителям. «Публика кинотеатров,— читаем мы в статье,— не склонна ни к умствованиям, ни к снобизму. С чистым сердцем она исповедует конформизм и не ищет ничего, кроме удовольствия».

Итак, перед нами в чистом виде «доктрина» киноторговцев. Идейные и художественные задачи кино рассматриваются как

второстепенные, поскольку считается, что они не только не благоприятствуют коммерческому успеху, но даже вредят ему. Эта «доктрина» и привела французское кино на грань банкротства.

Кино будет переживать перманентный кризис, пока на него будут смотреть как на товар. Но те, кто финансирует постановку фильмов, не могут смотреть на него иначе. Противоречие неразрешимо в рамках капиталистической системы. Эстетическая природа кино непрерывно бунтует против коммерческих форм кинопроизводства и «кинопотребления». Дельцы хотели бы лишить кино его эстетического содержания, они упорно ищут **внеэстетические** ценности — коммерческий «верняк». Они готовы платить огромные деньги за экранизацию нашумевшего романа, за право использовать в качестве названия фильма припев модной песенки. Долгое время «козырем» любого фильма считался Жан Габен. Его таскали из одной бессодержательной картины в другую, поручая ему стандартные роли, написанные специально «под Габена». В результате зрители охладели к своему бывшему кумиру. Аналогичным образом используется популярность Брижитт Бардо. Марка «Б. Б.» пока автоматически обеспечивает успех любому фильму. Надолго ли?

А в сущности, единственная «твердая ценность» — искусство, близкое и нужное народу, жизненное, правдивое. Но эта ценность не измеряется ни в новых, ни в старых франках.

КИНО НА ПРИВЯЗИ

«В стране, находившейся в состоянии войны с 1939 по 1962 год, нет ни одного фильма, который хотя бы намекнул на войну в Индокитае или Алжире,— пишет «Юманите».— Ни одного фильма, который затронул, хотя бы косвенно, тему борьбы народов колониальных стран за независимость. В стране, где многочисленные социальные битвы говорят сами за себя, нет ни одного фильма, который разрабатывал бы тему рабочего класса, который отражал бы (всерьез, а не только для того, чтобы посмеяться) жизнь французов, их беспокойство и надежды».

Приведенный отзыв, быть может, слишком суров. Советские зрители могут вспомнить фильм «Смерть, подкравшаяся тайком» режиссера Марселя Камю, где была показана «грязная война» в Индокитае. Шарль Спаак и Марсель Карне, перенося в наши дни действие фильма «Тереза Ракен», ввели в него зловещую фигуру легионера, только что вернувшегося из Индокитая,— трусливого и наглого шантажиста с глазами убийцы, для которого колониальная война оказалась школой жестокости и цинизма. Сейчас, в отблесках оасовских взрывов, этот прообраз «пара́», мелькнувший в фильме шестилетней давности предстает в своем истинном значении. Наконец, сравнительно недавно Клод Отан-Лара снял фильм «Не убий», где сопоставил судьбу двух солдат: немца и француза. Немец много лет назад расстрелял французского партизана. Француз отказался надеть солдатский мундир, потому что, как христианин, он следует евангельской заповеди «Не убий». Обоих солдат одновременно судит французский военный трибунал. Фашистский убийца оправдан: ведь он только выполнял приказ. Французский солдат осужден за уклонение от «воинского долга». Фильм с наглядностью притчи раскрывает суть реакционной политики французских правящих кругов. Легко понять, почему Отан-Лара должен был ставить «Не убий» за собственный счет и за пределами Франции. Французское правительство не только запретило «крамольный фильм» на территории Франции, но и сделало все возможное, чтобы помешать его прокату в других странах.

Угроза цензурного запрета и правительственных репрессий сковывает по рукам тех деятелей французского кино, которые хотели бы обратиться к острым темам национальной и международной жизни. До сих пор запрещен документально-публицистический фильм Криса Маркера «Куба — da!». Лишь после долгих цензурных мытарств и переделок выпущен на экраны фильм «Годен к гражданской жизни» режиссера Жана Эрмана, посвященный проблеме детской преступности во Франции. Натолкнулся на правительственные рогатки документальный фильм Фредерика Россифа «Умереть в Мадриде», воскрешающий трагические эпизоды гражданской войны в Испании.

Приведенные факты показывают, где корни трудностей, переживаемых французским кино. Оно вынуждено существовать в таких политических и экочомических условиях, которые не дают ему сблизиться с исторической и социальной реальностью.

ЦЕНА ПАССИВНОСТИ

Хотя некоторым французским критикам одно время казалось, что «новая волна» смоет плесень приспособленчества и приведет к художественному обновлению, этим наивным надеждам не суждено было осуществиться. Эволюция многих молодых режиссеров показывает, к чему ведет идеологическая и эстетическая пассивность.

Термином «новая волна» принято обозначать художественное течение, начало которому положили молодые режиссеры, дебютировавшие в 1958 году. Речь идет не вообще о «молодых», а о той группе, которая во всеуслышание и даже с преувеличенным шумом заявила о своей решимости покончить с условностями и штампами «старого» кинематографа.

«Для того чтобы произошел настоящий подъем, чтобы в кино прилила свежая кровь, необходимо, чтобы молодые кине-

---

ВИКТОР БОЖОВИЧ
В ЧЕМ ПРИЧИНА КРИЗИСА?

матографисты отказались от подражания старым образцам. Речь идет не о том, чтобы снимать фильмы стоимостью подешевле, но копирующие роскошь и глупость боевиков. ...Надо снимать другое, в ином духе, иными методами. Надо покинуть дорогие студии и покорить морские побережья... Надо снимать на улицах и даже в настоящих квартирах... Надо снимать на фоне настоящих старых стен более содержательные истории...»

Эти строки были написаны в 1958 году двадцатипятилетним кинокритиком Франсуа Трюффо. А год спустя Трюффо сам рискнул выступить в роли режиссера. Он поставил по собственному сценарию фильм «Четыреста ударов» и художественной практикой подтвердил свои категорические «надо».

При всей противоречивости идейных позиций и художественных деклараций, сторонникам «новой волны» на первых порах было свойственно стремление взглянуть новыми глазами на окружающий мир. Первые фильмы Клода Шаброля («Красавчик Серж» и «Кузены»), Аньес Варда («Тупое острие»), Франсуа Трюффо и некоторых других молодых кинематографистов были пронизаны острым, подчас даже болезненным ощущением неблагополучия жизни. Разумеется, это было только начало сложного и трудного процесса «возвращения к реальности». Необходимо было художественно проанализировать причины угаданного неблагополучия, подняться до целостного и осмысленного взгляда на мир. Однако решить эти задачи «новой волне» оказалось не под силу. Был ли это результат личной слабости молодых режиссеров? Скорее, следствие общего положения во Франции в 1958—1961 гг. Усталость от изнурительных и бесславных колониальных войн, разочарование в буржуазной демократии, равнодушие к «политике партий» — все общественные настроения, обусловившие падение IV Республики, отразились в фильмах «новой волны». И сковали развитие этого художественного течения.

Разочарование в общественных идеалах, скептицизм, безразличие к политике, свойственные многим деятелям «новой волны», породили своего рода «эстетическую пассивность». Вот, к примеру, два фильма, внешне совершенно несхожих.

«Хроника одного лета» Жана Руша и Эдгара Морена строится как беспристрастное социологическое «обследование». Жан Руш, ученый-этнограф, снявший несколько документальных фильмов о жизни африканских племен, обратил объектив кинокамеры на свой родной город — Париж. Как живут, о чем думают парижане? Авторы фильма интервьюируют чету художников, рабочего с завода Рено, студента, машинистку... Зрителю предлагают намеренно разрозненные «куски жизни», обрывки человеческих судеб, признаний, раздумий: пусть каждый разбирается и делает выводы. В конечном счете авторы не выдерживают ими же установленных «правил игры». Несмотря на нейтральность повествования, из хаоса случайных (как бы случайных!) встреч и разговоров вырисовывается определенная концепция мира и человека: мир «бесструктурен», люди разобщены, отгорожены друг от друга рамками частной жизни и частных стремлений. Однако принципиальная позиция авторского «невмешательства» настойчиво декларируется и определяет внешнюю достоверность и непредвзятость произведения.

В противоположность «Хронике одного лета», фильм «Зази в метро» (по роману Раймона Кено, режиссер Луи Малль) уходит от всякой достоверности. Картина реального мира разбита вдребезги, а осколки причудливо перепутаны. Алогичность монтажа странным образом контрастирует с документальной фактурой кадров. Перед нами Париж, увиденный глазами человека, который утратил способность устанавливать логические связи между хаотически мелькающими образами. А может быть, это и есть подлинный облик Парижа?

«Я думаю, что даже если бы мы хотели, то все равно не смогли бы закрыть глаза на беспорядочность, нелепость, абсурдность нашей жизни»,— заявил Луи Малль. Подняться же над этим абсурдом режиссер не считает возможным.

«Хроника одного лета» и «Зази в метро» — две стороны одной медали: перед нами искусство, которое считает себя не вправе **судить жизнь** и предлагать зрителю какую-либо **концепцию реальности.** Но авторское самоустранение — это ведь тоже позиция, только характеризующаяся отказом от художественного осмысления мира.

В раздробленном мире блуждают персонажи фильмов — люди морально опустошенные и неприкаянные. Чаще всего это представители «золотой молодежи» и интеллектуальной богемы. Жизнь для них — нелепая игра, иногда забавная, чаще нудная, порою жестокая. Может показаться, что персонажи фильмов «новой волны» томятся в атмосфере бездуховности и рвутся прочь. В известной мере это действительно так. Но существовать в иной среде они бы не смогли. Они плоть от плоти мира, в котором живут. И поза бунтаря у этих «антигероев» чаще всего прикрывает приспособленчество и бессилие. Для определения такого социального психологического типа в оборот пущено трудно переводимое слово — les tricheurs — мошенники, обманщики, шулеры, смешавшие все карты в жизненной игре, запутавшие не только других, но и самих себя.

Образы «обманщиков»—серьезный симптом духовной болезни общества. Раскрывая социальные причины этого недуга, искусство могло бы прийти к важным выводам и открыть для себя новые горизонты. Однако авторы «новой волны» и здесь остаются на позициях пассивной констатации.

Клод Шаброль как-то заявил, что считает для себя невозможным изображение положительного героя. Поскольку почти все фильмы этого режиссера живописуют нравы праздной и развращенной верхушки

французского общества, то в его словах есть своя логика.

В центре одного из последних фильмов Клода Шаброля «Офелия» — молодой наследник династии «промышленных королей», принимающий себя за Гамлета. Нелепая претензия, маниакальная идея! Случай почти клинический, но по-своему типичный. В фильмах «новой волны» кишат маленькие «гамлетики» — бессильные и тщеславные молодые буржуа, готовые раздувать свои неврозы до размеров вселенской трагедии.

Беда Шаброля не в том, что он не изображает положительных героев, а в том, что принцип «дегероизации» приводит его к утрате моральных критериев. Уродливое и злое изображается безразлично, как нечто не подлежащее моральному суждению и осуждению. Отсюда один шаг до эстетизации низменного. Так мстит за себя идейная и художественная пассивность.

В одном из интервью Клода Шаброля мы сталкиваемся со следующим характерным рассуждением: «Меня упрекают в том, что я не занимаю активной позиции по отношению к проблемам современного мира,— говорит Шаброль.— Но у меня есть своя маленькая философия истории. Ведь если я не занимаюсь политикой, то политика занимается мной. Таким образом, честь спасена».

Этот нехитрый софизм оборачивается против его автора. «Маленькая философия» Клода Шаброля — это философия гражданского безразличия, этического и эстетического невмешательства.

К сожалению, Клод Шаброль не одинок. Многие французские кинорежиссеры, считающие себя «нонконформистами», фиксируют внешний облик реальности или воспроизводят калейдоскопическое мелькание субъективных впечатлений — и со спокойной совестью считают, что большего от них не требуется.

Однако есть художники, которые тоскуют по осмысленному, ясному мировосприятию, стремятся обрести цельность, но безрезультатно.

Таков Аллен Рене, один из самых выдающихся мастеров современного французского кино. «Моя подлинная страсть — жажда увидеть мир в его целостности, нерасчлененности. С каждым годом у меня создается впечатление, что я понимаю мир меньше, как-то очень дробно. Это уже становится навязчивой идеей». Признание Аллена Рене относится к тому периоду, когда он готовился к работе над фильмом «Прошлым летом в Мариенбаде». Распыление мира доведено в этом произведении до предела. Кружение странных и порою захватывающих образов не имеет ни логики, ни смысла. Это греза какого-то неведомого персонажа, не имеющая точек соприкосновения с реальностью. В причудливом лабиринте зрителю предлагают искать несуществующую путеводную нить. Журнал «Нувель критик» назвал фильм Рене «самой крупной мистификацией в истории кино». Субъективная честность художника не вызывает сомнения. Однако перед нами, безусловно, продукт глубокого кризиса, который переживает художник. И плохую услугу оказывают Аллену Рене те французские критики, которые объявляют «Прошлым летом в Мариенбаде» высшим достижением современного кино.

■

Оторванное от жизненной реальности, от больших, животворящих идей современности, кино задыхается. Во Франции нет недостатка в талантливых, ищущих художниках экрана. Однако в последние годы французское киноискусство (в отличие, скажем, от итальянского) не смогло противопоставить кинокоммерции действительно значительных произведений. Поставленный перед выбором — развлекательные поделки или фильмы, трудные по форме и смутные по мысли,— зритель предпочитает вообще ничего не смотреть. Не в этом ли главная причина кризиса, о котором с такой тревогой пишет французская пресса?

КРУГЛЫЙ СТОЛ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МЕСТО ХУДОЖНИКА В ЖИЗНИ

■

(Зарубежные деятели изобразительного искусства у нас в редакции)

Среди зарубежных гостей Второго всесоюзного съезда советских художников, приглашенных в редакцию журнала «Иностранная литература», были люди, умеющие менять кисть на автомат, ибо в жизни их народов бывали времена, когда мастерам искусств приходилось защищать завоевания и идеалы народа не только художественными средствами, идеологическим оружием, но и с винтовкой в руках.

Председатель Национальной ассоциации кубинских графиков **Кармело Гонсалес,** автор популярных гравюр, отобразивший историю революции своего острова, задумал серию графических работ на тему «Куба — свободная территория Америки». Но он увлекается и станковой живописью. Его последняя картина «На посту» показывает вооруженного крестьянина, охраняющего родной край от бандитов, засылаемых американскими империалистами. Гонсалес сам был в дни нападения на Кубу солдатом революции, им он и остался. Гонсалес — милисиано, член народной милиции. Он виднейший художник-реалист, крупный общественный деятель, член правления Союза писателей и деятелей культуры Кубы, преподает в Высшей школе изобразительного искусства Гаваны.

Революция идет вперед. Широко шагает народ. Он требует, чтобы художники не отставали, показывали его историю, сегодняшние свершения и завтрашние планы.

Спутник на широтах искусства

— Я с удовольствием держал бы в руках только оружие художника,— говорит Гонсалес.— **Меня волнует тема революции. Она необъятна, и то, что сделано нами, художниками,— лишь отражение отдельных событий. Последняя моя графическая работа показывает эпизоды революции 1959 года. Размер этой гравюры примерно девять квадратных метров. В своем произведении я стремился охватить широкий круг событий, что и навело меня на мысль о новой форме и функции гравюры — настенной гравюре. Я думаю, что поиски в этой области будут очень интересными. А серия «Куба — свободная территория Америки» включит 32 гравюры и затронет самые различные области жизни нашей родины.**

Гонсалес сравнивает появление маленькой Кубы в братской семье социалистических стран с выходом на орбиту спутника.

— Мне даже думается, я не слишком ошибусь, если скажу, что кое-кто из товарищей, присутствующих здесь,— обращается он к работникам редакции, художникам и искусствоведам из Румынии, Венгрии, Югославии, Вьетнама, ГДР, Болгарии, Чехословакии,— **четыре года назад и не представлял себе, что такое Куба.**

Ведь прежде у нас были неграмотность, нищета, смерть. Сейчас у нас расцветает революция в промышленности, в культуре, просвещении, в искусстве.

На Кубе почти изжита неграмотность, подготовлены инструкторы по вопросам культуры. Там, где раньше было всего четыре школы изобразительного искусства, создан творческий союз тех, кто творит для народа,— Союз писателей и деятелей культуры, члены которого своим талантом участвуют в общем труде рабочих и крестьян.

— Наши художники работают в условиях полной свободы творчества, их усилия направлены к реализму; это и есть наша политика в области искусства. Ее выдвинуло революционное правительство Кубы под девизом: «Все для революции, и ничего против революции».

Наш художник — член не только творческого художественного союза, но и всего нашего социалистического общества. У него одна четкая позиция — всегда и везде быть честным солдатом революции,— взволнованно говорит Гонсалес.

Он рассказывает, как заботится о художниках народное правительство во главе с Фиделем Кастро, которое заинтересовано в том, чтобы все творческие работники новой Кубы выполняли свой гражданский, общественный долг — трудились бы над произведениями искусства в области живописи, скульптуры, графики для выставок, которые посещает народ, и таким образом строили бы социализм.

О какой еще свободе можно мечтать, когда после мрачных лет подполья, изгнания, ссылки, долгих 20 лет упорной борьбы за победу народной революции скульптор **Энрике Морет** обрел наконец священную свободу быть вместе с родным народом и ваять для него!

Белый алюминий, три метра в высоту и девять в длину, барельеф на внешней стене Дворца профсоюзов в Гаване — вот над чем работает сегодня Морет. Борьба трудящихся за свои права, освобожденный, раскованный после тысячелетнего подневолья труд — сама тема пронизана свободой. Она отвоевана у веков страданиями народа, за нее пала смертью храбрых революционерка Фе дель Валье, чей памятник делает Морет. Морет — член правления Союза писателей и деятелей культуры Кубы, преподаватель в Высшей школе изобразительного искусства. Он предъявляет к себе очень высокие требования, понимая и постоянно чувствуя, в какую великую эпоху вошла его отчизна, каким широким путем идет рядом с ним весь народ.

— Мы сейчас готовим наш инструмент, чтобы сделать нечто значительное, что отвечало бы спутнику на широтах искусства,— так образно говорит о художественном творчестве своих собратьев по резцу старый боец революции Энрике Морет.

С болью рассказывает он о художниках, которые, живя в капиталистической Кубе, стали абстракционистами. Понравиться тогдашним знатокам можно было уж конечно не правдивым отображением действительности, которая была полна социальных противоречий и несправедливости. Наоборот, нравилось то, что уводило зрителя из реального мира с назревавшей в нем революцией, лишало народ веры в близость ее победы, внушало людям неверие в собственные силы, убеждало, что не человек-эксплуататор, капиталист, подавляет труженика, а громадная могучая техника делает его беспомощным. Когда-то, в прошлом веке, рабочие, не умея объяснить социальные причины бесправия и гнета, ломали машины, станки, точно горе и зло шло от самой техники, а не от тех, кто поставил ее себе на службу.

У буржуазии есть щедро оплачиваемые слуги из числа философов и эстетов, которые не прочь подкинуть мятущейся интеллигенции любой буржуазной страны идейки, выгодные миллионерам. «Зачем знать, о чем мечтает народ, когда он вечно будет бесправен, а значит, необразован и нищ, он не сможет увидеть на выставках ваши картины: с его неразвитым художественным вкусом ему не понять эти произведения искусства, а тем более не купить». Ясно, что художнику полезнее, дескать, знать вкусы миллионеров. Зачем требовать от скульптора схожести его творений с людьми, когда, по мнению «просвещенного» миллионера, люди сами должны перестать быть похожими на то человеческое, что до сих пор отличало их от зверей и дикарей. Ведь в буржуазном обществе доказывают, что наука и техника научит думать машины и человеку вообще не обязательно думать, мыслить, что-то познавать. «Живи как живется, будь всем доволен, ничего нельзя изменить в страшный век техники, когда изменяться и совершенствоваться может лишь она сама с помощью немногих, кому дано делать научные открытия, изобретать технику, еще более подавляющую человека, и кто настолько богат, что может купить буржуазную науку, технику, культуру».

«Перестаньте показывать осмысленное человеческое лицо, умный ищущий взгляд, сильные, все умеющие руки, те самые, которые претворяют в жизнь замыслы ученых, которые удержали тех, кто готов был повторить Хиросиму»,— говорили горе-теоретики.

Но пока абстракционисты изображали на полотнах свое «новое видение» мира, реальный мир спрашивал улыбающегося Гагарина, как он работал, спал и питался в первом космическом корабле, какое у него было настроение во время неслыханного эксперимента.

Одно из чудес революции

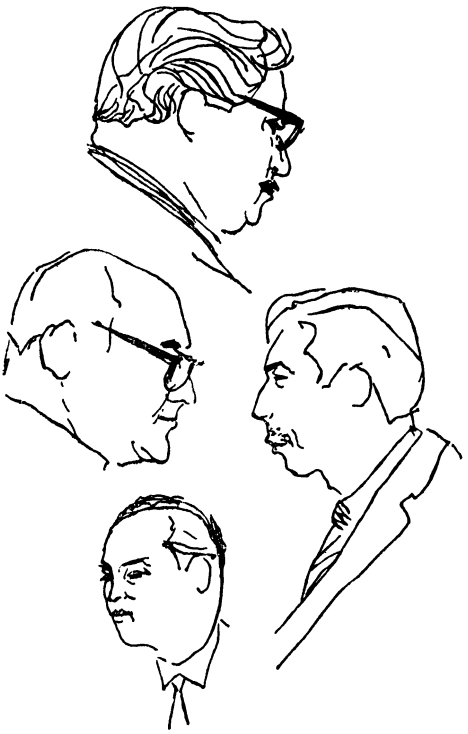
— Наша революция и побывавшие у нас на Кубе советские космонавты помогли очнуться многим художникам, увлеченным абстракционизмом,— продолжает рассказывать Морет.— Они начали постигать марксистско-ленинские идеи, освобождаться из-под влияния буржуазной идеологии. Они стали переосмысливать свои позиции в обществе и в искусстве. Им захотелось показывать нового человека и победы самого передового социалистического общества. Писать картины и делать скульптуры в реалистическом направлении, чтобы отобразить подлинное величие духа свободных личностей, строящих коммунизм. Идеи равенства, братства, счастья помогли художникам напоить искусство животворными соками.

Я бы назвал этот этап переходным к реалистическому фигуративному изображению действительности. И это — крупнейшее событие в художественной жизни всей нашей страны. Я считаю действительно выдающимся явлением тот факт, что наши художники-абстракционисты в дни защиты республики перешли на позиции реалистического искусства. Это одно из чудес революции в нашей стране,— с гордостью констатирует Энрике Морет.

Его мысль о том, как честные талантливые художники, испытавшие влияние всевозможных течений и тенденций формалистического искусства, порывают с ним, продолжает крупный венгерский художник-монументалист **Эндре Домановски.**

— Не имея твердого и ясного идейного направления,— говорит он,— **не научившись марксистски анализировать и оценивать важнейшие явления общественной жизни, некоторые венгерские художники занимались бесплодным экспериментаторством. Вместо того чтобы разобраться, с какой целью вдохновители и покровители буржуазного изобразительного искусства стараются перетянуть на свою сторону идейно неустойчивых живописцев и скульпторов, они едва не стали послушным орудием в руках врагов. Кое-кто пытался убедить венгерскую художественную интеллигенцию, будто мировая история — хаос случайных событий, общество — скопление индивидов, разобщенных между собой, и каждый в нем должен интересоваться только тем, что представляет собой он сам. «Интересуйся лишь собственным «я» и описывай не то, что видишь и чувствуешь, общаясь с народом, участвуя в жизни общества, а что ты можешь выдумать, заглядывая внутрь себя, прислушиваясь к нюансам своих природных инстинктов, стихийно возникающих в тебе настроений. Воспой самого себя, потому что ты устроен тоньше других и сложнее, и открой людям «новый мир» эмоций и символов», — твердили художникам.**

Вьетнамский художник Чан Ван Кан сделал эти беглые зарисовки своих коллег во время встречи в редакции.



Теорий, которыми, как паутиной, опутывают людей искусства буржуазные идеологи, не перечесть. И все они проповедуют отрешение от действительности, чтобы в мире, где процветают жизнерадостный гуманизм, дружба и сплоченность больших коллективов, в новом обществе, народном, демократическом, социалистическом, хоть кто-нибудь ощущал себя одиноким, замкнутым, оторванным от хода жизни.

— Чего от нас хотят и ждут западные модернисты и их шефы, хозяева капитала, многие венгерские мастера искусства поняли во время разгрома контрреволюционного мятежа, особенно после победы народных, демократических сил, не позволивших повернуть Венгрию на буржуазный путь. Вот когда у нас искусство стало коренным образом перестраиваться и углубляться в самом серьезном смысле слова. Можно сказать, что с 1957 года стали высвобождаться скованные творческие силы художников и в нашем искусстве возобладали тенденции реалистического отображения жизни страны художественными средствами.

Эндре Домановски поясняет со-

Венгерских и чешских художников зарисовал в ходе беседы за «круглым столом» кубинец Кармело Гонсалес.

бравшимся, каким путем венгерское изобразительное искусство шло к реализму. Начав приобретать национальный характер только на рубеже двух последних столетий, оно тогда же творчески переосмыслило импрессионизм и последующие течения. В период между двумя империалистическими войнами в страну проникли различные «измы», в том числе и абстракционизм. Но они не смогли уже столкнуть искусство с национального пути развития, в основном реалистического. На нынешнем этапе кое у кого встречаются иногда опыты модернистского свойства, однако это происходит на фоне развития искусства, социалистического по существу и построенного на реалистическом принципе.

— В последние годы заметный акцент в творчестве венгерских художников делается на монументальные формы. От самокопания и любования собственной персоной многие из них отошли, обратившись к изучению жизни народа, его истории, сегодняшнего дня, заполненного кипучей созидательной энергией масс. Полюбив своих современников, простых и в то же время сложных, интересных по характерам, умению ставить перед собой необыкновенные цели и претворять в жизнь труднейшие планы, художники-монументалисты создают их сильные образы. Они отображают величие их дел, уверенную поступь, показывают, чего они достигли, что им предстоит совершить.

Речь идет о таких монументальных формах, — продолжает Домановски, — **которые связаны с архитектурой. Если коснуться наших специфических проблем в искусстве, то надо сказать, что содружество художников с архитекторами сегодня у нас один из главных вопросов. Это содружество существует как органическая действенная связь между архитектурой и изобразительным искусством, как сочетание, согласованность стилей в строительстве и искусстве, призванном его обогащать, дополнять, а не просто украшать. Наша архитектура привлекает изобразительное искусство как элемент строительства. Речь идет также об использовании прикладного искусства и его декоративных форм.**

Строители и архитекторы очень осторожно позволяют художникам привносить что-то в собственный замысел, не всегда доверяют им, опасаясь, как бы архитектурное решение не оказалось испорченным после совместной работы с художником. Поэтому мы сейчас добиваемся органической координации усилий тех и других, чтобы никому из них не приходилось только приспосабливаться, а оба вида искусства разумно соединялись и сотрудничали бы с пользой для всех. Мы рады, что этот вопрос обсуждался и в Москве на съезде художников, значит, эта проблема поставлена и будет осуществляться и советскими архитекторами и художниками. Знакомить друг друга с положением в искусстве стало хорошей тра-

дицией всех стран социалистического лагеря. Учась и передавая свой опыт, сообща обдумывая, как лучше решить какую-либо проблему, мы помогаем создавать социалистическую культуру в наших странах.

С чувством искренней озабоченности Домановски останавливается и на вопросе эстетического воспитания народа.

Если раньше некоторые венгерские художники говорили о том, что масса не доросла до понимания искусства, и считали, будто воспитывать художественный вкус у трудящихся — непосильная и неблагодарная задача, потому что «рядовой зритель все равно не поймет», то теперь вопрос ставится иначе. Мастера искусств все чаще обращаются к народной тематике. Они стремятся, чтобы восприятие большинства посетителей выставок становилось все глубже.

Не только искать наиболее доходчивую для народа форму выражения, но средствами искусства поднимать сам народ до понимания сложных явлений художественной жизни современности. Теперь много занимаются художественным образованием и просвещением масс, и народ гораздо больше ощущает необходимость и облагораживающую силу искусства.

Однако есть еще произведения современных художников, даже из числа тех, кто называют себя реалистами, которые трудно «прочесть правильно» не потому, что зрители недостаточно подготовлены, а из-за надуманности, оторванности этих произведений от живой и многогранной жизни народа.

Жители венгерской столицы без труда поняли и оценили фрески на здании венгерского парламента, и автор этих фресок Домановски был отмечен премией за свою интересную работу. Монументальное произведение, по замыслу того же художника, украсившее вокзал в Дебрецене, хотя и несколько условное по форме, тоже принято хорошо. А перед монументалистами сейчас стоят особо ответственные задачи — изображать так, чтобы любой человек ощущал воздействие произведения, понимал его, ибо с такими работами зрители сталкиваются повседневно, а не один раз на выставке.

— Как и в других странах социализма, — продолжает венгерский художник, **— у нас общий уровень культуры народа значительно вырос, люди разбираются в популярных технических терминах, даже в очень сложных вопросах строительства, техники, машиностроения, а вот что касается эстетических вкусов, то тут грамотность еще невысока. Мы умеем воспитывать людей, учить их знаниям в разных областях науки и техники, надо так же воспитать их эмоциональное восприятие, не пускать это на самотек: мол, вырастут вкусы, как в лесу грибы.**

Каков вывод? — спрашивает Домановски. И отвечает: — **Само искусство должно воспитывать вкус народа.**

Искусство тогда сможет выполнить свое общественное назначение, когда сумеет развить массы до понимания высоких произведений художественного творчества.

С этим согласна и **Леа Грундиг,** член президиума Союза немецких художников, профессор графики, член Академии художеств ГДР.

Она горячо говорит о том, что искусство не может отставать от жизни народа, должно быть везде с ним и учиться у него.

Биттерфельд и после него

— Когда нужно художникам найти контакт с народом, у нас это называется встать на путь Биттерфельда, то есть той конференции, которая состоялась в этом городе в 1959 году по инициативе ЦК Социалистической единой партии Германии, министерства культуры и Союза художников. Эта конференция создала новые возможности для самого близкого знакомства работников изобразительного искусства с немецким рабочим классом. Сначала мы примитивно относились к этому процессу сближения, а теперь он вылился в полное взаимопонимание между нами.

Еще встречается точка зрения, что искусство не обязано равняться на основную массу народа, которая определяет дальнейший путь развития всей страны, в том числе и интеллигенции. Ведь если рабочий класс не сумеет отстоять свои завоевания и остаться у власти, то и художникам придется жить не в демократическом обществе, а как мы жили до его победы. Забывая об этом главном условии — повседневно помогать родному народу строить новую жизнь,— те, кто находят, что искусство надо равнять только на избранных знатоков, пренебрегают гражданским долгом работника искусства, его общественной обязанностью служить массам. Неверная оценка роли художника в демократическом, социалистическом обществе дезориентирует еще некоторых живописцев и скульпторов, мешает им быть в гуще тех, кто живет, идя биттерфельдским путем. Надо пользоваться единственно правильным компасом — понять ведущую роль рабочего класса в новом обществе, осознать его идеологию как идеологию свободного, победившего, руководящего класса, который направляет также развитие искусства,

новой социалистической культуры. А иные топчущиеся на обочине нашей жизни и искусства интеллигенты иногда ступают на извилистую затененную тропинку бесплодных поисков какого-то «новейшего искусства», которое никто из них ни увидеть, ни показать другим не в состоянии. Это «новейшее творчество» оказывается дальше всего от идеи искусства в высоком смысле, как его всегда понимали лучшие художники мира.

Мы хотим быть достойными нашего рабочего класса, который столько перенес и вышел победителем из борьбы с фашизмом. Он помогает нам чувствовать себя тружениками социалистического склада, а мы, познавая своих передовых современников, стараемся изобразить их так, чтобы весь рабочий класс шел за ними, равнялся на лучших своих представителей. Так мы тоже ведем его за передовым социалистическим искусством к новым трудовым успехам. Это процесс взаимовлияния. он обогащает и художников и народ.

Многие из рабочих научились уверенно держать в руках кисть и резец, создали самобытные картины и скульптуры. Немецкие зрители посещают теперь не только художественные выставки (вроде той, что открылась осенью 1962 года в Дрездене и пользуется такой популярностью, что ее продлили и на следующий год), но и видят произведения рабочих-художников на специально организуемых фестивалях.

Пришли художники-профессионалы и в деревни, где некоторые из них даже стали, как и их товарищи по искусству, пришедшие в заводские цеха, членами производственных или сельскохозяйственных бригад. Они не боятся натереть мозоли. Лишь бы ощутить, что такое труд, который они изображают, что чувствует простой человек, умело управляющий машиной или механизмом, обрабатывающий деталь из теплого металла или парную распаханную землю, в которую он кладет семена будущего урожая. Труженикам не надо позировать перед художниками: они рядом в разгар работы. Вот почему как живой рабочий Мартин Фишер, за портрет которого Леа Грундиг получила премию Объединения немецких профсоюзов. Художница не просила его смотреть перед собой, как просит фотограф, не копировала это худощавое, сосредоточенное лицо с опущенными глазами, вглядывающимися, видимо, в расплавленную сталь. Ее отсвет — в поднятых на секунду на лоб защитных очках, ее жар — на щеках сталевара и на его спецовке. А где-то в уголках глаз — мысли человека, привыкшего часто задумываться, неторопливо говорить, иметь собственное мнение по самым разным вопросам. Да, тот, кто его хорошо знает, скажет, что именно таков тип нового рабочего человека, с которым немцы познакомились на Пятой дрезденской выставке по работам Евы Шульце Кнабе «Эльза Хеншке, ткачиха и член Народного Совета», Г. Гейера «Строитель» и другим. Эту выставку посетило 183 тысячи человек, а люди все шли и шли в гости к художникам и рабочим. Стало ли больше за последние годы людей, любящих изобразительное искусство? Да. В 1958 году на подобной выставке побывало 120 тысяч человек. Люди приходят, потому что знают: сами рабочие обсуждали произведения, которые выставлены, решали, нужно ли такое искусство народу, понятно ли оно ему, зовет ли к новым трудовым подвигам, учит ли любить и понимать человека, верить в его неисчерпаемые творческие возможности.

Это не значит, что рисуют в ГДР только производственников. У Леа Грундиг много графики из китайского цикла, у М. Циммермана — серия рисунков, посвященных Кубе, Карл Эрих Мюллер создал полотно «Румынский крестьянин», профессор Пауль Михаэлис показал картину «Счастливая жизнь», а Харальд Хакенбек — триптих «Детям Алжира». Художники много ездят, знакомятся с жизнью других народов, их интернациональные связи очень широки. И свои впечатления они приносят родному народу.

— Пятая дрезденская выставка дает право сказать, что социалистический реализм завоевал у нас прочные позиции,— продолжает Леа Грундиг.— **Выставка показала, что культурная политика нашей партии правильна. И хотя слабых произведений у нас пока больше, чем выдающихся, но как раз их ошибки и научили нас, показали, что художник должен стремиться к марксистскому познанию жизни, иначе он не сможет стать на уровень великих задач. Мы очень большое значение придаем развитию индивидуальности художника, стремимся к тому, чтобы, исходя из правильных идейных позиций, он оставался интересной и своеобразной индивидуальностью, преломлял в своем сознании события и, верно отражая их, окрашивал индивидуальными чертами. Свобода творчества художника может проявиться, только если он служит народу и его интересам, понимает и принимает принципы социалистического реализма, тот образ жизни, который существует в стране. Великие произведения не могут создаваться в отрыве от народа, а лишь в единении с ним. Если искусство перестает быть понятным народу, оно теряет свою жизненную силу. Эту истину художники ГДР хорошо понимают.**

Выставки в лесу

Вопрос о месте художника в жизни общества, который обсуждали в редакции художники социалистических стран, заставил каждого из них о многом вспомнить.

— Я считаю, что место художника в жизни — это его участие в народной борьбе, а наш народ выполняет две основные задачи: строит социализм там, где

победили интересы трудящихся, и борется за объединение всей страны,— говорит вьетнамский художник **Чан Ван Кан.**

Ему вспоминается живописец-учитель То Нгок Ван. До Августовской революции он был сторонником «искусства для искусства». Увлекаясь игрой цвета и света, То Нгок Ван рисовал красавиц из мелкобуржуазной среды, редко интересуясь трудящимся человеком. Но когда началась борьба с иноземными захватчиками, художник вместе со своими учениками выбрал трудный путь борьбы с врагом. Он стал жить у крестьян, солдат Народной армии и не только понял, но и всем сердцем полюбил свой страдающий и сражающийся за свободу народ. Он преодолел собственные заблуждения и ошибки, в нем взял верх настоящий художник и гражданин. Все чаще создавал он образы крестьян-солдат, реалистические, способные многое заставить перечувствовать, возненавидеть, победить. Он задумал написать большие полотна из жизни народа тех лет, пошел на фронт собирать правдивый материал, и враги убили его.

— Наши художники отражают в произведениях все жизненные проблемы, волнующие народ, черпают свои замыслы в его жизни. Народ определяет четкость их идейных позиций,— объясняет Чан Ван Кан.— **Молодое искусство народно-демократического Вьетнама следует национальным традициям, но одновременно показывает и все новое, что завоевал и создает трудящийся человек, ищет своеобразные формы изображения.**

Десятки художников-патриотов посвятили свою жизнь и творчество народу. В лесу среди партизан можно было встретить графиков, гравирующих деревянные дощечки, которые напоминают популярные в народе «чань-тэт» — гравюры, раскрашенные от руки по черному контуру. Стоя на бамбуковых лестницах, они рисовали на глиняных или кирпичных стенках, обмазанных крашеной известью, огромные яркие агитплакаты. Художники шли из селенья в селенье бок о бок с народными воинами, и на листках бумаги рисовали то старую мать в гостях у солдат на привале, то маленькую вьетнамскую девочку, спешащую в джунгли на занятия с учителем.

Сотни километров прошли пешком художники, чтобы показать на первых выставках прямо в лесу свои работы, которые они прятали от врага в бамбуковых трубках.

С победой Августовской революции вьетнамское искусство получило новое, светлое направление. Художникам не приходилось больше искать свой путь. Они знали, что победил рабочий класс, верили его идеям, приняли его идеалы. Художник и люди, раньше не посещавшие выставок, стали интересоваться не вычурной формой, а содержанием произведений. Что такое прекрасное! Являются ли массы судьей художественному творчеству! Стоит ли рисовать пейзажи, что такое типичный образ труженика! Примет ли революция художника из мелкобуржуазной среды!.. Вопросам не было числа.

В горах и после гибели То Нгок Вана продолжало работать созданное им Художественное училище, в котором студенты сами приготовляли уголь, краски, кисти. Молодые преподаватели старались соединять теоретическое профессиональное обучение с общеполитическим. Так росло и формировалось новое искусство победившего народа. Картина Нгуен Ханга «Мир и дружба», акварель То Нгок Вана «Буйвол, доставшийся после раздела имущества помещика» — эти произведения посетители московской Выставки художников стран народной демократии видели несколько лет назад. Им понравилось реалистическое искусство Вьетнама.

Фронт, у которого нет границ

— Наше искусство борется против проникновения буржуазной идеологии, и наши художники считают, что эта борьба с буржуазным влиянием — фронт, у которого нет границ,— говорит Чан Ван Кан.

А вот что думает об этом **Исмет Муизинович,** заместитель председателя Союза художников Югославии, график, монументалист:

— Девяносто процентов югославских художников в тяжелые дни войны и после победы были вместе с партией и революцией. Многие погибли во время оккупации, находясь в рядах передовых борцов. После победы, несмотря на послевоенные трудности, наше новое социалистическое общество выделило нужные средства, открыв в стране три академии искусств, десять школ прикладного искусства и много других художественных учреждений. Однако никакой направляющей линии в сфере искусства не было. Предполагалось, что в борьбе мнений и направлений истинное искусство проложит себе дорогу и поможет массам построить социализм, само поднявшись в этой борьбе на большую высоту.

Я должен, однако, признать, что эта политика не оправдала себя... У нас были художники, которые эту свободу творчества использовали в таком плане, какой идет вразрез с принципами социалистического искусства, и поэтому наша

партия неоднократно обсуждала и решительно критиковала произведения искусства, не отвечающие социалистическим народным интересам.

На примере собственного творческого пути Исмет Муизинович показывает, как художники создавали искусство, близкое народу, преодолевали ошибки, овладевали социалистическим реализмом.

— Должен вам сознаться, что в ранней молодости я тоже увлекался кубизмом, абстракционизмом. Но объехав много стран, многое повидав и порой чем-то из этих «измов» увлекаясь, я понял, что ни одна подобная теория не захватила мою душу. По велению собственной совести, еще до того как я подробно познакомился с творчеством художников социалистического реализма, я принял его принципы. Множество теориек существует и поныне, они носят порой весьма дешевый характер, отвлекают внимание художников и мешают им работать дружно.

Муизинович призывает художников всех стран социалистического лагеря добиться такой атмосферы, чтобы в художественной среде все помогали друг другу создавать искусство для народа.

— Художник, как сын своего народа, должен быть чувствительной мембраной, способной улавливать передовое, положительное в жизни общества, воспевать труд народа, его надежды на победы не только сегодняшние, но и будущие.

Он говорит, а перед глазами слушателей встает могучая фигура сеятеля, размашисто шагающего с горстью, полной крупных зерен. Эта гравюра на дереве тоже была на московской выставке. Ее автор — югославский художник Т. Краль. Хочется верить, что сбудется то, о чем мечтает художник, и из семян взойдут молодые, свежие ростки еще невиданного урожая. А поле социалистической культуры очистится от сорняков, пока еще засоряющих его.

— Так и произойдет, если все мы научимся учитывать закономерности развития общества при социализме и, опираясь на научные основы, станем формировать свое творчество по тем же законам, по которым развивается наше общество,— добавляет словацкий художник **Ф. Гайдаш.**

Его просят рассказать об изобразительном искусстве Чехословакии, и он охотно знакомит присутствующих с системой конкурсов, которые уже четыре года проводятся у него на родине. Их тема — Коммунистическая партия Чехословакии в борьбе за коммунизм. Каждый год подводятся итоги конкурсов, устраиваются выставки, оцениваются работы художников. В них участвует и младшее поколение. Недавно молодой скульптор Ковецкий показал интересную скульптурную группу «Февраль» о победе рабочих в феврале 1948 года. Скульптура сделана монументально, но просто, в духе реализма и производит сильное впечатление.

Не только тема, но и решение

— Мы убеждены, что искусство не представляет собой самоцели, что его можно оценивать только в непосредственном и творческом отношении к действительности, с точки зрения общественного воздействия, участия в повседневной жизни народных масс,— сказал чешский художник **Милослав Йиранек.**

Углублять связь с жизнью народа не только в монументальном искусстве, живописи, графике и скульптуре, но и в искусстве боевого плаката и книжной иллюстрации, а также во всех видах прикладного искусства и промышленной эстетики — одна из первоочередных задач чехословацких художников, работающих в разных жанрах.

— А у нас в Румынии почти каждые два дня открываются выставки работ художников,— говорит румынский искусствовед **М. Попеску.— За последний год выставки и музеи посетило миллион человек, а в довоенные годы с изобразительным искусством в нашей стране знакомилось не более тридцати-сорока тысяч человек.**

Он объясняет возросший интерес художников социалистических стран к монументальному искусству именно тем, что этот жанр более непосредственно соприкасается с народом, а работники культурного фронта все сильнее нуждаются в этом творческом общении.

— Ответственность наша велика не только перед народом нашей страны, но и перед всем реалистическим искусством, которое мы отстаиваем. Наш долг — помочь честным художникам всего мира развивать реалистические традиции вопреки пророчествам буржуазных идеологов, которые объявили их устаревшими и отжившими. Это наш интернациональный долг перед искусством и культурой,— заключает **Попеску.**

В беседу вступает болгарский художник **А. Стойков.**

— Тема современности, отношение к ней художника, какое место она занимает в его творчестве — таково содержание Всеболгарской выставки, обсуждение

которой продолжалось три дня. Спор принимал порой очень острый характер, потому что некоторые болгарские молодые художники отошли от жизни, увлеклись формалистическим трюкачеством, другие, решив показать «суровую правду», исказили в своих картинах подлинную действительность.

Все же наши художники пришли к верному выводу: основа социалистического реализма не только в теме, которая может быть выбрана правильно, но и в ее решении, в отношении художника к жизни общества, в его умении давать марксистскую оценку событиям и жизни народа.

На выставке было мало пейзажей, но попытавшись показать стройки и индустриальные гиганты, некоторые художники сделали это настолько бесстрастно и безжизненно, что их работы никак нельзя назвать произведениями социалистического реализма.

Этот метод безусловно предполагает поиски художником новых форм для выражения верно найденной темы, позволяет и даже требует, чтобы художник как можно богаче, разнообразней, всесторонне отобразил жизнь, окрасив ее своим эмоциональным индивидуальным восприятием. Осмыслить и четко выразить свое отношение к действительности, не оставаясь при этом равнодушным наблюдателем или фотографом-ремесленником, раскрасившим обыкновенную фотокопию жизненного факта,— вот в чем задача,— убежденно требует Стойков.

Сумел же найти средства Владимир Димитров Майстора, чтобы не просто показать на своей картине юную болгарку, но и передать обобщенный образ вечно молодой природы. А «Веселый год» Стояна Вечева, картина, написанная маслом и немного в первый момент напоминающая хохочущих репинских «Запорожцев», В этих полотнах так и брызжет живая сила народности.

■

Несколько часов длился этот живой творческий разговор на одну из главных тем, прозвучавших на съезде советских художников,— разговор о месте деятелей искусства в жизни общества. Разумеется, каждый из зарубежных гостей подошел к этой теме по-своему, но все вместе они создали интересную картину тех важных и волнующих событий в сфере искусства, которыми живет сегодня общественность социалистических стран.

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Аттила Йожеф. Стихи. Перевод с венгерского. Составление и краткая летопись жизни и творчества Аттилы Йожефа М. Саболчи. Вступительная статья Д. Самойлова. Издание осуществляется под общей редакцией А. Кун, Л. Мартыновой, А. Суркова. Москва, Гослитиздат, 1962. 406 стр.

ВНУК ДЁРДЯ ДОЖИ

Можно оспаривать родство между Дёрдем Дожей, трагически погибшим вождем славного крестьянского восстания XVI века, и современным, весьма утонченным поэтом Аттилой Йожефом (1905—1937). Можно утверждать, что строй его поэзии скорее городского происхождения, что трансформаторные сети, сосущие «грудь турбин», и подобные этому образы резко отделяют венгерского поэта от его далекого предка, что Аттила Йожеф вообще труден для простого читателя.

Расстояние часто скрадывает истинные размеры предметов. Мы любуемся сложенными в старину песнями, как маячащими на горизонте горами, и уже не всегда живо ощущаем грандиозность многих из них, смелость фантазии их автора.

.если б можно было
Всю морскую воду превратить в чернила,
Если б все травинки перьями бы стали,
Если бы все звезды писарями стали,—
И тогда бы даже было невозможно
Описать любовь мою к подмастерью
мельника!

Кто из утонченнейших поэтов отказался бы от этих строк безымянного сочинителя венгерской песни?! Кто может поручиться, что с уст Дожи не слетали такие же вещие притчи, как та, что рассказывает Пугачев Гриневу в «Капитанской дочке»?

Аттила Йожеф — внук Дёрдя Дожи не только потому, что старая венгерская деревня много раз является перед нами в его стихах: то в сумерках своего печального быта, то тяжело обдумывающая учиненную над ней несправедливость. Вот в полутьме сарая сидят крестьяне, и, как их цигарки, тлеют мысли, что все вокруг барское — и поле, и лес, и караси в пруду.

Нескорая это дума, но случается, что жестокая засуха или иная беда превышает меру терпения, приводит на память скорбную долю отцов и дедов, и туча народного гнева явственно встает над господскими усадьбами. Почти у каждого народа есть сказания о славном герое прошлых времен, до поры до времени спящем в пещере, пока он не пробудится для спасения родины. Богатырь этот — воплощение собственных, непробужденных, но смутно ощущаемых народом сил.

Аттила Йожеф страстно ждал этой грозы и силой своего воображения рисовал ее приход:

Кругом лежат исхлестанные земли,
и шарит тишина, их стону внемля.
И тихо богу плачутся они.
На них лишь пожелтелые стерни.
Погибли все колосья в урагане,
и гневно в поле сходятся крестьяне.
Встав из могил, они в кромешной мгле
грозой и громом ходят по земле,
нагромождают тучами в просторах
одежды рваной почерневший ворох.

(«К Луце». Перевод В. Левика)

Фантастическая, могучая и грозная живопись! В стихийных взрывах природы

Аттиле Йожефу снова и снова чудится отсвет чаемого бунтарства.

Блеснула высь перед грозой,
товарищи, стальной косой!
(«Лето». Перевод Л. Мартынова)

Увидеть в небе вместо молнии косу — бедное, но вместе с тем грозное оружие крестьянских восстаний — можно только глазами внука Дёрдя Дожи.

Дожа погиб страшной смертью, сожженный мстительными врагами на раскаленном троне. Но не только его пепел стучит в сердце поэта, а все жизни, прожитые в тяжком труде и — горько подумать — в безответной покорности. Маленькая женщина, чье «тело, изломанное капиталом», на глазах сына «становится все тоньше, тоньше», вырастает у Йожефа в образ вечной труженицы. Ее претензии к жизни до слез скромны:

...все ей снилось:
на ней красивый чистый фартук,
и почтальон, встречаясь с нею,
раскланивается учтиво.
(«Мать». Перевод Н. Чуковского)

Великого в ее жизни только и было что уйма поденной работы, как и у всех прачек: «Им вместо гор — белья корзины, им вместо туч — пар над корытом.» Но память об этой загубленной жизни, а вернее жизнях, не должна исчезнуть. Она примешивается ко всему, что видит поэт:

...я вижу, как она огромна:
ее волос на небе пряди
и синьки цвет в небесной глади.
(«Мама». Перевод Д. Самойлова)

Как мускулы, как руки трудовые,
вздымались волны. Точно мать моя,
река меня качала. И такие,
как мать моя за стиркою белья,
рассказывала сказки мне она,—
весь этот город обстирать должна.
(«У Дуная». Перевод Л. Мартынова)

Конечно, внук далеко ушел от деда. В нем нет того темного ужаса перед городом и машиной, которым отличались дети Дожи. Да, ему ненавистен «семейный склеп» завода, где похоронены уже целые поколения покорных тружеников, но сама машина — «для нас она — домашний зверь», который «льнет к тому, кто приносил ей пить и есть» (и в самом складе этого сравнения мы снова чувствуем крестьянское происхождение музы Йожефа!). Но он мог бы сказать о себе словами Маяковского, что слово «пролетариат» для него — «могучая музыка».

Стих мой, будь отважен,
стой за дело класса,
с ним взлетишь ты ввысь!
(«Социалисты». Перевод Н. Чуковского)

И действительно, политическая проблематика часто вдохновляла Йожефа на стихи, полные неподдельной страсти, напоминающие своеобразные поэтические прокламации Шандора Петёфи:

Звенит пшеница! Звон пшеницы
в звон золота переродится,
чтоб к нам лишь эхом доноситься.
Шумит пшеница.

Нужда растет, с хлебами споря,
фашизм несет нужду и горе,
он хочет тишины добиться.
Шумит пшеница.
— Где я расту, там вольный табор!
Кто храбр—тот к нам! Поможем слабым!
В моих колосьях штык таится,—
шумит пшеница.
(«Пшеница». Перевод Л. Мартынова)

В 30-е годы в Венгрии все более сгущалась атмосфера реакции. Грустно, что надорванный тяжелой жизнью поэт не вынес зрелища надвигающейся опасности.

Иль новые, каких еще не знали,
идеи волчьи мир поработят?
И в нас проникнет новый страшный яд? —
(«Приветствие Томасу Манну»
Перевод В. Левика)

— с ужасом спрашивал поэт. Дочитывая книгу, с болью видишь, как темнело в его поэтическом мире. Его никогда нельзя было назвать безоблачным, но все-таки за облаками часто ощущалось солнце веры в будущее («Времена туманны, но кой-где вершины уж торчат из тьмы»). Теперь оно ощущается все меньше. Стоит сравнить некоторые ранние стихи Йожефа с теми, которыми завершал он свой творческий путь, чтобы почувствовать невероятную тяжесть, толкнувшую его в конце концов на железнодорожные рельсы (в 1937 году поэт покончил с собой):

К тому, чья комната распахнута,
как с улицы в отцовский дом,
вбегает мир, ребенок сущий,
которому разрешено
в обновке за мячом гоняться.
(«Твердь многоярусная, ясная.», 1924 г
Перевод Л. Мартынова)

...как бродяги под мостами,
под хмурым небом прозябаю.
(«Расчет», 1934 г. Перевод Л. Мартынова)

Даже образ «домашнего зверя» — машины чудовищно трансформировался:

Бродят машины по душам, как будто
по беднякам насекомых стада.
(«Древняя крыса разносит заразу», 1937 г
Перевод В. Корчагина)

И все-таки в самый год смерти, в миг просветления вырвалась у Йожефа страстная мечта-убеждение, что его сложная поэзия вхожа в самые разные души:

И помнит обо мне на поле
крестьянин, опершись о плуг.
И чувствует меня рабочий
всем телом, что напряжено;
и ждет парнишка, озабочен,
возле вечернего кино.
(«Ars poetica». *Перевод Д. Самойлова*)

Ныне и наши читатели получили первый на русском языке сборник стихов Аттилы Йожефа, снабженный отличным предисловием Д. Самойлова и драматической летописью жизни и творчества поэта, составленной венгерским критиком М. Саболчи.

Я глубоко убежден, что многие и многие из нас, вчитываясь в эти своеобразные, красочные, а порой и причудливые стихи, будут благодарны за то, что и им достался этот, говоря словами самого поэта, «глоток земного мира с небесной пеной облаков».

А. ТУРКОВ

Такажи Шивасанкара Пиллэ. Креветки. Перевод с малаялам Чандра Секхара и А. Сиповича. Две меры риса. Перевод с малаялам Чандра Секхара и М. Салганик. Москва, «Роман-газета», № 9, 1962.

РЫБАКИ И КРЕСТЬЯНЕ МАЛАБАРА

Родина писателя Такажи Шивасанкара Пиллэ — Керала, штат на Малабарском побережье Индии, славится не только своей удивительной красотой. Керала очень богата. Недаром еще в далекие времена ее берега пленяли воображение предприимчивых финикийских купцов-мореходов. На благодатной земле Кералы с давних пор выводятся ценнейшие культуры: кардамон, имбирь, анаркадиевый орех. Здесь — житница риса; здесь — огромные рыбные богатства (четверть улова рыбы во всей Индии принадлежит Керале). Но Керала в то же время и бедна. Колонизаторы. выдворенные из Индии в 1947 году, оставили в наследство народу Кералы — малаяли много трудных проблем, в том числе нищету, голод и отсталость.

В Кералу первых лет после освобождения от английского владычества переносят нас романы Такажи Шивасанкара Пиллэ «Креветки» и «Две меры риса».

Т. Ш. Пиллэ, которому в апреле 1964 года исполнится пятьдесят лет, родился в бедной крестьянской семье. «Мое детство,— рассказывает Т. Ш. Пиллэ,— прошло среди рыбаков. Завершив образование и став адвокатом, я вновь возвратился в родные места Люди, с которыми мне приходилось иметь дело,— жители побережья».

Со страниц романа «Креветки» смотрит на нас необычный и не во всем понятный нам мир. Перед нами — индусская рыбачья община, живущая по законам, которые не менялись в течение многих веков. Во главе ее — «арейен», старейшина; он — администратор, жрец и судья. К арейену нельзя прийти «по делу» без денег или подарков. Члены общины — рыбаки могут рассчитывать только на себя: если рыба не ловится или на море буря, они голодают. Гордость этих мест — креветки, от них здесь иногда ломятся склады. Но когда креветок изобилие, они ничего не стоят— рыбаки снова бедствуют. Орудия труда примитивны, и люди зачастую беспомощны перед злыми капризами природы. Может быть, поэтому жители рыбачьего поселка так суеверны: они верят в некий фантастический образ — богиню моря, которая якобы следит за ними и жестоко карает каждое «прегрешение».

Рядом с рыбаками-индусами живут мусульмане, в основном мелкие торговцы и ремесленники. Между теми и другими постоянные деловые отношения. И все же с рождения их разделяет стена нелепых религиозных предрассудков. Об эту стену разбиваются лучшие человеческие чувства — любовь и самопожертвование. Индусская девушка Карутамма и юноша мусульманин Перикутти любят друг друга. Но для отца девушки Перикутти всего лишь «нечестивец». Карутамму выдают замуж в другое селение. Она глубоко несчастна. Перекутти остается один, его жизнь тоже разбита. Вслед за Карутаммой черными змеями ползут слухи о ее «преступной любви» к иноверцу. Слухи эти смертельно жалят Чакки— мать Карутаммы, и губят рыбака Палани, брак которого с Карутаммой устроил ее расчетливый и жадный отец.

Жестокие предрассудки веками убивали и калечили души. Люди смирялись в бессилии и отчаянии. Карутамма и Перикутти не смирились. Перед грозным ликом богини моря — мрачного символа беснующихся в предсмертной агонии сил всего отжившего — они рвут вековые путы, снова обретают друг друга, хотя и ценою жизни. Старому укладу с его бесчеловечными законами приходит конец. Нам явственно слышны шаги нового: в распаде кастовой организации и общинной верхушки (пример тому — возвышение рыбака Чемпанкунджу из «низшей» касты и упадок своеобразной аристократии — «валаккаранов»), в решительном отвержении старых нравственных норм Чакки, усыновляющей Перикутти, в появлении таких людей, как молодые рыбаки Валяютен и Ачутан, которые бросают вызов арейену и в его лице всему ветхозаветному.

Роман «Две меры риса» рисует картину жизни поденщиков — безземельных крестьян. Поденщики, или сельскохозяйственные рабочие, составляют двадцать процентов сельского населения Кералы. Это они создают богатства штата. События, описанные Т. Ш. Пиллэ, относятся к 1949 году — времени первых парламентских выборов в независимой Индии.

Обычная керальская деревня. Бедные лачуги с более чем скромным скарбом. У крестьян — маленькие клочки земли, часто взятые в аренду на кабальных условиях. У героя романа, молодого крестьянина Корена совсем нет земли; и таких, как он, много. Корен работает на рисовом поле богатого помещика Иосифа Пушпавелила почти даром. Но для него уже счастье то, что есть работа. Когда урожай снят и приходит день выплаты жалованья, Пушпавелила по-разбойничьи обсчитывает поденщиков. Никто не смеет ему возражать; он вправе сам творить суд, он — сам закон. Зато «расплачивается» с Кореном помещичий сынок, который насилует его молодую жену Чируту. «Уедем куда-нибудь»,— говорит ему отчаявшаяся Чирута. Но Корен уже знает: куда ни уедешь, все равно придется работать на хозяина.

Первые выборы в парламент независимой Индии всколыхнули крестьян. Местные деятели партии Национальный конгресс не скупились на обещания, призывая голосовать за их кандидатов. «Они говорят, что будут о нас заботиться, отстаивать наши интересы... Но богачи преследуют только свою выгоду,— сетует крестьянин Мэтью,— а мы что получим? Ничего. Наша доля известна — арендуешь поле, платишь втридорога. На семена и на полив денег уже не остается. Приходится брать в долг. Потом является хозяин, за ним скупщик, забирают весь урожай до последнего зернышка. И еще остаешься в долгах. Вот наша жизнь».

После выборов положение арендаторов почти не изменилось. И тогда труженики вступают в борьбу с притеснителями-помещиками. Их руководителем становится Корен, прошедший суровый «университет» в вотчине Пушпавелила. В крови и муках рождается Союз сельскохозяйственных рабочих — организация поденщиков, которая действительно защищает их права и интересы. Мы радуемся выходу мужественного крестьянского вожака Корена из тюрьмы, куда он был брошен, радуемся первым успехам сплотившихся сельскохозяйственных рабочих, тому, что поставлены к позорному столбу виновники расстрела крестьянской демонстрации.

Роман свидетельствует о больших сдвигах, происходящих в сознании простых людей Индии, об их решимости довести до конца великую борьбу за правду и счастье, в которой первой победой было сокрушение колониальных порядков.

Трудолюбивый народ Кералы вместе со всем народом Индии приступил к строительству новой жизни. О Керале слышал весь мир: в 1957 году народ штата Кералы избрал коммунистическое правительство, под руководством которого за два недолгих года продвинулся по пути социального и экономического прогресса. Однако индийская реакция, опираясь на грубую силу, воспрепятствовала деятельности коммунистического правительства штата.

За последние годы советский читатель познакомился со многими произведениями, написанными на национальных языках Индии — хинди и урду, бенгали и пенджаби, малаялам и тамили. Богатая и самобытная литература малаялам переводится на русский язык недавно. Пока еще она представлена стихами «махакави» (великого поэта Кералы) Валлатхола и новеллами С. К. Поттеккатта; поэтичные и яркие, как тропическая природа Малабара, глубоко гражданственные романы Т. Ш. Пиллэ — удачное к этому добавление.

ВИТАЛИЙ ЗИМИН

ВСЕМИРНАЯ ОРБИТА СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

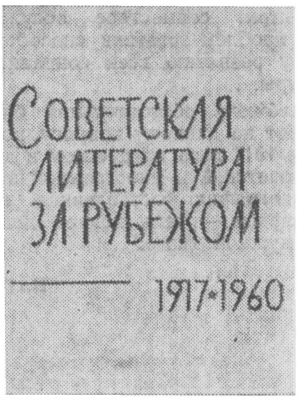
У советской литературы, столь популярной сейчас на всех материках, замечательная предшественница — русская классика. Крылатые строфы Пушкина, романы Тургенева, полные глубокого сочувствия к «униженным и оскорбленным» книги Достоевского, могучие и бессмертные образы Л. Толстого выдвинули русскую литературу на одно из самых первых мест в мире. Произведения наших классиков знакомили читателя за пределами России с огромной и удивительной страной, рассказывали о народе большого таланта и большого сердца.

Книги советских писателей не только успешно продолжают традиции русской классики, они несут зарубежному читателю свет нового мира, рассказывают правду о социалистической революции, о бессмертных идеях В. И. Ленина.

За последнее время появилось несколько книг, посвященных взаимосвязям русской классической и советской литературы с зарубежными литературами. Назовем некоторые из них: сборники «Из истории литературных связей XIX века» (1962), «Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур» (1961), книги Т. Мотылевой «О мировом значении Л. Н. Толстого» (1957), Л. Юрьевой «М. Горький и передовые немецкие писатели XX века» (1961).

В этом ряду стоит и книга Т. Балашовой, О. Егорова и А. Николюкина «Советская литература за рубежом. 1917—1960». Авторы этого труда поставили перед собой задачу — показать путь советской литературы за пределами нашей родины на различных исторических этапах. Книга рассказывает об авторитете советской литературы, которая вошла в духовный мир человечества вместе с Октябрем, стала спутницей жизни миллионов людей в разных частях света, помогая им бороться за лучшее будущее.

Не случайно в мрачные годы гитлеровского разбоя книги советских писателей сражались в рядах итальянского и французского Сопротивления, в отрядах болгарских партизан и греческих подпольщиков. Сейчас они придают силы солдатам револю-



Т. В. Балашова, О. В. Егоров, А. Н. Николюкин. Советская литература за рубежом. 1917—1960. Москва, Издательство Академии Наук СССР, 1962. 225 стр.

ционной Кубы и африканским патриотам, борющимся против колониального рабства, за счастье своего народа. Советскую книгу читают норвежский рыбак и чилийский рудокоп. «Может быть,— сказал Пабло Неруда,— эти люди никогда не встретятся, никогда не узнают друг друга. Но очень вероятно, что в один и тот же час оба они читают ту же книгу и что эта книга написана советским писателем. Тогда в их одиночестве, в их борьбе, в их мечтах вырастает незримая, но прочная нить, мощное единение — это любовь миллионов людей наших стран к Советскому Союзу».

Произведения 1226 советских мастеров слова были переведены и изданы за границей еще накануне III съезда советских писателей. Эта внушительная цифра, которая теперь уже, надо думать, значительно возросла, свидетельствует об огромном интересе к духовным ценностям нашего народа.

Авторы книги не просто очерчивают радиус действия советской литературы за рубежом, но и показывают, что наше, социалистическое искусство прокладывает дорогу к сердцам людей других стран и континентов в жестокой схватке с реакционным буржуазным искусством. «Всемирная литература испытывает воздействие двух главных полюсов притяжения художественных сил. Один полюс — это советская литература и мировое искусство социалистического реализма, другой — искусство декаданса и реакции. Идейно-эстетический антагонизм между этими полюсами особенно наглядно проявился вместе с образованием двух систем: лагеря мира и социализма, с одной стороны, и лагеря капитализма и реакции — с другой».

Идеологи буржуазии стремятся разрушить реалистическую основу литературы, стереть ее национальную самобытность, увести от социальной тематики в сферу иррационального, подсознательного, растворить в формалистических трюках. Это одна из причин, в силу которых они с яростью нападают на правдивые произведения советских писателей, беспрерывно атакуют самый передовой метод художественного творчества — метод социалистического реализма. Буржуазные критики силятся всячески дискредитировать марксистско-ленинскую эстетику, оболгать, очернить основу нашего искусства — принцип партийности и народности.

Материал, собранный в книге, убедительно показывает, что советская литература омолаживающе влияет на мировое искусство, укрепляет его на позициях реализма.

Многие деятели прогрессивной культуры за рубежом, благодаря произведениям советских писателей, смогли правильнее понять закономерности общественного развития и лучше осознать свою миссию. В книге верно — жаль только, что кратко,— говорится о благотворном влиянии социалистического искусства на мастеров современного критического реализма. Огромное воздействие идей Великой Октябрьской революции, строительство социализма в ряде стран Европы и Азии, все углубляющийся кризис капиталистического общества помогают честным писателям Запада понять, что в наши дни создавать подлинно художественные ценности можно, только связав себя с прогрессивным демократическим движением народа, прокладывающего путь к новой жизни.

Передовые писатели разных материков могут со всей убежденностью повторить замечательные слова Р. Роллана: «Я всегда писал для тех, кто идет вперед... Вот почему я вместе с тем народом и классом, который прокладывает русло потоку человеческой истории, вместе с организованными массами пролетариата, вместе с Союзом Советских Социалистических Республик. Их мчит с собой неудержимый порыв исторического развития... За этой армией неизбежно последует вся громада человечества, хотя и на известном расстоянии...»

В книге подчеркивается важнейшая роль творчества советских писателей в развитии литературы социалистического реализма в других странах, животворное влияние нашего гуманистического искусства на литературы народов Азии и Африки, недавно завоевавших независимость.

Но советская книга далеко не всегда путешествует без виз, на ее пути зачастую воздвигаются барьеры и выставляются кордоны. Мне вспоминается беседа с Робертом Фростом в Москве. Старый американский поэт убежденно говорил о необходимости расширять культурный обмен между двумя великими народами, но вопрос о том, какие книги советских поэтов изда-

ны в последнее время в США, заставил его задуматься. Ответить было нелегко. Американские и другие буржуазные издатели с большой опаской относятся к слову советских писателей.

Книга «Советская литература за рубежом» — первый в нашем литературоведении опыт подобного исследования. В дальнейшей работе ее материал будет, конечно, уточнен и дополнен. Книга построена по общепринятой периодизации истории нашей литературы. Может быть, авторам следовало бы более широко рассказать о популярности, об авторитете советской литературы в странах социализма. Искренняя дружба деятелей советской литературы с писателями других стран социализма, обмен творческим опытом, совместное обсуждение важнейших проблем эстетики способствуют дальнейшему развитию всей социалистической культуры.

Книга снабжена обстоятельной библиографией работ по данному вопросу, появившихся после 1917 года на русском и других языках в советской и иностранной печати. Такая библиография, составленная, кстати сказать, впервые,— очень ценное дополнение к этой нужной книге.

И. ГОЛИК

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Paul Reimann. Von Herder bis Kisch. Studien zur Geschichte der deutsch-österreichish-tschechischen Literaturbezienungen. Berlin. Dietz Verlag, 1961.

ТРАДИЦИЯ ДРУЖБЫ

Накануне первой мировой войны, когда шовинистические пангерманские настроения достигли в Австро-Венгрии апогея видный чешский литературный критик той поры Рудольф Илловый писал о группе пражских писателей-немцев, «которые стоят по отношению к чешскому народу на позициях, в корне отличных от предуказанных официальным курсом германской политики» Эти писатели, которым претил дух «тевтонского превосходства», во многом были несхожи, и в дальнейшем пути некоторых из них — назовем из перечисленных Илловым хотя бы пламенного публициста, революционера Киша и сумеречного, аполитичного Кафку — и в политике, и в литературе пошли в совершенно различных направлениях. Но перед традицией, стоявшей за плечами писателей, о которых говорил чешский критик в тот момент, когда вот-вот должны были вспыхнуть зловещие зарева мировой бойни, перед этой традицией открывалось такое большое будущее, о котором тогда, казалось, можно было только мечтать...

Вопросу развития связей между чешской и немецкой литературами с давних времен до наших дней и посвящена книга Пауля Реймана «От Гердера до Киша. Очерки по истории германо-австрийско-чешских литературных связей». В книгу вошли работы, написанные Рейманом в разные годы. Это статьи обзорного характера и литературно-биографические очерки. В книгу включены и воспоминания автора, их дополняет публикация материалов, в числе которых — переписка известного чешского писателя Петра Безруча с его переводчиком, немецким поэтом-антифашистом Рудольфом Фуксом, и Эгона Эрвина Киша со своим старшим товарищем и переводчиком на чешский Антонином Мацеком.

В предпосланном сборнику общем историческом обзоре Рейман показывает, как национально-освободительное движение чешского народа, все теснее смыкавшееся с его борьбой за социальную справедливость, и, с другой стороны, развитие гуманистической мысли и революционного движения в Германии стали основой для более широкого, взаимопроникающего общения двух литератур. И вместе с тем он прослеживает, как прусский и австрийский шовинизм, как узкий национализм чешской буржуазии мешали этому содружеству. Именно в борьбе демократических начал чешской и немец-

кой культур против общего врага крепла дружба двух литератур.

Большое место в книге отведено истории перевода с немецкого на чешский. Разве не знаменательно, например, что первым переводчиком стихотворений Шиллера «К радости», «Перчатка», «Песня о колоколе» был основоположник современного чешского литературного языка Иозеф Юнгман? Разве не показательно увлечение мятежно-иронической музой Гейне в середине прошлого века, в годы роста революционной чешской литературы? И разве не говорит само за себя то обстоятельство, что выступившая в литературе во второй половине XIX века австрийская поэтесса и новеллистка Ада Христен, которую так яростно травила вся австрийская обывательщина, нашла поддержку у чешских писателей той поры и прежде всего у великого чешского лирика Яна Неруды — в знак солидарности с писательницей он перевел несколько ее книг.

Очерки, посвященные жизни и творчеству Карла Эмиля Францоза, Якоба Юлиуса Давида, Карла Крауса, насыщены богатым фактическим материалом. Чешско-немецкие литературные связи предстают в книге с большой конкретностью, преломляясь в разных писательских судьбах. И цветы, принесенные Яном Нерудой на могилу Гейне, и паломничество Киша в тюрьму, где Ян Гус провел последнюю ночь перед казнью,— эти живые движения сердца человеческого не менее важны для Реймона, чем точные даты выхода в свет переводов произведений Гейне, сделанных Я. Нерудой, С. Чехом, С. К. Нейманом и В. Незвалом, чем заявление Киша, что своими первыми литературными учителями он считает талантливого публициста, несгибаемого революционера К. Гавличка-Боровского и чешского певца свободы поэта Яна Неруду.

Очень точно охарактеризована в сборнике новая фаза в развитии связей между чешской и немецкой литературами, наступившая с началом организованной борьбы немецкого, австрийского и чешского пролетариата под знаменем учения Маркса. Рейман показывает, как на этом этапе в чешско-немецких литературных связях возникает новый, могучий фактор — идея пролетарского интернационализма, и развитие этих связей получает твердую опору в росте классового сознания революционного пролетариата. Лучшими в сборнике безусловно являются очерки, посвященные первому австрийскому пролетарскому поэту-публицисту, организатору борьбы австрийских и чешских рабочих Шиллеру Зеффу и одному из основоположников социалистического реализма в немецкой и чешской литературе — Эгону Эрвину Кишу.

Книга Пауля Реймана написана ярко, горячо. Она является итогом более чем тридцатилетней литературной и общественной деятельности автора. Она тем более интересна, что сводит воедино опыт Реймана — историка литературы и критика и Реймана-публициста. Однако думается, что связь чешской и австрийской культур раскрыта автором не всегда полно. Значение австрийских писателей порой сводится Рейманом лишь к роли посредников между немецкой и чешской литературами, в то время как взаимодействие этих двух культур было много шире, сложнее, имело свои совершенно особые черты. Свеж по материалу и наблюдениям остро полемизирующий с буржуазной критикой очерк о жизни и творчестве Франца Кафки, хотя включение его в сборник, пожалуй, не совсем оправдано общим строем книги. Интересно (хотя, может быть, недостаточно широко) освещено в книге значение единого антифашистского фронта для чешско-немецких литературных связей в тридцатых-сороковых годах.

Во вступлении к сборнику П. Рейман говорит об актуальности широкого исследования чешско-немецких литературных связей. Он глубоко прав: раскрытие этих связей служит укреплению единства немецкого и чешского народов в их сегодняшней борьбе за мир, за построение социализма.

В. НЕДЕЛИН

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ ГЕРОЯ

Gusta Fučiková. Vzpominky na Julia Fučika. Praha, Státni nakladatelství politické literatury, 1961.

Перед нами книга воспоминаний, написанная с любовью и болью. Вся она проникнута обаянием личности Фучика. В каждой строке, и между строк, мы чувствуем силу этого человека, его любовь к жизни — самому прекрасному, что есть на свете.

Густа Фучикова начинает свой рассказ с момента вступления гитлеровских войск в Прагу, с трагических событий, круто изменивших судьбу страны. Она воссоздает атмосферу тех лет, настроения людей и веру Фучика в победу. В первой части книги особенно привлекают страницы, посвященные жизни Фучика в деревне Хотимерж, где он скрывался около года. Пожалуй, впервые Фучик на столь долгий срок обосновался в тихой «умиротворенной» деревушке, хотя и здесь умиротворенность была кажущейся — и здесь росло негодование и шла борьба. Во время одной из прогулок Фучик как-то сказал Густе, что «год тому назад он не представлял себе, что сможет

жить в таком забытом уголке, без Праги, без театра и кино... Но сейчас деревушка крепко приросла к сердцу».

В этой части книги мы знакомимся с Фучиком-лириком, человеком, тонко и трогательно чувствующим природу. Но и тут, вдали от Праги, Фучик не остается в стороне от той великой борьбы, которая ведется чешским народом. Именно здесь он написал свои лучшие боевые статьи, которые имели не меньшее значение, чем подпольные листовки, призывающие к сопротивлению.

Вся жизнь Фучика связана с книгой. Густа Фучикова вспоминает: где бы они ни жили, первое, что делал Юлиус,— собирал библиотеку. В руках Фучика всегда была книга — ехал ли он в поезде или трамвае, собирался ли на прогулку; даже на свидание он приходил с книгой. Книга осталась его другом и в подполье, помогая создавать новые боевые статьи, заменяя ему собеседника тогда, когда Фучик вынужден был долгие недели и месяцы проводить в одиночестве на нелегальных квартирах.

Периоду нелегальной работы Фучика посвящена вторая часть книги. Здесь много документальных материалов: письма Фучика к жене, сестрам, матери, друзьям и издателям, воспоминания товарищей по заключению — все это по крупицам дополняет образ национального героя Чехословакии Юлиуса Фучика.

Немало нового мы узнаем и из последней части книги, посвященной самому трагическому периоду жизни Фучика. Густа, которая почти ежедневно встречалась с Фучиком в «четырехсотке», куда приводили их на допрос, рассказала о том, чего сам Фучик не успел или не захотел написать. Фучик — агитатор и пропагандист даже в застенках гестапо. Фучик — душа и ум «четырехсотки». И прежде всего, Фучик — товарищ. Он думает о каждом узнике, старается облегчить его участь, передать лишний кусок слабому, найти лекарство для больного, поддержать падающего духом. Детально раскрыта и жизнь «четырехсотки», в частности поведение чешских полицейских, деятельно помогавших узникам. И здесь видно влияние Фучика на этих людей, которые относились к нему с глубоким уважением и любовью. Один из товарищей по заключению вспоминает, что, когда отправляли Фучика в Берлин, в карманах его брюк и пиджака были куски хлеба. Это коридорные голодного Панкраца, узнав об отъезде Юлиуса, принесли ему все, что у них было. Товарищ по камере в берлинской тюрьме писал, что Фучик был источником жизни для заключенных, его улыбающиеся глаза придавали силу людям, обреченным на смерть. «Я знаю, что значил этот человек... я горд, что разговаривал с Юлиусом Фучиком...»

Густа Фучикова знакомит читателя с историей его последнего произведения — «Репортажа с петлей на шее». Она приводит свидетельства тех, кто помогал сохранить рукопись Фучика, кто сделал многое для того, чтобы рукопись увидела свет. Кропотливо собрав все, что можно было узнать о неизвестном ей периоде жизни мужа, Густа Фучикова подарила людям ценные страницы, которые дадут читателю возможность глубже проникнуть в величие души Фучика — коммуниста, человека, над которым не властна даже смерть.

И. ЧЕРНЯВСКАЯ

МЕМУАРЫ ПОЛЯ ДЕ КРЮИ

Свою последнюю книгу «Стремительный ветер» Поль де Крюи написал в новом для себя жанре — мемуарном. Но это не стереотипная автобиография, последовательно и обстоятельно освещающая все этапы жизни и творчества художника,— прежде всего, это рассказ о писательском пути, который неотделим от истории его личной жизни, его идейных и нравственных поисков. И это тем более ценно, что Поль де Крюи, мастер научно-популярного жанра, в своем творчестве достиг счастливого соединения научной достоверности с образностью, страстью и увлеченностью художника и публициста.

Пожалуй, наиболее интересное в книге — страницы, посвященные тому времени, когда де Крюи, подающий надежды микробиолог, за плечами которого было участие в мировой войне, расстался с обеспеченным и спокойным существованием научного сотрудника Рокфеллеровского института, и стал профессиональным писателем, чтобы рассказать о труде медиков, ученых и исследователей. Немалую роль в его формировании как писателя сыграло общение с Синклером Льюисом, которому де Крюи помогал в работе над «Эроусмитом». Де Крюи не только познакомил Льюиса со специальным медицинским и микробиологическим материалом, но и принимал живое участие в предварительной «сценарной» разработке главных образов романа — Эроусмита, Готлиба, Леоры и др. И само приобщение к творческому процессу большого художника явилось для де Крюи вдохновляющим примером. Его воспоминания об этом времени содержат много ценных штрихов и черт, дополняющих характеристику Синклера Льюиса — человека неуживчивого и колючего, любознательного и отзывчивого, неутомимого в наблюдениях над жизнью и бытом, одержимого в часы работы над рукописью.

Именно в этот период сложился у Поля де Крюи замысел его известной книги «Охотники за микробами» (1926). Встречаясь с прославленными учеными, наблюдая труд работников Пастеровского института, руководимого знаменитым Эмилем Ру, Поль де Крюи шаг за шагом постигал то, что составило пафос этой и других его лучших книг. В своих очерках, лишенных вся-

Paul de Kruif. The Sweeping Wind. New York, Harcourt, Brace and World, 1962.

кой панегирической восторженности, он писал о людях, которым свойственны слабости и странности в обычной жизни, у которых удивительные прозрения и успехи чередуются с досадными промахами. Для этих людей научное творчество — каждодневное горение, и де Крюи обогатил художественную литературу, показав их работу во всей ее конкретности и поэтичности. А самих героев своей книги он определил метким словом «охотники».

После «Охотников за микробами» появились книги «Борцы с голодом», «Борцы со смертью», «Стоит ли им жить?». Вспоминая об успехе «Охотников», Поль де Крюи рассказывает в своих мемуарах о том, что перед ним открылась соблазнительная перспектива — популяризировать достижения в различных областях медицины, прибегнув к тем же художественным приемам, которые он использовал в своей книге о микробиологах. Это сулило материальный достаток. Однако де Крюи отказался от амплуа удачливого, но легковесного популяризатора научных открытий во имя того, чтобы поставить в своих книгах проблемы общественной значимости. В период кризиса 1929—1933 гг. и последовавшей за ним депрессии он пришел к выводу, что причиной голода и множества болезней и смертей являются не столько гибельные микробы, сколько социальные язвы в стране, обладающей огромными материальными возможностями.

В эти годы Поль де Крюи стал общественным деятелем, отдающим немало сил улучшению здравоохранения в Америке. И не его вина, что многие отличные проекты, составленные им и его друзьями, так и остались на бумаге, встреченные равнодушием в обществе, где усилия врачей разобщены, а их работу определяют соображения конкуренции.

Автобиография де Крюи — книга о «времени и о себе»: в ней дан широкий общественный и литературный фон, на страницах книги появляются фигуры писателя Уэллса и критика Генри Менкена, ученых Эмиля Ру и Бэнтинга, президента Рузвельта и его советника Гарри Гопкинса. С особой теплотой говорит де Крюи о Павлове и Хемингуэе. Великий русский физиолог своими трудами помог Крюи уберечься от влияния модного в Америке фрейдизма; автор романа «Прощай, оружие» был для него впечатляющим образцом безукоризненной художественной правдивости. Крюи писал о Хемингуэе: «...Я стремился научиться у него, но отнюдь не стилю,— а той таинственной алхимии, которая заключается в его скромных словах, производивших глубочайшее впечатление на меня как на читателя, словах, которые правдивы не в смысле фотографической точности, а в смысле верности жизни, потому что они передают само ощущение реальной действительности».

Есть в книге де Крюи еще один герой, который, пожалуй, не менее полноправен, чем сам автор. Это его жена Реа Барбарин. Свою автобиографию он начал писать в конце 1957 года, через несколько месяцев после ее кончины. По его собственным словам, он хотел написать историю двух человеческих жизней, тесно и счастливо переплетенных. Они впервые встретились в 1919 году в бактериологической лаборатории Мичиганского университета, и Реа стала спутником жизни писателя. И недаром она послужила Синклеру Льюису прототипом образа преданной, бескорыстной Леоры из «Эроусмита» — может быть, самого замечательного женского характера, когда-либо им созданного. Назвав свою книгу «Стремительный ветер», де Крюи сделал этот образ лейтмотивом своих мемуаров. Он имел в виду ветер жизни, процесс вечного обновления и движения. Перед нами проходит история его надежд и разочарований, утрат и радостей, которые исполнены интереса и значения, потому что это история талантливого писателя и благородного человека.

Б. ГИЛЕНСОН

ПАМЯТИ БОЛЬШОГО ПОЭТА

Смерть Назыма Хикмета — невосполнимая утрата для передовой литературы мира. Поэт, драматург, прозаик, публицист — он сказал яркое, сильное слово во всех областях литературного творчества. Все его многообразное наследие пронизано великими идеями нашего века, идеями борьбы за мир и коммунизм.

Начав свой творческий путь четырнадцатилетним юношей в 1916 году, поднятый волной революционного движения на своей родине, в Турции, он стал широко известен как поэт уже в тридцатые годы. В то время, когда он вел революционную работу в подполье, в то время, когда он томился в тюрьмах (он провел в них семнадцать лет, а был приговорен в общей сложности к пятидесяти годам тюремного заключения!), его поэтическая слава шла уже по свету. В последние пятнадцать лет его жизни она стала всемирной. Его стихи переведены на десятки языков.

Вырвавшись из тюрьмы, он в 1951 году приехал в Советский Союз. Отсюда на весь земной шар зазвучало его раскрепощенное слово, слово революционера и интернационалиста, слово поэта, преобразователя в жизни и в искусстве. Его поэзия, столь национально-турецкая в своих истоках, обнимала народы и континенты. Нет ни одного значительного события жизни народов в эти годы, которое не принял бы в себя его поэтический мир. Он стремился создать грандиозную эпопею о надеждах и свершениях современности, которую назвал «Человеческая панорама». Как Маяковский, он был «где боль, везде», и, как Маяковский, он чувствовал себя в долгу перед всем прекрасным, о чем не успел написать.

«Его голос стал голосом вселенной»,— сказал о нем Пабло Неруда.

Поэт в Назыме Хикмете неотделим от гражданина. Его книги неразрывно слиты с беззаветной борьбой за дружбу между народами, за их светлое и мирное будущее. Слово Хикмета звучало на всех конгрессах в защиту мира, и во всех уголках земного шара у него были горячие и верные друзья — друзья по борьбе за счастье человечества.

Человек цельной натуры, влюбленный в жизнь, полный революционной энергии и человечной страстности,— таким он останется в памяти тех, кто знал его. Таким он встает со страниц своих книг.

В 1950 году, объявив голодовку в стамбульской тюрьме и решив бороться до конца, он писал:

Братья мои,
не хочу умирать я, и если
за решеткой до смерти замучат меня палачи,
все равно не умру.
Буду жить среди вас.
...Буду жить на земле.
Меж людей,
для людей.

Сегодня Назыма Хикмета не стало, но мечта его свершится, она осуществляется: его книги будут жить долго — меж людей, для людей.

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

«Огромную человеческую глубину образа Ленина», созданного Эммануилом Казакевичем в «Синей тетради», отмечает автор рецензии в газете «Юманите» на эту книгу, недавно вышедшую во Франции. Рецензент называет «Синюю тетрадь» «одним из самых значительных произведений советской литературы». В последнее время, как сообщает печать, во Франции были опубликованы и другие книги Казакевича — «Звезда», «Весна на Одере», «Сердце друга», «Дом на площади».

Норвежская газета «Фрихетен» поместила перевод поэмы Эдуардаса Межелайтиса «Человек». О творчестве автора поэмы рассказывает опубликованная в этом же номере большая статья норвежского критика Мартина Нага.

Под названием «Дома и на чужбине» чехословацкое издательство «Наше войско» выпустило сборник военных рассказов Александра Твардовского.

Югославская газета «Борба» напечатала повесть С. С. Смирнова «Герои Брестской крепости».

Один из последних номеров литературно-художественного журнала «Эпитеориси технис», издаваемого в Афинах, целиком посвящен советской литературе. В этом номере опубликованы отрывки из прозаических произведений, рассказы и стихи многих советских писателей, в том числе Г. Владимова, Э. Казакевича, Ю. Казакова, Ю. Куранова, О. Бергольц, Ю. Бондарева, В. Пановой, К. Паустовского, А. Рекемчука, К. Симонова, В. Тендрякова, К. Федина, М. Алигер, Н. Асеева, Р. Гамзатова, Н. Заболоцкого, Г. Леонидзе, В. Луговского, Л. Мартынова, Э. Межелайтиса, Я. Смелякова, В. Сосюры, А. Твардовского. Греческий писатель Костас Кодзяс, расценивающий выход в свет этого номера журнала как исключительно важное событие, пишет в газете «Авги»: «Таким образом, впервые в нашей стране предпринимается попытка представить литературу, которая знакомит нас с человеком страны социализма, с его общественными отношениями и идеалами».

В связи с выходом в Софии в переводе на болгарский язык романа Всеволода Кочетова «Секретарь обкома», еженедельник «Читалище» пишет: «Эта книга целиком проникнута духом современности. В своем романе Всеволод Кочетов показал некоторые конфликты в современном советском обществе и смело атаковал тех людей и те пережитки в отношениях между людьми, которые мешают продвижению к коммунизму».

Государственный издательский институт Польши «ПИВ» выпустил книги трех советских авторов, которые, по словам рецензента газеты «Трибуна люду», «объединены одной общей чертой — они описывают обычный день человека, молодого человека в Советском Союзе». Это — «Завтрашние заботы» Виктора Конецкого, «Капля росы» Владимира Солоухина и книга Николая Дементьева, вышедшая здесь под названием «В далекой гавани». Польская критика особо отмечает необыкновенный лиризм повести Солоухина.

Штутгартское издательство «Дейче ферлагсанштальт» объявило о выходе из печати романа Даниила Гранина «Иду на грозу». Западногерманский бюллетень «Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель» рекомендует роман, как «только что выпущенное в Советском Союзе произведение о советских ученых».

Издательство «Культур унд фортшритт» (ГДР) выпустило роман А. Чаковского «Дороги, которые мы выбираем».

«Читатель видит все происходящее глазами главного героя — Андрея Арефьева,— пишет рецензент газеты «Нейес Дейчланд».— Это убедительный литературный образ».

В последнее время за рубежом вышли «Год жизни» (Италия, ГДР, Чехословакия, Румыния, Польша) и «Дороги, которые мы выбираем» (Румыния, Болгария, Чехословакия).

Пьесу А. Арбузова «Иркутская история» поставил «Народно-рабочий театр» в столице Финляндии Хельсинки. На снимке сцена из спектакля. Валя — артистка Тиина Ринне, Сергей — артист Кауко Хеловирта.

(Газета «Кансан уутисет»)

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

ГОВОРИТ ФРЭНК ХАРДИ

Действие новых коротких рассказов Фрэнка Харди, собранных в книге «Легенда Долины Бенсона», развертывается в небольшом австралийском городке, где вырос и жил автор. Время действия — тридцатые годы нашего века, годы депрессии, когда безработные даже не получали пособия, перебиваясь на жалкие еженедельные продовольственные подачки. Писатель рассказывает о людях труда, об их тяжелой жизни, о теплоте человеческих отношений, о чувстве товарищества, несгибаемой воле к борьбе. Одни и те же персонажи появляются во всех этих рассказах, так что книга представляет собой как бы общую панораму их жизни.

«В книге Фрэнка Харди,— пишет английский романист Джек Линдсей в газете «Дейли уоркер»,— бьется пульс жизни и энергии простого народа. Великолепно показано свойственное народу сочетание тонкого юмора и неукротимой энергии. Это особенно ярко чувствуется в двух рассказах сборника: о непродуманной и потому неудавшейся попытке начать в Долине Бенсона революцию и о грандиозном походе австралийских безработных».

В связи с выходом новой книги Харди корреспондент «Дейли уоркер» взял интервью у автора нашумевшего романа «Власть без славы», известного и советскому читателю.

Фрэнк Харди
(Газета «Дейли уоркер»)

В последние годы, сообщил писатель, он много работал для театра. В настоящее время он готовит к печати две книги. Одна из них — роман, история жизни австралийского коммуниста. В этом романе затронут ряд моральных, психологических и идеологических проблем, поставленных XX съездом КПСС.

«По-моему, образы коммунистов в нашей литературе,— заметил Фрэнк Харди,— не всегда удаются авторам». Образы, говорит Харди, получаются бледные, и создается такое впечатление, будто это не активные борцы за интересы рабочего класса, а люди, оторванные от жизни. «А в действительности перед нашими коммунистами как раз стоит множество разнообразных вопросов и проблем, и они их решают».

Одновременно с работой над романом Харди готовит книгу исторического характера, действие которой начинается до появления на политической арене Европы Карла Маркса и доводится до наших дней. Большое место в этом труде отводится показу Великой Октябрьской революции и достижений Советского Союза.

На вопрос о социалистическом реализме Фрэнк Харди ответил:

«На свет уже появились выдающиеся произведения искусства и литературы социалистического реализма, хотя сам этот метод, с точки зрения его места в историческом развитии человечества, делает еще только свои первые шаги».

Харди заявил в интервью, что он поддерживает принцип партийного руководства в литературе и искусстве.

АВСТРИЯ

СУДЬБА СОВЕТНИКА РАННСДОРФА

Культурные организации Австрии щедры на премии за классические или политически безобидные пьесы. Но почему обходят стороной

драматические произведения об Австрии периода 1938—1945 годов? Не пугает ли эта тема тех, кто хотел бы умолчать о том главном, что происходило тогда в Австрии? Такие вопросы задает газета «Фольксштимме», сообщая о постановке венским театром «Лёвингер» пьесы Ганса Надерера «Семья Раннсдорф».

По словам рецензента газеты, заслуга драматурга состоит в том, что ему удалось показать патриотизм австрийцев, ценящих прежде всего свободу и независимость.

...Работник министерства иностранных дел Австрии, надворный советник Раннсдорф в 1938 году был уволен гитлеровскими оккупантами со службы и брошен в концлагерь Дахау. Вина его заключалась в том, что он любил свою родину и ее свободу. Спустя семь лет после разгрома гитлеризма, Раннсдорф снова работает, живет в своей старой квартире. События в семье Раннсдорфа развертываются своим чередом...

Как пишет рецензент «Фольксштимме», автор хотел в своей пьесе противопоставить человечность зверству нацистов. «Намерение автора,— отмечает рецензент,— заслуживает большого внимания. И австрийский зритель благодарен театру «Лёвингер» за постановку пьесы, воскрешающей картины того периода в истории Австрии, повторения которого не хочет допустить ни один честный австриец».

АЛЖИР

ГОЛОСА ПОЭТОВ

Алжирская поэзия, по словам Мухаммеда Диба, переживает новый этап развития. Парижский еженедельник «Леттр франсез» указывает, что в эволюции поэзии алжирского народа важнейшая роль принадлежит произведениям военного времени. За последние годы стали известны имена видных алжирских поэтов, но с некоторыми талантливыми поэтами знакомство еще должно состояться.

Совсем недавно вышла из печати книга Нордина Тидафи «Бессмертие нашей родины». «В этой книге воспевается главный герой революции—алжирский народ,— пишет в предисловии поэт Анри Креа.— Форма стихов и их образная структура восходят к арабским традициям, однако новым является революционный тон этих стихов. Борьба народа за освобождение Алжира вызвала появление алжирской национальной поэзии, которая выросла и окрепла за очень короткое время».

Одним из представителей новой алжирской поэзии является Жан Сенак, который непосредственно участвовал в борьбе народа за национальное освобождение и писал стихи, поднимавшие боевой дух воинов. Не так давно в Алжире был опубликован сборник его стихотворений под заголовком «Чистым героям»; издательство Релаш выпустило его книгу «Поток Баэна». Вскоре должны выйти из печати еще два сборника его стихов.

АНГЛИЯ

«ЗОЛУШКА» ЛИТЕРАТУРЫ

Критик Роланд Хэккет, выступая на страницах газеты «Дейли уоркер», называет английскую поэзию «Золушкой английской литературы». В Англии, по его словам, мало знают своих отечественных поэтов. Это особенно резко бросается в глаза, пишет он, при сопоставлении с другими странами, где английских поэтов знают и любят.

«По приблизительным подсчетам,— пишет Роланд Хэккет,— около четырехсот миллионов людей на земном шаре говорят и читают по-английски. Если даже незначительная часть этих людей читала английских поэтов, число их наверняка будет больше, чем наших соотечественников в Англии, которые могли бы похвастать тем же. Для большинства людей в нашей стране поэзия остается фактором, не играющим никакой роли в повседневной жизни».

Почему же поэзия стала «Золушкой английской литературы»? Часть вины, по мнению автора статьи, несут историки литературы и литературоведы, так как книги и антологии по истории английской поэзии больше напоминают музейный каталог с перечнем названий, нежели показ самих поэтов. Литературоведческие комментарии, написанные на уровне каталога, естественно, могут интересовать лишь немногих, а поэты нуждаются в широкой аудитории. Что же до самих поэтов, то чем ближе их творчество будет к жизни, к современному человеку, тем скорее они войдут в жизнь широких масс народа.

. В Лондон прибыли три австралийских гангстера. Поддерживая контакт с лондонским преступным миром, вновь прибывшие за определенную мзду получали информацию о всех готовящихся грабежах. Затем, надев форму полицейских, в полицейской машине они мчались к месту преступления, ловили местных воров с поличным и... забирали «добычу». Так начинается новый английский сатирический фильм «По ту сторону закона», идущий с большим успехом на экранах Англии. Фильм, как отмечается прогрессивной критикой, обличает связи английской полиции с уголовным миром. «Эпизоды, в которых «блюстители порядка» действуют рука об руку с гангстерами, являются наиболее острыми в фильме»,— пишет рецензент газеты «Дейли уоркер». Здесь мы помещаем кадр из нового фильма.

(Газета «Дейли уоркер»)

ГОГОЛЬ НА СЦЕНЕ «РОЙЯЛ КОРТ»

Одной из самых больших актерских и режиссерских удач театрального сезона в Лондоне английская печать считает инсценировку «Записок сумасшедшего» по Н. В. Гоголю в театре «Ройял Корт». В этом спектакле играет один только актер — Ричард Харрис; режиссер — Линдсей Андерсен. «В течение двух часов,— пишет критик еженедельника «Санди таймс»,— публика с неослабевающим, напряженным вниманием следит за мыслями и переживаниями человека, который постепенно теряет рассудок... Хотя на сцене мы не видим никого, кроме Харриса, мы четко ощущаем страшный и в то же время смехотворный мир, окружающий представителя дореволюционного чиновничества».

«ПОЖАЛЕЙТЕ БЕДНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ»

Под таким заголовком английский еженедельник «Обзёрвер» опубликовал сообщение, из которого явствует, что в Англии труд писателей принадлежит к одной из самых низкооплачиваемых категорий. В сообщении цитируется только что вышедшая из печати брошюра «Сколько стоит писатель?», изданная Обществом писателей. Оказывается, средний заработок литератора значительно ниже признанного статистикой среднего заработка. Как указывается в брошюре, 60—70 процентов писателей зарабатывают не более пятисот фунтов в год.

Автор брошюры приходит к довольно неутешительному для будущего английской литературы выводу: в Англии неизбежно будет уменьшаться количество романов, поскольку литераторы уже теперь ищут заработков главным образом на радио, на телевидении, а то рассчитывают на доходы от публикаций за границей.

УБОГАЯ ФАНТАСТИКА

«Стоит хотя бы бегло взглянуть на английские и американские научно-фантастические журналы,— пишет в еженедельнике «Обзёрвер» писатель Кингсли Эмис,— и приходишь в ужас». Заголовки, столь же «сенсационные, сколь и невежественные», верстка, бумага, качество иллюстраций и даже шрифт — все это поразительно убого. Зато реклама, не имеющая ничего общего с характером журналов, заполняет полосы, кричит...

Кингсли Эмис разбирает наиболее известные английские и американские издания, вроде «Нью уорлдс сайенс фикшн», «Сайенс фикшн эдвенчерс» и т. п. Все они мало чем отличаются друг от друга. Преобладающий стиль большинства рассказов—«грубые ужасы», их тематика — повторение старых, набивших оскомину стандартов, вроде битв с космическими китами, нашествия варваров, пактов с... дьяволами или телепатия, приписываемая американскому ФБР. Новой за последние годы стала лишь фантастика на... политические темы.

«На страницах этих журналов,— пишет Эмис,— продолжает процветать безграмотность и многословие, которые можно объяснить лишь системой оплаты авторов: платят нищенски мало, со слова. Тиражи этих журналов неуклонно падают».

«Что касается меня,— саркастически заключает писатель,— я все-таки жалею о таком «спаде» читательского интереса. В этих журналах есть и своя «прелесть»: где еще можно найти такое сочетание воображения и агностицизма, ясности и вздора!»

БОЛГАРИЯ

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Болгарская периодическая печать публикует много откликов на материалы встреч руководителей ЦК КПСС с деятелями советской литературы и искусства в Москве.

В статье «Новый герой современности—главный герой литературы и искусства» критик Атанас Смирнов пишет в еженедельник «Литературен фронт»:

«Современная действительность определяет основную черту нового героя—его коммунистическую идейность. Художественное произведение должно быть насыщено этой идейностью, оно должно учить и воспитывать, создавать со своей стороны новых героев жизни и литературы... Герой литературы может нести в себе все, что отражает многообразие жизни. Но он не может быть кривым зеркалом этого многообразия. Это в первую очередь должны иметь в виду те, кто в той или иной степени поддались влиянию упадочных модернистских течений».

«Новый герой современности ждет пера большого художника,— пишет далее Атанас Смирнов.— Его основные черты уже живут на многих вдохновенных страницах. Образ нового героя становится еще убедительней и полнокровней. Красота новой жизни озаряет его ярким светом».

ВЕРНАЯ ЛИНИЯ

Как отмечает болгарская печать, и в организационной жизни Союза болгарских писателей, и в творчестве авторов различных поколений в последнее время чувствуется большое оживление.

Правление Союза болгарских писателей провело недавно расширенное заседание с участием главных редакторов литературных изданий при Союзе и заведующих редакционными отделами еженедельника «Литературен фронт», журналов «Септември» и «Пламк». Были обсуждены общие задачи изданий, идейно-тематическая направленность публикуемых произведений, уровень художественного мастерства и другие проблемы, возникающие в современной литературной жизни.

В своем докладе председатель правления СБП Камен Калчев подчеркнул, что после VIII съезда БКП и совещания по идеологическим вопросам, обобщивших великие принципы XXII съез-

да КПСС, линия литературной политики ясна и недвусмысленна: это — последовательная и неуклонная верность принципам марксистско-ленинской эстетики. Эта линия отвергает догматизм и сектантство, эмпиризм и иллюстративность, лакировку и фальшь, восстает против протаскивания буржуазной идеологии и чуждых влияний упадочной западной культуры. Первостепенное значение имеет борьба за повышение художественного мастерства.

Камен Калчев указал, что «Литературен фронт», «Септември», «Пламк» и другие литературные издания Болгарии держат верную линию.

«ПАТЕНТ САС»

В одной из последних книжек журнала «Пламк» опубликована новая повесть видного болгарского сатирика Светослава Минкова «Патент САС — сверхъестественное повествование в девяти гротесках».

«Перед нами,— пишет рецензент еженедельника «Литературен фронт»,—произведение Светослава Минкова, известного мастера горького смеха и едкой иронии, создателя великолепного сплава фантастичного и реального, чудесных гротесков, характеризующихся глубокой жизненной правдой. По сути дела и его новое произведение, хотя и наполненное невероятными историями, создано на богатом жизненном материале, взятом из современной политической действительности Запада.

В «Патенте САС» автор обращает огонь своей сатиры против атомной политики Североатлантического блока, против антикоммунистической истерии западных буржуазных деятелей, которые делают все возможное, чтобы превратить людей в роботов, организовать поход против Советского Союза и всего социалистического лагеря. Но миллионы людей не позволяют внедрить «патент САС» — новогитлеровское изобретение Зигфрида Тотенауэра, канцлера Фюрерландии... Появление этого произведения — большой успех нашей современной сатиры».

Георгий Караславов.
(Журнал «Читалище»)

ПОМОГАТЬ МОЛОДЫМ ПИСАТЕЛЯМ

Георгий Караславов в беседе с корреспондентом журнала «Читалище» заявил, что «в последнее время у отдельных наших молодых драматургов замечается стремление подменить жизненную правду, крепко связанную с лучшими традициями болгарского театра, сценическими трюками и словесными туманностями. Несоответствие историческим фактам, искажение жизненной правды, погоня за внешне эффектными, но пустыми, туманными сценами не были и не являются новаторством. Такие формалистические завихрения обычно проистекают от творческой ограниченности, модных увлечений или просто элементарной неосведомленности о прошлом театра и драматургии.

Бесспорно, молодым присущи поиски новых форм выражения. Но надо уметь различать поиски, с одной стороны, и погружение в болото упадочных тенденций, с другой. Надо оберегать молодых писателей от последнего».

ФИЛЬМЫ ГОДА

Что даст зрителям Софийская киностудия в текущем году? На этот вопрос редакции журнала «Филмови новини» ответил директор студии Георгий Йовков:

— В ближайшее время наши зрители увидят фильмы «Калоян», «Паисий», «Встреча на тихом берегу», «Капитан» и «Невероятная история». Начаты съемки нашего первого широкоэкранного фильма «Смерти нет» по роману Тодора Монова. Режиссер Захарий Жандов приступает к съемке фильма «Черная рука», поднимающего проблемы этики современного человека. Скоро начнется работа над картиной «Непримиримые» — о прошедшей войне. Фильм «Прерванная игра» расскажет о партизане Митко Палаузове. Будет также экранизирован роман молодого болгарского писателя Георгия Маркова «Мужчины».

Ведутся переговоры о совместной работе с иностранными киностудиями — советскими, итальянскими, французскими.

ВЕНГРИЯ

НОВЫЕ ЛАУРЕАТЫ

Высшей Государственной премии Кошута за выдающиеся достижения в области литературы удостоены Йожеф Лендел, Эндре Иллеш и Марцелл Бенедек.

Йожеф Лендел, как сообщает газета «Непсабадшаг»,— писатель старшего поколения, коммунист, ветеран рабочего движения, автор таких популярных в Венгрии книг, как «Вышеградская улица» и «Скитальческая жизнь Ференца Пренна», воссоздающих славные дни венгерской революции 1919 года; исторического романа «Три строителя моста»; сборников рассказов «Ключ» и «Чарующий», посвященных проблемам современности.

Эндре Иллеш — прозаик, драматург, очеркист, директор венгерского издательства художественной литературы «Сепиродалми киадо», автор широко известных не только в Венгрии, но и за ее пределами сборников новелл «Жужа», «Шулера»; драм «Тристан» (на-

Венгерский писатель Имре Вадас в творческом содружестве с режиссером Имре Фехером создал новый фильм «Женщина в поселке», рассказывающий об активном участии венгерских женщин в жизни страны. В главных ролях выступают видные артисты Ева Руткаи и Дюла Венке (на фото).

(Журнал «Фильм-синхаз-мюжика»)

писана в соавторстве с поэтом Иштваном Ваш), «Нетерпеливые влюбленные». В его переводе венгерский читатель познакомился с произведениями Стендаля и Мопассана.

За популяризацию произведений венгерской и зарубежной литературы премии удостоен Марцелл Бенедек — литературовед, член венгерской Академии наук, автор завоевавших признание работ по эстетике и литературоведению.

ПОЭЗИЯ ГАБОРА ГАРАИ

Габор Гараи вступил в литературу лишь после освобождения страны, однако ему уже принадлежит несколько поэтических сборников, за один из которых он был удостоен литературной премии Аттилы Йожефа.

Новый сборник стихов Гараи «Средиземноморская весна», вышедший недавно в издательстве «Сепиродалми киадо», посвящен, как и предыдущие, теме современности. «Мудрые стихи Габора Гараи,— пишет известный критик Миклош Йованович в еженедельнике «Элет эш иродалом»,— философски глубоко анализирующие и оценивающие события действительности, отличаются предельной простотой. Главное качество его лирики — высокая гражданственность; поэтическое кредо поэта — социалистический реализм».

ГАНА

ПЬЕСА ЭФУА САЗЕРЛЕНД

С большой теплотой отзывается газета «Ганиен таймс» о новой пьесе Эфуа Сазерленд «Эдуфа», считая ее высшим достижением писательницы в области драматургии.

Газета отмечает, что тема пьесы, поднимающей актуальные и вместе с тем глубоко человечные проблемы, не может не вызвать интереса у зрителя. Драматург спрашивает: является ли истинным успехом тот успех, который достигается лишь с помощью материального благополучия, может ли быть счастлив человек, у которого есть все, кроме чистой совести?

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СТИХИ О МАРКСЕ И ЭНГЕЛЬСЕ

«Вряд ли нужно особо говорить о значении сборника «Тексты ранней социалистической литературы в Германии», выпущенного Академией»,— пишет критик еженедельника «Зоннтаг».

Долгое время — из-за противодействия буржуазных историков немецкой литературы — о революционной социал-демократической поэзии, предвестнике социалистической национальной литературы, ничего не было известно. И только за последние годы в ГДР появились первые крупные исследовательские работы о литературном наследии XIX века в этой области.

По словам критика «Зоннтаг», том «Текстов ранней социалистической литературы в Германии» является удачной попыткой систематизировать произведения, характеризующие немецкое рабочее движение со времени основания социал-демократической рабочей партии.

Основное внимание составителями уделено стихам о Карле Марксе и Фридрихе Энгельсе. Наряду с известными стихотворениями Якоби, отражающими великие идеи Маркса и Энгельса, в том вошли хотя менее известные, но полные революционной страстности, стихотворения Карла Кайзера, а также других авторов, имена которых до сих пор не упоминались в сборниках и антологиях.

Стихи и баллады приведены в их оригинальной редакции. Некоторые из этих стихов, как пишет критик «Зоннтаг», страдают схематизмом, иногда отражают понятные для авторов того времени мелкобуржуазные тенденции. И все же лучшие из них, такие как, например, «Интернациональная рабочая ассоциация» Кегеля, поднимаются до настоящего революционного пафоса.

МОЛОДАЯ ПОЭЗИЯ

Недавно западногерманская газета «Франкфуртер альгемейне» с нескрываемым раздражением писала о том, что лирики ГДР посвящают свои стихи достижениям республики, своей партии, воспитанию человека нового общества, мирной политике своего государства.

Откликаясь на это выступление, газета «Берлинер цейтунг» заявила: «Очевидно, кое-кому из Франкфурта-на-Майне не нравится, что, например, Гюнтер Энгельман по профессии — крановщик, Гейнц Калау был трактористом, а Иоахим Ремер — студент факультета философии института марксизма-ленинизма. То, что поэты республики тесно связаны с трудовым народом, и потому все их творческие замыслы отражают жизнь первого в мире немецкого государства рабочих и крестьян, убедительно доказывают их произведения.

Стихи молодого поэта Гюнтера Энгельмана привели в ужас западногерманских «литературоведов» потому, что они, дескать, «бомбардируют мир». Автор этих стихов—лауреат премии имени Эрнста Цинна, немецкого патриота, павшего на баррикадах революции 1848 года. И его стихи широко печатаются на страницах газет и журналов ГДР.

АННА ЗЕГЕРС О РУССКИХ КЛАССИКАХ

Впервые изданы в одном томе критические статьи Анны Зегерс о русских писателях-классиках. Берлинское издательство «Ауфбау» выпустило в свет ее сборник «О Толстом, о Достоевском».

Писательница, как сообщает рецензент газеты «Дер морген», приходит к интересным выводам о взаимосвязях русской и немецкой литератур, наглядно демонстрируя это, в частности, на примере Ивана Карамазова и Андриана Леверкюна — героя романа Томаса Манна «Доктор Фаустус».

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

В заседании Центрального Правления Союза работников изобразительного искусства Германии, происходившем недавно в Дрездене, как сообщает пресса ГДР, приняло участие почти сто известных художников и скульпторов республики.

Ведущие художники и скульпторы высказались за принципы социалистического реализма и осудили чуждые рабочему классу абстракционистские течения в искусстве. Профессор Леа Грундиг обратила внимание участников заседания на недопустимость смешения понятия нового в искусстве с абстрактным модернизмом. По ее словам, художник, вставший на путь абстрактного «искусства», не может выражать стремления революционного рабочего класса.

Известный график Курт Циммерман резко возразил тем, кто выступает за примирение с существованием в ГДР модернистских течений. Он заявил, что суть модернистских воззрений в искусстве, по его мнению, чужда социалистической идеологии. Единственно верным путем в искусстве художник считает путь социалистического реализма.

...У выхода из маленького порта Англии гитлеровская подводная лодка в 1940 году потопила судно, на котором находились английские дети, эвакуированные из больших городов, подвергавшихся воздушным налетам. По оценке критики, режиссеру Иоахиму Гаслеру, поставившему на основании этого факта фильм «Туман», удалось создать произведение, тема которого волнует все человечество. Преступника, сознательно совершившего это нечеловеческое злодеяние, недавно изобличили, когда он прибыл в Англию в качестве уполномоченного западногерманского бундесвера, офицера связи под именем Ведель. Английский водолаз Билл Смит узнал в «мистере» Веделе бывшего гитлеровца. Ведель выхватил пистолет, но Смит успел выстрелить первым. И что же? Смит предстает перед судом присяжных, его обвиняют в убийстве западногерманского офицера. Здесь помещен кадр из фильма «Туман».

(Газета «Нейес Дейчланд»)

НОВАЯ «ИСТОРИЯ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Несколько лет назад издательство «Фольк унд виссен» приступило к выпуску новой, десятитомной «Истории немецкой литературы». Авторский коллектив, в который входят литературоведы Иоахим Бёэк, Гюнтер Альбрехт, Курт Боттшер, Клауз Гузи и Пауль Гюнтер Крон, решил создать научное исследование о путях национальной литературы, с марксистских позиций освещающее литературный процесс в стране в его историческом развитии.

До настоящего времени вышло пять томов «Истории немецкой литературы», охвативших период с XV по XVII век. Газета «Берлинер цейтунг» высоко оценивает уже вышедшие тома и подчеркивает при этом, что решение важных задач, стоящих перед новым изданием, оказалось по плечу коллективу ученых-литературоведов.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

БРУНО АПИЦ ПЕРЕД МОЛОДЕЖЬЮ ФРГ

Как сообщает газета «Нейе цейт», писатель из Германской Демократической Республики Бруно Апиц недавно побывал во Франкфурте-на-Майне. Бруно Апиц пользуется большой популярностью среди читателей у себя на родине и за границей. Его роман «Голый среди волков» (в Советском Союзе вышел под названием «В волчьей пасти»), по которому сделаны радиопьеса, фильм и телепостановка, за короткое время переведен на семнадцать языков общим тиражом более миллиона экземпляров.

Преодолев многочисленные рогатки, расставленные боннскими властями, писатель сумел встретиться с молодежью ФРГ. Встреча писателя с молодыми немцами состоялась в клубе Вольтера, который ставит своей целью собирать молодых литераторов, студентов и рабочую молодежь, независимо от их политических убеждений, для серьезных и широких дискуссий по самым животрепещущим вопросам современности.

Бруно Апиц рассказал молодежи о своем романе «Голый среди волков», о борьбе антифашистов в гитлеровской Германии. «Мы, узники Бухенвальда,— сказал писатель, проведший много лет в концлагере,— уже видели вблизи звериную морду гитлеровского фашизма. И мы хотим теперь, чтобы в истории человечества никогда не повторились ни Бухенвальд, ни Освенцим».

Развернувшаяся после выступления писателя дискуссия, как отмечает печать, во многом содействовала тому, чтобы рассеять ложные представления о ГДР, распространяемые боннской пропагандой.

С ЖИЗНЬЮ В РАЗЛАДЕ

«В нашей стране нет, пожалуй, другой более трудной художественной задачи, чем отражение действительности»,— такое откровенное признание сделал доктор Рихард Гипе в статье, помещенной в журнале «Тенденции», выходящем в Мюнхене. «Я не знаю,— продолжает автор,— что испытывает итальянец Гуттузо, когда рисует прохожих на улицах Рима или оливковые деревья на каменистых полях Юга, но я вижу по его картинам, с каким глубочайшим чувством воспринимает он и этих людей и окружающие предметы, как они волнуют и потрясают его своими формами, как неразрывно он связан с ними... В моей стране, в Федеративной Республике, я встречаю очень мало художников, которых бы потрясали и вдохновляли реальные образы и события. Да будет мне позволено сделать из этого вывод, что художники в моей стране равнодушны к действительности, что она им чужда и что они не считают ни прохожих на улице, ни деревья, ни крестьян возможными объектами своего творчества».

Гипе далее отмечает, что в книгах, в критических статьях и в высказываниях самих художников ему приходилось встречать многословные рассуждения о тайнах творчества, но, продолжает автор, «...при всем этом я не узнал, почему в нашей стране ни один прохожий, ни одно лицо из толпы, ни одно обыденное или исключительное явление не потрясают, не трогают и не подвигают художников на отображение действительности, как это делает Гуттузо».

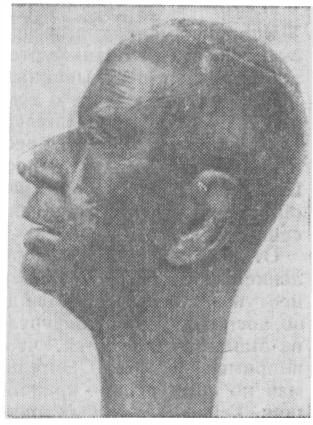
Надо ли говорить, что ответ на поставленный Гипе вопрос следует искать в современной политической действительности Западной Германии?

«ЗАПОЗДАЛЫЕ ПОЧЕСТИ ВЕЛИКОМУ СЫНУ»

Под таким заголовком в газете «Вельт» помещено сообщение о том, что на родине Томаса Манна в Любеке открыт дом-музей, а вернее, мемориальная комната писателя. Она находится в семейном доме Маннов — в знаменитом «домике Будденброков».

«Скажем прямо,— пишет газета,— город Любек заставил нас слишком долго дожидаться мемориальных почестей своему великому сыну Томасу Манну... Последним чествованием Томаса Манна, еще при жизни писателя, было вручение ему свидетельства почетного гражданина, когда многие на Севере Германии увидели писателя в первый раз после нескольких десятилетий и вместе с тем в последний раз. Уже тогда можно было бы начать сбор рукописей, писем, картин и других экспонатов».

Однако, указывает «Вельт», эта возможность была упущена. Впоследствии открылось хранилище наследия Томаса Манна в Цюрихе, которое теперь обладает привилегией приоритета и



Томас Манн. Скульптурный портрет Густава Зейца.

(Газета «Берлинер цейтунг»)

большим фондом. Газета с завистью пишет о процветании цюрихского «Архива Томаса Манна», в котором «собрано так много всего, что, собственно говоря, это уже не подбадривает, а деморализует конкурента...»

Сделав такое оригинальное признание, газета воздает хвалу «отцам города» за то, что они все же не растерялись «в этой ситуации» и смело пошли на оборудование любекского дома-музея, проявив в этом деле «большой такт, прилежание и известный юмор» (!). Говоря о заслугах городских властей, газета сообщает: в нескольких шагах по той же улице стоит дом отца Томаса Манна, восстановленный и приспособленный для своих нужд каким-то банком...

ЦИНИЗМ, ПУСТОТА И НАБОР ЗВУКОВ...

Пресса Западной Германии и Западного Берлина недавно отмечала день рождения некоего врача Готфрида Бенна, умершего семь лет назад. По оценке западногерманских литературоведов, этот медик, оказывается,— «великий деятель немецкой литературы, величайший лирик со времен Рильке», «ранга Иоганнеса Бехера и Брехта».

«В самом деле,— пишет в связи с этим демократиче-

ский еженедельник «Вохенпост»,— Иоганнес Р. Бехер начинал свою деятельность как поэт почти одновременно с Готфридом Бенном, но только это обстоятельство их и связывает... Бехер стал трибуном немецкого народа, выразителем идей социалистического гуманизма, а Бенн — жалким циником, фашистом, проповедником «холодной войны».

Творческое кредо «лирика» Готфрида Бенна сформулировано в таких строках его стихов: «В мире существуют только две вещи — отмеченное роком «Я» и пустота», а жизнь, по его мнению, «плевательница, куда все плюют». Вскрытие трупов, нецензурные сцены — вот излюбленная тематика этого поэта от медицины. После прихода Гитлера к власти Бенн всплыл как откровенный глашатай фашизма и закончил свой «творческий» путь рупором идей «холодной войны».

Теперь этот, с позволения сказать, «лирик» находит в Западной Германии последователей и подражателей. Среди них — Вольфганг Бехлер и более молодой Томас Бернхард, проповедующие безнадежность, страх, бессмысленность и разврат. Ганс Гюнтер Хельмс издал в Кёльне под видом томика стихов набор лишенных всякого смысла звукосочетаний; ему вторит некий Франц Мон. К разряду разжигающих ненависть к ГДР относится, как сообщает печать, и «поэтесса» Сюзанна Геберт Регер, поступившая в услужение к западноберлинским политикам. Гюнтер Грасс пишет не только абсурдные пьесы и не только издал том своих стихов под весьма своеобразным названием «Хорошие качества борзых кур», но и сочинил открытое письмо Анне Зегерс с наглым требованием, чтобы она официально отказалась от поддержки мирных мероприятий правительства ГДР от 13 августа 1961 года.

«Есть, к сожалению, в Западной Германии,— пишет критик «Вохенпост»,— поэты и прозаики, избравшие фальшивый путь, путь Готфрида Бенна, вся цель которого состояла в том, чтобы увести читателя от реальной действительности к декадентскому мировоззрению, к гнилой идеологии фашистских «ультра».

ГРЕЦИЯ

ПЕРВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

Суд первой инстанции города Афин утвердил в правах Ассоциацию писателей и деятелей искусства Греции — ОЛКОЕ.

«Это первое подобное объединение в истории страны,— пишет газета «Авги».— Оно создает возможности для тесного сотрудничества деятелей литературы и искусства и успешного решения общих профессиональных вопросов и нужд. Ассоциация призвана направлять культурную жизнь страны, заботиться о росте и развитии всех областей искусства, бдительно охранять права художника».

КОНКУРС «КОРИСХАДЕС»

Корисхадес — небольшая деревня в горной части Румелии, но она известна каждому греку. Здесь в 1944 году, в период немецкой оккупации, собрался Национальный совет борющейся против фашизма Греции. Корисхадес — символ национального Сопротивления, в современной Греции объявленного вне закона. Одним из многих актов, направленных на то, чтобы уничтожить даже память о нем, явилось постановление властей переименовать деревню Корисхадес в Агиа Триада.

Антидемократический акт властей вызвал возмущение греческой общественности. В знак протеста против этой оскорбительной для греческого народа меры, а также в знак уважения к героям антифашистской борьбы журнал «Эпитеориси технис» объявил конкурс на лучший рассказ о национальном Сопротивлении. Этот конкурс был назван «Корисхадес».

Недавно газета «Авги» опубликовала результаты конкурса. Первой премии «Корисхадес» удостоен Мицос Александропулос за рассказ «Облако». Вторая премия присуждена Димитрису Демертзису за рассказ «Утро Фотиса Загориса». Третьей премией был отмечен рассказ Алексиса Севастакиса «И другие святые». Несколько рассказов получили поощрительные дипломы.

Комментируя итоги конкурса, газета «Авги» подчеркивает то обстоятельство, что среди лауреатов конкурса — два писателя-политэмигранта (Мицос Александропулос и Георгиос Гривас). «Этот факт,— пишет газета,— еще раз доказывает, что в эмиграции находятся значительные культурные силы страны. В этом убеждает также недавнее присуждение первой премии музыкального конкурса композитору — эмигранту Ксенакису и первой премии Антропологического общества антропологу-эмигранту Пуляносу. Нельзя допустить, чтобы такие видные представители греческой культуры находились вне страны. Они должны вернуться на родину и содействовать ее дальнейшему прогрессу».

ИНДИЯ

«СТО РАССКАЗОВ ВЕКА»

Так называется двухтомник, опубликованный калькуттским издательством «Бенгал паблишерз».

В первом томе помещено пятьдесят пять произведений старых бенгальских писателей, среди которых — Бхабани Чаран Баннерджи (некоторые литературоведы считают его основоположником короткого рассказа на бенгали), Рабиндранат Тагор, Банким Чондро Чаттерджи, Шорот Чондро Чаттерджи, Промотх Чоудхури и другие.

Во втором томе читатель знакомится с творчеством представителей современной бенгальской литературы. Здесь произведения Тарашанкара Баннерджи, Про-

Картина видного индийского продюсера и режиссера Мехбуба «Мать Индия» несколько лет не сходила с экранов страны, пользуясь неизменным успехом. Недавно зрители познакомились с новой работой Мехбуба — цветным фильмом «Сын Индии». Это киноповесть о трудной и противоречивой судьбе восьмилетнего мальчика, который в поисках пропавшего отца бродит по дорогам своей родины, сталкивается с самыми разными людьми, становится участником или наблюдателем многих событий — жизнь предстает перед ним во всей своей полноте. Критика отмечает блестящую операторскую работу ветерана индийского кино Фэрдуна Ирани, мастерство которого проявилось особенно ярко в натурных съемках. Талантливо и уверенно исполняет роль мальчика маленький актер Саджид (на снимке).

(Журнал «Филмфэр»)

бодха Саньяла, Бимала Митро, Премендро Митро, Маника Баннерджи, Моноджа Бошу и работы многих совсем молодых писателей — всего сорок пять рассказов. Каждый автор представлен в сборнике одним произведением.

«Систематическое изучение короткого рассказа на бенгали за последнее столетие показало, что этот жанр, претерпев длительный процесс эволюции, достиг в настоящее время расцвета»,— пишет в рецензии на новую книгу видный бенгальский прозаик и критик Хирендранат Датт в газете «Бхарат джоти».

Книга, по мнению критика, «дает читателю обширное, хотя, возможно, и несколько беглое представление о социальных системах, господствовавших в стране в тот или иной период... Основная ценность сборника в том, что он последовательно знакомит с коротким рассказом на бенгали, давая возможность проследить его эволюцию».

ИСПАНИЯ

ВОПРЕКИ ЗАПРЕТУ ВЛАСТЕЙ

Недавно в мадридском выставочном зале «Кихоте», на площади Эспанья, была устроена выставка художников-графиков объединения «Народный эстамп». Эта группа испанских художников вот уже несколько лет правдиво показывает в своих произведениях борьбу, надежды и страдания народа. В свое время франкистские власти запретили проведение их выставки в Бильбао. Однако под давлением общественности власти были вынуждены пойти на уступки, о чем свидетельствовала прошедшая с большим успехом последняя выставка в Мадриде. Среди экспонированных работ были произведения Ибароллы и Марии Лапены, осужденных в сентябре прошлого года военным трибуналом, а также известного художника Ортеги, покинувшего Испанию ввиду преследований со стороны властей.

Франкистский режим не в силах сдержать рост оппозиции. В Барселоне, как сообщает печать, был проведен конкурс на выявление лучшего актера и актрисы, автора и режиссера 1962 года. Многие театральные критики газет, радио и журналов Барселоны, входившие в жюри конкурса, среди лучших авторов пьес 1962 года назвали Лауро Ольмо — автора пьесы «Рубашка», рассказывающей об испанских эмигрантах, покинувших страну в поисках работы и куска хлеба. В начале прошлого года эта пьеса была запрещена франкистскими властями. Тем не менее многие театральные критики, называя лучшего режиссера 1962 года, отдали предпочтение Альберто Гонсалесу Верхелю за постановку этой пьесы в одном из театров Барселоны.

ЦЕНЗУРНЫЙ ПРЕСС

По сообщениям иностранной печати, франкистская цензура получила новые установки в отношении фильмов, считающихся в Испании «опасными» с социальной или религиозной точки зрения. Цензуре дано указание, в частности, не вырезать из киноленты «аморальные» кадры, а запрещать фильм целиком. Эти установки предусматривают запрещение фильмов, где говорится о самоубийстве, мести, дуэли, разводе или о чем-либо другом, что «противоречит» официальным взглядам католической церкви на брак и семью. Безусловно, запрещаются фильмы, «подстрекающие к классовой борьбе, критикующие церковь, основы государства или его главу».

ИТАЛИЯ

«ПОЧЕМУ Я ГОЛОСУЮ ЗА КОММУНИСТОВ»

Под этой рубрикой газета «Унита» опубликовала серию интервью с писателями, выступавшими на последних парламентских выборах в поддержку Коммунистической партии Италии.

Итало Кальвино, Карло Леви, Гвидо Пьовене, Чезаре Дзаваттини и другие итальянские писатели в своих интервью решительно высказались за необходимость демократизации общественной и политической жизни в Италии, усиления «левой, рабочей оппозиции», за мирное сосуществование между народами, призвали к бдительности, необходимой в связи с угрозой миру со стороны оси Париж—Бонн, к активным действиям со стороны Италии, направленным на укрепление мира и дружбы между народами.

НОВАЯ ПОВЕСТЬ ИТАЛО КАЛЬВИНО

В издательстве Эйнауди вышла новая повесть Итало Кальвино «Один день члена счетной комиссии». Повесть написана в той же реалистической манере, что и повести «Смог» и «Жилищная спекуляция», от которой писатель нередко отходит в своем творчестве, увлекаясь сказочно - аллегорическими сюжетами. В рецензии, опубликованной в газете «Унита», литературный критик Микеле Раго пишет, что читатели уже давно ждали от Кальвино такого произведения, посвященного сегодняшней Италии. В известной мере повесть носит автобиографический характер, и в основе ее лежат подлинные факты и наблюдения автора.

Герой повести — молодой коммунист-интеллигент из Турина Америго Ормеа, которого посылают во время выборов работать членом счетной комиссии на избирательный участок «Коттоленго» (большая клиника для хронических больных и инвалидов). В день выборов, находясь на избирательном участке в городской больнице, он своими глазами видит, что представляет собой в действительности буржуазная демократия и система выборов. Перед Ормеа проходит целая галерея увечных, неполноценных физически и духовно людей, голоса которых используют на выборах ловкие политиканы из правящей христианско-демократической партии, действуя через ухаживающих за больными сестер-монахинь и священников. Здесь еще чудовищнее, порой гиперболично обнажаются язвы и контрасты католической Италии.

Ормеа — не активист, не руководящий работник, это рядовой, молодой член партии, еще не слишком твердо и ясно осознавший итальянскую социальную и политическую действительность. Автора интересует не столько то, что видит в «Коттоленго» Ормеа, сколько те мысли и чувства, которые у него возникают при этом первом серьезном столкновении с действительностью. Процесс осознания, внутренняя работа, происходящая в уме молодого коммуниста в день выборов, и составляют главное содержание произведения. Повествование ведется в нескольких планах, реальные эпизоды чередуются с авторскими отступлениями, воспоминаниями и размышлениями героя.

Рецензент газеты «Унита» Микеле Раго приветствует возвращение писателя на путь реализма, считая, что эта повесть открывает новый период в его творчестве — период углубленного анализа современной итальянской действительности.

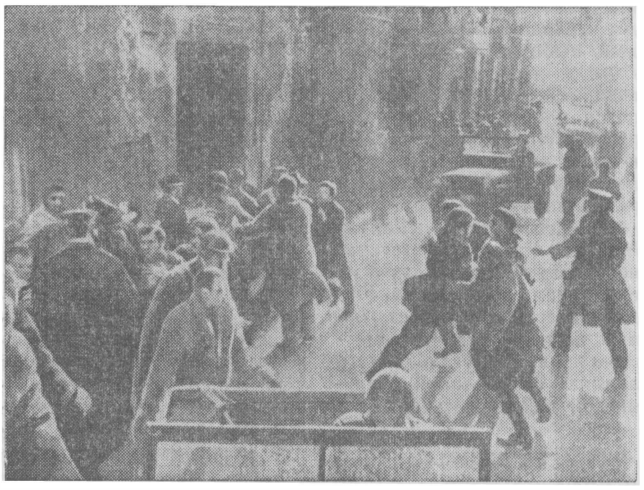
«ОХОТА ЗА ВЕДЬМАМИ» В РИМЕ

51 деятель итальянской культуры — в том числе писатели Моравиа, Леви, Кальвино, Дзаваттини, Унгаретти, художник Гуттузо, кинорежиссеры Феллини, Антониони и Цурлини — подписали протест против беспрецедентного решения римского суда, приговорившего известного прогрессивного писателя и кинорежиссера Пьера Паоло Пазолини к четырем месяцам тюремного заключения за один из эпизодов в фильме «Рогопаг» (называющемся так по начальным буквам фамилий создавших его четырех режиссеров—Росселлини, Годдара, Пазолини и Грегоретти). На судебном процессе, который прогрессивная печать сравнивает с процессами, устраивавшимися в средние века в Риме инквизицией, Пазолини на основании нового реакционного закона о киноцензуре был обвинен в «оскорблении религии» и приговорен к тюремному заключению, причем прокурор требовал максимального срока—года тюрьмы. Авторы множества статей и писем, публикующихся в левой печати, выражают свое возмущение судебным издевательством над Пазолини и указывают, что это первое в послефашистской Италии судебное решение, приговаривающее к тюремному заключению художника за созданное им произведение.

Любопытно отметить, что этот фильм Пазолини даже не был запрещен цензурой, а ведающий кино ватиканский «Католический киноцентр» не усмотрел в нем опасности для религии. Бо-

Пьер Паоло Пазолини перед судом.

(Газета «Паэзе сера»)



Молодой кинорежиссер Франческо Рози, постановщик картины «Сальваторе Джулиано», снимает в Неаполе фильм «Захват города». В основу сюжета положены подлинные факты, сообщенные недавно итальянской печатью: махинации спекулянтов строительными участками в Неаполе, в которых оказались замешанными министры, епископы и самые «видные» люди города. В районах, предназначенных для строительства роскошных особняков, были снесены десятки старых домов, а их жители выброшены на улицу. На снимке кадр из фильма.

(Газета «Унита»)

лее того, некоторые католические газеты дали положительную оценку эпизоду, поставленному Пазолини (нищий, голодный актер, которому предложена роль в «библейском» фильме, при первой возможности набрасывается на еду, а потом умирает на кресте от несварения желудка).

Пазолини, правдиво показывающий в своих романах («Лихие ребята», «Жестокая жизнь») и фильмах («Нищий», «Мама Рома») страшную жизнь обитателей римских окраин, не впервые подвергается судебным преследованиям. Не так давно против него было выдвинуто нелепейшее обвинение в попытке ограбления хозяина бензозаправочной станции, а до того — в укрывательстве вора (!).

АВТОР «ПЕРЕВОДА» НА СВОБОДЕ

«Иностранная литература» уже сообщала (№ 3, 1963) о романе «Перевод», написанном в тюрьме неизвестным автором. Этот роман вышел в свет и, как сообщает итальянская печать, пользуется успехом у читателей, получил весьма высокую оценку у критики как зрелое, реалистическое произведение.

Стало известно имя автора романа. Это Сильвано Чеккерини, начавший писать в тюрьме. В связи с плохим состоянием здоровья он по амнистии освобожден из тюрьмы в Бари. Он был осужден еще при фашизме на 22 года тюремного заключения.

КАНАДА

АБСТРАКЦИОНИСТ ЛЕЗЕТ В КОСМОС

Жил-был в Торонто скромный молодой человек Джеральд Глэдстоун, подвизался он на скромной работе: служил в рекламном агентстве, рисовал этикетки для консервных банок и пачек печенья. И вот как-то его осенила идея: можно заработать без всякого труда. Так появилась первая абстрактная «скульптура» Джеральда Глэдстоуна, который учел «моду» и решил на ней подработать. «Ваял» он не из мрамора, гранита или камня, а из ультрасовременного материала, например, сваривал отдельные куски металла и давал своему сооружению какое-нибудь сенсационное название. Успех был обеспечен.

Последнее творение Глэдстоуна, откликающееся на достижения науки в области космических исследований, названо «Сидящая женская галактика»(!). Изобразив «сидящую галактику» из металлолома, он придал ей «профессиональный» вид — натянул на нее кислородный шлем и кое-какое оборудование, по его представлениям, необходимое для общения с космосом. А канадский журнал «Мэклинз» вполне серьезно информирует своих читателей о «свежести» и «самобытности» этого опуса предприимчивого специалиста по рекламе и сообщает, что в ряде городов Канады будут организованы выставки «космического абстракциониста».

КИТАЙ

БЛИЖЕ К ЖИЗНИ

Для китайских писателей стало традицией жить среди рабочих и крестьян, некоторые литераторы надолго обосновываются на заводах и в деревнях, другие систематически туда приезжают.

Чжоу Ли-бо, живущий в одной из хунаньских деревень, сообщил представителям печати, что он намерен продолжать изучение жизни крестьянства с целью отражения его в своих книгах. Ай У, который много лет провел на аньшаньском комбинате, теперь едет в свою родную Сычуань, где он не был лет двадцать. Чжао Шу-ли вновь уезжает в деревню, в Шаньси. Приехавший из бассейна Сунгари Ло Бин-цзи намерен поселиться в одном из горных районов страны.

Писатель Ху Вань-чунь, бывший рабочий-металлург, возвращается на свой завод.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА

Обозреватель журнала «Пекин ревью» сообщает, что более половины опубликованных в прошлом году романов посвящены истории революционной борьбы китайского народа.

Читатели, по словам обозревателя, особенно тепло встретили появление последней части трилогии «Первый этап войны» известного китайского писателя Сунь Ли, вернувшегося после длительной болезни к творческой работе. Автору удалось показать процесс пробуждения народных масс в Хубэе, где 8-я Красная Армия основала одну из революционных баз на первом этапе борьбы с японскими агрессорами.

ТРАГИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ

Накануне войны с Японией гоминьдановская пропаганда всячески рекламировала палача тайпинского восстания Цзен Го-фаня, называя его героем китайского народа. В ответ на это известный драматург Ян Хань-шэн написал в 1937 году историческую драму «Смерть Ли Сю-чена», создав в ней героический образ одного из вождей тайпинского восстания. Пьеса шла с неизменным успехом на сценах Шанхая, Ухани, Чунцина и на опорных базах в тылу врага. Чтобы обойти жестокую гоминьдановскую цензуру, Ян Хань-шэн был вынужден сгладить некоторые острые углы и показать Ли Сю-чена несколько односторонне.

Но несмотря на это гоминьдановские власти встретили пьесу в штыки. Об одном трагическом представлении пьесы недавно сообщила газета «Чжунго цинянь бао»: «Весной 1939 года пьеса «Смерть Ли Сю-чена» была поставлена труппой молодых артистов-патриотов в театре «Чжаньган». После этого все участники труппы — около 50 юношей и девушек — были арестованы по обвинению в коммунистической пропаганде, подверглись допросам, избиениям, пыткам. И почти все они были замучены до смерти».

КУБА

В кубинской печати опубликованы результаты IV Латиноамериканского литературного конкурса, проводимого гаванским издательством «Каса де лас Америкас» Премии присуждены, в частности, кубинским писателям Лисандро Отеро (по жанру романа) и Гумерсиндо Мартинесу Аменгуалю (по жанру эссе), который, кстати, был лауреатом проводившегося в прошлом году III Латиноамериканского литературного конкурса Среди премированных — Роке Дальтон (по жанру поэзии), Лоло́ де ла Торриенте (по жанру репортажа) и Рохелио Гамуссо (по жанру рассказа). На снимке: лауреаты конкурса — кубинцы с поэтами Николасом Гильеном и Мануэлем Наварро Луна.

(Газета «Революсьон»)

ЛИБЕРИЯ

ШКОЛЫ ЛИТЕРАТУРНОГО МАСТЕРСТВА

Либерийская печать сообщает о том, что в стране выявляется молодежь, имеющая склонность к поэтическому и прозаическому творчеству, с тем чтобы направлять ее на литературную учебу. Предполагается создать школы литературного мастерства, преподавать в которых будут писатели.

ЛИВАН

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

Журнал «Ат-Тарик» сообщает о присуждении очередных литературных премий писателям и деятелям культуры Ливана.

Высшей награды — Премии президента республики за лучшие произведения на арабском языке — удостоен старейший ливанский ученый, автор толкового словаря арабского языка «Аль-Муджама» шейх Абдаллах аль-Аляили. Премия Общества друзей книги присуждена писателю Жоржу Шахаде, пьесы которого, написанные на французском языке, ставились во Франции и Германии. Премия за лучшую литературоведческую работу, посвященную Ливану, присуждена доктору Кемалю аль-Язиджи за книгу «Пионеры литературного возрождения».

Премию города Бейрута получил писатель Юсуф ас-Саиг за книгу рассказов «Хлеб-соль». Премию «За лучший роман» решено поделить поровну между маститым писателем Сухейлем Идрисом, автором романа «Наши горящие пальцы», и молодой журналисткой Эмили Насрулла, написавшей роман о ливанской деревне «Сентябрьские птицы».

Лучшим поэтическим сборником 1962 года была признана книга «Свирель и ветер» Халиля Хави, удостоенного премии за поэзию.

Премия за лучшее драматическое произведение была поделена между Тауфиком Юсуфом Аввадом («Турист и переводчик») и Антуаном Маалюфом («Вавилон»).

МЕКСИКА

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРОЗАИКОВ

В течение прошлого года, как пишет критик Эммануэль Карбальо в журнале «Сьемпре», в Мексике вышло двадцать девять романов. Лучшей книгой года автор обзора считает «Истощенные земли» видного мексиканского писателя Агустина Янеса. В романе показана жизнь мексиканской деревни, ее проблемы.

Положительно оценен критиком роман молодого, но уже широко известного писателя Карлоса Фуэнтеса «Смерть Артемио Круса». В центре этого произведения — фигура мексиканского миллионера Артемио Круса, история его возвышения и смерти. По словам Карбальо, этот роман ставит Фуэнтеса «в число крупных романистов». Роман Росарио Кастельянос «Призвание тьмы» посвящен жизни и борьбе индейцев племени чамулас в штате Чиапас. Эухенио Труэба ставит в своем романе «Туманный образ» проблемы молодежи в провинциальном мексиканском городке. Автор обзора подчеркивает, что в истекшем году среди романистов возобладала тенденция к реалистическому отображению действительности.

Из повестей наибольший успех выпал на долю «Аура» Карлоса Фуэнтеса. Эту повесть Карбальо называет «мастерским реалистическим произведением».

Большая часть рассказов, сообщает в этом же журнале критик Карлос Вальдес, принадлежит перу молодых авторов. Большинство мексиканских новеллистов проявляет интерес к реальной жизни и понимает, какую опасность таит в себе так называемое «чистое искусство» и «литературные выкрутасы». Задачу писателя они видят в правдивом показе человека и окружающей его среды. Среди имен авторов рассказов Вальдес называет Эмилио Карбальидо, Хосе да ла Колину, Марио Монтефорте Толедо. Хорхе Лопеса Паэса.

НИГЕРИЯ

РОМАН ОНУОРЕ НЗЕКВУ

Действие нового романа Онуоре Нзекву «Конфликты молодости» развертывается в древнем племени иб. Герой книги Патрик с детства мечтает стать католическим священником. Но против этого выступают его родные. По их мнению, он должен следовать религии своих отцов и дедов, тем более что по наследству он является «окналой», то есть духовным главой своего клана.

Но не религиозный конфликт, как это может показаться с первого взгляда, лежит в основе книги — она рассказывает о борьбе Патрика с теми, кто по той или иной причине мешает ему выбрать свой жизненный путь. Герой романа быстро разочаровывается в католической церкви. Он увидел, что здесь нет свободы личности, которой он так дорожит, что надо слепо и беспрекословно повиноваться, следовать церковным канонам.

Отмечая, что в новом романе, как и в «Веточке от благородного дерева» (см. «Иностранную литературу» № 1 за 1962 г.), вновь сказалось хорошее знание автором жизни и обычаев народа, рецензент журнала «Сентрал Африка игземинер» указывает и на имеющиеся в нем недостатки, в частности, автор не дает ясного представления об истинном отношении героя к религии.

ОАР

«КАК Я СТАЛ ПИСАТЕЛЕМ»

Под таким заголовком журнал «Аль-Адиб» опубликовал отрывки из воспоминаний крупнейшего египетского писателя-новеллиста Махмуда Теймура.

Пробуждению писательского таланта у молодого Махмуда Теймура во многом способствовал его отец, подаривший сыну, когда тот научился читать, «1001 ночь».

Махмуд Теймур.
(Журнал «Аль-Адиб»)

«Нет сомнения в том,— пишет Махмуд Теймур,—что «1001 ночь» возбуждает воображение писателя и знакомит его с элементами новеллистического творчества. Недаром Вольтер говорил, что он не один раз перечитал эту книгу, прежде чем принялся за сочинение рассказов... Если отцу принадлежит первая заслуга в развитии моего писательского дара, благодаря тому что он привил мне любовь к чтению в ранней юности, то человеком, побудившим меня писать серьезно и целеустремленно, был мой покойный брат Мухаммед Теймур, умерший в 1921 году». (Мухаммед Теймур был одним из основоположников реалистической арабской новеллистики и драматургии.)

Под влиянием своего старшего брата Махмуд Теймур познакомился с произведениями зарождавшейся в то время новой арабской литературы — со стихотворениями в прозе Джубрана, ар-Рейхани и Нуайме, а также с книгами основоположников египетского реализма Мухаммеда аль-Мувейлихи и Хейкаля, которые помогли ему спуститься «с небес крылатой фантазии» на землю.

Однако решающее влияние на Махмуда Теймура оказали произведения А. П. Чехова и Г. Мопассана, чьи рассказы он, по его словам, не прочитал, а «проглотил». После этого «шайтан стихо-

творений в прозе» окончательно покинул его, вскоре им был написан первый реалистический рассказ — «Шейх Гума».

В 1925 году вышел первый сборник рассказов Махмуда Теймура. С тех пор писатель опубликовал сорок рассказов. Многие произведения Теймура переведены на иностранные языки.

ПОЛЬША

«О ЧЕМ ПИШУТ ЖЕНЩИНЫ»

Под таким заголовком газета «Трибуна люду» поместила статью обозревателя Вацлава Садковского.

Книги польских писательниц, отмечает Садковский, рассказывают читателю, как правило, о нашей современности; в этом легко убедиться, если остановиться хотя бы на некоторых из них, вышедших в последние месяцы. Так, Крыстына Урбанович в романе «Свет в окне» описывает жизнь небольшого городка на Западных Землях Польши в первые послевоенные годы. О людях современной Варшавы повествует книга Малгожаты Холыньской «Теория мелких иллюзий». С большим юмором и любовью подходит Мария Опольская, лодзинская дебютантка, к проблемам семейной жизни, к ее трогательным заботам, большим и маленьким радостям и огорчениям в короткой повести «Божок семейного тепла».

Помимо современной проблематики, отмечает Садковский, польских писательниц глубоко волнуют и вопросы писательского мастерства, поиски наиболее совершенных выразительных средств.

За последнее время, отмечает рецензент, вышли книги, которые получили высокую оценку читателей. Одна из них—повесть Зофьи Хондзыньской «Химия», в которой раскрыта нелегкая судьба польской женщины, заброшенной волей судеб во время войны на чужбину: закономерно возвращение героини на родину, в народную Польшу.

Вторая книга, названная Садковским в числе лучших, — «Открытый портрет» Ванды Карчевской повествует о судьбе одного юноши.

ПИСАТЕЛЬ ЗА КИНОКАМЕРОЙ

В польской кинематографии уже известны примеры, когда писатель становился кинорежиссером — так было с Александром Сцибором-Рыльским, Тадеушем Конвицким. Творческая судьба Ежи Стефана Ставинского неразрывно связана с кино, он автор сценариев известных во всем мире фильмов: «Человек на путях», «Канал», «Эроика», «Косоглазое счастье». В настоящее время Ставинский — литературный руководитель творческого объединения «Камера».

Совсем недавно читатели получили его новую книгу «Погоня за Адамом». Герой этой книги — кинорежиссер, который едет в Буэнос-Айрес на торжественную премьеру своего фильма «Баррикада» об участниках польского Сопротивления. Во время поездки он встречается с людьми, которые были свидетелями событий, описанных в фильме. По словам самого Ставинского, «Погоня за Адамом» — в известном смысле эпилог «Канала», хотя эта последняя его книга вряд ли может быть экранизирована.

Над чем же работает писатель сейчас? Ставинский снимает фильм «Ссора», который должен состоять из трех новелл. Каждая из них будет рассказывать историю одной из трех пар молодых людей.

— Мне не хочется делать в этом фильме упор на проблемы так называемого «поколения двадцатилетних»,— сообщил Ставинский журналу «Фильм».— Меня уже давно раздражает трактовка молодых людей как существ с иной планеты — экзотических и руководствующихся совершенно особыми нормами поведения, чьи поступки нельзя ни предвидеть, ни объяснить. Образ «циничной молодежи атомного века», созданный кинематографом, начинает отрицательно воздействовать на молодежь. Я не могу с этим согласиться, поэтому в моем фильме молодые герои будут совершенно «нормальными». Об их молодости свидетельствуют их поступки, а не особый психологический склад ума.

Писатель Ежи Стефан Ставинский на съемках фильма «Ссора»

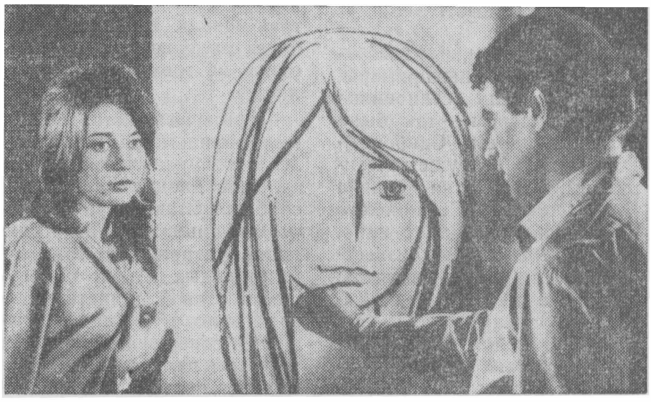
(Журнал «Фильм»)

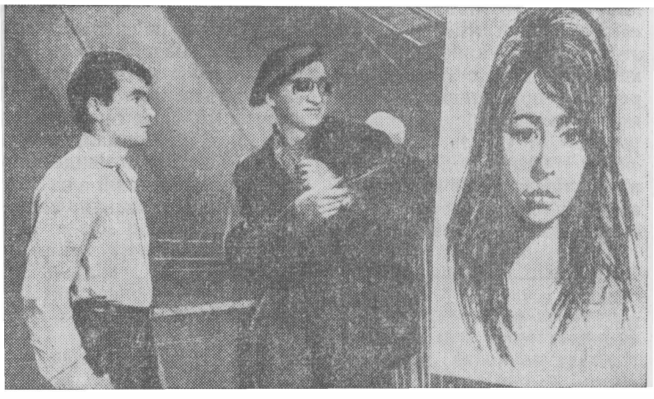
[redacted]

СТИХИ МАРИИ БАНУШ

Стихотворения, включенные в недавно вышедший из печати поэтический сборник Марии Бануш «Магнит», пишет литературный обозреватель газеты «Ромыниа либерэ», «отражают настроения и мысли поколений, прошедших через кровавую эпоху фашизма и войн и теперь имеющих возможность судить о прошлом и смотреть в будущее сквозь призму большой зрелости. Потребность понимать людей является одной из ярких черт поэтессы, и этим она обязана влиянию рабочего класса».

К наиболее ярким стихотворениям сборника рецензент относит «Мое поколение», «Поэзия», «Василек», «Башня», «Песнь о долгой жизни».





Известный прозаик Франчиск Мунтяну уже несколько лет связан с кинематографией Начав как сценарист (по его сценарию был поставлен фильм «Мяч»), он затем участвовал как второй режиссер в съемке фильма «Пылающая река» по сценарию, написанному им совместно с Титусом Поповичем; этот фильм получил премию на Международном кинофестивале в Карловых Варах (1960). Последний, опубликованный в начале прошлого года, роман Мунтяну «Терра ди Сиена» (под названием «Художник» напечатан в журнале «Иностранная литература» №№ 10—11, 1962) послужил основой для нового фильма «На небе нет решеток», недавно вышедшего на экраны В творчестве Мунтяну роман «Художник» занимает особое место — это первое крупное произведение, написанное с тех пор, как прозаик стал кинорежиссером. Роман писался одновременно со сценарием, и, выпуская книгу в свет, автор отметил: «Ритм фильма был внушен романом или, возможно, наоборот Теперь я не знаю точно Жду с нетерпением, что скажут читатели» Председатель Совета по кинематографии Государственного комитета культуры и искусства РНР Михня Георгиу, как сообщает еженедельник «Контемпоранул», заявил, что фильм «На небе нет решеток» «посвящен интересной проблеме, связанной с путем молодого художника к воинствующему искусству, к сознательной борьбе в период фашизации Румынии», и что этот «второй полнометражный фильм писателя режиссера Ф Мунтяну представляет собой очевидный и реальный прогресс в области кинорежиссуры» Здесь мы публикуем кадры из фильма «На небе нет решеток», полученные из Бухареста.

СИРИЯ

ЗА РЕАЛИЗМ

Видный сирийский писатель Фадыль ас-Сибаи в беседе с корреспондентом журнала «Аль-Адиб» рассказал о том, как, еще будучи учеником подготовительной школы в Алеппо, он увлекся поэзией и живописью, а позднее сам начал сочинять стихи. Только лет десять назад он оставил поэзию и целиком посвятил себя новеллистике, так как нашел в ней, по его словам, более широкие возможности для выражения всего, что его волновало.

Фадыль ас-Сибаи заявил, что он сторонник реализма, ибо новелле принадлежит «социальная миссия», и, пока этот жанр выполняет «социальную миссию», новелла должна быть ясной по содержанию для простого читателя.

Писатель призвал арабских литераторов отказаться от подражания декадентской литературе Запада и «не следовать примеру тех писателей, которые олицетворяют собой цивилизацию, достигшую стадии пресыщения и клонящуюся к упадку».

В числе лучших иностранных писателей ас-Сибаи назвал Л. Толстого, Чехова, Хемингуэя, Фолкнера и Диккенса.

США

ДЖЕЙМС БОЛДУИН ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

Молодой негритянский писатель Джеймс Болдуин становится одной из виднейших

фигур в литературном мире США. Точнее было бы сказать—не только в США, а в «англо-саксонском мире», так как выход его новой книги «В следующий раз — пожар» вызвал многочисленные отклики как в американской, так и в английской печати.

Английский критик Джон Дэйвенпорт заявил в еженедельнике «Спектэйтор»: «Безусловно — это величайший американский негритянский писатель, который когда-либо существовал. Новая книга Джеймса Болдуина публицистична. И многие критики считают, что его публицистические выступления, возможно, даже сильнее, чем его романы».

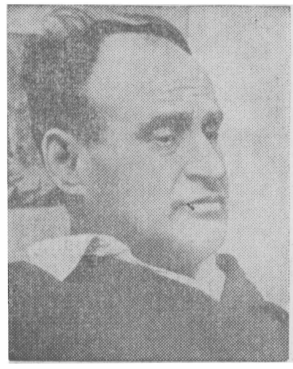
Тридцативосьмилетний писатель недавно побывал в Лондоне и встречался с английскими писателями. Обозреватель еженедельника «Обзёрвер» отмечает, что Болдуин — человек, полный горечи и воли к борьбе за права негритянского народа. В беседе с обозревателем Болдуин, в частности, сказал: «Представление о том, что на Севере неграм живется лучше, чем на Юге,— это один из мифов, распространяемых об Америке. У нас, в США, специально создается атмосфера, цель которой — доказать, что негры — низшая раса...»

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ

Литературный обозреватель «Чикаго дейли ньюс» Ван Аллен Брэдли призвал помочь погибающему от недостатка средств журналу «Поэтри мэгэзин», основанному еще в 1912 году.

«За последние восемь лет,— пишет Брэдли,— один из крупнейших мировых литературных журналов стал нищим и вынужден просить подаяние, и все это происходит в одном из богатейших городов нашей страны... Давно пора, чтобы город Чикаго и разбогатевшие в нем бизнесмены поняли, что журнал «Поэтри мэгэзин» имеет право на существование и на субсидии... Журнал находится в состоянии постоянного кризиса и существует в зависимости от чьего-то каприза или благотворительности».

ФИНЛЯНДИЯ



Вяйне Линна.
(Газета «Кансан уутисет»)

ВЯЙНЕ ЛИННА — ЛАУРЕАТ

Литературная премия Совета Северных стран присуждена финскому писателю Вяйне Линне, автору романа «Неизвестный солдат» и трилогии «Здесь, под Полярной звездою».

«Нет нужды притворяться и говорить, будто получение премии не является радостным событием»,— заявил Линна корреспонденту газеты «Кансан уутисет». На вопрос о дальнейших творческих планах он ответил, что пока не остановился на какой-либо определенной теме, но «скучает по работе».

«Я с удовольствием начал бы писать снова,— сказал Линна,— однако прежде надо обрести творческое вдохновение, ибо после многолетней напряженной работы последовала реакция... Театры просят написать пьесу, но сначала нужно найти весомую тему».

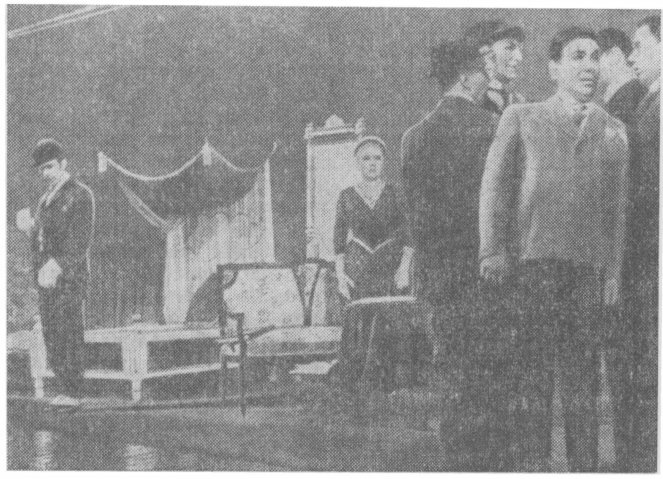
ЛУЧШИЕ ПЬЕСЫ

Первое место на конкурсе на лучшую одноактную пьесу, объявленном в Финляндии Центром культурной деятельности, завоевала пьеса Паули Кари «Железо и любовь». В пьесе критически изображены условия труда в стране. Герой ее трагически гибнет в результате несчастного случая на производстве. По словам газеты «Кансан уутисет», пьеса отличается правдивостью в описании условий труда рабочих.

Второе место заняла пьеса «Слепые» Осси Ояла. В ней также показаны социальные противоречия действительности, трудные поиски современной молодежью своего места в жизни.

В театре города Тампере, как сообщает газета «Кансан уутисет», с большим успехом недавно прошла премьера «Трехгрошовой оперы» Бертольта Брехта. Пьеса, поставленная учеником Брехта Вольфгангом Пинтцка, не повторяет ранних постановок «Трехгрошовой оперы» на сценах финских театров, где она шла как романтизированный спектакль о жизни нищих или поверхностная музыкальная комедия. В театре Тампере спектакль поставлен как острая сатира на буржуазное общество. На снимке. сцена из спектакля.

(Газета «Кансан уутисет»)



ФРАНЦИЯ

РОМАН О ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

1788 год. Голод, нужда, недовольство народных масс. Во Франции назревает революция. Молодой адвокат едет в Париж, чтобы принять участие в заседании Генеральных штатов. Там он встречает людей, о которых вскоре услышит весь мир,— Дантона, Робеспьера, Демулена... Он присутствует при взятии Бастилии, при первых шагах Национального собрания; он посещает клубы, спорит о политике. Обо всем этом Клод Мунье — так зовут героя романа — рассказывает в письмах к жене...

Так начинается новый роман Робера Маржери «Любовь и время», выпущенный издательством Галлимар. Это первая книга задуманной автором трилогии о Французской буржуазной революции XVIII века.

В рецензии, напечатанной в еженедельнике «Леттр франсез», отмечается, что этот роман — плод тридцатилетнего труда автора. «Из этого романа, который читается с неослабевающим интересом,— пишет рецензент,— я узнал множество неизвестных подробностей о событиях того времени. Маржери удалось весь этот огромный исторический материал объединить в таком захватывающем романе».

«УБИЙЦЕ — ГОНКУРОВСКАЯ ПРЕМИЯ»

В издательстве «Эдитер франсе реюни» вышел новый роман Пьера Гамарра с интригующим названием — «Убийце—Гонкуровская премия».

С тонким юмором Гамарра рассказывает о присуждении Гонкуровской премии рукописи романа, повествующего об одном преступлении. Члены жюри потрясены. Их поразил талант автора, описавшего все перипетии этого преступления так, будто он сам был его очевидцем. Вскоре, однако, случилось неожиданное: описанное в романе убийство было совершено после его выхода. Члены жюри растеряны, они

Пьер Гамарра.
(Еженедельник «Леттр франсез»)

присудили премию за тщательно подготовленное, а затем осуществленное убийство...

«Роман «Убийце — Гонкуровская премия» обладает редким для детективного произведения качеством — оно высокохудожественно»,— пишет рецензент газеты «Либерасьон».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ТВОРЧЕСТВО РАБОЧИХ ПРЕДМЕСТИЙ

Два чехословацких исследователя народного фольклора Владимир Карбусицкий и Вацлав Плетка в течение многих лет занимаются сбором литературных произведений, созданных рабочими. Первые такого рода произведения относятся ко второй половине прошлого столетия и рассказывают об организованных выступлениях рабочего класса против своих эксплуататоров. По жанру в основном это баллады и песни.

Лет пять назад Карбусицкий и Плетка выпустили сборник «Рабочие песни». А совсем недавно, как сообщает еженедельник «Литерарни новины», вышли собранные исследователями «Рабочие баллады». Сборник включает пятнадцать произведений, созданных рабочими. Среди них баллады, написанные в годы стачек и борьбы с чужеземными захватчиками в конце прошлого века, в десятилетия перед второй мировой войной и, наконец, во время словацкого народного восстания 1944 года.

ЮГОСЛАВИЯ

МНЕНИЕ КРИТИКА

«Некоторые наши деятели культуры,— пишет критик Влатко Павлетич в газете «Борба»,— до сих пор еще не поняли, что, собственно, вокруг них происходит, и они рискуют отстать от своего времени, несмотря на все их «прогрессивные» декларации». По мнению критика, «в области культуры в Югославии появляются ясные признаки ориентации на идеи и принципы, чуждые социалистическому развитию», и он считает, что причиной этих явлений было «бегство от проблем в конструкции, в галлюцинации, в формализм, в вербализм, в герметизм».

«Не надо избегать открытой дискуссии о том, в какой мере некоторые явно формалистические явления в искусстве, в живописи и в литературе были следствием идейных извращений, а в какой — просто признаком неспособности отдельных художников... столкнуться лицом к лицу с проблемами...— пишет далее Влатко Павлетич.— Быть может, кое-кто опасается упрощения и вульгаризации, чураясь дискуссии, в которой участвовали бы люди самых разных интересов. Для культуры, для художников и научных работников «опасно» не то, когда о них и об их работе много говорят, а когда об этом молчат».

Статья Павлетича призывает деятелей культуры «активнее включиться в жизнь», «выйти из узкой сферы своего довольно стерильного творчества «деятелей культуры для деятелей культуры».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЛЕОН КРУЧКОВСКИЙ — LEON KRUCZKOWSKI (1900—1962) — польский писатель, лауреат Международной премии мира. Автор романов «Кордиан и хам» («Kordian i cham», 1932), «Павлиньи перья» («Pawie pióra», 1935), повести «Тенета» («Sibła», 1937), пьес «Посещение» («Odwiedziny», 1955), «Первый день свободы» («Pierwszy dzień wolności», 1960), «Смерть губернатора» («Śmierć gubernatora», 1961) и др.

Пьеса «Герой фатерланда» («Przygoda z Vaterlandem») напечатана в журнале «Диалог» № 12, 1962 г.

МАКС ЦИММЕРИНГ — MAX ZIMMERING (род. в 1909 г.) — немецкий поэт и прозаик (ГДР), лауреат премий Генриха Манна и Генриха Гейне. Годы фашизма провел в эмиграции. Автор сборников стихов «Облик времени» («Im Antlitz der Zeit», 1948), «На свежем утреннем ветру» («Im herben Morgenwind», 1953), книг об Андерсене-Нексе, Маяковском и др.

Публикуемые стихи взяты из «Нейес Дейчланд» от 23.3.1963 г.

КАРЕЛ ТОМАШЕК — KAREL TOMAŠEK — чехословацкий поэт, автор поэтического сборника «Улица Головокружения» («Ulice Na závrati», 1961), откуда и взято публикуемое стихотворение.

БАЙ Т. МУР — B. T. MOORE — либерийский поэт.

Автор сборника стихов «Эбонитовая пыль» («Ebony Dust», 1962).

Публикуемые стихи получены в рукописи.

ХАСИБ АШ-ШЕЙХ ДЖААФАР (род. в 1942 г.) — иракский поэт.

Публикуемые стихи присланы в рукописи

ОКТАЙ АКБАЛ — OKTAY AKBAL (род. в 1922 г.) — турецкий писатель. Ему принадлежит роман «Наша вина в том, что мы люди» («Suçumuz insan olmak», 1957), несколько сборников рассказов и другие произведения.

Повесть «Улица Чужаков» («Gariples sokoği») вышла в 1950 году.

КАРЛ СЭНДБЕРГ — CARL SANDBURG (род. в 1878 г.) — американский поэт, лауреат многих литературных премий. Начал печататься в 1904 году. Автор многочисленных стихотворных сборников, собиратель американского фольклора. Наиболее известен сборник «Народ — да!» («The People, Yes!», 1936).

Публикуемые стихи взяты из различных сборников.

ВОЛЬФГАНГ НЕЙХАУЗ — WOLFGANG NEUHAUS (род. в 1928 г.) — немецкий писатель (ГДР). Автор сборника рассказов «Черные флаги над Диттерсдорфом» («Die schwarzen Fahnen von Dittersdorf», 1952), романа «Зарницы над Вадриной» («Wetterleuchten um Wadrina», 1954) и др. Роман «Украденная юность» («Gestohlehe Jugend», 1959) опубликован в №№ 2, 3 нашего журнала за 1961 год.

Статья «В центре внимания — современность» получена в рукописи.

ИРЖИ ЧУТКА — JIŘI ČUTKA — чехословацкий публицист.

Публикуемая статья взята из журнала «Нова мисл» № 2 за 1963 год.

ВИКТОР ПЕРЛО — VICTOR PERLO — американский экономист, автор переведенных на русский язык книг «Американский империализм» («American Imperialism», 1951), «Империя финансовых магнатов» («The Empire of High Finance», 1957)) и др. Последняя его книга «Милитаризм и промышленность» («Militarism and Industry») вышла в 1963 году.

Публикуемая статья прислана в рукописи.

ЖОРЖИ АМАДУ — JORGE AMADO (род. в 1912 г.) — бразильский писатель, член Всемирного Совета Мира, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Жоржи Амаду — автор романов «Страна карнавала» («O paiz do carnaval», 1931), «Какао» («Cacáu», 1933), «Пот» («Suor», 1934), Бескрайние земли» («Terras do sem fim», 1943), «Подполье свободы» («Os subterrâneos de liberdade», 1952), «Габриэла» («Gabriela, cravo e canela», 1959), книги повестей «Старые моряки» («Os velhos marinheiros», 1961) и др.

Одна из повестей, входящих в книгу «Старые моряки» — «Необычайная кончина Кинкаса Сгинь Вода»,— была напечатана в № 5 нашего журнала за 1963 год.

Помещенный в этом номере материал взят из бразильского журнала «Tempos brasileiros» № 1, 1962.

МАХМУД САБРИ (род. в 1927 г.) — видный иракский художник.

Публикуемый материал получен редакцией от автора.

ЭРНЕ УРБАН — ERNÖ URBÁN (род. в 1918 г.) — венгерский писатель, автор многих пьес, романов и рассказов. Его роман «Решение» («Kutyaszoritó», 1957) опубликован в №№ 7, 8 нашего журнала за 1957 год.

Очерк «На трассе венгеро-монгольской дружбы» прислан в журнал в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Б. И. РОЗЕНЦВЕЙГ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский.** Технический редактор **В. Л. Шачнев.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 01650. Сдано в производство 9/IV-63 г. Подписано к печати 3/VI-63 г.
Бумага 70×108 1/16=9,0 бум. л.+1 вкл.; печ. л. 24,66+1 вкл. Зак. 704.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС
70391